

Н О В Ы Й  
М И Р

Н О В Ы Й М И Р

1972

3



1972

# ИГ(О)ВЪЛЪИ И МИР

Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й  
Л И Т Е Р А Т У Р Н О - Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й  
И О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К И Й Ж У Р Н А Л

Год издания XLVIII

№ 3

Март, 1972 г.

---

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

---

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ВЕРА КЕТЛИНСКАЯ — Вечер. Окна. Люди	3
НИКОЛАЙ УШАКОВ — Новые стихи	104
ЛЕОНИД ЛИХОДЕЕВ — Я и мой автомобиль, роман-фельетон. Окончание	107
ИЗ ФРАНЦУЗСКОЙ ПОЭЗИИ. Перевели М. Кудинов, Владимир Васильев и Вильгельм Левик	132

### ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ	
МАРИЯ ГАНИНА — Дожливой осенью...	144

### ПУБЛИЦИСТИКА

Г. ХРОМУШИН — Научно-техническая революция и идеологическая борьба	160
---	-----

### НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

ВЛАДИМИР ОГНЕВ — От Хорватии до Словении. Окончание	175
---	-----

### ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

Н. ЭЙДЕЛЬМАН — О гибели Пушкина (По новым материалам)	201
---	-----

(См. на обороте)

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
<b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>	
Ю. КУЗЬМЕНКО — Курсом современности	227
А. БОЧАРОВ — Зрелость науки, надежность методологии (Освещение современных литературных проблем в новом томе Краткой литературной энциклопедии)	236
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	
Александр Борщаговский. Путь художника.— Александр Дымшиц. Человек — людям.— Р. Гальцева, И. Роднянская. О личности Достоевского.	250
<i>Политика и наука</i>	
А. Окороков. Оружие полемического слова.— Феликс Лев. Интересная книга про «скучную» науку.— О. Орестов. Энциклопедия английского образа жизни.	270
КОРОТКО О КНИГАХ — И. Варламова.— Мих. Жестев. Однажды поздней осенью. ♦ О. Грудцова.— Алла Драбкина. Далеко до апреля. Повести и рассказы. ♦ Феодосий Видрашку.— В. Росляков. Как там Сашка? Рассказы. ♦ Ирина Питляр.— К. А. Куприна. Куприн — мой отец. ♦ К. Бродер.— Геннадий Федоров. Когда наступает рассвет. ♦ В. Шитова.— М. Туровская. Герои «безгеройного времени», ♦ Л. Баша.— Камен Калчев. Софийские рассказы. ♦ Сергей Львов.— Б. Е. Серман. Человек остается... ♦ М. Малыхов.— А. Г. Федоров. Авиация в битве под Москвой	280
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287



---

---

ВЕРА КЕТЛИНСКАЯ

★

## ВЕЧЕР. ОКНА. ЛЮДИ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

НАСТАЕТ ВЕЧЕР

**К**ак бы ни был ярок и долог день, настает вечер. ...Мальчуган в матроске стоит на каменном спуске к воде и смотрит, как огненно сияют слоистые, вытянутые в длину облака за Петропавловской крепостью. «Ну, пойдем,— тянет его мать,— вот и солнышко спать пошло». Мальчуган топает сапожком, мальчуган кричит: «Не надо! Пусть не уходит! Не хочу!»

...Сколько людей собралось в зале, все улыбаются и рукоплещут, когда из почетного кресла, где он сидел у всех на виду, неловко поднимается седой человек, обходит на негнущихся ногах подаренный ему телевизор и останавливается у трибуны. Впервые он слушал о себе только хорошее, его благодарили за многолетний труд, за энергию, за подготовку смены; он слушал, и вспоминал, и заново переживал то одно, то другое... Теперь надо благодарить самому и прощаться, а он смотрит на знакомые лица и вдруг представляет себе завтрашнее утро, когда незачем будет вставать, и бездельный день, и вечер у телевизора, и за этим днем — вереницу таких же дней... Он стоит онемелый, сразу ссутулившись, тоненький вопль так и рвется: не хочу! — рвется и не вырывается наружу, а звенит где-то внутри, пока седой человек коротко и достойно говорит нужные слова...

...Женщина идет быстро и легко с работы пешком — конец немалый, зато надышалась вволю, щеки горят от свежести ветра, наверно, так же, как у встречных девушек, — такие у них освеженные, раскрасневшиеся лица! Придя домой, она спешит к зеркалу, но застывает, удрученная: щеки желты, на обветренной коже резче обозначились морщины... Не хочу! — беззвучно стонет женщина, — не хочу стареть, во мне так много сил, зачем?!

Но вечер наступает — не остановить.

Земля прокручивается как заведенная, переводя нас из праздника света в быстро наплывающую тьму, земля мчится по своей эллиптической орбите, отшелкивая годы, и последовательно неизменен круговорот жизни, сколько ни **взвывай**: остановись, \***мгновенье!** Мгновенья отлетают в прошлое, годы, десятилетия, века отлетают в прошлое, благодатное солнце, вытягивая в рост новые побеги, безжалостно высушивает старые ветви, молодому поколению наплевать на житейскую умудренность старших, они, самоуверенные первожителю, заново проделают путь счастливых заблуждений и ошибок, а за ними уже нетерпеливо топают мальчишки и девчушки, жаждущие подрасти скорей, как

можно скорей, потому что уверены — солнце сияет для них и вся жизнь принадлежит им...

Но что толку понимать неуправляемый ход времени?! Или это и есть — мудрость, смиряющая готовый сорваться крик — «не хочу!»?.. Как ни грустно, настает пора итогов — пусть не самых последних, но все же...

Я сижу над запроваженным в машинку листом. Начинать всегда трудно, а может, самое трудное — сегодняшняя страница, завтра с новой грудной покажется другая. Не знаю, какая получится у меня книга и получится ли вообще, знаю только, что не могу не написать ее.

За окном — вечер. Не аллегорический, а самый обыкновенный вечер. Мглистый сумрак медленно расплзается по городу, сгущаясь в узких переулках и под арками ворот. Мое окно — высоко. С высоты я вижу дома, дома, дома, и в каждом доме, сколько видит глаз, — светлыми четырехугольниками обозначаются окна, с каждой минутой все больше освещенных окон. Город переходит на домашний, на вечерний ритм, он переводит дух, он глубоко и успокоенно дышит после дневного напряжения. Родной мой город, исхоженный вдоль и поперек, мое пристрастие, моя судьба! Иногда мне кажется, что в этом городе я своя, куда бы ни зашла, что в его домах нет для меня секретов. Разве я не пережила вместе с городом все, что выпало ему пережить за четыре с лишним десятилетия? И в пору самой лютой беды — разве не знала, какими помыслами и чувствами держатся мои сограждане? Разве мы — не одно целое? С девчоночьих лет я знала твои фабрики и заводы, мой город, приглядывалась к твоим людям и писала о них, как умела. Видела твоих людей работающими и думающими, идущими на подвиг и упрямо сопротивляющимися смерти, гневными и торжествующими. Я писала о них просто — и это была правда. Писала о них высокими словами — и это тоже была правда, ни об одном таком слове не жалею. Я старалась предугадать их поступки — и угадывала. Иной раз хватала ими и своей причастностью к ним — и не стыжусь.

Отчет же меня охватывает такое беспоконие и неуверенность, и жажда еще не найденных слов, и трепет перед неведомым, когда я сижу за своим рабочим столом, а потом вскакиваю, мотаюсь из угла в угол, застываю у окна — и вижу дома, дома, дома...

Днем они маловыразительны и скрытны. Какие взрывы страстей, какую семейную бестолочь, какие взлеты мыслей, чью беду или удачу они укрывают молчаливыми фасадами и блеском бездушных стекол? Но вот смеркается — и в тысячах окон загораются лампы: обнаженно яркие или упрятанные под абажуры, одиночные или собранные в созвездия под потолком, скромные настольные — четкий круг зеленоватого света, причудницы-модерняги об одной ноге, разбрасывающие многоцветные блики то вверх, то вниз, то вбок... Мелькают размытые расстоянием силуэты, иногда видны склоненные над работой головы, и больше всего замечаются руки — пишущие или шьющие, ласкающие, отдыхающие, наводящие порядок, нервные или спокойные, ленивые или деятельные... У человеческих рук даже издали есть определенность характера и действия.

Я не подсматриваю, нет. Я вхожу в чье-то существование, как в кино, где по облику, по жесту домысливаешь целую жизнь и на полтора часаходишь в мир отношений и обстоятельств, далеких от тебя еще несколько минут назад.

Ряды светящихся окон — ряды вопросов, где ответы дают только картины счастья, — счастье наглядней. Темные окна загадочны: кто, почему, надолго ли ушел или уехал? А может быть — спит? Или мучается бессонницей? Или бодрствует в темноте от избытка мечтаний, от тоски, а может быть — чтоб остаться наедине с самим собой?..

Уплывающие в глубь улиц окна почему-то всегда напоминают мне одно и то же — Новороссийск, где совсем юной я провела несколько вечерних часов. Лето. Теплынь. Черная вода бухты повторяет все береговые огни. Набережная полна народу — прогуливаются, толпятся у ларьков с напитками и фруктами, пьют и закусывают, собираются стайками, отделяются парами, где-то поют «Джим, подшкипер с английской шхуны», из открытого окна рвется «Карамболина», многоголосый шум перекатывается по набережной и выплескивается наверх по улочкам, всползающим в гору, а над городом деловые цепочки фонарей всползают еще выше, к цементным карьерам. Очень заметно, что бухта — это дно большой чаши, чьи крутые откосы обламываются у самых молгов, ограждающих бухту, круговая линия прерывается лишь в одном месте, между двумя молами, за которыми — море, невидимое во мраке ночи, но ощущаемое по веющей оттуда прохладе, по запаху водорослей и соли, по мерному движению воды. И вдруг в черноте за молами возникает сияние — белый пароход входит в бухту, его палуба залита праздничным светом, по его округлому борту как двойное ожерелье светятся все до одного иллюминаторы. Разом обрывается и песня о подшкипере, и заклинание Карамболины, и многоголосье толпы — вместе с белым пароходом в бухту вплывает музыка, радист там лирик, он передает один из ноктюрнов Шопена. Под небом в огромных звездах, на черной воде, повторяющей все огни, очень хороши и белый пароход, и Шопен, и необременительное мое одиночество в незнакомом порту. Каждой клеточкой своего существа я впиваюсь прелесть этого кусочка жизни, прекрасной жизни, которой так много впереди, которая так много и щедро сулит мне... А двойное ожерелье сверкающих бусин уже распалось, пассажиры покинули каюты, заполонили палубу, и только успел пароход ошвартоваться, только перекинули на причал сходни — вся эта легкомысленная толпа устремилась на набережную, смешалась с местной, осадила ларьки, загомонила, заметалась — отдыхающий, любопытный курортный люд. Лишь несколько светящихся кружков осталось на борту — кто пренебрег стоянкой? Кому там, в каютах, так скучно, что и выходить не хочется, или так хорошо, что ничего иного не нужно?.. А по опустевшей палубе кругами вышагивает человек. Воротник поднят, голова втянута в плечи, руки вдвинуты в карманы плаща — ходит и ходит, не поднимая головы, может, и не взглянул на город, такой красивый в вечернем убранстве, может, и Шопена не слышит?.. И еще человек одиноко стоит на корме — женщина. Издали не разглядеть, молада ли, хороша ли собой. Легкий белый шарф вьется вокруг нее, а она стоит неподвижно, лицом к набережной, все видит и слышит, но невесело ей, ох невесело, и что-то важнейшее не решается и не отпускает...

Почему впечатался в память именно тот вечер, и свет, который так и не погас в нескольких каютах, и две фигуры на опустевшей палубе? Тогда впервые в мою беспечную душу ударило понимание неохватности множества человеческих жизней, которые проплывают, проплывают мимо меня, и острота все оттеснившего желания — заглянуть в каждую из них, и сказать что-то обнадеживающее вон тому нахохленному угрюмцу, и отыскать недающееся решение жейщине...

Уплывающие в глубь улиц дома напоминают мне тот корабль. А их так много! Я смотрю на них с тем же юношеским ощущением неохватности жизни и неповторимости судеб, проплывающих мимо. За светящимися и темными окнами бродят мысли и сны, живут страсти и боли. К скольким из этих судеб я не успела прикоснуться! Мимо скольких из них я прошла сама, не заметив, потому что искала другое?.. К скольким из них я обращалась, пытаюсь — быть может наивно или самонадеянно — вмешаться в трудные судьбы, открыть выход из туск-

лого тупика, одних уберечь, а других удержать от зла и пошлости, подсказать недающиеся решения... но они не услышали меня, до них попросту не дошло?..

Люди, люди, люди... такие разные! Моя профессия не только трудна, она существует не сама по себе, а в людях и для них, но связующие нити так непостоянны и так подвластны тысячам воздействий и причин. От мировых потрясений до минутной моды. Каждый раз — стена и стекло. Отделенный мир. И надо достучаться.

Окна и люди, множество множеств людей, о которых я не успела — и, быть может, уже не успею — написать...

Морщинистая рука подправила фитилек лампы, выключила электрический свет. Зыбкий огонек подсветил темный лик на иконе и позеленевшую оправу. Волоча ногами шлепанцы, женщина добрела до широкой кровати, взбила подушки и легла, плотней укутав ноги — леденеют они к ночи, не согреть. Подоткнула со всех сторон одеяло — видно, и оно состарилось, свалаясь вата, не греет. Только под стиснутыми у груди руками — уголок нестойкого тепла. Ох, господи, господи! Глаза ее не мигая смотрят на темный лик, на неверный огонек и стараются не видеть слишком большой, тонущей во мгле комнаты, слишком большого стола, натканых повсюду тяжелых стульев, громоздкого буфета...

Заснуть бы! Согреться и заснуть...

Но как только сон начинает тяжелить веки, вспышкой ослепляющего сияния возникает зеленая луговина над речкой, по луговине скачет на ломких ножках жеребенок-сосунок, она громко смеется и бежит с ним наперегонки, зная, что на дороге остановил свой трактор Петюшка Хлопов. Петюшка прикидывается, что нелады в моторе, а сам глядит на нее, и от этого до дрожи весело, и хочется выманить его к себе, и страшно выманывать. Но он сам идет через луговину к речке — руки отмыть, а потом набирает воду в пригоршни и пытается обрызгать ее, она уворачивается, он догоняет... догнал... поцеловал — голова кругом. «Подрастай, невеста, и жди меня, слышишь?» Она знает, что ему скоро в армию, и знает, что готова ждать, но по правилам девичьей игры отнекивается: «Что загадывать на три года!» — «А я тебя на всю жизнь загадал». Правда ли? Мать сердилась: «У Хлоповых вся семья непутевая, что толку в его тракторе, если в избе одни тараканы?!» Подружка Варька наставляла: «До армии все клянутся, а еще вернется ли в деревню? Насмотрится за три года, как люди живут, осядет в городе, а ты в девках останешься!» Поверила. И вышла замуж. А Петюшка вернулся... Походил «смурной», а спустя год на Варьке и женился.

У нее и сейчас зашло сердце от той, от давней досады. Подружка! Нет коварней советчиц!.. Усмехнулась — ну чего, чего вспомнила?! Плохо ли прожила с Максимом? Любви не было? Так одной любовью не проживешь. Сначала все чего-то не хватало, а потом привыкла. Жаловаться не на что. Даже в войну нужды не знали. Богато жили. Еще и в деревню посылки посылала, пока живы были маманя да сестренка. Тайком от Максима и от свекрови — посылала колбаски, конфет, пряников. И деньги переводила. Правда, надружишься, пока на почте у окошка стоишь, вдруг знакомый кто зайдет, скажет свекрови...

Сна как не бывало. Сухие глаза оглядывают слишком большую, тонущую во мгле комнату, слишком большой стол, натканые повсюду тяжелые стулья, громоздкий буфет, забитый ненужной посудой, наборами рюмок и бокалов, массивными супницами и блюдами, — все это давно запылелось, рисунка не разглядеть, да и куда оно, зачем?..

Когда помер свекор, а потом и свекровь, вторую комнату забрали, всю мебель Максим перетаскал сюда. А теперь и не продашь, люди ищут малогабаритную, в новые-то дома, а такие громоздкие, с вырезными завитушками, никто не хочет, куда их, пыль копить! Да и правда — под буфетом мусору набилось, а не сдвинешь и с-под него не выгребешь. Стол тоже не сдвинешь, ножки дубовые будто приросли к паркету. Что с ними со всеми потом сделают? На свалку? Ох-хо-хо... вот ведь мысли какие... Спать надо.

Смежила глаза, потуже закуталась. Уже и голову задурманило сном, а неведомо зачем всплыло из прошлого, из давнего: вот приехал на побывку к своим теткам Максим — городской, форсистый, и от тток пошел слух — жениться хочет на своей, на деревенской. Бабы прямо с ума сошли — неженатый, а такой степенный, говорят — мясником в самом большом «Гастрономе» работает, денег гребет без счету. Мама-ня тоже взволновалась — иди, дуреха, на танцы, повеселей гляди, ведь не хуже других! Все девушки наперебой красовались перед завидным женихом, только она одна пугалась, жалась в сторонке. А Максим почему-то ее приметил, сам вытащил за руку на круг. И не осудил, что танцует плохо. Незадолго до отъезда заслал сватов. Мама-ня радовалась — счастье нежданное привалило! А она как в тумане была, отказать не посмела, но и не радовалась. Чинно гуляя с Максимом вдоль деревни, спросила, почему он ее выбрал, вон сколько тут невест. А Максим ответил: «Мне финтифлюшки ни к чему, я человек серьезный, мне нужна жена скромная, тихая». И еще она спросила, полюбит ли ее свекровь, ведь без нее дело сделалось, может, она против будет? «А чего ж не полюбить? — сказал он. — Будешь ласковой и услужливой, полюбит. Ей с хозяйством одной не управиться!» Она не удивилась такому ответу: пошла замуж — готовься работать по дому, свекру и свекрови угождать, как же иначе! Но внутри будто похолодало, каких-то других хотелось слов. Вот у Петюшки они находились: «Да как же тебя, такую славную, не полюбить!»

Ее вдруг подкинуло в постели, так неожиданно и отчетливо представилось, что она могла сказать: не хочу! не люблю, и все тут! Могла выгнать жениха, как бы ни сердилась мама-ня, как бы ни дивились соседки. Дождалась бы Петюшку. И вот он приехал, и незачем ему ходить «смурным», как писала та же Варька-утешительница, не нужны Варькины утешения, сама встретила бы и поженились бы в ту же осень, и вся бы жизнь... Вся бы жизнь!..

Она заплакала от такой возможности и сама себя обругала — чего надумала, старая дура! Перевернула подушку мокрой наволочкой вниз, затихла, призывая сон. И тут вспомнилось, как щедро закупил ей Максим и платье, и туфель, и ботики фетровые, и два пальто — осеннее и зимнее, и белья (куда нам твое деревенское, смех один!), и даже ночные сорочки с кружевами. Гулять или в гости — выходили разодетые, степенные. Да, но стоило вернуться домой, не свекровь, а сам Максим говорил: «Чего дома-то щеголять, переодень платье!» Не успеешь снять, сам на плечиках расправит и — в шкаф.

И еще вспомнилось, что не хотел Максим ребеночка — ну его, спать не даст, у меня работа тяжелая.

А у Петюшки с Варькой трое...

Уже заболел Максим, уже и сам догадывался, какая страшная у него болезнь, а доброты не прибавилось, нет, лютый стал, жадный, каждую копейку проверял. А когда взяли его в больницу, когда бежала она кормить его самым вкусеньким, лишь бы поел, он и тут придирался, не много ли тратит, и требовал, чтоб ничего не продавала, вещей не трогала, и еще — чтоб поливала его любимый столетник, бергла, не сронила с подоконника.



Сквозь слезы зло рассмеялась — любил он его, как же!.. Уже после того, как схоронила Максима, она все поливала и оберегала жирный лапчатый куст... пока однажды, раскрывая весною окно, не задела локтем. Разлетелся горшок на черепки, она охнула и, чуть не плача, начала подбирать — да так и обмерла: из мокрой земли повыскакивали золотые рубли и кольца... Свекровь?! Нет, Максим, он же и пересаживал купленный кусточек в большой горшок, сам и землю принес, и обминал ее... От нее он скрывал свои потайные богатства! И откуда они? С каких пор? Для чего захоронил под столетником?..

Купила она тогда новый горшок, посадила куст заново и опять все богатство под него запихала. Ни для чего, от растерянности. Так и лежит в земле. Куда понесешь? Как объяснишь?..

Она скосила ненавидящий взгляд на этот проклятуший куст. Вон он, торчит на подоконнике, за ним — свет уличных фонарей и чужих окон, на свету зловеще топорчатся его жирные лапы. Остаток жизни съел...

При Максиме соседи чуждались их, да и Максим сторонился, опасаясь, что будут просить то мясца получше, то печенки, то косточек для своего Бобика. И ей приказывал с соседями не якшаться. А когда она осталась одна, без средств, соседи подобрали к ней, звали пошить что попроще, за это платили, а главное — кормили. То одна семья, то другая. Отвыкшая от воли, от общения с людьми, она потянулась к соседям, будто плотину прорвало — говорит не наговорится. И они вроде полюбили ее. До одного случая...

Ну зачем, зачем она так?!

Села в постели, обхватила руками иссохшие плечи, качаясь как от боли. И ведь хороший мальчишка-то! Внучек. Сиротинка. Всея деревней решили послать его к родной бабке, пусть поступит в трудовые резервы, получит хорошую специальность, а бабушка присмотрит, чтоб не баловался. Куда ж ему деваться, если только и осталась на свете родная душа — бабка?.. И ведь не баловной был, любил столярничать, из ничего разные забавные фигурки вырезал — часами сидит, остороженько стругает плашку и напевает себе под нос тоненьким голоском. А позовешь, мигом вскочит: «Что вам, бабушка?» Ну жить бы да жить! А она испугалась. Чего испугалась-то? Что мебель изрежет ножиком, что посуду перебьет, что на вещи на Максимовы позарится?.. Пуще всего испугалась, когда пришла из магазина домой, а Сеня стоит у окна и ножиком колукает землю под столетником. «Что ты делаешь, хулиган?!» — «Да что вы, бабушка, — пролепетал Сеня, — я землю рыхлю, чтоб лучше росло. За что вы — хулиганом?..» Может, и вправду — только рыхлил?.. Нет, следить стала, надо выйти — и его на улицу гонит. Встанет он рано утром — глазами провожает. По карманам украдкой шарил. Сеня замечать стал, насупился, примолк. А однажды свои вещички собрал: «До свиданья, бабушка, мне в общежитии койку дали, не буду вас беспокоить». И вышел. С соседями прощался — с каждым по-хорошему, за ручку. И вдруг заплакал, так и выскочил на лестницу. И больше не пришел. А с соседями вся дружба кончилась.

Год назад увидела на улице молодого человека — ну, Сеня вылитый! Конечно, на десять лет старше, изменился, но узнать можно. Идет, коляску голубую толкает перед собой, а рядом женщина — молоденькая совсем, симпатичная. Идут, улыбаются человечку в коляске, гугукают. Сеня — или не Сеня? А если Сеня — узнал ли ее? Может, и узнал бы, да не взгляделся, ни к чему Сене какая-то старуха.

А старухе и воды подать некому.

Без слез, беспощадно смотрит она на опадающий огонек лампы. Масла подлить нужно, да не встать. Или задуть совсем, на что он, где

он, бог-то? А может, задуешь — и самой конец?.. Согреть бы ноги, заледенели совсем. Грелку бы. Встать, пойти на кухню, вскипятить воды, налить полнешеньку, чтоб долго не остыла...

Вздрагивает огонек, никнет, снова вспыхивает, тихонько потрескивая, — не горит и не гаснет.

Внизу, во дворе — сумерки, а тут, под самой крышей, вечерняя заря причудливо расцветивает беленые стены, развешанные по комнате пеленки и льняные волосы молодой женщины, что кормит у окна ребятенка. Ребятенку не больше полугода, маме — от силы двадцать; она придерживает сынишку и рожок девчоночьими тонкими руками — пальцы размыты стиркой, ногти без лака коротко острижены. Ей улыбаться бы, любуясь своим несмышленишем, сосущим молоко, а она плачет и даже не замечает этого — выкатится слеза, повисит на щеке, сорвется на пеленку, а на ее место уже катит другая. И не ласковые слова, на которые так щедры матери, — нет, она бормочет забывшиеся стихотворные строки: «Брошена. Придуманное слово. Разве я цветок или письмо?» Как дальше — забыла, но в этих двух строках уже все. Все?.. И ведь предупреждали ее — куда торопишься? Какой это муж — первокурсник?! Папа и мама, когда она привезла к ним в Воронеж своего Игоря, так и ахнули: двое детей! Опомнитесь, какие из вас супруги?! Потом папа проводил разъяснительную работу: создание семьи — ответственность, а есть ли у вас чувство ответственности? Игорь весело сказал: есть! И она подтвердила: конечно, есть! Тогда все казалось несомненным.

Маленький Игорек сосет вяло, еле-еле, темные реснички сомкнулись. Она потряхивает рожок, Игорек нехотя втягивает рожок влажными губешками и вдруг принимается сосать с удвоенной силой, блаженно урча. Она невольно улыбнулась, так это мило и смешно, но Игорек, проснувшись от внезапной жадности, широко раскрывает большие серые глаза — отцовские глаза! — и от этого сходства слезы хлынули неудержимо.

А несмышлениш уже отвалился от рожка и спит. Разве он понимает, что у папы ненадолго хватило ответственности!

Малышок мой, я-то тебя не брошу и не разлюблю!

Она бережно перекладывает его с онемевшей руки в кроватку и храбро озирается. Дел не впроорот: рожок вымыть, мокрые пеленки простирнуть, подсохшие снять и прогладить, пока они вохкие, протереть две морковки и отжать сок, купленное во время прогулки мясо разделать, вымыть, мякоть пропустить через мясорубку на котлеты, остальное поставить вариться... Пока греется утюг, она берется за мясо, но ее пронзает мысль, что все старания уже ни к чему, все равно Игорь придет поздно как все последние дни, будет отговариваться делами, а про записку... да, что он скажет про записку? Какое у него будет лицо, когда она молча, без единой слезы, швырнет ему эту гнусную записку?!

Утром она решила встряхнуть куртку, которую он вечно бросает куда попало, нарушая гигиену. Из кармана на пол выпорхнул белый листок. Она не собиралась проверять Игоря, но подумала, может, что-то нужное. В глаза бросились первые слова — «Крошка, цыпленок, кисонька...» Еще ничего не подозревая, только удивившись, потому что почерк был Игоря, она дочитала — «Кисонька, мое терпение на исходе. Когда же?!» А снизу нелепым почерком с расхлябанными буквами, склоняющимися то вправо, то влево: «Не злись, котик! Завтра после работы и до любого часа!» Пошлячка, еще подчеркнула «до любого»!.. Распутная девка, позволяющая обращаться к ней с дурацкими нежностями — «крошка», «цыпленок», «кисонька»! А сама пишет «ко-

тик!» Как в рассказе Мопассана, чтоб не спутать имя! Какая мерзость!.. И с нею Игорь пропадает вечерами! То понадобилось стенгазету выпускать, то «секрет, Лидок, секрет!» — а дура жена верит, ждет...

И это Игорь, ее Игорь!

В комнате запахло каленым — перегрелся утюг. Она отключает его, срывает с веревок пеленки да так и замирает посреди комнаты. Нужно решать! Немедленно! Жить с ним, терпеть обман, безвольно плакать, когда он где-то развлекается?! Нет, этого он не дожидается!

Уехать к маме. Так, чтобы он даже не знал куда. Пусть поймет, что потерял!

Глянув на часы — малыш проспит по крайней мере час, — она бежит вниз, к автомату. Только бы застать Соню.

— Сонечка, вот хорошо, что ты дома! У меня к тебе огромная просьба. Можешь заказать мне билет до Воронежа? На самый ближайший день!

— Ради бога, что случилось?!

— Ничего особенного! Ухожу от Игоря.

— С ума сошла!

— Нет, не сошла. Можно я к тебе приеду с малышом? Он тихий, мы не помешаем, я буду почти все время гулять с ним.

— Ты рехнулась! Вы что, поссорились?

— Я тебе сказала — ухожу. Совсем. Поможешь мне или нет?

— Ну, конечно. Только я уверена, что ты...

Она шлепнула трубку на рычаг не дослушав. Теперь надо собраться — скорей, скорей, пока нет Игоря. Вызвать такси? Но денег только-только хватит на билет, если ничего не оставить Игорю. А что он будет есть до стипендии? А-а, все равно! Тут супу на три дня, сделаю котлеты...

Пока доваривался суп и жарились котлеты, она успела достать с антресолей чемодан, он был весь в пыли и паутине, пришлось вымыть его снаружи и внутри, а потом поставить на подоконник просушиться. Представив себе, как она увезет в нем свои платяшки и весь приклад сынишки, она разревелась — и дала себе волю: выплакаться всласть, чтобы потом никто не увидел ни слезинки!

Соня, конечно, разнесет сенсацию по институту: «Вы подумайте, Игорь и Лидка!..» Надо прийти к ней спокойной, насмешливой: разлюбила, и все тут, ошибка молодости! А в Воронеже?.. Папа скажет: вот она, нынешняя молодежь! А мама наверняка поймет, что никакая я не спокойная и не равнодушная... Но тем более надо держаться — ни слезинки! А уж при Игоре... Да что я?! С Игорем — все, уйду, пока его нет, и Соне велю молчать. Быстро собраться, снести вниз коляску, Игоречка в коляску, в ногах пристроить чемодан — и никакого такси не нужно, тут и километра не будет, обычная прогулка...

Она лихорадочно складывает вещи — свои и детские. Но в это время просыпается Игорек, приходится перепеленывать его, тереть морковку, отжимать сок, потом поить его соком — а Игорек не хочет, он любит яблочный, апельсиновый, клюквенный, а морковный набирает в рот и выплевывает...

И как раз в то время, когда она все же понемножку скармливает ему морковный сок, в комнату врывается Игорь — возбужденный, галстук набок, из битком набитого портфеля торчит горлышко бутылки, у локтя болтается сетка со свертками.

— Привет семье!

Он выкрикивает это громким шепотом, чтобы не испугать малыша, и, еще не освободившись от ноши, целует в лобик обоих, — о-о, только этого не хватало, от него пахнет вином!..

Стиснув губы и склонив лицо над малышом, она не отвечает и не смотрит на Игоря, но сквозь опущенные ресницы все же видит его руки — торжественными движениями он ставит на стол бутылку шампанского и выкладывает из пакетов колбасу, плавленые сырки, помидоры, огурцы, добрый килограмм красноватых от спелости абрикосов... Откуда? На какие гроши, когда из стипендии он оставил себе всего два рубля?..

— Лидочек, реагируй сейчас же! — с хмельным восторгом возглашает он. — Я жажду признания и восхищения!

Лидочек непримиримо молчит. И тогда он с испугом склоняется над сынишкой:

— Заболел?

Но розовая мордашка сына, перепачканная морковным соком, успокаивает его, а неясная улыбка приводит в восторг:

— Смотри-ка, узнал меня! Узнал и улыбнулся!

В другое время он заметил бы отчужденность своего Лидочка, но сегодня его переполняет радость и гордость — вон сколько всего внес в их скудное хозяйство!

— Ты потеряла дар речи?! — Он расставляет принесенные яства. — Закатим пир горой! Гляди, какие я достал абрикосы!

Ей начинает казаться, что приснился дурной сон — или с этой гнусной запиской, или вот сейчас, когда он старается внушить ей, что ничего худого не произошло. И вдруг она вспоминает разговор двух женщин на бульваре. Покачивая коляску с ребенком, одна говорила другой: «Напрасно радуешься! Если носит подарки, значит — виноват и пускает пыль в глаза. Они все такие! Когда ухаживают и добиваются — цветочки и что угодно, а когда вышла замуж да родила, тут уж ты на якорь, куда денешься? Тут сама гляди да в руках держи. А начал колбаситься вокруг тебя, не иначе — завел кралю на стороне!» — «А если он любит меня?!» — «Конечно, любит и ребенка не бросит, если честный человек, но семья семьей, а все равно мужику среди пеленок скучно!» Вот и Игорь так же?..

— Да ты что такая — не такая? — наконец с обидой замечает Игорь. — А это что? — Он увидел чемодан.

— Естественный вывод, — ею овладело злое спокойствие, — вот из этой мерзости.

Записка брошена на стол. Он долго, удивленно рассматривает ее, вертит в руках:

— Что это?

— Ах, ты не знаешь!

Ребенок мешает ей, она распеленывает его и укладывает в кроватку, Игорек удовлетворенно сучит ручками и ножками. А за ее спиной раздается хохот.

— Откуда ты ее выкопала? Это же было месяц назад!

— Тем хуже.

— Дурешка, это же записка Тумбе, Циплаковой, что, ты не помнишь ее? Она никак не могла собраться оформить стенгазету.

Тумбе?.. Стенгазету?.. Конечно, кто же не знает эту верзилу Циплакову, коренастую, некрасивую, но славную и деятельную, студенты вечно дразнили ее цыпленком, и малюткой, и тумбой, и еще бог знает как... Да, месяц назад Игорь жаловался, что Циплакова никак не собирается сделать заголовок и карикатуры для стенгазеты. Но что за манера писать своему товарищу такие записки!..

— Если хочешь знать, это подло — давать дурацкие прозвища девушке оттого, что она некрасива!

— Ты из-за этого и собралась уезжать?!

Она поворачивается к нему и прямо-таки с ненавистью смотрит в его смеющееся лицо.

— Нет, потому, что мне надоело; приходишь к ночи, болтаешься неизвестно где и являешься пьяным!

— Я — пьяным?!

— Да, пьяным! Воображаешь, не заметила?! От тебя разит водкой!

Он все еще смеется:

— Угу, пьян вдребезги и в пьяном виде обокрал магазин! Сперва «Гастроном», а потом «Чулки, трикотаж». Угадай, что в этом пакете?

Он вытягивает из похудевшего портфеля фирменный пакет и помахивает им перед нею, он все еще весел, а она уже понимает, что попала впросак, но целый день страданий душит ее, обида душит, и все же он приходит слишком поздно! И все же он где-то выпил, пока она мучалась!

— Мне противно разговаривать с пьяным!

И она включает утюг, раскладывает на столе подстилку для глажки. Игорь перестал смеяться.

— Во-первых, выпить две рюмки «саперави» — пьян не будешь. Во-вторых, все, что я делал, «болтаясь неизвестно где», я делал для тебя, для вас. Что, вот это я покупал для себя?!

Он вытряхивает из пакета капроновые чулки и голубую ночную сорочку, такую точно, какую они видели в витрине, тогда она никак не могла оторвать взгляда и вздыхала, понимая, что такое чудо еще долго будет не по карману.

Ох, надо бы завизжать от радости и кинуться на шею к Игорю, но сейчас она не может, никак не может откинуть все, что пережила и передумала. А Игорь, обиженный, начинает распалтасываться:

— Демонстрации устраиваешь?! А я, как идиот, вкалывал три недели! Думаешь, очень интересно по шесть часов в день вбивать в тупые мозги математику?! Трех обалдуев вытянул к переэкзаменовке, сегодня сдали. Все трое! И если родители, расплачиваясь, на радостях усадили меня обедать и угостили вином!.. Если я прямо оттуда помчался в магазины покупать все, что ты любишь!.. Конечно, самое время устраивать мне сцену!

— Как бы там ни было, ты мог сказать,— бормочет она,— а то месяц приходишь все позже и позже...

— Вот и делай после этого сюрпризы!

— И эта пошлая записка... Кисонька! Котик!..

— Ничего пошлого в ней нет. Товарищеская шутка. И вообще, если хочешь знать, Циплакова прекрасная девчонка, во всяком случае без истерик и дешевой амбиции.

— Очень рада, что у тебя такой прекрасный член редколлегии.

— Я тоже.

— Ну и чудесно.

Она с остервенением наглаживает пеленку за пеленкой, и пусть с запиской оказалась ерунда, и пусть он заработал уроками и принес такую прелесть в подарок — все равно она чувствует себя непоправимо обиженной, несчастной, все заколебалось, все рушится, он уже ставит ей в укор других, он груб и нечуток, разве он понимает, как ей трудно одной с Игорьком, он-то живет прежней, вольной студенческой жизнью!..

Игорь переоделся в домашнее, загремел кастрюлями. Ага, ставит воду для стирки. Ну и что из того, что он по вечерам стирает пеленки? А сколько я их стираю до него?!

Игорь вдруг с остервенением выключает утюг. Она тут же включает его снова, но Игорь перехватывает штепсель и сжимает его в кулаке.

— Нет, погоди. Я должен понять. Ты что же, всерьез думала, что я тебе лгу? Что я завел пошлый романчик? Значит, ты жила со мной — а про себя считала меня подонком?!

Еще не поздно броситься ему на шею, рассмеяться или зареветь... Но она выпрямляется, непримиримая и озлобленная, и на бурный поток ее упреков и обид он отвечает таким же, встречным, они кричат наперебой, а то и в два голоса сразу, и уже не разберешь всего, а только отдельные выкрики:

— ...как рабыня в четырех стенах!..

— ...а что я мечусь в поисках заработка, гоняюсь за грошовыми уроками!..

— ...я тебе не цветок и не письмо!..

— ...господи! Какое еще письмо?! Ты просто ополоумела! Домашний шпион!..

— ...даже в кино не была уже полгода!..

— А я был?! С кисонькой, втихаря, да?!

— ...ни одной книги!.. Академический кончится, и я останусь домохозяйкой, а тебе наплевать!..

— А кто ночью вскакивает к ребенку? Ты только в бок пихаешь — вставай!..

— ...когда ни придешь: «Чего бы пожевать?» Управляйся как можешь! А чего мне это стоит!..

— Конечно, деспот и подонок, зачем и жить с таким?!

— Тебе легко говорить, я на якоре, никуда не денусь!

— Что за слова?! Обывательщина так и прет!

— ...а кто меня запер тут одну? Жизни не вижу!

— Что ж, тогда в самом деле лучше разойтись.

— Да! Лучше! Сегодня же!..

Слишком громкие голоса пугают Игорька, он ревет истошным басом. Оба оторопело смотрят друг на друга и кидаются к ребенку, Игорь первым выхватывает его из кровати и прижимает к себе.

— Ну, куда? Он же мокрый,— примирительно говорит она и отнимает ребенка, ловко подменяет пеленку и, не глядя, протягивает мокрую: — Брось в таз.

Игорек полулежит на руке у матери и таращит глаза на отца. Отец присаживается на корточки и делает ему козу-козу, а ладонью другой руки не очень уверенно, как бы случайно, касается колена жены. Колено не шелохнулось, и ладонь ложится на него уверенней. А маленький властитель вдруг издает какие-то восторженные, клокочущие звуки, широко раскрывая ротик с двумя одинокими зубками.

— Он же смеется, Лидок!

— В первый раз!..

Они растроганно переглядываются, потом она смотрит на будильник, ахает, потому что весь режим полетел к черту, и говорит властно, удерживая пробивающуюся улыбку:

— А ну, быстренько согрей кефир... «котик»!

Пять окон по фасаду празднично сияют, и, кажется, даже с улицы можно услышать застольное многоголосье, всплески смеха и всплески музыки. Тут — праздник, тут хозяин дома богат всем, что дороже денег: умом, талантом, умением трудиться, нелегкими успехами, помощниками и друзьями. Он весел, строен и моложав, даже седина его молодит, даже проблески коронок и слишком ровных зубов — молодят; а может, это только сегодня, когда пришел большой долгожданный успех, открывающий перед ним широченную перспективу? Не есть ли это главное, что определяет молодость,— ощущение перспективы, когда

многое-многое впереди, и не есть ли старость — независимо от календарных лет! — утрата завтрашнего дня?..

А если это так, то сегодня он заново молод, и жена ему под стать, она оживлена, пригожа, щедро гостеприимна, первоначальная тревога хозяйки уже отпустила ее, все покатилося само собою, гости сами выносят опустошенные блюда и бутылки, серьезные и пустяковые разговоры возникают, перекатываются из конца в конец длинного составного стола, то всех объединяя, то дробя на группы и группки; когда кто-либо надумает произнести шуточный тост, прочитать стихи-здравницу или стихи-эпиграмму, заранее заготовленные как экспромт, сам постучит вилкой, добываясь внимания... Да, все уже завертелось. А сколько было хозяйственных забот и возни, как долго обдумывался список приглашенных — чтобы вместить всех, кто помогал, и всех, кого и уж не позвать, как много выдумки ушло на такой пустяк, чтоб рассадить всех наилучшим образом, как говорил муж: правильно перетасовать... А теперь гости перетасовываются дополнительно, пересаживаясь кому куда хочется, незнакомые перезнакомились и вроде бы сдружились, вот и самый почтенный, самый знаменитый из гостей, академик и большой руководитель, от которого так или иначе зависят все присутствующие, произнес тост «за Виктора Андреевича, проявившего еще один талант — великолепного хозяина!», да и не сел больше на свое место, а перебрался под бочок к тихонькой белокурой лаборантке, рассказывает ей что-то смешное, а других отмахивает: «Нечего прислушиваться, не вам предназначено, хотите отвлечь мою даму — придумайте что-нибудь еще смешней!» А лаборантка хохочет и победно озирается — да, да, придумайте посмешней, если можете!.. И ведь откуда что берется — такая незаметная тихоня обернулась кокетливой красавицей, что смотрела лаборатория?!

— Ну как, Витюша, все хорошо?

— Очень!

Сквозь гул голосов пробивается телефонный трезвон. Жена спешит в кабинет, он прислушивается, но разве тут расслышишь! Только по лицу жены, поманившей его от двери, Виктор Андреевич понимает, что звонок некстати, а подойти нужно. В дверях жена сообщает без выражения: Ибрагимов. И тотчас он слышит в телефонной трубке вибрацию слишком громкого, как на ветру, надтреснутого голоса:

— Витюха, привет! Узнаешь старого бродягу?

— Как же тебя не узнать! Откуда на этот раз?

— Салехард знаешь? Ну, так намного дальше.

Сколько лет прошло, сколько фронтовых друзей-товарищей растаялось, а Ибрагимов хоть и бродяжит дальше всех, а не теряется, видно, не может забыться та черная ночь, когда они двое, оба раненные, тащили друг друга по ничьей земле к своим, временами теряя сознание, взбадривая друг друга, горячечно шепча ругательства пополам с мольбой: потерпи, поднатужься... Демобилизация развела их, писем не писали — некогда, но спустя три года Ибрагимов ввалился прямо в дом с ящиком коньяка, и с тех пор каждые несколько лет вдруг откуда-то «сваливался», всегда без предупреждения, однако научился звонить по телефону из уважения к хозяйке дома: «Не помешаю?» Что у него случилось с женой, Ибрагимов никогда не рассказывал, но что-то сломалось навсегда, женщин он презирал, только для жены друга делал исключение: «Надюша, вы — Женщина! — говорил он, поднимая тост за ее здоровье.— Если бы другие женщины были похожи на вас, я был бы покорный раб, я бы взял свое сердце и положил к их ногам как ягненка!» Надюша улыбалась, выставила на стол все, что нашлось в холодильнике, и уходила спать, зная, что час за часом они будут чокаться, понемногу пить и помногу говорить, и через две ком-

наты до нее будет доноситься: «а помнишь...» — «нет, ты разве забыл!..» — и у мужа к утру набрякнут мешки под глазами, а настроение будет размягченное и счастливое, и вечером все начнется сначала, будут говорить, говорить и петь фронтовые песни, и так трое суток, всегда трое суток, так повелось у Ибрагимова, на третий день он говорил: пора! — и куда-то улетал, то в Ухту, то под Норильск, а теперь вот куда-то за Салехард. Он был механиком по приборам для аэрогеографов, год за годом летал над тайгой, над тундрой, над горными хребтами, другой судьбы не искал, не боялся ни лишений, ни гибели, постепенно грузнел и седел, но был все таким же шумным, простодушным и верным.

— Во-первых, спешу поздравить, — кричал он в трубку, на радостях особенно раскатывая звук, — читал, Витюха, читал, Виктор Андреич, какой ты теперь выдающийся человек! Еще в дороге начал пить за твоё здоровье, всех пассажиров напоил, про тебя рассказывал, все за тебя пили!

— Да ты откуда говоришь? — соображая как быть, спросил Виктор Андреевич и, неожиданно для себя самого, добавил второй вопрос: — Ты где остановился?

Пауза была недолгой, но до ужаса беззвучной, и как раз в это время кто-то открыл дверь и в тишину ворвался веселый гул застолья, ворвался и втиснулся в черное ухо трубки.

— В тайге не пропадал, в горах не пропадал, в большом городе тем более не пропаду, — сказал Ибрагимов, — ну, приятно праздновать! Сухой щелчок. И беспокойно частые гудки: все! все! все!

Рядом оказалась Надя.

— Придет?

— Да нет, понимаешь...

— Ой, — сказала Надя. Она всегда немного тяготилась наездами Ибрагимова, но теперь сказала: ой! — и чужая обида проступила на ее лице.

— Так глупо получилось. Я не успел...

За стеною начали хором выкликать: хо-зя-е-ва! хо-зя-е-ва!

— Пойдем. — Он обнял жену за плечи и подтолкнул к двери: — Мороженое на растает?

— В морозильнике? Не думаю.

— А может, пора скормить его?

Оттого ли, что их продолжали хором выкликать, оттого ли, что хмель уже туманил голову, но он быстро вернулся в счастливое настроение праздничного вечера и забыл горькую минуту у телефона, когда в мембране сухо щелкнуло и вслед за тем нудно зачастили гудки. Гости, как дети, приветствовали мороженое, раскупорили еще шампанского, пили за хозяйку и за Виктора Андреевича, благодаря которому всем так хорошо и весело, кто-то из молодежи принес спрятанную до времени гитару, завели песни — сперва пели два-три человека, потом все больше и больше, академик подхватил лаборантку и подсел поближе к поющим, подсказывая, какую выбрать песню, и сам запел уютным баском, он весь отдавался песне и подталкивал под локоток лаборантку, та старательно открывала рот и краснела, голоса у нее не было. Виктор Андреевич тоже пел, как мог, одну мелодию, потому что слов не помнил, и соображал, что делать: взять такси и мчаться на аэродром? Но не будет Ибрагимов сидеть на аэродроме! В аэрофлот? — но и там он сидеть не будет, не тот человек, его приютит любой летчик, стюардесса и даже уборщица, которая гоняет метлой опилки по залу ожидания. Ибрагимов везде свой. И ничего неуместного не было бы, если б он ввалился сюда, «знакомьтесь, мой фронтовой друг, вместе погибали и вместе спаслись!» Ибрагимов произнес бы витиева-



тый восточный тост, и пел бы со всеми, в упоении закатывая глаза и дирижируя двумя руками так, как всегда дирижировал песней, даже когда пели вдвоем, и под конец хлопал бы академика по плечу: прекрасно поешь, друг, с душой поешь! — и академик радовался бы и смеялся, он же умный человек, он бы оценил Ибрагимова...

Нет, при чем здесь академик?!

Он выскользнул из комнаты, закрылся в ванной и под холодной струей освежил лицо. Трезвым глазом оглядел себя в зеркале — немолодого, бледного, с подпухшими нижними веками, с гусклыми глазами человека, недовольного собой. Как же это со мной случилось? Когда незаметно вползло? И что же теперь делать, куда мчаться, чтоб снять с души эту тяжесть?..

...Ночь была черная, ни зги не видно. Только справа вспышки дальних выстрелов изредка подцвечивали край неба, земля была холодная, мокрая и каждой пядью — опасная, черт-те что в ней напихано и нашими и немцами. Ползли плечо к плечу, одни в этой ночи на неверном поле, истекая кровью, теряя сознание, и когда он изнемог, Ибрагимов, пятясь, тащил его за край шинели, припадая к земле, если в небе зависала осветительная ракета...

Он отогнал облегчающую мысль о том, что и он тащил Ибрагимова, когда тот ткнулся лицом в землю: к черту, не могу! Он отогнал ее — нет, нет, при чем тут я, об этом пусть вспоминает Ибрагимов, где бы он сейчас ни пригрелся, он и вспоминает, конечно, с недоумением и горечью, а я помню, как он тащил меня, тащил за край набухшей шинели, и зависшая в небе проклятая лампа на миг осветила его серое лицо в потеках грязи и крови, лицо мертвеца, решившего выжить, да не в одиночку, а вдвоем...

— Вик-тор Ан-дре-е-вич! Вик-тор Ан-дре-е-вич! — скандировали гости.

Вечер длился. Он ладонями помассировал щеки и, с трудом вернув себе всегдашнюю моложавую осанку, пошел к гостям.

Распирая голые стены узкой комнаты несоразмерным звучанием, гудит-дудит труба: тру-ту-ту, тру... трру-ти-та-та! Дудит в трубу паренек, раздувая щеки, а ноты пристроены поверх раскрытых книжек и тетрадей, на спинке стула — женская кофта с продраным на локте рукавом, лампа висит косо, словно отвернулась от надоевшей трубы, на тахте кучей — кое-как собранные одеяла и подушки, да и на кровати за ветхой, в поблекших цветочках занавеской — будто ветер зарябил покрывало, небрежно накинутое на постель.

Тру-ту-ту, тру... тру... тру-ти-та-та — выпевает труба, спотыкаясь все на той же недающей ноте, и снова: тру... тру-ти-та-та!

Большая коммунальная квартира дергается в ритме нехитрого марша, раздраженно подскакивая на каждой запинке: ох, сфальшивил! сфальшивил!.. ну же, Леша, ну!.. опять сфальшивил!..

Живущая за стеной закройщица повязала голову махровым полотенцем и ушла на кухню, плотно закрыв дверь, но где там! — в этот вечерний час хозяйки снуют взад и вперед, руки у них заняты, не ногой же открывать-закрывать! А труба настагает их над кастрюлями и посудомойкой. Только самой молодой из жилищек, Люсе, все нипочем, она еще и подпевает грубе, еще каблучком так отбивает и в такт помещивает суп. Ее муж, веселый аспирант-иранолог, недавно обил дверь войлоком и повесил глухую портьеру, но войлок и портьера тоже не спасают от трубы, иранолог пытается читать, зажав уши ладонями, потом выскакивает в коридор и кричит:

— Больше смелости, Лешка! Перескочи и шпарь дальше!

Лешкина мать, женщина размашистая и громкоголая, одна из

всех ходит на цыпочках и говорит вполголоса — сын занимается. Она и картошку жарит на самом малом огне — пусть подольше, не отрывать же сына!

— Голова разрывается! — нарочито стонет закройщица и глотает таблетку, запивая спитым чаем.

— Может, моего возьмете, у меня покрепче? — виновато предлагает Лешкина мать и уже в который раз объясняет всем, кто возится у газовых плит, кто входит и выходит, не важно, что кто-то недослушал, а кто-то услышит с середины: — Конечно, пока удовольствия мало, но ведь научится! Главное — хоть какое-никакое, а занятие, все лучше, чем по улицам шлендрать. Я и в кружок плачу, и за прокат трубы плачу. Другие денег жалеют, из дому гонят, чтоб шуму не было, — себе же на погибель! За ворота выйдет, разве угадаешь, что ему на ум взбредет?!

В квартире ее зовут Тосей. И в доме зовут Тосей — дворник Тося. Убирать улицу и двор она выходит до света, потом спешит на вторую работу — мыть лестницы в научном институте. Кроме того, обстирывает соседей и безотказно ходит, куда бы ни позвали, делать большую уборку. Сама она по многу лет таскает одно и то же платишко, но на детей денег никогда не жалела и не жалеет — и не потому, что распластывается перед ними, как укоряет ее закройщица, а потому что у нее своя педагогическая точка зрения.

— Пожалеешь — больше потеряешь! Молодым-то всего хочется! Вот Борьке взбренило поролоновую куртку, ну, дурь не дурь, а ведь он не хуже других и не круглый сирота! Каково мне было троих рс-тить, это они поймут, когда поумнеют, а пока глупый, кого ж ему просить? Маму! Ну и купила. Откажи я, мало ли на улице темных компаний! Вон со склада бутылки таскали, недавно шестерых пареньков зацапали на месте. А все эти длинноволосые парни да раскосые девки, что целый вечер углы подпирают, — чему они научат? Нет, я своим что могу — все делаю, но глаз не спускаю, хоть пляши, хоть на дуде дуди — дома! Зато и Верку замуж выдала честной, и Борька, мало того что механик по радио, дальше учится! И Лешка из-под моего начала не выйдет. Мою руку они знают.

Ее руку все в квартире знают: помнят, каких пощечин она надавала дочке, когда Верочка пришла домой после полуночи; как она «отвалтузила» Борьку, когда он в первый и последний раз появился пьяным; как она грозила Лешке, вздумавшему отрастить длинные волосы, что сама обкорнает его, — и ведь обкорнала, ночью, сонного, тупыми ножницами — тут клок, там клок отхватила, пришлось ему вместо школы мчаться в парикмахерскую и стричься ежиком.

Тру-ту-ту, трру... трру... тру-ти-та-та! — с усилием преодолевает проклятую ноту стриженный ежиком Лешка.

— Легко ли по этим закорючкам сыграть, — вздыхает Тося, — зато полезно, для легких развитие, отец-то от легких умер, и нас по диспансерам сколько лет таскают на проверки. Это и докторша сказала — пускай дудит. А может, профессия выйдет? Пойдет в армию, могут и в военный оркестр взять?.. Вот ведь ансамбль Советской Армии по всем странам ездит...

Соседки переглядываются за ее спиной — что-то непохоже, чтобы Лешка додуделся до ансамбля! Случись эта напасть год назад, вся квартира ополчилась бы против Тосиной педагогики — хоть плачь, хоть беги вон из дому, житья нет от Лешкиной трубы! А теперь терпят, стискивая зубы. Раньше, бывало, слестывались с Тосей из-за мелочей — дверью стукнула чуть свет, перебудила всех, посуду бьет свою и чужую... А с лета все пошло иначе. Летом Тося выдала замуж Верочку и собиралась ехать с парнями в деревню, но денег на троих не хватило,

парней она отправила, а сама осталась — подзаработать во время отпуска: как раз ремонтировали фасад, пыли-грязи хватало, каждый день кто-либо упрасивал — Тосенька, приди убрать. Никто не заметил, как оно началось, хватились, когда Тося уже напропалую крутила любовь с водопроводчиком домового хозяйства Гришей. Они целовались на самой верхней площадке лестницы, а то и в лифте — дверца приоткрыта, а внизу жильцы неистовствуют: опять лифт испортился! Потом Гриша стал приходиться поздно вечером чинить у Тоси батарею — якобы потекла ни с того ни с сего, среди лета! Самая любопытная из жителей квартиры, тетя Дуня, хоть и старуха, а караулила в коридоре половину ночи — да и не дождалась ухода Гриши, сон сморил. А Тося купила новое платье в голубую полоску и накручивала на бу-мажках кудерьки.

Этот нежданный роман неумолчно обсуждался на кухне — какая там любовь, обыкновенное безобразие! Он и моложе ее, на что позарился, того и гляди бабушкой станет! А чего ему зевать, сама на шею вешается, стыд и срам! Вот прознает его жена, даст Тоське выволочку да ославит на весь дом, а ведь у нее дети! Тетя Дуня настаивала на том, что общественность дома не может молчать. Молоденькая Люся презрительно фыркала — краткосрочный жэковский роман!

Как случилось, что никто не услышал стука входной двери? Тосю увидели уже на середине кухни — встала, откинув назад голову в рас-трепавшихся кудерьках, платье в голубую полоску не прикрывает ко-лен, чулки капрон, лицо распалено гневом.

— Что ж замолчали? — закричала она высоким голосом. — Поме-шало кому? Завидно стало? Или сплетничать больше не о ком? Еще и детей приплели! Мало я перед ними распластывалась, над корытом, над чужими полами спину гнула! — И вдруг набросилась на Люсю: — И ты, чистюля, туда же?! Думаешь, только молодым сладко? Думаешь, Тоська только и годна, чтоб вашу грязь отмывать, когда ты с бельем доведешь, что мужу надеть нечего?!

Люся испуганно проскользнула мимо нее и закрылась у себя в ком-нате. Даже за чайником не вышла, хотя Тося давно умчалась, отсалью-товав всеми дверьми по очереди. Чайник кипел-выкипал, пока не при-шел за ним Люсин муж, веселый иранолог. Взял чайник, оглядел воз-бужденных женщин и мирно спросил:

— Сколько лет нашей Тосе, не знаете?

— Да уж сорок стукнуло, — вызывающе сказала закройщица.

— А муж у нее когда умер?

— Под сретенье двенадцать лет будет, — дала справку тетя Ду-ня, — я каждый год в поминанье записываю. Скромный был человек, ведь так болел! — а хоть бы пожаловался...

— Болел. И детей трое, — сказал веселый иранолог без всякой ве-селости. — Значит, овдовела, когда еще и тридцати не было. И-и-эх, жен-щи-ны!

И ушел.

А в кухне стало тихо, каждая молча делала свое дело, про себя впервые вдумываясь не в свойства, не в поступки — в судьбу.

И вот теперь молчат, стиснув зубы, терпят.

Тру-ту-ту! Труу... труу-ти-та-та! — выпевает труба, спотыкаясь все на той же ноте.

Тося дожарила картошку, прикрыла сковороду крышкой, закута-ла газетами, да так и осталась стоять у плиты, давая себе минутную передышку. Но стоило ей остановиться, как на ее померкшем лице от-печаталась такая давняя и уже невосполнимая усталость, что соседки смущенно отвели глаза.

Тру-ту-ту — гудит-дудит труба.

Лешке — шестнадцать, он низкорослый и тщедушный, сквозь редкий белообрый ежик видна покрасневшая от его усилий кожа, а веснушки на носу и висках задиристо рыжи. Но когда он дудит в трубу, он ощущает себя высоким и широкоплечим, как Генка из десятой квартиры, он видит себя в черном костюме и с черной бабочкой на белой рубашке, блестящие черные волосы зачесаны назад и нависают на воротник, как у Генки, а над губой черная ниточка усиков — тоже как у Генки. И во всем этом великолепии видит себя Лешка в клубном оркестре под ослепительными лучами софитов, а за софитами, во мраке — ряды смутно белеющих лиц, он солирует на трубе, и ему хлопают, отбивая ладони, а когда после концерта он спускается в фойе, с ним даже незнакомые здороваются, а девчонки вертятся вокруг него — совсем как возле Генки...

Тру-ту-ту тру-ти-та-та! — вдохновленный честолюбивыми мечтами, Лешка лихо выдувает трудную ноту и, ошеломленно помолчав, победоносно и фальшиво дует дальше: трам-пам-пам, тра-та-та-там!

Тоса встрепенулась, по-хозяйски огляделась и, до отказа отвернув кран, подставила чайник под такую тугую струю, что чайник чуть не вырвало из ее усталых рук.

В этой комнате не нуждаются в свете. В этой комнате бродят лишь нескромные отсветы покачиваемого ветром уличного фонаря, и в этих бродячих отсветах тахта плывет, плывет, как белая ладья, белеют простины, вспыхивают искрами откинутае на подушку волосы, два лица — глаза в глаза, два тела — как одно, «люблю!» — «люблю!».

Мимо! Мимо! Им сейчас никого не нужно.

Им хорошо, их ничто не тревожит.

Эта комната с белой ладьей еще три месяца — целых три месяца! — будет их наемным приютом.

Еще не завтра, нет, только через две недели придет с юга его жена — похорошевшая, загорелая, и перевезет с дачи сынишку — бесконечно милого, лучшего в мире парнишку... Он будет сидеть перед ними, в отчаянии сцепив пальцы, и сбивчиво объяснять, что случилось непоправимое, он этого не искал и не хотел, но разлюбить уже не может, и не может семья держаться на фальши, пойми, ну пойми, ты же молода, красива, ты еще встретишь настоящую любовь, только не лишай меня парнишки, это жестоко, я же честно пришел и сказал... А жена не поверит, что такая уж любовь, глупости, увлекся, пройдет, разве можно так бездумно разрушать, а уж если разрушишь — все! Ни меня, ни сына! Он еще мал, он тебя забудет, я ему дам другого отца, а тебя на порог не пушу, не пушу! — приходящий папа? — нет, не дам травмировать ребенка!.. И я тоже не каменная, уходишь к другой — уходи насовсем!

А она, та самая «другая», разлучница и распутница в глазах всех, кто знает, она не завтра, а только через месяц, когда вернется из плавания муж, придет в свой бывший дом, под недоуменные взгляды его родителей, добрых, заботливых стариков, и скажет с отчаянной решимостью: ухожу! И выслушает брань, и упреки, и слезы, и ей будет очень жаль этих добрых стариков и очень жаль хорошего, немудрящего человека, в которого она опрометчиво влюбилась пять лет назад... Без оглядки выскочила замуж, с ним легко и удобно устроилась жизнь, «захочешь птичьего молока — скажи, достану!» — пошучивал он, но родным, близким человеком так и не стал, два мира не соединились... И вот, жалея его, потому что в чем же он виноват, она будет терпеливо объяснять ему, не понимающему, что целый год работала с тем, любимым, над одним проектом, и ничего такого не было, клянусь тебе — ничего! — просто день за днем, вечер за вечером работали вме-

сте, с полуслова понимая друг друга, болтали о чем придется, пили крепкий кофе, чтоб одолеть усталость, иногда убегали в кино, чтобы развеяться, много смеялись и ни о чем не догадывались, пока не сдали проект, пока совместная работа не прекратилась, а тогда вдруг оказалось, что мир опустел, что друг без друга они уже не могут, и оба сопротивлялись, оба долго гасили в себе непрощеное чувство, но погасить не могли, и что же делать, когда они, оказывается, созданы друг для друга, им хорошо только вдвоем, а врозь жить нечем, дышать нечем. Пойми, прости, если тебе поможет — возненавидь и прокляни, но я ухожу, не думай, что на легкое, мне будет трудно, очень трудно, но врозь ни жить, ни дышать...

Они знают, конечно, знают, как все будет. Что же, настанет время — они пройдут через все терзания, а пока им хорошо, они вместе, и будут вместе, что бы ни было — вместе!

Но они еще не знают, что завистливый шепот уже ползет от стола к столу, от кульмана к кульману, из кабинета в кабинет. «Да что вы говорите?» — «Руководитель проекта с конструктором?» — «Этого нельзя допускать!» И вызовут его, заговорят осторожно, уважительно, дескать, мы понимаем, всякое бывает, «но какой пример молодежи! Придется ее перевести в другую мастерскую, а вас попросим... э-э-э... прекратить, сами понимаете...» Побледнев, он скажет: «Нет! И на новый проект я ее возьму, потому что понимаем друг друга с полуслова, потому что с нею у нас хорошо получается». А когда начнут настаивать, он закричит: «Если плох — снимайте!» — и хлопнет дверью... Тогда вызовут ее, и будет присутствовать Марья Васильевна, во всем такая правильная, что не верится в ее искренность даже тогда, когда она искренна, и прозвучат слова распутство и разложение, и будет сказано, что она сама должна попроситься в другую мастерскую или уйти по собственному желанию, у нее будут слезы на глазах, на миг всем покажется — уступит, подчинится, но она упрямо наклонит голову и скажет: никакого распутства тут нет, я его люблю. А собственное желание у меня одно — быть рядом с ним, другого нет!

Им будет очень трудно, ни постоянной крыши над головой, ни друзей — и с одной и с другой стороны друзья осудили, отшатнулись... На них будут коситься, будут разбирать ее по косточкам — подумаешь, этакая пигалица, ни красоты, ни талантов, невзрачное лицо, ноги короткие, ну что он в ней нашел?! От красивой жены, от ребенка, — ффу, какая гадость!.. И еще старший конструктор! Воспользовался служебным положением, соблазнил, совратил сотрудницу, увел от хорошего мужа, от прекрасной семьи — куда? В случайные комнаты, чемоданы в руках, сегодня тут, завтра там. И что смотрят общественные организации?! Как хотите, попустительство, гнилой либерализм!..

Все это будет. И через доброту будет докатываться то до нее, то до него. Она будет плакать украдкой и ходить, заносчиво вскинув голову. А он будет неистовствовать, огрызаться, дерзить, и еще он будет как вор красться по улицам и скверам, чтобы взглянуть на своего парнишку, и снова, и снова умолять жену — хоть раз в неделю!.. Любимая будет утешать его, пусть пройдет время, утрясется! — и вместе они поверят, что утрясется, и будут счастливы всем чертям назло, и шалая счастливость их лиц будет смущать окружающих, будто они узнали что-то неведомое другим и таят про себя...

Утихни, ветер, не раскачивай фонарь, пусть ничто не мешает им сейчас, когда они плывут, плывут на белой ладье — навстречу бедам и счастью.

Прежде чем выйти из почтового отделения, где она целый день штемпелевала конверты, принимала бандероли и заказные, Настя бы-

стрым движением натягивает вокруг кушака резинку и вздергивает юбочку повыше. Начальница выговаривает, если юбка чересчур мини, — «у нас клиенты, мы боремся за звание...» И мама прямо-таки с ума сходит, «мы тоже короткие носили, но не до пупа же!». От почты до дому — можно, и она храбро топает по бульвару, поблескивая круглыми коленками в капроне, и юбочка где-то высоко над коленками, еще задираясь на шаг. Сердце заранее екает, потому что возле ее парадной переминается этот странный Капочка, жуя сигарету и встречая ее неотрывно-пристальным взглядом. Вот уже неделю он стоит там как на часах, а сегодня еще и на почту зашел — стал в очередь к окошку и глядел, а у нее валилась из рук сдача. Подал бы письмо, что ли, или спросил до востребования, а то всунулся в самое окошко и молчит, а когда она, вся красная, спросила: «Вам что, гражданин?» — ответил: «Гражданину ничего, просто так!» — и отошел...

На бульваре, на скамейке и возле нее, скучилась целая компания ребят, всем им по шестнадцать — восемнадцать, не больше, кто еще в школе, кто в техникуме, некоторые уже работают. Настя знает почти всех еще по школе, они живут и в ее доме, и рядом, и напротив, а один, Витька, сосед по квартире. От Витьки она и узнала, что того парня зовут Капочка, живет он за углом, в переулке. Капочка гораздо старше этих ребят, но водится с ними и верховодит в их «кодле». Где он работает или учится, Витька не знает. О Капочке он отзывается — «мировой парень», или «ох и парень!», или еще «ну, этот не теряется!» И все. Без объяснений.

Настя проходит мимо них и салютует им ручкой, они лениво задевают ее: «Куда торопишься, Нэлли?» — «Ну, разве ты не видишь, куда торопится Нэлли?» — «Ах, вот куда торопится Нэлли!» — и все поглядывают в сторону парадной, где стоит, жуя сигарету, Капочка.

Мальчишек она не боится, но под взглядом Капочки ее походка напрягается и чужим, неуправляемым становится лицо — стягиваются будто замороженные губы, тяжелеют веки — не поднять. Третий вечер она ждет, что он заговорит с нею, а он только смотрит и посапывает сигаретой. Она старается убедить себя, что ничего в нем нет интересного — низкорослый, коренастый, одет мешковато, на локте болтается порядочных размеров сумка с надписью «Аэрофлот» и голубыми крыльями — для пижонства! Лицо как лицо, нос картошкой, усики над губой, под глазами припухлости, а когда он всунулся в окошко на почте, видно было, что у глаз прорезались морщинки — «смешинки», так их называет мама, когда смотрится в зеркало и разглаживает морщинки у глаз.

Проходя мимо него, Настя все же поднимает пудровые веки и встречает пристальный взгляд и загадочную улыбочку. Ноги тоже отяжелели, каждый шаг — усилие, только бы не споткнуться!

— Девушка, — вдруг окликает он, — неужели вы живете в этом доме?

Сердце уходит куда-то вниз, к желудку.

— Да, — лепечет она и останавливается.

— Такая чудесная девушка — и в таком сером, скучном доме?! Не может быть! Не верю!

Теперь они стоят лицом к лицу, совсем близко. Она могла бы заметить: лицо у него несвежее, даже потертое, с вялой и нечистой кожей, — но она не может рассматривать его беспристрастно, потому что он загадочен и ей нравятся эта загадочность, и хочется стоять вот так и слушать его странные слова, хотя спиной она чувствует взгляды мальчишек от скамейки, и улавливает их настороженное внимание, и ей стыдно, что там Витька, который потом будет делать при домашних разные намеки...

Капочка тоже чувствует любопытное ожидание ребят, многозначи-

тельно поглядывает на них и разжигает завязавшийся разговор с девушкой, подбрасывая шутку за шуткой, и в каждой загадка, недоговоренность. Ему нравится эта глупыха, вид у нее совсем ошалелый, кроме своих школьных шкетов, ни с кем, наверно, не водилась, а на рожице написано — невтерпеж попробовать. Надо бы для начала свести ее с Нинкой, пусть обкатает немного. У Нинки здорово получается: «Бабушкины предрассудки в век атома и сверхзвуковой авиации — бред!» Надо сказать Славке, чтоб вызвал Нинку...

Он сам себе не признается в том, что ему важно добиться быстро успеха, чтобы утвердиться в глазах ребят. На днях, когда они допоздна засиделись на бульваре с гитарой, мама самого младшего из парней, Толика, налетела как ведьма и обрушилась не на сына, а на Капочку: «Обалдуй великовозрастный, сам умом не вышел, так хоть ребят не сбивай с панталыку! Тебе что, пей да гуляй, папаша прокормит, а у Толика переэкзаменовка!» Он кое-как укротил ее, даже обещал проверить Толика по-немецкому (ох!), но придя домой, загрустил. Обалдуй великовозрастный? Папаша прокормит?.. Как-то незаметно пролетели годы — и вот уже двадцать семь. В школе считался способным, на всех вечерах, в школьных кружках — активист! Вокруг него собирались и в школе, и на бульваре: Капочка, спой, Капочка, расскажи. Ни у кого не было такого запаса шуток, анекдотов и песенок. Капочка — симпатяга, Капочка — душа компании. Даже директор школы, вызывая за провинность, не мог удержаться от улыбки: экий ты, Капочка, лоботряс! А уж девчонки сами на шею вешались, еще в школе началось... После окончания школы загуляли на свободе как взрослые. Но вскоре друзья начали отсеиваться — одни пошли зарабатывать трудовой стаж, другие засели готовиться к экзаменам в институты. Сдавали, поступали. Капочка провалился. Мать плакала, отец пугал — возьмут в армию, там узнаешь дисциплинку! — но и сам пугался. С детства, после смерти братишки, Капочка у них — единственный свет в окошке. Поворчав и повздыхав, отец устроил его к себе на завод и — в вечерний институт. Там экзамены полегче, под неусыпным оком отца и матери подготовился и сдал. Получив справку, поработал учеником слесаря, потом проспал раз, проспал два и три, прогулял... Уволили. В зимнюю сессию провалил два экзамена... Клятвенно обещал родителям «подтянуть хвосты», но никак не мог усидеть над учебниками, загулял и убедил отца, что техника — не его призвание, осенью будет поступать на истфак. Подал документы, провалился по истории и пошел в армию. В армии узнал кое-какие оптические приборы, решил поступать в Оптический. Завел роман с дочкой командира, даже жениться хотел, а уж поблажек получал немало, да и вообще в полку его все знали и любили — Капочка, расскажи, Капочка, спой... Отслужив, забыл командирскую дочку и уехал домой, кое-как сдал экзамены, демобилизованных принимали и с тройками. Но учебу в Оптическом не осилил — сплошная математика, сложнейшие предметы, черчение... Пришлось опять вкалывать на заводе, затем он был продавцом в хозмагазине, грузчиком на книжном складе, разносчиком телеграмм, — и все с перерывами и не подолгу. А компании на бульваре сменялись, он переходил из одной в другую — с теми же песенками и байками... И вот — великовозрастный, да еще и обалдуй?! Ну, чья-то машина — полбеда! А если и у ребят, что теперь слушают его раскрыв рты, вдруг заколеблется его непререкаемый авторитет?.. Вдруг и девчонки, присмотревшись, отвернутся и захихикают — подумаешь, старик, а тудаже!..

Юмор и загадочность — его оружие.

— Как вас зовут, такую прелесть? Нет, нет, не говорите, я отгадаю сам! Ирина... Нина... нет-нет!.. Стелла?.. Женя?.. Нэлли! Вот имя, которое вам к лицу! Нэлли! Угадал?

Девчонка тает на глазах. А он уже хвастается, что у него исключительный набор пластинок и магнитофонных лент с самыми последними новинками и как раз сегодня родители отбыли на свой садовый участок, а он отвертелся, соберется небольшая компания послушать музыку и потанцевать, если бы Нэлли согласилась прийти на часок...

— Не знаю... Я...

— Мама не пустит?

Она мнетя. Пойти к парню вот так, с улицы? Даже фамилию не знает — Капочка и Капочка. Кто он? С кем он живет? А может, его квартира — то, что мальчишки называют «хазой»? Что за компания соберется?.. И что сказать маме? Конечно, ускользнуть можно. Всего-то на часок! Ну, на два... Послушать музыку, новые записи — что тут такого?..

— Нэлли, вы работник связи, у вас не может не быть телефона! Сейчас угадаю номер. Терпение!.. Так, номер кончается семеркой... угадал?

Телефон общего пользования висит в коридоре, сколько себя помнит Настя. И номер телефона, конечно, он знает от Витьки. Но игра в угадывание забавна, и сам Капочка такой веселый и занятный... Она смеется, пока он угадывает, ошибаясь и исправляя ошибку, цифру за цифрой. И вот все шесть шифр выстроились в нужном порядке.

— Угадываю дальше: у вас есть подруга без телефона и живет она не близко. Вот только имя не могу отгадать на таком расстоянии. Есть такая?

— Есть. На Васильевском. Лилька.

— Превосходно! Значит, так: вам позвонили на работу, что Лилька заболела и очень просит приехать, потому что она одна. Я буду здесь. Как штык.

— Ой, нет. Увидят.

— Тогда за тем углом. Только без обмана! Я нервный, я не переживу.

Она бежит вверх по лестнице, он слушает торопливое цоканье ее подковок. И медленно, подволакивая ноги, направляется к скамейке. Любопытство ребят дошло до предела.

— Славка, высвистывай Нинку,— говорит он старшему из парней.— И давай ко мне. Музыка, пластинки, ясно? Потом смоешься.

— Склеил? — как можно равнодушной спрашивает Витька.

— А как же.

Витька краснеет пятнами, даже уши запылали.

Капочка выворачивает карманы, извлекает из них два смятых рубля и немного мелочи.

— А ну, мужики, скиньтесь на закусь.

Ребята не очень охотно шарят по карманам, некоторые медлят, надеясь на других.

— Значит, купишь портвейну. Фауст. И чего-нибудь похрустеть — печенье или пряники.— Он подсчитывает деньги.— Маловато. Кто жмотничает? Витька, ты?

Витька молчит, руки в карманах, кровь отхлынула от его лица, теперь оно бледно и напряжено.

— Да ты что, заинтересован?

— Еще чего! — Витька искренен, никаких видов на эту девчонку у него нет, но с детства они росли в одной квартире, ссорились, дрались, одалживали один у другого мелочь и выгораживали друг друга перед родителями.— Дуреха она еще,— выговаривает он с кривой улыбкой.

— Ну, мне с нею не в шахматы играть.

Кто-то захохотал, кто-то подхватил, стараясь говорить цинично и многоопытно:

— Конечно, интеллект не просвечивает, но тут и тут все как надо.



— Серого вещества не хватает, но это даже лучше!

— Почему не хватает? Просто оно очень серое.

— Зато ножки!..

Витька все-таки выгреб из кармана все, что там было. И говорит, как бы по-мужски предупреждая:

— Имей в виду, она с норовом. Обидишь, не оберешься скандалов.

— Я никогда не обижаю девочек,— строго обрывает Капочка,— что я, кретин? Надо уметь.

Пареньки разом смолкли, они слушают жадно, похихикивая и поддакивая, а Капочка посвящает их в свою систему:

— Бросать девчонку, когда она надоела,— фу, банально! Она должна бросить тебя сама. Ты опаздываешь, а потом — тысячи предлогов и извинений! Не приходишь на свидание — сто тысяч предлогов и извинений! Ты нежен, она чувствует себя принцессой и решает проучить тебя за прогулы и опоздания — понятно? Она нарочно опаздывает сама, она задирает носик и пробует сердиться... «Ах так?» Ты обижен, тебя не поняли, уж не нашла ли она другого?! Да, ты видел ее на улице с каким-то конопатым типом. «Ну что же, я не навязываюсь!» — и ты удаляешься с гордо поднятой головой. А она чувствует себя виноватой. Пытается успокоить твою ревность, объясниться... «Нет, я не позволю играть мною!» — а дальше дело техники: пропасть из виду и не попадаться навстречу.

Парнишки завистливо восхищаются... и разом смолкают: из парадной выпорхнула Настя. Успела переодеться и подчеркнуть уголки глаз. Украдкой поглядела на компанию у скамейки и пошла вдоль домов в своих новых туфельках подрагивающей походочкой. Капочка хмыкнул и не спеша пошел в ту же сторону по бульвару.

Витька судорожно дернулся вслед за Настей — и остался на месте.

Не глядя друг на друга, стоят кучкой пареньки и недобро следят за тем, как идет Настя, как идет Капочка... вот свернула за угол Настя... вот Капочка пересек проезжую часть улицы и скрылся за углом...

— Ну, что будем делать?

Без Капочки им скучно, он у них заводила.

— Может, в киношку?

— А на какие шиши? — огрызается Витька. — Ведь забрал все... сволоочь! — И в этом неожиданно выскочившем слове прорывается наружу все, что он старательно подавлял, лишь бы не показаться салагой и дурачком, недостойным мужской компании.

Тук-тук, шарк... Тук-тук, шарк... Костыли постукивают бойко, а нога подтягивается тяжело, нога опухает к вечеру — погрузнела ноша. Марья Никитична переносит чайники с газовой плиты на кухонный стол — сперва заварочный, потом большой, с кипятком. Обычно кто-нибудь из соседей подсобит, но сегодня все разбежались кто куда. Марья Никитична неторопливо пьет чай — крепкий, умело заваренный, и заставляя себя думать только о том, как хорош чай со сладкими сухариками, которые она купила по дороге с работы, и как приятно будет после чая устроиться в кресле и дочитать «Ожерелье королевы» — вчера до двух ночи читала, еле оторвалась!

Она давно научилась отстраняться от всего непоправимого и ограничивать жизнь возможным, — особенно с тех пор, как не стало маминых все успевающих рук, с тех пор, как нет рядом ее теплого плеча в шершавенькой кофте, щекочущей щеку. Теперь помогают строгие запреты: не думать! не переживать! Кроме главного, запрещенного навсегда, бывает и сегодняшнее, вот как услышанный ненароком разговор в коридоре домовой конторы. Уходя домой, она остановилась, повиснув на костылях, чтобы высвободить руку и открыть дверь, и услышала за

дверью визгливый голос той женщины: «Проси — не проси, разве эта безногая злючка посочувствует!» Выронила костыль, чуть сама не шлепнулась. Поднять костыль было некому, кряхтя, дотянулась до него, в голове зашумело, загудело, будто поезд прошел... «Безногая злючка!» Когда она, передохнув, открыла дверь, той женщины уже не было. Ни отругать, ни втолковать дурьей башке, что бухгалтер не властен отдать ей освободившуюся в квартире комнату. «Безногая злючка»...

Запрещай не запрещай, он звучит в ушах, этот визгливый голос, заполняет кухню, бьет в виски. «Безногая злючка!» А может, я действительно говорила раздраженно, не выслушала, не посовствовала?.. Так ведь и она с криком влетела, саму себя только и слушала, свою беду только и видела, что ей докажешь? «Не уговаривайте, — закричала, — небось сами расселись одна на двадцати метрах, вам что!» Значит, ей это кажется счастьем — одна на двадцати метрах?! А что я чуть не бросилась в ту мокрую черную яму на мамин гроб — не жить мне без нее, куда я — одна?! Не поймет. У нее две ноги, две руки и еще такой ядовитый язык...

Хватит. Ко всем чертям! Не думать!

Она моет чашку и быстро, будто ее подгоняют, топает в комнату. На свои двадцать квадратных метров. Читать, скорее читать!

Под лампой кресло — мамино «персональное», она еще до войны, бывало, по вечерам вытягивалась в нем, положив на стул занемевшие ноги, и читала. Или болтала с папой, если папа был дома, тогда они смеялись, играли в шелчки, как ребята, а то начинали петь в два голоса и звали: «Муся, уроки кончила? Иди, подтягивай!» Втроем еще лучше получалось — женские голоса, высокий и пониже, как бы аккомпанировали, а папа басил — прямо стены дрожали от его баса, он даже в заводском клубе пел со сцены «Прощай, радость...» и «Вдоль по Питерской...» И сам посмеивался: «Без пяти минут Шаляпин!» Когда в 42-м уцелевшие ополченцы зашли рассказать о бое под Гостилицами, где его убило, они вспомнили: «А как он пел! В нашу землянку полным-полно набивалось народу — Шарымов поет!»

Читать! Скорее читать!

Она вытягивается в кресле, пристраивает ногу на стул. Ох, какое блаженство расправить спину и плечи, дать отдых ногам! И раскрыть «Ожерелье королевы». Сто сорок страниц осталось. На вечер хватит.

Звонок.

Ну и пусть. Ко мне — некому, а других дома нет. Позвонят и уйдут.

Звонят все надсадней. Господи, кому там приспичило?!

Взять костыли. Приладиться и рывком подняться, отталкиваясь руками от подлокотников, и сразу перенести тяжесть на ногу. Перехватить костыли. И по коридору — в переднюю.

Кто там?

За дверью — детские голоса. Шушукуются, подталкивают: «Скажи ты! Ну, говори же! А ты что, немая?» Потом девчоночий голос произносит громко и отчетливо:

— Простите, пожалуйста, нам к Шарымовой Эм Эн.

Она открывает дверь. Их там целая стайка, все — в пионерских галстуках, девчонки — с бантами в косичках, а мальчишки на диво причесанные.

— Ну, я Шарымова Эм Эн. Чего вам?

Они сбились в кучку, а она стоит перед ними в дверном проеме, как в витрине. И они с испугом пялят на нее глаза, исподтишка косятся на костыли и на пустоту справа, где должна быть вторая нога.

— Насмотрелись? Ну, зачем пришли?

Вся стайка колыхнулась, вытолкнув вперед девочку с рыжеватой челкой над строгими не по возрасту глазами.

— Мы красные следопыты, — отчеканивает девочка, — мы устраиваем в школе музей. Изучаем блокаду. Героев блокады.

— Героев?..

— Героев! — подтверждает девочка. — Нам дали ваш адрес. Что вы ранены бомбой.

— Снарядом. — Марья Никитична еще колеблется, но и отнекиваться незачем. — Что ж, пройдемте, раз пришли.

В комнате она берет себе один из двух стульев — легче вставаться садиться, — но как рассадить всю стайку?

— Рассядемся, — твердым голосом говорит девочка с челкой и командует кому куда. Маленькая начальница. Трех девочек — в кресло, двух — к столу на второй стул, мальчиков — на подоконник. Один мальчишка не подчиняется и преспокойно устраивается на полу.

— Так что вы хотите узнать?

— Все! — говорит девочка с челкой, и остальные согласно кивают. — Если можете, расскажите с самого начала. Ну, еще с до войны... вы кем работали?

— Ох-хо-хо! — Марья Никитична впервые улыбается. — В твоей должности я работала. Школьницей. Ты в каком классе?

— В шестом.

— Ну, я постарше была. Десятый кончила. Дай-ка ту карточку с полки.

На фотографии — девятиклассница Муся Шарымова. Женька упрямил, чтобы снялась, для него и улыбка — победоносная. Вот какая она была перед войной — и совсем-совсем не подозревала, что ее ждет. Ребята смотрят на карточку, потом на нее и снова — на карточку. Смушены.

— А как вы... когда вы воевать начали?

Это спрашивает мальчик усевшийся на полу, — скрестил ноги, обхватил колени руками, даже не поднялся посмотреть фотографию. Ему та школьница неинтересна, ему — про войну.

— Так не была же я в армии! И воевать не думала, война сама пришла сюда. На нашу улицу. Что такое КБО — слышали? Комсомольские бытовые отряды. Вот в таком бытовом отряде я и воевала. Зимой, когда голод был. А до того в пожарном звене была, в нашем же доме. На крыше стояли, зажигалки тушили.

Мальчишка заинтересовался зажигалками — сколько их упало на дом, как тушили. Что за горячая смесь растекалась из них, он объяснил сам, с химической формулой. А вот как тушили эту пылающую, растекающуюся по крыше смесь? Он был разочарован, что она сама не тушила, даже когда загорелось на чердаке — стояла здесь же в квартире, ванна была налита водой до краев (так полагалось!), и она черпала из нее ведро за ведром, а другие по цепи передавали на крышу. Черпать воду — героизма не много.

— У нас из-за тушения зажигалок даже ссорились. Всем хотелось потушить лично, вот и бросались кто скорей. Одна бабуся две потушила, а третью отфутболила вниз, на улицу, таким ударом, что чуть не полетела вслед за ней.

Она сама замечает свою необычную словоохотливость и даже упоение тем, что вот пришли к ней и слушают, и зучают!.. Но, может, им нужно другое, более геройское, скажут: «Спасибо, товарищ Шарымова» — и уйдут, потому что им неинтересно?.. Торопясь, она припоминает разные смешные случаи — ребята же! А смешного, забавного, оказывается, случилось немало, в домовой группе самозащиты собрались подростки и домохозяйки, подростки искали шпионов и ракетчиков, если увидят кого с бородой или в необычной шляпе, сразу берут на подозрение; одного чудака с брелоками на цепочке схватили и отвели в мили-

цию, выяснилось — поэт. Ну, а домохозяйки каждая со своим самолюбием, со своими понятиями, две-три соберутся — быть спору.

Девочки, пристроившиеся возле стола, старательно все записывают. А девочка с челкой следит, не пропускают ли нужное, и задает вопросы — видно, за главную у них. Она же и повернула беседу на серьезный лад:

— Расскажите, пожалуйста, про бытовой отряд. Если можете.

Вежливая девочка. И строгая. Повернула правильно — за делом пришли, не за байками. А вот как передать им странное состояние, когда уж и голода не чувствуешь, но все становится зыбким вокруг и сама какая-то зыбкая, то ли жива, то ли уже не жива, и движения замедленные — так по телевидению повторяют прыжок рекордсмена или удачный гол. Такими вот замедленными движениями ходишь из дома в дом, из квартиры в квартиру — где есть живые, — и находишь людей, которые еще слабей, чем ты, и делаешь вроде бы и невозможное: идешь получать для них по карточкам хлеб, воду носишь — ведро не втащить вверх, так хоть чайник или кастрюльку... дров нету, расколешь, что скажут, — стул или книжную полку, затопишь и сама присядешь у буржуйки, будто ждешь, чтоб разгорелось, а попросту — сил нет подняться...

Разве такое передашь? Начала рассказывать скупом, сухими словами, так в отчетах писала: обошли столько-то, сделали то-то... И вдруг в паузе услышала тишину. И увидела напрягшиеся детские лица с расширенными глазами. И для них, уже не сдерживая ни горечи, ни восторга, продолжала вспоминать о самых трудных случаях, о своих подругах по отряду — о Люське-веселой, которая пела своим подопечным, чтоб подбодрить их, о десятикласснице Сонечке Буровой, ушедшей потом в армию и убитой под Берлином, о Верочке Жуковой, которая спасла и усыновила восемь ребятишек... На миг запнувшись, рассказала и самое страшное: сообщили ей, что из одной квартиры давно никто не выходит, а живет семья, и она пошла в ту квартиру. Дверь не заперта, везде мороз и пустота, только в дальней комнате на кровати — один-живой, а кругом него мертвецы. И по карточкам три дня хлеб не взят. Сходила за хлебом, расколола дверцу шкафа, затопила печку, поставила чайник, а мертвецов одного за другим вынесла прочь.

— Сами?! — выдохнула девочка с челкой, и ничего в ней не осталось от маленькой начальницы — замирающий от ужаса ребяенок.

— Сама, конечно.

Тишина. И вдруг:

— Вас за это кормили?

Вопрос задает пухлая девчушка, сидящая в глубине кресла за спинами подруг.

— То есть как? Кто кормил?

Марья Никитична цепенеет — не в вопросе дело, а в том, что она улавливает несомненную уверенность девчушки, что не даром же все это делало, была же выгода. Остальные ребята наострились, наверно для героизма, ждут ответа: «Нет, не кормили».

— Здорово кормили, до отказа, — сердито говорит она и неожиданно для самой себя прямо-таки кричит пухлой девчушке: — А ну, встань! Тебе говорю, встань!

— Зачем? — пугается девчушка, но подруги раздвинулись, выпуская ее из глубины кресла, и она встает, виноватая, как перед директором школы.

— Открой буфет. Вынь из полиэтилена хлеб. Тут полкило, пятьсот граммов. Разрежь на четыре части.

Марья Никитична говорит властно, как, бывало, говорила в отряде, когда подруги выбрали ее командиром, как, бывало, говорила в чу-

жих квартирах, силой возвращая людей к жизни: «А ну, нос выше, не умираете вы, а распустились! Кому ваша смерть нужна? Гитлеру! Выжить надо — Гитлеру назло, поняли?!»

Девчушка примеривается ножом так и этак, губа у нее дрожит.

— Ох, и дура! — Мальчишка, сидевший на полу, одним движением вскакивает и берет нож. — Отойди.

Все следят за тем, как он ловко делит хлеб на четыре части.

— Где горбушка — меньше, — придиричиво отмечает Марья Никитична, — добавь от того ломтя довесочек. А крошки чего бросил? И крошки дели.

Она поднимает на ладони один ломоть, бережно собирает на него крошки.

— Вот они — «сто двадцать пять блокадных грамм с огнем и кровью пополам». Только хлеб не такой был, а влажный. И колючий, со жмыхом и черт-те с чем. Вот наша норма на сутки. А потом нам рабочие карточки дали, кто не имел. Вот столько. — Она положила поверх первого второй ломоть и крошки. — «Ешь — не хочу!» — так, что ли?! Да еще проходивши до ночи по этажам... потаскавши на санках больных... детей... воду из проруби, это к нам-то — с Невы!.. Нюра Астафьева тащила санки да и сама упала. И не встала... Когда нашли — холодная уже. Иной раз чужой хлеб несешь, прямо голова кружится, до того съесть его хочется.

Видимо, она чересчур разволновалась, потому что ребята шипят на пухлую девчушку: «Дура и есть! Всегда с глупыми вопросами!»

— Ну чего вы на нее напали? — справившись с собой, застывает она за девчушку. — Дайте-ка мешок. — И складывает в мешок ломти хлеба, по блокадной привычке собрав и отправив в рот крошки. Неповторимый, никогда не надоедающий вкус и запах хлеба успокаивают ее.

— Мы вам за новым хлебом сбегает, — предлагает девочка с челкой, — а то разрезали, раскрошили...

— А этот куда? Выбросить?

— А она вообще хлеба не ест, только булку. С изюмом.

Это говорит мальчишка, резавший хлеб. Он снова сидит на полу, скрестив ноги. От чинной прически ничего не осталось, волосы взъерошены, а на макушке стоят торчком, и Марье Никитичне он очень нравится таким, без показной чинности. А парень задает вопрос, который, вероятно, томил его с самого начала:

— Вас тогда и ранило? В бытовом отряде?..

Она понимает, чего он ждет. Подвига. Вот как у Фимы Боярской — тащила санки с осиротевшим, еле живым ребенком, начался обстрел, от близкого разрыва прикрыла ребенка собой, осколок впился в плечо, к счастью — осталась жива. А с нею было проще и нелепей, и не в ту страшную зиму, а в самом конце сорок третьего, уже и немцев разгромили под Сталинградом, и конца блокады ждали вот-вот... Она тогда работала на заводе, в отцовском цехе. Собралась домой. Немец всегда обстреливал во время смен, знал, подлец, когда и что! Но в тот день особой стрельбы не было, где-то поодаль грохнуло да просвистел снаряд, — ну, если слышишь свист, значит — мимо. Тоня сказала: «Пристреливается, гад, давай обождем!» Она ответила: «Еще чего!» — и побежала на остановку, как раз трамвай подходил... Странно, разрыва она не слышала, только встало перед нею дымно-желтое облако и волной толкнуло в грудь, ей казалось, что она не упала, а привычно бросилась на мостовую, при этом ушибла обо что-то колено...

Сколько она переживала заново тот миг — и наяву и во сне, — всегда представляла себе одно и то же, очень ярко представляла, будто так и было. Тоня говорит: «Давай обождем!» — она соглашается: «Давай!» — они стоят под каменными сводами проходной, а тот снаряд раз-

рывается на остановке — слышен грохот и тряхануло пол. Если бы!.. Если бы она послушалась Тони... Если бы не побежала к трамваю...

— Ранило обыкновенно, — грубовато отвечает она, — шла с завода, бахнуло — и нету ноги. Могло и убить. Он тогда по трамвайным остановкам пристрелялся, их переносили то назад, то вперед, а все равно калечило многих. Как смена, так он и шпарит.

Ребята молчат. Трудно, наверно, воспринять, что так было — на улице, на трамвайной остановке...

— А насчет героизма — какие ж у меня подвиги? Вам бы найти Героев Советского Союза, орденосцев...

Ребята зашевелились, поглядывая друг на друга и на девочку с челкой, и та встала, как на уроке, когда вызывают, и говорит назидательно, кому-то, видимо, бессознательно подражая:

— Нет, почему же. Нас специально интересуют самые рядовые, мирные жители. Которые пострадали в блокаду.

И тут как бы взметнулась с краешка стула другая девочка, все время сидела неподвижно, не вздохнула, не охнула, одни застывшие глазища на побледневшем детском личике, — а тут взметнулась маленьким пылающим огоньком, руки сцепила и прижала к груди, глазища сверкают, а слова так и рвутся наружу:

— А по-моему, вы и есть герой! По-моему, вот такой героизм... Когда день за днем — девятьсот дней!.. Даже только прожить так! — а вы других спасали!.. Воду из Невы таскать!.. Не себе, а незнакомым людям, теперь скажут — чужим!.. Это, по-моему... Это!.. — И она вдруг, не закончив, садится на место, низко опустив голову.

— Люда совершенно права, — говорит мальчишка, сидящий на полу. — В общем, спасибо вам, от всех нас спасибо!

Ребята встают как по сигналу. Потом они стайкой идут по коридору, Марья Никитична бойко топает вместе с ними, уже не стесняясь увечья, даже подшучивает над собой: «рупь с полтиной!» И тут снова вылезает с вопросом та, пухлая девчушка:

— А вам протез не дали? Должны дать. Бесплатно!

— Есть у меня протез, — неохотно отвечает Марья Никитична, — в шкафу лежит. Жарко летом. И засупониваться одной трудно.

— А вы совсем одна живете? — не унимается пухлая девочка, но сразу же взвизгивает и стушевывается, наверно, поддали ей в бок или дернули за косицу.

В передней они мнутя, не зная, как прощаться. Она сама, привалившись на костыль, протягивает руку всем по очереди. Ей жаль, что они уходят — будто распахнулось окошко, обдало весенним ветерком и снова — наглухо... И вдруг ударяет в душу мысль, что и у нее мог бы быть такой сын, как этот взъерошенный мальчишка, или еще лучше — дочка, вот такая, как этот огонек, с глазищами. Только они были бы уже постарше, если б она вышла замуж за Женьку, когда он вернулся с фронта живой и упрашивал ее. И мама упрашивала: «Не упрямясь! Ведь любит он тебя». Своя гордая правота кажется сейчас глупой: ну, школьниками бегали вместе лыжные кроссы, ну, любили бродить по городу, а тут не бегали бы и не бродили... Ну, со временем даже — можно допустить — стал бы он тяготиться женой-инвалидом... а может, и не стал бы? Но даже если бы стал, если б ушел... остались бы сын или дочка, а то и двое...

— Товарищ Шарымова! — Это девочка с челкой вступила в свои права. — Если мы вас пригласим прийти на сбор... сможете?

— А почему же не смогу? Приду.

Она выпускает их и стоит прислушиваясь. Тихо-тихо спускаются ребята по лестнице, не озорничают, не болтают. Вот обогнули одну пло-

щадку, дробно простучали еще два марша, вышли на нижнюю площадку... уже и шаги еле слышны... А она все стоит у двери.

Стандартная люстра с тремя рожками вразлет ровно освещает комнату и выявляет все пятна на старых обоях, все трещинки на потолке. Русоголовый молодой человек в клетчатой бобочке навывпуск вдохновенно обмеряет стены, отец записывает цифры, а мать стоит, сложив руки на животе, и с удовольствием наблюдает за их действиями, хотя прекрасно знает, что обмеры ни к чему, нужно десять кусков семиметровых обоев, а если подгонять узоры — одиннадцать, слава богу, трижды отремонтировала без их помощи. Но вот птенец подрос и собирается вить гнездо, надо ж ему проявлять хозяйственность!

Она давно ждет, когда же Василек заговорит о женитьбе, ведь третий год дружат, вместе учатся, оба — без пяти минут инженеры. Еще в прошлом году она намекнула, ставя вишневую настойку: «Может, к свадьбе?» Но Василек рассудительно сказал, что «сперва надо встать на ноги», а сам вспыхнул, просветлел. Любит же! На ее характер — тянуть не стала бы, всем поначалу трудно приходится, на то и молодость, а у Василька и Лили какие трудности? Хозяйство — на то есть мама, внучата появятся — опять же есть мама, теперь это редкость, чтоб мама не работала и соглашалась взять на себя заботы молодых! И отец готов помочь, он больше всего боится, что у Василька с Лилей разладится, а потом сын приведет какуюнибудь «фрю»... Но рассудительность сына ему нравится, он уж забыл, чертушка, как они сами начинали — ни кола, ни двора, год в общежитии жили врозь, целовались по углам!.. А Василек и сегодня не сказал прямо, что решил жениться, а смущенно заговорил о том, что пора отремонтировать его комнату. Отец сразу засуетился, потащил обмерять стены. А ей, матери, хотелось определенности, она сказала, что отдаст свой зеркальный шкаф, «мне любоваться на себя срок вышел, а молодой — в самый раз!» Василек поцеловал мать в висок, шепнул «спасибо» — и все. Ну, ладно, подождем.

— Ты сегодня дома?

— Нет, к восьми уйду.

— Свидание?

— Вроде того, — Василек улыбается во весь рот, — с Лилей условились.

Отец и мать перемигиваются за его спиной.

— Может, сюда придете? Я бы тогда пирог-скороспелку испекла. Лиля любит.

— А я не люблю? Или для меня — не стоит возиться? — притворно ворчит отец.

Без двадцати восемь Василек заходит к родителям поглядеться в зеркало — в нейлоновой рубашке и наимоднейшем галстуке.

— Так ставить пирог?

— Ставь, мамулька, ставь!

Мать и отец провожают его до двери, а когда дверь захлопывается за ним, они вдруг обнимаются, в обнимку идут в комнату и там тоже стоят не разнимая рук, и столько у них радости, и тревоги, и набежавших воспоминаний, и сожалений о чем-то, что промелькнуло слишком быстро...

Василек идет по улице не торопясь, потому что вышел из дому загодя. Хорошо бы купить цветов, в таких случаях — полагается, и надо спросить Лилю, какого цвета обои ей хочется, а уж потом бегать и искать подходящие. Лиле очень понравились у Семиных занавеси на окне, в крупную клетку, кольца нанизаны на тонкую трубку, — ну, трубку он достанет, а материю на занавески лучше покупать вместе. Для трубки надо сделать маленькие кронштейны, кольца продаются пластмассо-

вые, подберем под цвет занавески. Мама дает зеркальный шкаф, это здорово! А что там хранить, в таком объемистом шкафу? Ну, его два костюма и две нейлоновые рубашки на белых распялках. А у Лили что есть? Она почти всегда ходит в брючках или в короткой черной юбчонке и свитере, иногда черном, иногда светло-зеленом. И еще у нее есть зеленое шерстяное платье... Да, мало у нее нарядов. Оно и хорошо — вместе наживем. Две зарплаты! И старики помогут, они Лиллю любят.

Он спускается в метро, в переходах бывают цветочницы. В этот вечерний час он находит там только двух бабок — одна продает остатки привядших гвоздик, другая, видимо, только что приехала из-за города, в ведре у нее сияет охапка лиловых и желтых плетей. Он бежит мимо, может, дальше найдется что-нибудь получше, но вдруг вспоминает...

Прошлым летом он учил Лиллю ездить на велосипеде, сперва двумя руками держал седло и бежал рядом, покрикивая: «Свободней! Не гляди на руль, гляди вперед! Чего вцепилась, держи легче!» — и Лили покорно подчинялась, а потом дунула вперед так, что он уже не мог догнать ее, следил издали, как здорово у нее получается, но как раз в это время она полетела в канаву. Когда он прибежал, она была уже на ногах и как ни в чем не бывало велела ему сбегать за вторым велосипедом и догонять ее: «Покатаемся как следует!» Когда он ее догнал, у нее на руке подсыхала основательная ссадина от кисти до локтя, видимо, падала снова. «Больно?» — «Пустяки!» С непривычки у нее должны были болеть и ноги, и спина, но она упрямо крутила педали. Они выехали на Выборгское шоссе и покатали рядом, отдыхая на гладком асфальте, Лили была очень довольна, что «одолела» велосипед, она смеясь спросила, можно ли поцеловаться, когда едешь рядом, и они попробовали, чуть не полетели, но поцеловались. Потом бросили велосипеды на обочине и отдыхали на поляне, сплошь заросшей лиловым иван-чаем и желтыми цветами, которые Лили назвала полевым львиным зевом, показывая, как они смешно разевают крошечные зевы, и они снова целовались, она была разгоряченная и необычно шалая, он чуть не потерял голову и она тоже, но в это время с неистовым жужжанием мимо них пронеслась по шоссе низкая открытая машина, чуть не перевернувшись на повороте, а вдали уже возникло новое жужжание... Он вспомнил, что сегодня автомобильные гонки, они вышли на обочину и стали наблюдать за тем, как проносятся машины. А потом пора было ехать обратно, чтобы не прозевать обед. Лили послала его нарвать иван-чая и львиного зева для мамы, а сама с ним не пошла, стояла у велосипедов и все ждала, не пронесется ли еще какая-нибудь машина. «А женщины бывают гонщиками? — спросила она, привязывая букет к багажнику. — Я бы пошла. Такая скорость! А ты хотел бы?» Мчаться вот так и еще, чего доброго, кувырнуться в канаву? Нет, этого он не хотел, в тот день он захотел, чтобы Лили стала его женой, про себя твердо решил — женюсь! Но сказал ей об этом в несколько неопределенной форме, дескать, лучше всего жениться незадолго до распределения, но она крикнула: «Догоняй, жених!» — и помчалась вперед уже совсем уверенно, будто век сидела на велосипеде, а он ехал сзади и смотрел, как мило обрамляют ее напряженную спину мотающиеся на ветру лиловые и желтые плети цветов...

Схватив у бабки все, что было в ведре, и заплатив ей больше, чем следует (за полевые-то!), он уже бегом взлетает по эскалатору и мчится на набережную, где ждет Лилия. Вспомнит она тот день?!

Набережная пуста. Две-три парочки маячат в отдалении, а Лили нет. Он чувствует себя глупо во всем параде, с чересчур большой охапкой цветов, кладет цветы на парапет и становится подальше от них —



он сам по себе и они сами по себе. Откуда ни возьмись появляется Лиля, соскакивает с велосипеда и шлепает его по затылку:

— Ты что опаздываешь? Я уже два раза проехала от моста до моста.

Он раздосадован тем, что она прикатила на велосипеде, ни обнять, ни прогуляться, а если идти домой, куда его денешь? Тащить на себе по лестнице?.. Совсем это некстати!

Она оглядывает его с улыбкой:

— Ты чего таким франтом?

— Почему — франтом? Обычно.

Она стоит за велосипедом, как за оградой, и дарить ей цветы кажется нелепым, но он все же подтягивает поближе всю охапку:

— Вот, тебе.

— Ты что, за городом был? И куда ж я их дену?

— На багажник. Помнишь?

Качнула головой. Неужели не помнит?..

— Ну, на Выборгском шоссе. Еще гонки были.

— А-а, тогда... А ты знаешь, как я тогда расшиблась? Приехала домой, а у меня, кроме руки, весь бок в синяках.

Разговор не получается.

— Мама звала тебя к нам. Она какой-то пирог затеяла, твой любимый.

— Ой, как соблазнительно! Но, понимаешь, я обещала девчонкам поехать с ними в Ольгино, у Татки сегодня день рождения.

— У какой еще Татки?

Он знает ее подружек, среди них нет никакой Татки. Оказывается — чья-то двоюродная сестра.

— Обойдется без тебя. Мне надо поговорить с тобой, Лиля.— И на ее нетерпеливое движение: — Серьезно поговорить!

— Ну?

— Да ты что такая... ершистая?

— Ну что ты, Василек. Совсем я не ершистая и очень рада видеть тебя, но сегодня я обещала...

— Троюродной тетке? И ты хочешь, чтобы я поверил?

Она оторопело смотрит на него — и начинает хохотать:

— Василек, ты говоришь тоном старого, ревнивого мужа!

Она хорошеет, когда хохочет, ему очень хочется поцеловать ее (если бы не этот дурацкий велосипед!), он верит, что она рада видеть его, ну, конечно же, рада, они не виделись уже три недели, потому что она со своей группой ездила на какие-то Камни, пока он сдавал военное дело, он собирался поехать к ней, но его группа праздновала конец экзаменов, а погом уже не имело смысла, и он не знал, где там искать их... Ну, теперь они не будут ездить врозь, точка!

— Почему — старого? Может, молодого мужа?

Слово сказано, сейчас она должна спросить, что он имеет в виду... Но она, сузив глаза до щелочек, смотрит куда-то на Петропавловку или еще дальше, а потом говорит:

— Жаль, что ты без велосипеда, мы бы немного покатались и ты проводил бы меня к девчонкам.

— Никаких девчонок! — Он решает идти напролом. — Мы поженимся, как только в моей комнате закончат ремонт, и будем всегда вместе, даже к девчонкам — вместе.

Он сам доволен, как это у него получилось.

— Василек! — нараспев говорит она и звякает велосипедным звонком. — Ты чудный парень, ты деловой парень, но ведь сначала надо узнать, хочу ли я выходить замуж. — И, посмеиваясь: — Даже в отремонтированную комнату.

— Но как же, Лиля...

— Что как же?..

Любят же девчонки кокетничать и темнить!

— Ну, при наших отношениях...

Теперь она низко склонилась над этим звякающим, хриплым звонком, крутит его и говорит быстро-быстро:

— Я знаю, я виновата, я была легкомысленная, и ты мог решить, что это серьезно, но это было детство, просто детство, у всех девчонок кто-то есть, а у меня не было, и мы дружили, ты славный парень, но для того, чтобы замуж... Нет, нет, это невозможно, это ненужно, ничего не выйдет, ты сам поймешь, что не выйдет, потому что... потому что...

— Ну почему не выйдет?

Ему все еще кажется, что она просто крутит, говорит «нет», прежде чем сказать «да», у девчонок это принято, но ведь они встречаются уже два года, и если он был сдержан, так только потому, что надо было кончить последний учебный год, очень ответственный, преддипломный, она ведь тоже постоянно отстраняла его: «Василек, зубри и не мешай!»

— Ну почему? Что ты вообразила?

— Ничего,—говорит она сухо,—понимаешь, дружбы мало, нужно любить, а я... а любви у меня нет.—И точно испугавшись:— Не сердись, Василек, я не хочу обижать тебя, я к тебе очень, очень хорошо отношусь. И давай не вспоминать этот разговор, ладно?

Он стоит оглушенный, приоткрыв рот.

Лиля разворачивает велосипед и прощально касается его локтя:

— Ну, извини, Василек. Не обижайся. А мне пора, я уже и так...

По-мальчишески занеся ногу, она вскакивает на велосипед и уносится, вовсю нажимая на педали, будто боясь, что он ее задержит.

Охалка иван-чая и львиного зева лежит на парапете. Он одним пинком сбрасывает в воду всю охалку и тупо смотрит, как цветы качаются на крохотных волнах, торкающихся о гранит.

А Лиля мчится по набережной так, что пешеходы шарахаются и кричат вдогонку не очень-то лестные слова. На велосипеде не запоешь, но само это бешеное вращение колес — как дикарская песня: сказала, сказала, сказала! Нет, она не забывает, что ее жизнь теперь осложняется, Васильку обеспечена работа в Ленинграде, отец позаботится, а ее пошлют неведомо куда, может быть к черту на рога или к дырявой бочке затычкой, ну и пусть, все равно, лишь бы все по-новому, по-новому, по-но-во-му!..

Ветер свободно влетает в раскрытое настежь окно и как бы цепенеет перед необычной преградой — длинный стол, длинный ящик, суживающийся от изголовья к подножию, и в нем среди белой пены кисеи и неяркой россыпи цветов — успокоившиеся, уложенные на вечный отдых, темные, узловатые руки и тоже успокоившееся, заостренное и разглаженное смертью, старое и прекрасное лицо с гордо сомкнутыми губами.

Нет, нет, этого не может быть, ведь уже два года... Но тогда почему же эти двое юношей, склонившихся у гроба, так похожи на моих сыновей?.. Почему даже на таком расстоянии, в странном ракурсе, созданном воображением и догадкой, я так ясно вижу эти дорогие неутомимые руки, это прекрасное лицо с гордыми губами? Лина Прохоровна, тетя Лина, чужая по всем законам и документам, самая родная из родных, это все же ты, хорошая наша, и кто бы ни была старая женщина, что лежит вон там, среди белой пены кисеи и неяркой россыпи цветов,— я вижу тебя и рассказываю о тебе, и разматывается в памяти прерывистая лента твоей простой и удивительной жизни.

Русоголовая девчушка из Тверской губернии, я вижу тебя бегущей

по размытым проселкам в неблизкую школу, где ты старательно учишься грамоте и счету, вымалывая дома копейки на тетради. У тебя одно богатство — сапоги старшей сестренки, из которых она, на твое счастье, выросла. Как ты их берегла! До морозов, только отойдешь от дома, снимешь, свяжешь за ушки — да на плечо, и бежишь, бежишь по лужам и вязкой глине, пусть мокро и холодно, только бы продержались подольше, другие тебе не купят, в доме голодно и пусто, от зари до темна надрываются на нескончаемой крестьянской работе отец, мать и старшие сестры, но из долгов не вылезти, с середины зимы ссужает им муку главный деревенский богатеи, что живет наискосок в большом доме под железной крышей, — безотказно и ласково ссужает, сколько ни попроси, а из урожая надо отдавать вдвойне, и еще мать ходит туда делать перед праздниками уборку, стирать, чистить хлев... А ты бегаешь в школу, тебя хвалит учительница — «обязательно надо учиться и кончить школу, слышишь?» Но беда уже подступает и никак не отвратить ее — растут ноги, хоть плачь, все теснее сапоги, уже немеют в них, а потом всю ночь болят пальцы... К осени перешли сапоги к младшему братишке, его и в школу послали, мальчику грамота нужней, а девчонке зачем она? Девчонку подрядили в няньки в тот дом наискосок, дитя там народилось, а Лине уже восемь лет, не заработает, так хоть будет сыта и одета.

...От побоев, от нужды, от обид ушла в город девушка не девушка, ребенок не ребенок, четырнадцатый год. Пешком, потом поездом — в Петербург. Адрес тетки, записанный на бумажку, в дороге потеряла. Бродила по большим, по страшным улицам, спрашивала какую-нибудь работу. Приласкала ее богатая и добрая тетенька, да хорошо, такая же безработная девчонка вовремя предостерегла — дура, в публичный дом зазывает, пропадешь! Убежала без памяти, потом кто-то указал контору по найму прислуги — и пошло! Чего только не натерпелась — сперва у скупых чиновников, потом у богатой немки (там разбила одну тарелку от сервиза на 24 персоны, немка через суд взыскала стоимость всего сервиза, больше года расплачивалась!). У генерала отъелась, приоделась, уже не девочка — девушка, но генеральский сын пришел к ней ночью, заорала на весь дом, надавала пощечин, расцарапала ему лицо — выгнали... На новое место поступила уже не горничной, а кухаркой, на лету научилась стряпать, «рука» у нее была, все получалось на редкость вкусно; гостей там бывало много, ходили в дом юнкера, шутили с красивой, насмешливой Линой, водили ее на танцы и на американские горы, весело ей было с ними, и сама не заметила, как пришла любовь... Тетя Лина, бедная моя, и через сорок лет ты бледнела, вспоминая. Ведь ничего в жизни не было светлее той любви и ничего не было горше, потому что в первый же вечер, когда хозяева уехали на юг, тот юнкер пришел к тебе черным ходом, нагловатый и уверенный, как к своей добыче... Ну и загремел же он по той черной лестнице! Два пролета летел кувырком, а вслед ему летела его шинель и фуражка и все злые слова, какие попались на язык; из всех дверей повыскакивали на крик и грохот... И через сорок лет гордостью и достоинством светилось, тетя Лина, твое несчастное лицо.

Незадолго до революции поступила к адвокату, с молодой хозяйкой дружили как подруги, жить бы да жить с ними! Но после революции (ничего в ней не поняла Лина, сердилась — беспорядки, магазины пустеют!) адвокат стал каким-то деятелем, почти не бывал дома, а приходил злоющий, «дерганый», даже вилку однажды запустил в Лину, что не так или не то подала, но она не сердилась — не в себе человек! А вечером пришли матросы с винтовками — арестовали его. Ох и распалилась Лина, обругала матросов, вцепилась в хозяина — не дам увести! — бежала за ними с такой злобной бранью, что и ее арестовали,

привели в ЧК, сказали: «Хлопнуть тебя придется, буржуйка ты и контра!» Что такое контра, она не знала, а за буржуйку обиделась: это я-то? С восьми лет в прислугах, брат на фронте, а вы меня стрелять? Стреляйте, гады! Рассмеялся кожаный начальник, стал расспрашивать ее, матросы тоже слушали, удивлялись ее горькой жизни и политической несознательности, а потом сказали: «Эх ты, сестренка! Ехала бы домой, ведь землю делят, а брат на фронте, смотри, не обделили бы!»

Помчалась в деревню — и как раз вовремя. Делили землю. Отец уже умер, мать болела, от брата никаких вестей, а мужики каждый себе тянет, получше полосу да поближе. Лине — самый дальний участок, где и не пахали еще... Плакала, просила, они от нее отмахивались как от комара. И тогда распалилась еще пуще, чем с матросами, их же мужички дурными словами обложила: хлопнуть бы вас всех, кулачье вы, контра! Вырвала-таки хорошую землю. Слезами и потом удобряла ее — ведь не умела ни пахать, ни сеять, а надо! Два года работала за мужика, потом брат Степан вернулся живой, вместе с ним лес рубили, бревна отбесывали и возили, новый дом ставили вместо прогнившей халупы, вдвоем бревна поднимали — с каждым венцом все выше, казалось — тут тебе и конец. Построились. Женился брат. Невестка попалась славная, на диво спокойная, Лина разбушует — а Маша уйдет с глаз долой, перетерпит, потом вернется как ни в чем не бывало, с улыбкой, с добрым словом. Можно бы жить, но не привыкнуть Лине к деревенской жизни, все тянуло в город. А тут подошла коллективизация. Но какой же это колхоз, если все кулачье во главе, а родичи главного богатея, у которого с восьми лет в няньках жила, — районное начальство! Раскулачивать они стали Степана — позавидовали его новому дому и сноровке, с какой Степан с молодой женой повели хозяйство. Неграмотна была Лина, что узнала за единственный год учения — все позабыла, законов подавно не читала, но тут и грамота не требовалась. Раскулачивать брата?! Степана?! Подняла соседей, кто победней и посмелей, в Тверь ездили, письма писали вплоть до Москвы, — она потом не могла ни рассказать, ни припомнить даже, как и где шумела, только кулачье выгнали, брату все вернули... а Лина, порадовавшись, поехала все-таки в город — в Ленинград. Поработала на фабрике, не понравилось — машины жужжат, от хлопка пыль столбом, жить негде. Устроилась уборщицей лабораторий в Политехнический институт, комнату получила. Профессора вежливые, студенты веселые, хорошо ей там работалось, душа отдыхала, а рукам было не до отдыха, бралась за приплату окна мыть, а в институте окна высоченные, однажды в актовом зале с самой верхотуры полетела, разбилась так, что еле выходили. В институте ахали, что она неграмотная, прикрепляли к ней от ликбеза то одного студента, то другого, а толку не было — уж очень они «прикреплялись», молокососы, приходилось гнать.

А годы шли, не сидеть же в старых девах! В хозчасти человек работал, лет на десять старше ее, дети уже взрослые. Жила с ним как жена, много лет жила, но свободу свою хранила: захочу — пущу, не хочу — иди прочь! Заботливый он был, добрый, а любить — не любила, загремела ее единственная любовь по той черной лестнице, другой не нашла. Да и есть ли на свете любовь? Наверно, выдумки, девичьи мечтанья... Не верила она в любовь, а вся ее жизнь была любовью — сестра приехала, замуж вышла, родился у них Юрочка. Племянница приехала, пожила, тоже замуж вышла, дочку родила. У Степана с Машей уже двое — девочка и мальчик, Ванечка. Всем нужно помочь, кому пальтишко, кому ботинки, да Маше на платье, брату на костюм, племяннице — денег в долг без отдачи, какая уж там отдача! Ванечка подрос, пусть приезжает, поступит в ФЗУ, у меня поживет. Ты ешь, Ванечка, ешь, ведь растешь, вон какой худущий, ешь!.. Да еще студен-

ты — принесет белье в стирку, а глаза голодные, садись, милый, поешь, небось в столовке такого не сготовят, садись, говорю!..

А потом — война. Ревмя редела, провожая своего нелюбимого, и студентов-ополченцев, и соседей, и совсем незнакомых... Еще не выплакала слез — саму послали на оборонительные. Копали сперва далеко от Ленинграда, потом близко, за Стрельной. Под бомбами. Под снарядами. Самолеты ихние чуть не над головами пролетали да по бабам — из пулеметов. Побежали от них куда глаза глядят — и немцам в лапы. Женщин было около ста, загнали их немцы в сарай, лопотали не поймешь что, но намеки делали понятные, с подмигиваньем. А пока бой — закрыли на засов. Лина первая сказала: если придут, бабы, не давайте, царапайте, кусайте, пусть лучше убьют! Но кругом шла стрельба, о них забыли. Когда стемнело, женщины дружно навалились, высадили дверь — и через фронт (где он, этот фронт, не поймешь!) лесками да болотами добрались до Ленинграда. Но война шла за ними. Бомбежки — сутки напролет. Обстрелы. Лине предлагали эвакуироваться, но Ванечка с фабзайчатами еще не вернулся с оборонительных, как же без Ванечки? А когда он вернулся — захлопнулось кольцо. Блокада. Голод... Ванечка ослабел, опух. Она шла через весь город на разбомбленные бадаевские склады, туда, где от пожара расплавился сахар, топором вырубала куски мерзлой земли, тащила на себе домой — сколько сил хватало унести, дома долго кипятила эту землю, давала отстояться, процеживала — и поила Ванечку сладковатой мутной водичкой. Она боялась, очень боялась бомб и снарядов, но продолжала ходить на работу — в институте развернули госпиталь, она убирала, мыла, носила раненых в бомбоубежище... Как мало ни перепадало ей еды, все берегла для Ванечки. Только открылась Дорога жизни, забегала на ватных, распухших ногах, добиваясь эвакуации — Ванечку вывезти! Вывезла. Живого. Со станции до деревни на руках несла — легким он стал, кожа да кости, но для ее ослабевших рук тяжесть была непомерна, не она несла, великая ее любовь донесла мальчика до родного дома. Но не оправился Ванечка...

Про жизнь свою в деревне в военные годы говорила ты, тетя Лина, скупко: как все. Тракторы, грузовики, кони — все ушло на фронт. Мужиков — председатель да двое раненых. А хлеб стране давали, мясо и картошку давали. Маша — золотые руки и золотой характер — стала лучшим бригадиром в колхозе. А ты — и стряпухой, и на покос, и на жатву, и в своем огороде, и племянница Шуручка на тебе. Когда пришла похоронная на брата Степана — брякнулась на пол без сознания, отнялись ноги, месяц пролежала, а подняла все та же великая любовь — Маше помочь, Шуручку вырастить...

Когда ты появилась у нас, ты была независима и горда, решать не торопилась, ничего не обещала: погощу. Литфондовская дачка была мала, ветры продували ее насквозь, тебя пристроили в одной комнатке с детьми, с мальчиками двух и шести лет. Ты говорила: в спокойную бездетную семью пошла бы вести хозяйство, а с детьми не умею. Чем они взяли тебя, мальчишки? Как вышло, что так быстро отогрелось и потянулось к ним твое сердце?.. Ты растила их, бранила, шлепала сгоряча, потакала их капризам, прикрывала их проступки, затевала с ними возню и смеялась, сверкая озорными, помолодевшими глазами и рядами белых зубов — очень тебе шло, когда ты смеялась, в такие минуты угадывалось, как ты была красива и как могла бы черпать и черпать радость, если бы иначе сложилась жизнь. Мы с тобою вместе пережили много бед, многовато даже на двоих, и в беде ты прочно стала родной, своей, уже не отделить. Не Лина Прохоровна, а тетя Лина, для всех друзей и знакомых, ленинградских и иногородних — тетя Лина, хозяйка дома, щедрая, веселая и ворчливая, стержень, вокруг которого все вращается, вынь

его — рассыплется семья. Ты бывала мнительной и сердитой, если что-то померещилось обидное, замыкалась в недобром молчании, и тогда все ходили притихшие, без вины виноватые, шепотом переговаривались: «Ты что-нибудь сказал?» — «Ну что ты!» — «А почему?..» — «Не знаю...» Ты потакала парням, когда они выросли, тишком давала им деньги, а потом отчитывала за гульбу, за девок, которые тебе мерещились распутными, жадными, готовыми вцепиться в завидных женихов. Все их приятели, хорошие и плохие, были у тебя на учете, ты их тоже ругала без стеснения, и подзатыльник иной раз отвешивала, и в долг давала, и наставляла на путь истинный — ворчливо, многословно, они посмеивались, перемигивались за твоей спиной, а потом выяснилось — все-таки слушали!.. Ты была бесконечно добра и отходчива, но бывала и дико несправедливой — от великой своей любви, от пристрастия к дому, ставшему родным. И тысячи дел успевала переделать незаметно, неведомо как, — иногда казалось, что само собою держится порядок в доме, чисто и наглажено белье, всегда есть вкусная еда, и заштопаны носки, и пришиты пуговицы... Ты ревновала ко всем и гнала помощниц, если пытались облегчить твой труд, — не так стирает, плохо моет пол, пыль вытерла, а на шкафу — хоть рисуй!.. Ты не признавала прачечных — рвут белье, ты долго примеривалась к стиральной машине, спрашивала продавца и покупательниц, восторгалась — надо же! как удобно! — а покупать не позволила: «Для лентяек придумали!» Ты была уже очень больна, но не хотела признавать ни болезни, ни старости, злилась на свою слабость, нарочно пересиливала ее, назначения врачей слушала почитительно, кивая головой, а только они за дверь — все по-старому: не приставайте ко мне, «и петь буду, и плясать буду, а смерть придет — помирать буду!». А когда валила тебя болезнь, хватала за руки: «Жить! Жить!» — и еще: «Только в больницу не отдавайте!» Когда «скорая» увезла в больницу, объявила там голодовку, пока не забрали под расписку домой.

Тетя Лина, тетя Лина, как же нам — без тебя?!

...Ветер залетает в раскрытое настежь окно, тихо обтекает смертное ложе, чуть шевелит белые волосы, строго обрамляющие прекрасное лицо с гордо сомкнутыми губами. Кто она, сложившая на вечный отдых темные узловатые руки?.. Кто эти молодые люди, стоящие у гроба с опухшими от слез глазами?.. Не знаю, но — тише. Тише. Успокоилась великая труженица, стержень и душа чьей-то семьи. Тише...

Сверкают зеркальные окна ресторана, через прозрачные занавеси видно, что там полным-полно, но пока что — все в порядке, все — в меру.

На улице тоже людно, в такие летние вечера тысячи людей выходят погулять или не спеша, пешком, идут домой. Группка длинноволосых парней стоит на углу — разглядывают проходящих девушек, иногда задевают их, но пока что ничего лишнего себе не позволяют. Вроде трезвые.

За углом, на бульваре, обычный хвост жаждущих возле пивного ларька. Ларек прозвали «Хмурое утро», там еще до открытия выстраивается очередь — опохмелиться. Толстуха, хозяйничающая в ларьке, увидев участкового милиционера, кивает ему как родному и с особой тщательностью нацеживает пиво в кружки — мол, недолива у меня быть не может, не из таковых.

В летнем кафе тоже полно. Тут нужен глаз да глаз, закажут кофе, а с собой принесут водку и распивают втихую, а то и при содействии официанток — тем выгодно, они и стаканы дадут, и закусточку. А потом пьяные начинают шуметь, ладно если обойдется без драки. Пока что там еще не разгулялись, хотя вот за тем и за тем столиками компании вряд ли пришли ради кофе.

Участковый медленно идет по своему участку, приглядываясь и прислушиваясь. Он молод, голубоглаз, курнос и был бы добродушен, если б

воинская привычка и нынешние обязанности не заставляли его подтягиваться и напускать на лицо выражение строгое и мужественное. Сейчас его цель — бульвар, где под разросшимися деревьями смерклось и где уже который вечер бесцельно бродит какой-то подозрительный тип — немолодой, в плаще болонье и сером костюме, без особых примет, разве что сединка на висках и странная нерешительность: то сядет, то вскочит, крупными шагами пойдет прочь и вдруг вернется, постоит, глядя куда-то вверх, опять сядет, а глаза скосит в сторону пивного ларька... Однажды подошел к ларьку, выстоял очередь и попросил большую кружку, а отпил совсем немного, выплеснул все содержимое, махнул рукой и ушел.

Два раза участковый видел его с женщиной. Довольно симпатичная женщина, но уже не молодая, под сорок. Пришли они на бульвар вместе, постояли неподалеку от ларька, о чем-то тихо поговорили, потом она быстро ушла, почти убежала, а он опять долго мотался под деревьями. Кто? Зачем? С какой целью? Делать ему нечего или?..

После того как в соседнем районе обокрали такой же ларек, молодому участковому особенно подозрительны этот странный гражданин и та женщина. Уж не высматривают ли они, как подобраться к ларьку и какие там запоры?..

Странный гражданин и сейчас тут — сидит на темной скамье, сжав голову руками. Может, ненормальный? Так или иначе, выяснить нужно.

— Гражданин, не найдется ли у вас спичек?

Тот как-то взбрыкивается, будто спал или испугался, переспрашивает, что надо, шарит по карманам и, найдя спички, с чрезмерной жадностью просит папиросу. Вид у него определенно чокнутый.

Милиционер присаживается рядом, достает две беломорины. Закуривают. Когда вспышка жидкого пламени освещает лицо странного человека, участковый видит в его глазах две радужные блестки. Слезы?! Он так потрясен этим открытием, что некоторое время молча курит и слушает, как жадно затягивается незнакомец. И уже не верит, что тот подбирается к ларьку.

— Случилось у вас что? — наконец с хрипотцой смущения спрашивает он.

— Ни-че-го. — В голосе странного человека звучит отчаяние. — Ни-че-го не случилось.

Они снова курят, сидя бок о бок на темной скамье.

— Видно, живете здесь, поблизости?

— Нет. Далеко.

— А я вас часто тут вижу, — помолчав, как можно мягче говорит участковый, — хожу по участку, туда, сюда, вот и вижу.

Странный человек кивает головой и молчит.

— Такая уж у меня служба. Хожу и смотрю.

Человек молча сосет погасшую папиросу. Участковый зажигает спичку, тот прикуривает и теперь сам пристально вглядывается в лицо милиционера. Так пристально, будто ему что-то очень нужно и он колеблется — спросить или не спросить. А спрашивает совсем постороннее:

— Женат?

— Нет пока.

— А девушка есть?

— Как не быть, — с широкой улыбкой говорит участковый. — Есть, конечно.

— Любишь ее?

— Да как же. Нравится.

— Нравится! — Странный человек тихо смеется. — Люблю или нравится — это, дружок, как говорят, две большие разницы.

— Ну, почему? Девушка самостоятельная. И семья у нее приличная, хорошие люди. Квартиру дадут, поженимся. Как полагается.

— Да, да, да,— быстро подхватывает странный человек,— раз люди любят друг друга—женятся! Как полагается.—И он снова тихо смеется, но уж очень невесело.

Молчат, курят.

— А у меня вот не выходит «как полагается». Хотя люблю.

— Вы?!

Вопрос вылетел непроизвольно, уж очень неожиданно признание. Пожилой человек, седина на висках...

— Я, дружок, я. А тебе кажется, только молодые любят? В моем возрасте, парень, любовь сильнее. И страшней.

Участковому пора бы идти, но уж очень интересно повернулся разговор, будет о чем рассказать товарищам. И Тоне. Но почему — страшной? Ненормальный какой-то. Уж не замышляет ли он что-либо недоброе — убить себя или ее? Ту немолодую, симпатичную?.. Что в таких случаях надо делать?.. Вот еще нелегкая принесла!

Будто прочитав его мысли, странный человек показывает куда-то вверх, на светящиеся сквозь листву окна:

— Вон там она живет. Ну, как магнитом притянуло. Глупо, конечно.

— Да уж не стоило бы,— убежденно говорит участковый,— вы еще не старый и, видать, не из пьяниц или там... ну, несерьезных. Специальность, наверно, неплохая?

— Отличная. Настройщик я. Рояли, пианино настраиваю.

— И заработок, наверно, подходящий?

— Сколько захочу, столько и заработаю. На части рвут, только приди.

— Вот видите.— Парень несколько озадачен, никогда еще он не давал советов таким почтенным людям, но что-то нужно подсказать этому ненормальному, раз уж он в откровенность пустился.— Женщин ведь хватает,— хрипловато, со смешком, говорит он,— и на все согласных сколько угодно, еще и угощение, и пол-литра поставят. Не на одной свет клином.

— На одной!

Участковый вздыхает. И снова подступает тревога — не замышляет ли недоброе? От такого чего угодно ждать можно!

Странный человек докурил, тщательно гасит папиросу, вминая ее в землю, потом несет окурки в урну, что стоит поодаль, возвращается и, схватив милиционера за рукав, начинает говорить быстро, возбужденно, заглядывая слова:

— Вот ты скажи, друг, почему?.. Люблю, и она любит, это знаю... Второй год мучаюсь. Ну, замужем, так не любит, почему же?!

Вынужденный отвечать, поскольку заданы вопросы, парень говорит как можно строже:

— Семья — семья и есть. Рушить семью — последнее дело.

— Так ведь не любит его, обрыдло ей там, понимаешь? Встретимся — вижу, тоскует! И детей нету. То есть есть дочь, но — отрезанный ломоть, замужем за военным... Ну скажи, можешь ты это понять: не уходит, потому что стыдно в сорок лет, и квартира, и все нажитое, и соседи, и знакомые,— в общем, что будет говорить княгиня Марья Алексевна!

— Свекровь, что ли?

Странный человек снова тихо смеется:

— Да нет, из пьесы.

Он отпускает рукав собеседника, откидывается назад и смотрит сквозь листву на верхние окна:

— Спать легли.— И, со стоном: — Ну, не могу! Не могу!

Встает и, кое-как кивнув на прощанье, быстрыми шагами идет прочь. Высокий, сутулый, одно плечо ниже другого. От профессии, на-



верно. И что он нашел в той женщине? Ну, симпатичная, вроде бы ласковая, скромная, да вот — характера нет. А может, мужа жалеет. И квартиру, конечно, жаль, все заведенное, а у этого чудака — навряд ли. Из-за одной любви — рушить?..

Сидит двадцатишестилетний парень в милицейской форме и, забыв о своих обязанностях, недоуменно и тревожно думает о любви — не дай бог мучиться вот так! — и в то же время томится невесть откуда взявшейся досадой, будто его чем-то обделили, и никак не разобраться — чем и почему.

Все реже хлопают дверцы машин, только такси подмигивают зелеными глазками, медленно катя вдоль улиц. В такой час вечернего затишья к одному из домов подкатывает черная «Волга», красивый, но уже слегка обрюзгший человек, вылезая, бросает шоферу: «Завтра как всегда!» — и неторопливо входит в парадную.

— Наконец-то! — еще за дверью, возясь с запорами, восклицает жена. — Это невозможно, с утра до ночи! — Она вглядывается в лицо мужа, принимая от него шляпу. — На тебе лица нет, Виталий! Почему так поздно?

— Как всегда, пустили на худсовет прорву народа, ну и пошла говорильня!

Из столовой доносится безмятежный голос тещи:

— Виталий Алексеевич, чай на столе! И ваша любимая баклажанная икра!

— Вот это кстати, — говорит он, стараясь приободриться, но сегодня что-то мешает ему, что-то придавливает. Начинается грипп? Или попросту усталость? Он с облегчением скидывает узкие туфли, строгий темный костюм, душную нейлоновую рубашку с тугим галстуком. Мила подает ему пижаму, пододвигает тапочки. Вместе с переменной одежды меняется и его лицо: проще и скучнее черты, заметнее дряблость кожи и угрюмые складки по краям рта.

— Ужасно жаль, что ты меня не взял с собой, — говорит Мила, переходя за мужем в столовую, — мне так интересно!..

— Не дури, — цыкает на нее мать, — на работу с женами не ходят. Дотерпишь до премьеры. Виталий Алексеевич, чай сразу? С лимоном?

— Сразу и с лимоном, Ольга Петровна.

За столом властно хозяйничает теща, Мила — на подхвате. Накладывая зятю изрядную порцию баклажанной икры, Ольга Петровна не в силах сдержаться любопытства, хотя и понимает, что лучше бы подождать:

— Ну как, приняла спектакль?

На сегодня разговоров о спектакле для него предостаточно, он отвечает сухо:

— В основном.

— А что вызвало... вы извините, но так как я спектакль посмотрела...

У Виталия Алексеевича удивленно взлетают брови.

— Утром, на репетиции.

— А-а...

Расспрашивать дальше теща не решается, но один вопрос все же слетает с ее губ:

— Глебов согласился с замечаниями?

— Все шло на основе широкой демократии, Ольга Петровна.

Они улыбаются друг другу. Отношения у них отличные, пожалуй, лучше, чем у Виталия Алексеевича с Милой. В институте Ольга Петровна учила его танцам и так дрючила за склонность сутулиться, что

и теперь, стоит ей поглядеть с прищуром, как он расправляет плечи и подтягивает спину, будто она по-прежнему вправе крикнуть: «Виталик, спин-ку!» Подружились они во время студенческой шефской поездки, когда заболел администратор и Виталию пришлось заменить его. На обратном пути Ольга Петровна сказала: «Виталик, у вас есть организаторские способности и природная руководящая хватка, подумайте, не стоит ли вам развивать именно эту сторону личности?» Он понял ее, но еще долго колебался: с первых выступлений в детдомовской самодеятельности ему захотелось стать актером; правда, только со второго захода он пробился в Театральный институт и с трудом переходил с курса на курс, но объяснял свои неудачи скованностью, порожденной тяжелым детством; по этой же причине преподаватели всячески вытягивали его, тем более что старательного студента с безукоризненной и трогательной биографией выбирали то старостой курса, то в комсомольский комитет, то председателем студкома... Он не отлынивал, честно тасил немалый груз обязанностей, привык выступать на собраниях, а когда его назначили руководителем шефских концертов, почувствовал вкус к административным делам и всяческому представительству. По распределению ему удалось попасть в театр, о котором он мечтал, к режиссеру Глебову, которого студенты боготворили. Целый сезон он был на мелких ролях, на второй год ему как будто повезло: возобновили «Горе от ума» и Глебов вдруг предложил ему: «Попробуйте, подготовьте роль Молчалина, введу дублером». Как он старался! Но на первых же репетициях Глебов начал злиться, потом прервал вопросом: «Кого из актеров вы видели в этой роли?» Он сказал. «Понятно! Вы недурно копируете чужую работу, но здесь-то пусто! Пусто!» Молчалина он так и не сыграл. Глебов потерял к нему всякий интерес, но терпел, потому что и в театре Виталий уже заседал в партбюро и руководил шефской работой. Ольга Петровна дружила с Глебовым (с кем только она не дружила в театральном мире!) и была без пяти минут тещей Виталия. Как раз в это время раскрылись неблагоприятные денежные махинации замдиректора, Глебов был в ярости и лично подыскивал надежного человека на его место. «А зачем рисковать с незнакомым! — так, кажется, сказала ему Ольга Петровна.— Почему не выдвинуть свой молодой кадр?» И «молодой кадр» стал энергичнейшим замдиректора, а спустя три года — директором в другом, меньшем театре..

Виталий был польщен выдвижением и обрадован увеличением зарплаты — накануне свадьбы это было ой как нужно! Но даже самому себе он не признавался, что испытал еще и чувство избавления... Впрочем, он скоро о нем забыл и даже любил иногда повздыхать, что вот, оторвали от любимой актерской профессии, конечно, кому-то приходится тянуть бремя руководства, раз нужно, так нужно! В новой роли он был властен, приветлив и доступен, пока ему не передали слова, якобы сказанные Глебовым: «Из плохого администратора никогда не выйдет талантливый актер, а из бездарного актера, оказывается, может вылупиться отличный администратор!» Уязвленное самолюбие сделало его суше и мнительней, зато он получал горькое удовольствие от чужих ошибок и не щадил самолюбия виноватых... От жены он скрыл обидные слова Глебова, но в минуту откровенности пересказал их теще. «Зря сердитесь,— заявила Ольга Петровна,— лицевидствовать на сцене может и дурак, а для руководства таким сложным организмом, как театр, нужны ум и дипломатия и еще многое, что у вас есть». «У вас тоже,— сказал он,— вы у нас руководящая теща».

С тех пор многое изменилось, и «руководящая теща» с безупречным тактом приспособилась сама и научила дочь соответствовать по-

ложению супруги ответственного работника, быстро продвигавшегося на все более и более ответственные посты. Настало время, когда она прямо-таки выдернула Милу из театра, утверждая, что незаметная актрисуля на третьестепенных ролях ставит Виталия Алексеевича в ложное положение. Мила закатила истерику, но быстро удовлетворилась тем, что появляется рядом с мужем на премьерах, как верное эхо повторяя его оценки и суждения. Зато Ольга Петровна ходит в театры «сама по себе», через своих многочисленных учеников и друзей достает билеты на спектакли, куда и Виталию Алексеевичу попасть нелегко, обо всем имеет свое мнение,— но с зятем держится подчеркнуто скромно, сохраняя дистанцию, не лезет в советчики и не только при посторонних, но и дома называет его по имени-отчеству. Виталий Алексеевич это ценит. Но за последнее время ему все чаще кажется, что о его действиях и указаниях она получает широкую (но не беспристрастную!) информацию и что она порой думает о нем как-то не так, как показывает. Вот и сейчас...

— Как хороша Максимова! — невинно восхищается Ольга Петровна.— Особенно во втором акте. Женщина до мозга костей — и какая женщина! А ведь ей далеко за сорок.

Ну, конечно, уже прослышала, что его замечания касаются сцены во втором акте!

Мила быстрым глазом примечает, что продолжать разговор мужу не хочется, и предлагает сыграть в «подкидного».

— Мне еще две пьесы читать... Разве что полчаса, для отдыха...

Скатерть снимается со стола, появляются карты. Виталию Алексеевичу всегда неловко заниматься таким несерьезным делом, поэтому он становится развязным, лихо тасует карты, с шиком сдает их и, объявляя козыри, нарочно по-детдомовски говорит «вини» и «крести», отчего у Ольги Петровны страдальчески закатываются глаза. Мила и в игре беспечна, забывает, какие карты вышли, часто ошибается. Ольга Петровна играет царственно, плавными движениями опускает на стол карту за картой и даже при явном проигрыше удерживает на лице хладнокровную улыбку. А Виталию Алексеевичу сегодня и выигрыш не в радость. Может, действительно начинается грипп?..

В спальне приглушенно звонит телефон. Виталий Алексеевич вскакивает, роняя карты, и пока он идет к телефону, меняется его облик — несмотря на пижаму и тапочки, он снова бодр и благопристойно подтянут. И голос звучит внушительно.

— Добрый вечер, Георгий Сергеевич. Только что приехал. Нет, спектакль не зятанут, но обсуждение!.. Конечно, настоятельно рекомендовал им сократить диалог в конце, о котором я вам рассказывал. Приносит образ и выглядит почти пародийно, во всяком случае, рождает какие-то аналогии. И потом любовная сцена во втором акте! Вообще героиня решена режиссером слишком... сексуально, что ли. Между нами говоря, у Максимовай это получается обаятельно... но для широкой публики! Для молодежи!

Торопясь к телефону, он не прикрыл за собою дверь, и теперь ему мешает тишина в столовой — Ольга Петровна наверняка прислушивается, надеясь услышать то, что он ей не расскажет. А Мила навострила уши потому, что с институтских времен тайно ревнует к Максимовай: все студенты по очереди влюблялись в эту красивую длинноногую озорницу, своевольную и на редкость талантливую!

— Послезавтра снова будет закрытый прогон,— прикрывая трубку рукой, говорит Виталий Алексеевич,— не найдете ли вы времени? Пока не переделали,— хихикнув, добавляет он.

— А вы не боитесь, что я тоже испорчусь? — спрашивает собеседник.

Они смеются, потом Георгий Сергеевич задает вопрос, на который и без учета посторонних ушей ответить нелегко: кто и что возражал и как держался Глебов.

— Спорили, конечно, но я, мне кажется, сумел убедить их... во всяком случае многих,— коротко отвечает он,— а Глебов...

Пауза совсем коротка, но перед ним мгновенно встает все, что связывает его и отталкивает от прославленного режиссера. Обожание, обида, благодарность за выдвижение и опять — горькая обида на те оскорбительные слова... восторг и злое удовлетворение, когда почувствовал себя над Глебовым... О, как ему хотелось отомстить Глебову, разбирая его явно ошибочную, ущербную постановку! С каким наслаждением он критиковал его, унижал, понимая, что Глебов не решится ответить, боясь потерять театр и созданный им коллектив! А Глебов ответил — и бросил на стол заявление об уходе. Судьба Глебова была в его власти... Сколько сил ему стоило поступить разумно, в интересах дела! Нет, не потому, что вмешались сверху, не потому... Он сам — сам позвал Глебова, убедил порвать заявление, во всех инстанциях сам заявил, что Глебов учтет критику, что Глебова надо сберечь для театра. Он считал свое поведение высокой победой принципиальности и объективности, он даже заново полюбил Глебова, готов был по-приятельски отвести проявления благодарности... А Глебов принял его защиту как должное. Даже спасибо не сказал. По-прежнему упрям, язвитель, хитер. А сегодня...

Он как-то вдруг до конца понимает, что не в усталости дело и никакого гриппа нет, а душу саднят те самые как будто уважительные слова... Как он не понял сразу, что они пропитаны ядом?!

Но об этом незачем говорить Георгию Сергеевичу.

— А Глебов как всегда упирался, но в целом, по-моему, согласен,— сдержанно говорит он,— завтра будем беседовать без широкой аудитории. Он хочет повезти спектакль на гастроль и понимает, что без изменений...

Закончив разговор, Виталий Алексеевич опускается в кресло и старается восстановить в памяти все, что произошло в конце заседания.

— Виталий, доигрывать будем?

— Нет, Мила, извинись перед мамой, некогда.

Да, так что же произошло на худсовете?.. Может, он дал повод, в чем-то ошибся? Нет, с первых же слов он выразил уверенность, что спектакль будет хорошо принят на гастролях, это всех настроило на добрый лад. Конечно, сказал он, надо поработать над устранением отдельных недостатков, в частности — в любовной сцене второго акта. Максимова, которая как всегда опоздала и пристроилась у двери, демонстративно прошла вперед и уселась на виду, выставив свои длинные ноги в прозрачных чулках,— знает, стержва, что в свои сорок с гаком еще более соблазнительна, чем в юности! Про нее говорят: настолько талантлива, что не боится выглядеть на сцене ни старой, ни уродливой... да, это так, сам видел не раз. Но вот она дорвалась до роли, где может быть олицетворением соблазна!.. Говорить об этом напрямую неудобно, он нашел прекрасную мотивировку: сцена второго акта нарушает хороший вкус и цельность художественного восприятия, она будет мешать эмоциональному настрою зрителей. Кое-кто уже одобрительно кивал, но Максимова спросила звучным, хорошо поставленным голосом: «Интересно, Виталий Алексеевич, как бы ты отредактировал арию Далилы, будь твоя воля?» (На «ты»! Да, они учились вместе, да, на театральных банкетах их студенческое «ты» даже мило, но на заседании, где он — официальное лицо, это вызывающе бестактно!) Ему удалось отшутиться: «Если бы ты была Далилой, а я Самсоном, я бы наверняка не заснул!» Все засмеялись, одна из актрис захлопала в ладо-

ши и пискнула: «Два — ноль в вашу пользу!» В такой непринужденной атмосфере он перешел к другим замечаниям и доказал, что диалог в последней сцене затягивает действие, его неудачный, «лобовой» текст разжевывает то, что уже воспринято образно, зритель этого диалога не примет, потянется «за галошами»... Глебов молча дослушал до конца, спорить не стал, но вдруг заговорил со своей задумчивой повадочкой: «Завидую вашему безошибочному чутью, Виталий Алексеевич! Свыше четверти века работаю в театре, а до сих пор мучаюсь сомнениями, то ли и так ли делаю, что примет зритель, что не примет... а вы всегда точно знаете что, как и почему...» В наступившей тишине раздался смешок Максимовой, — впрочем, она, кажется, шепталась о чем-то с соседом. А Глебов тут же предложил встретиться завтра и «в рабочем порядке» все обговорить. Простились дружелюбно, по-хорошему... Но как можно было не понять сразу, что он откровенно насмеялся, Глебов! И ведь все вокруг поняли, потому и притихли в ожидании, потому и засмеялась Максимова — ей что, она и в глаза рассмеется, не оробеет. А я как дурак проглотил, не понял, не ответил! Ой, нехорошо!..

Некоторое время он сидит подавленный, обескураженный. Потом рождается спасительный гнев — Глебову легко, может и созорничать, и накрутить черт-те что в спектакле, знает — заметят, поправят, тот же презираемый Виталий Алексеевич поправит! Еще и побахвалиться можно: я, мол, такого накрутил, так завернул, да начальство прижало. А либералов развелось много, пойдут ахи да охи, дескать, мешают творчеству!.. Их бы на мое место! Того же Глебова — пусть бы узнал, как отвечать за все их творческие выкрутасы! Пусть бы повертелся, как я, с утра до ночи да еще по ночам читал пьесы, которые идут и идут потоком, кто только не берется сочинять их!..

Он с отвращением подтягивает к себе очередные пьесы. Комедия? Да еще и сатирическая! А это драма? Не просто пьеса, а драма! Не хватает трагедии — для полноты картины. Если читать, раньше трех не ляжешь...

— Ольга Петровна, вы еще не спите?

Нет, не спит. Он вручает ей обе пьесы:

— Прочтите завтра, хорошо? Мне интересно знать ваше мнение.

Польщенная теща уплывает к себе с двумя папками, а он потягивается, довольный. Сегодня все равно не успеть. Ждали столько времени — подождут еще. А теща, как барометр, только «наоборот»; если говорит, что пьеса умная, — вчитывайся внимательно, а если восхищается, что смешно и остро, — тут уж смотри в оба. Что бы она там про себя ни думала, ему все же здорово повезло с тещей!

На лестнице, над одной из площадок, перегорела лампочка. Женщина, медленно и устало поднимавшаяся по лестнице, выбрала именно эту темную площадку, чтобы передохнуть. Раскрыла створку окна, привалилась спиной к оконной раме и вдыхает освежевший к ночи воздух.

— Вот хорошо, что я вас встретила, Анна Андреевна! — ударяет прямо в голову излишне громкий голос.

Помутившимися от головной боли глазами она видит жиличку соседней квартиры Беляеву. Беляева все так же громко жалуется ей на вчерашнее безобразие, удивляется ее терпению и напоминает, что есть товарищеский суд, и народный суд, и, наконец, милиция.

— Простите, у меня очень болит голова.

— Еще бы она не болела! У меня — и то!..

Беляева снова втолковывает про суд и милицию, потом предлагает порошки, потом все же уходит. Анна Андреевна сидит на подоконнике, прикрыв глаза и ловя ртом дуновение ветерка, который то живительно веет, то замирает. И боль то сдавливает голову, то отпускает. Если б

можно было тихонько пойти к себе, умыться горячей водой и сразу лечь в постель!.. Что ее ждет?.. Она сама себя убеждает, что ноги не держат после тяжелого дежурства, надо передохнуть, но медлит она потому, что боится идти домой... В свою уютную, светлую комнату с широким окном, возле которого покачивается верхушка старого тополя и по утрам на все лады гомонят разные пичуги. В чистенькую до блеска двухкомнатную квартиру, куда она въехала четыре года назад по обмену с замужней дочерью соседки, радуясь несомненной чистоплотности соседки и тому, что жильцов всего двое — низкорослая, коренастенькая Фрося («Просто Фрося, меня все так зовут!») и ее муж, Тимофей Степанович, высокий, поджарый человек лет под шестьдесят («Мы с ним молодожены, всего полгода как поженились»...). Муж — шофер конторы дальних перевозок. И когда он возвращается из рейса...

Позавчера Фрося испекла пирог с треской, наредила селедки, сбегала за «поллитрой». На свою неизменную синюю кофточку выпустила белый воротничок, что очень шло к ее черным волосам с обильной проседью. В ее плотной фигурке и круглом лице с черными глазами в мohnатых ресницах появилось что-то детское, восторженное, словно она ждала светлого праздника и вот — дождалась. А отсутствовал Тимофей Степанович всего неделю.

Днем забежала замужняя дочь Леокадия — попросить маринованных огурчиков, которые особенно хорошо получались у матери. Леокадия оглядела стол с красующейся в центре «поллитрой» и чуть не заплакала:

— Мама! Ты же обещала!

— Ну и обещала, так что? — огрызнулась Фрося, отводя глаза. — Рази ж это пьянка? С дальнего рейса да не угостить? — И вдруг рассердилась: — И чего ты мать позоришь перед людьми? Тоже мне, госконтроль! Взяла огурцы? Ну и вали отсюда!

Тимофей Степанович приехал благостный, привез с Украины огромные сочные помидоры, угостил ими Анну Андреевну. Фрося обнимала его: «Приехал, любименький мой!»

Весь вечер Фросин патефон крутил старые хрипучие пластинки Вяльцевой, Вари Паниной и какого-то цыганского баритона. Фрося выбегала на кухню с грязной посудой, счастливо охала: «Слышите, как поют? Аж душу рвут!» — а глаза у нее стали дикие, волосы свисали космами на мертвенно-бледные щеки.

— Ну и хватит, Фросенька, выпила и хватит.

— Тю-ю! Да мы только начали! Гу-у-ляет сегодня Фросенька!

Ночью они подрались. Анна Андреевна проснулась от Фросино го истошного крика:

— Убивает! Ой, люди, убивает!

Накинув халат, Анна Андреевна выбегала на крик. Фрося металась по кухне в одной рубашке, растрепанная, вместо рта с белозубой улыбкой — запавшая черная шель с одним сиротливым зубом. Выскочил в кухню и Тимофей Степанович — в голубых подштаниках, в порванной майке, по старому его лицу с всклокоченными усамн текли слезы, он совал Анне Андреевне сплющенный подстаканник:

— Будьте свидетелем, она меня подстаканником! Подстаканником по ноге, коленку расшибла, я вам покажу, коленку расшибла!

Дрожа от волнения и холода, Анна Андреевна уговаривала обоих как маленьких, сердиться нельзя было, Фрося зверела, если в такие минуты ее ругали. Кончилось все неожиданно.

— Покалечила я тебя, старая пьянчуга! — запричитала Фрося. — Пойдем, миленький, компрессик на коленку положу, пойдем, любименький, рюмашечку дам, припрятан у меня малыш, запасливая у тебя женка!

Малыша они «раздавили» дружно, сидели в обнимку и пели про ящичка, замерзающего в степи, и еще про то, что «жалко только волюшки во широком полюшке, солнышка на небе да любви на земле»... Анна Андреевна прислушивалась да и заснула, а когда встала, Тимофей Степанович густо храпел за стеной, а Фроси уже и след простыл — вскочила по будильнику, перемыла посуду, навела в кухне блеск и умчалась на работу — она никогда не опаздывала в свой торг, где работала экспедитором, гордилась тем, что она материально-ответственное лицо: «Отчетность у меня, как хрусталь! А если выпью, так на свои, на кровные!» Когда Анна Андреевна уходила на дежурство, Тимофей Степанович проснулся и, стыдливо отворачивая лицо, чтоб она не почуяла водочного запаха, сказал, что будет отдыхать дома три дня.

Ну, чему быть, того не миновать! Анна Андреевна рывком поднимается и шагает вверх по лестнице. Так она идет на самые страшные вызовы — ножевые ранения в драке, убийства...

В квартире тихо, только в кухне бурчит вода в котле да где-то что-то странно поскрипывает. Что бы это могло быть?.. Она открывает дверь своей комнаты и с досадой останавливается на пороге — стол отодвинут от окна, стулья опрокинуты на него ножками вверх, а Фрося стоит на табурете, поставленном на подоконник, и протирает стекла.

— Фрося, зачем?!

— Затем, что грязные были, — сверкая белыми зубами, отвечает Фрося и насухо трет стекло чистой тряпкой, оттого и скрип.

Так повелось с самого начала — Фрося входила в ее комнату, как в свою, скребла и мыла, ни денег, ни благодарностей не принимала: «Тебе руки беречь надо, а я привычная!» «Ты» она говорит всем.

— Задержали меня ироды с отчетностью, а то б успела до тебя, — поясняет Фрося, — устала небось? Да ты ложись, ложись, я мигом!

— Темно же сейчас окна мыть, — вяло сопротивляется Анна Андреевна.

— Когда Фрося моет, хоть черной ночью — чисто будет. А сейчас небо светлое. Ты снизу погляди — хрусталь!

Анна Андреевна валится на постель. Пусть скрип, пусть Фросина болтовня, все-таки лечь. Лечь.

Фрося ловко слезает с окна и через минуту приносит стакан крепкого чая и кусок пирога.

— Выпей и съешь, сразу оклемаешься. И не спорь! Докторица, должна понимать.

Пока Анна Андреевна сперва неохотно, а потом с аппетитом ест пирог и пьет чай, Фрося сидит напротив и с удовольствием смотрит. Как ни странно, Анне Андреевне это приятно. И головная боль стихает.

— Ну что, много ездила?

Фрося обожает рассказы о том, куда и зачем вызывали «скорую», что и где случилось. Когда беда происходит на улице с пьяным, Фрося безжалостно обвиняет потерпевшего: «Сам виноват, болван! Уж если я выпью, то из дому — ни в жисть!» Если пострадал ребенок, она плачет, всхлипывая, и потом помнит, расспрашивает, что с тем ребеночком, и как переживает мать, и хорошо ли в больнице лечат. Анна Андреевна не любит беречь душу рассказами о человеческих несчастьях — слишком их много прошло и проходит перед нею, профессиональное умение выработалось давно, еще на фронте, а спасительного очерствения души не произошло, чужая боль каждый раз будто полоснет по сердцу. Но сегодня ей самой хочется рассказать один случай, и, пожалуй, именно Фросе...

— Такой нелепый был вызов. Позвонила женщина, рыдает, слов почти не разобрать, только адрес: Кирочная, девятнадцать, «муж умирает, ради бога скорей, одни в квартире, я сама врач, понимаю — плохо,

очень плохо, скорей!». И трубку бросила. Ни фамилии, ни номера квартиры. Диспетчер говорит: подождем, может, еще позвонит. А я говорю — поеду. Дом тот я знаю, огромный дом, несколько парадных, но приметы уже есть — вдвоем в квартире и жена — врач. Поехали. И ведь разыскали!

— Ну и что там? Помер?

— Да нет, отходили. Растерялась она, врачу хуже нет своих лечить.

— Надо же! — вздыхает Фрося и встает, но не идет дымовать окно, а мается подле кровати. — Ты уж прости, Анна Андреевна, сволочи мы, такому человеку покою не даем! — Выпалив это, она молнией взлетает на подоконник, на табуретку, руки ее так и летают, поскрипывают под сухой тряпкой стекла, подрагивает от ее энергичных движений табуретка.

Из-под тяжелеющих век Анна Андреевна смотрит, как все ладно получается у Фроси. Дотерла стекла, присела на корточки, чтоб на фоне нетемнеющего неба проверить, чисто ли, сбегала сменить воду в тазу и яростно трет подоконник... Полечиться бы ей: ведь уже переросло в болезнь. Убедить бы ее — в больницу...

Нечаянную дрему прерывает грохот. Фрося уронила стул, передвигая стол к окну. Пол уже вымыт, влажен и, кажется, дышит чистотой.

— Красота! — говорит Фрося, оглядывая комнату. — Ты уборки не касайся, сама все сделаю, ты у меня будешь жить как в хрустале!

Она стоит, подбоченясь, над верхней губой поблескивают капельки пота.

— Я работы не боюсь, и лучше меня никто тебе не сделает, — хвастливо говорит она, — я с таких лет — к любой работе! За что Фрося ни возьмется — блеск!.. Не веришь? А ты знаешь, кто я была в войну? Управдом! Не говорила тебе? У-прав-дом! Это теперь жэки-мэки, конторы с фikusами, инженерá да техники с дипломами, а тогда что? Фрося да Ирка с бабкой Капитолиной — вот и весь штат. Ты и начальство, и дворник, и водопроводчик, и отопленец — всё! А с карточками порядок держать? А грязищу заledenевшую на себе вывозить, чтобы эпидемии не было? Всё — Фроська с бабами своими, с Иркóй да с Капой... А уж законность нарушать — ни-ни, не позволяла никому! Ты вот сама с фронту вернулась, а квартиру заняли, так? А у меня ни фронтовики, ни вакуированные такого не знали. Квартиры сохранила, вещи сохранила, у кого в закутке веник стоял — приехал, веник на месте! Кто сберег? Фрося!

Она придвинула к кровати стул, поколебалась.

— Ничего, я присяду? — Села, вздохнула. — Про меня как говорили? Фрося у нас министр! Если я во дворе шумлю — по всем этажам за двойными рамами слыхаты! Зато ремонт сделала первая по району! С красной доски не слезала. А потом — прости-прощай, диплома нет. А что ихний диплом, если у них ни быстроты такой, ни сноровки, ни охоты? Вот у нас Валька-техник: маникюр наведет и чуть что — зовет дворника или слесаря. А мы с Иркóй да бабой Капой на своих хребтинах кровельное железо на всю крышу перетаскали. Плачем и тащим, тащим и плачем. А почему? Душа кипела. Дерьмо зимнее выгребаешь — ну, бабы, Гитлеру в морду! А вот это — Геббельсу! А теперь — Герингу в зад!.. Ну, это я деликатно говорю. Сильней припечатывала. Такая злость трясла, не до выражений. — Она вдруг спохватилась: — Заговорила я тебя? Уйти?

— Нет, нет, ничего.

— Не болит?

— Лучше стало. Выплюсь ночь спокойно — и все пройдет.

Фрося вскинула свои глаза-маслины и потупилась. Помолчали.



— Да рази ж я не понимаю! — вдруг страстно выкрикивает она. — Думаешь, пропащая?! Вот и дочь Лека что ни день прибегает, оки в потолоки, ладошки к грудям, — алкоголик мама!.. Да рази ж я пила когда?! Муж непьющий был, детей нарожала, квартиру вот эту получили — только что языком не вылизывала. А потом что? Муж был — убили. Сыночки были, близняшки, я-то черная и Лека черная, а они рыженькие, в отца, по двенадцать годочков стукнуло... убили! Это ты можешь понять? В пионерлагерь — из пулеметов!.. Прибежала на Московский, на задние пути, встречать — вылезает из теплушка остатки лагеря, кто в бинтах, кто на палке прыгает, а моих нету! Как сказали мне — «насмерть!» — так и грохнулась, бьюсь головой и вою... Мужу на фронт написала: мсти до самого ихнего Берлина!..

— Верно написала, Фрося. Но пить — разве это помогает?

— Не помогает, — убежденно говорит Фрося, — я и не пила. Только зубами скриплю да подушку рву, все наволочки истрепала... — Она вдруг взрывается, глаза становятся дикими: — А ты, докторица, чистюля, херувим в халате, ты знаешь, что такое ремонт дома?! Ты пол подтрешь — душа заходится. А ремонт дома?!

— При чем же...

— А-а, ни при чем?! Вот и видно — ни черта ты не понимаешь, хоть и училась шестнадцать лет да всю жисть впридачу! Ремонт дома! Мы-то с бабоньками, с Иркой да Капой, на интузиазме что угодно делали. А к мужикам без водки не подступай! Да еще после войны — кладки на весы на одну плашку чистое золото, а на другую — самого завалящего мужика, так ведь мужичонка перетянет! А тут маляры, кровельщики, штукатуры, плотники, отопленцы-паропроводчики — это при лопнувших трубах да текучих батареях!.. А еще снабженцы всякие! Краску достань, олифу, железо! Гвозди — и то!.. Рядишься с ними — ставь водку. Подгоняешь, потому сроки подпирают, — водку! Закончили, расплатилась — опять же водку на стол!.. Я по дурости сначала на сознательность била, да и где мне водки напастись, так поверишь — ни тпру ни ну! Подружка моя Клава, по соседству управдомом была, — без водки, говорит, не пойдет, поставь им как надо и сама с ними выпей, уважь людей. Попробовала — не могу. Веришь ли, не проглотить — от запаху выворачивает наизнанку. А Клава советует: ты нос зажми и одним махом всю рюмку, дыхни и сразу черную корку пожуй... И верно, пошло. — Фрося засмеялась, головой покачивает: — Вот ведь дура была. — И сразу, со страстью, даже с каким-то бешенством: — А когда возвращаться стали! Каждый благодарит, каждый зовет: тут встреча, там новоселье, что ни вечер — зовут люди, свои жильцы, как откажешься?! И каждый подносит рюмку побольше — спасибо тебе, Фросенька, выпей за победу, за мир, за счастье! Так что, не выпить?!

Она вскакивает, Анне Андреевне кажется, что сейчас же побежит за «поллитрой», но Фрося со стуком расставляет стулья, настилает на стол и оправляет скатерку, потом стремительно оборачивается, подблеченясь и выпрямив свою коротенькую, тугую фигуру:

— Ну, ты скажи, баба я еще ничего?!

Анна Андреевна смущенно улыбается, как тут отвечать!

— Баба я! Какая ни есть — женщи-на! Вот ты, прости за слово, как старая дева, то ли тебе сорок, то ли все шестьдесят. А я без мужика не могу, лучше в петлю! — Она и без водки хмельно подмигивает и щерится. — Как я своего любимого зачаливала — чистый роман! Надо ж их знать, шоферов дальних рейсов! Хоть по шоссе, хоть по проселку — в каждом пункте невеста, сама набивается угостить да приветить! Бабыя одинокого — о-о-ох!.. А мой-то — вдовец, он и рад, сегодня тут, завтра там, слыхала, как по радио поют?.. Три года я его приваживала, и обстираю, и напеку всего, это я умею, и огурчики маринованные в сморо-

динном листе с чесночком, а уж поллитру на стол — завсегда! И что ты скажешь — от всех молодых отвадила, приворожила, в загсу потащила — всё честь по чести. Вот только ревную я, спасу нет. Исщипала всего!..

Из Фросиной болтовни Анна Андреевна выхватила одно — как старая дева! Не позавидуешь Фросе, дурно они живут, и этот ее Тимофей Степанович — дрянь мужичок... А тут вдруг зависть шевельнулась, боль давней утраты и злость на свою разборчивость — действительно чистюля, херувим в халате, вот и осталась одна. Самого близкого человека похоронила в братской могиле на подступах к Чешске-Будейовице, но ведь осталась жить, осталась! А сама себя высушила. Как старая дева стала...

Оттого, что эти мысли разом, душной волной, нахлынули на нее, говорит она суше и назидательней, чем обычно:

— Дуришь ты, Фрося. Мужа спаиваешь и сама спиваешься, облик теряешь. Бить тебя некому, вот и дуришь.

— А ты меня вдарь, если что! — азартно подхватывает Фрося. — Если еще хоть раз — вдарь как следует, не обижусь. А то больно уж ты мягкая, без характеру.

— У меня, Фрося, за дежурство весь характер сгорает.

— Понимаю, — кивает Фрося, — ну, прости, наговорила я тут. Отдыхай. И не сумлевайся — шуму не будет. Как человек говорю.

Уже сквозь сон слышит Анна Андреевна, что вернулся домой Тимофей Степанович, пошебуршилась на кухне Фрося — и все стихло. А среди ночи она подскакивает на кровати: за стеною что-то загремело, что-то со звоном разбилось, и вдруг два голоса заорали во всю силу легких: «Любимый город может спать спокойно...», и опять что-то загремело и зазвенело, разлетаясь на осколки.

— Уйди!

Молоденькая женщина стоит посреди комнаты, тренировочные брючки и глухой черный свитер обтягивают ее упругую фигурку, светлые волосы схвачены на затылке тесемкой, чтоб не мешали. Ее простенькое лицо свободно от косметики и было бы прелестно своей юной чистотой, если бы его не искажало выражение гнева и даже отвращения. В комнате никого нет, но она повторяет: «Уйди!» — потом со слезами в голосе бормочет: «Не то! Все не то!» — и застывает в мрачном раздумье. Она ненавидит сейчас себя, пьесу, нелепый текст. Вот уже неделю она мучается и не находит того внутреннего состояния, которое наполнило бы жизнью эту сцену и текст ее роли. Вчера ей показалось, что нашла. Она ощутила обиду и гнев своей героини, ненависть к обманувшему ее человеку. С легким сердцем шла на репетицию и жалела, что режиссер провозился с другими и только в самом конце предложил начерно «проскочить» ее с Алексеем сцену. Но довести до конца не дал, захлопал в ладоши и сказал: «Все! Завтра с утра репетируем сцену Марина — Алексей, остальные свободны». И бросил уже на ходу — обоим, но взглянув на нее одну: «Подготовьтесь хорошенько».

Она ушла, униженная собственной бездарностью. У Алешки все получалось само собой, казалось, он не прилагает никаких усилий. Вбежал беззаботный, привычно ожидая встретить радость и ласку, и вдруг понял: она каким-то образом узнала то, что он тщательно скрывал. Попробовал неуклюже оправдаться, даже рассердился, но быстро сник... Рядом с его абсолютной естественностью все, что делала она, было неестественно, фальшиво, ужасно! Она сама не верила в свой гнев, в свое желание выгнать его. Она не прожила, а проиграла всю сцену с нелепой истеричкой в голосе, с ломанием пальцев — кошмар! Дремучая провинция праба-

бушкиных времен!.. Дешевый актерский наигрыш, который она безошибочно чувствует у других и люто презирает!..

Ей хочется зареветь от бессилия. Сдерживаясь, она снова и снова вникает в переживания своей героини. Ей мешает текст. В таком положении она сама, наверно, ревела бы в три ручья, надавала бы обманщику пощечин, выкричала бы разом все, что она о нем думает, а уж потом сказала бы — уйди! Так и поступила Рита со своим журналистом, узнав, что он ей изменил: накричала так, что во всех уборных было слышно, распахнула дверь и крикнула: «Вон отсюда!» — и швырнула ему вслед, прямо в голову, его портфель и букет, с которым он к ней разбежался. А потом стояла в дверях и смеялась, глядя, как он вместе с пожарным подбирает с полу разлетевшиеся из портфеля бумаги...

Да, но Рита — другой характер, другое время, про нее не скажешь «обманутая девушка», она сама кого хочешь обведет.

Валерка!..

Шумы густо населенной квартиры она научилась отключать, будто их нет вовсе, но осторожный поворот ключа в замке и еле слышный хлопок входной двери она не пропустит — так входит только Валерка, потому что ключ у него «нелегальный», он тут не прописан, и они оба побаиваются квартуполномоченной, придирчивой дамы, которую они между собой называют Засохой. Правда, Засоха уже привыкла к Валерию и даже обращалась к нему с просьбой поставить жучка, когда перегорела пробка, но таиться от нее стало волнующей игрой, особенно по утрам, когда он скользил по квартире невидимкой.

Сразу повеселев, она готовится как всегда побежать навстречу и броситься к нему на шею, чтобы он подхватил ее и покружил, или поднял на руках, или прижал к себе и целовал, целовал... Но в последнюю минуту она решает разыграть его и проверить на нем свою роль, и не бежит навстречу, а застывает в глубине комнаты у стены, как застывала у воображаемой стены на репетиции. И вот он входит, она видит его ищущий взгляд и заранее проступившую улыбку (и тут же про себя отмечает, что вот так же, удивительно естественно входил Алешка).

— Я все знаю,— произносит она, останавливая его вытянутой вперед ладонью,— у тебя есть жена и ребенок.

Валерка запнулся на миг — и подхватывает как ни в чем не бывало:

— У меня их четверо, Маришка, четверо в разных местах! — Он сгрел ее в объятия и поцеловал.— Если ты когда-нибудь родишь мне сына, это будет пятый. Да, еще есть дочка в... в Австралии, но это ведь не считается за дальностью расстояния?

Она не могла не расхохотаться, сама поцеловала его, но когда он крепко обнимает ее и хочет продолжить это лучшее из занятий, решительно отталкивает:

— погоди. Я в полном отчаянии. Не умею, не понимаю, на репетиции делала черт-те что. Получила такую роль — и провалюсь.

— Провалишься,— весело соглашается он и тянет ее к креслу, где они чудесно умещаются вдвоем,— как пить дать провалишься. И вкрадчивая кошка Рита добьется этой роли.

— Вполне возможно. Не понимаю, что тут веселого?

Она все-таки засмеялась, пошучивания по поводу Риты у них в ходу и доставляют ей удовольствие, она отлично помнит, как Рита начала заигрывать с новым осветителем, стремясь присоединить его к своей коллекции,— но он, позубоскалив с нею, все-таки прилепился не к Рите, а к Маришке, совсем не знаменитой, начинающей актрисе. Заметив это, Рита бросила ей высокомерно: «И чего ты нашла в этой дылде?» Они оба любят повторять: и чего ты нашла, и чего я нашла в этой дылде?! Но сегодня, уместившись рядом с ним в кресле, она возвращается к тому, что ее мучает:

— Понимаешь, или пьеса — дрянь, или я ничего не понимаю. Они любили друг друга. Целый год!..

— Совсем как мы, — вставляет он.

— Как мы?.. — Она на миг поразилась сравнению, но не захотела отвлекаться. — Как же она могла за целый год не почувствовать фальши?.. Ну, хоть что-то уловить... заподозрить... — Поразившее ее сравнение выплывает снова: — Ну, вот ты... мог бы ты не почувствовать, что я тебя обманываю?

— А кто тебя знает!

— Перестань, я серьезно. Мог бы?.. Я бы обязательно почувствовала. Если ты по мелочи соврешь или недоскажешь, я и то чувствую.

— Это как сказать. Я бываю очень хитрым.

— Не трепись. Утром репетиция, самая ответственная сцена, а у меня ничего не выходит. Алешка прибегает беззаботный, влюбленный, у него это здорово получается, как будто он тысячу раз обманывал и выкручивался. А у меня сразу эти дурацкие слова: «Я все знаю!..»

— А что, ты так сказала — прямо мурашки по коже. Мне почудилось, что у меня действительно где-то припрятана жена с ребенком.

— Можешь ты побыть серьезным... дылда чернобровая? — Она приглаживает пальцами его густые брови и, растолкав его руки, устраивается в его объятии, но продолжает о своем: — И это трагедийное «уйди!», да еще дважды подряд! Разве она не хочет выслушать его? Найти оправдание? Нет, откажись репетировать, Ну, что я могу... когда я не верю, что именно так она себя поведет!.. Когда ни черта не понимаю в ней!

Помолчав, она говорит со злостью:

— Рита не стала бы мучиться! Она даже издевается — «правда чувств», «правда чувств»! Ей важно, чтоб дошло до каждого идиота. И чтобы отбивали ладони. Она бы вскинула руку, как в античной трагедии, и гаркнула на весь зал: уйди!

— Рита работает на публику, — посмеиваясь, поддакивает Валерка.

— Пусть срывает аплодисменты, я за этим не гонюсь, — еще сердитей говорит Марина, потому что в глубине души знает, что ее главная соперница совсем не пренебрегает правдой чувств, но умеет с удивительной легкостью (или так кажется?) проникнуть в правду характера и зажить в роли подкупающе просто. Но сейчас ей приятно осудить Риту, потому что сама она растеряна и не верит в свои силы, и она повторяет: — Я не гонюсь за аплодисментами. Мне надо понять ее состояние... поверить...

— Это не так просто. — Валерий становится загадочным, смотрит в сторону. — Ты же пока щеночек с мокрым носом. У тебя никакого жизненного опыта. Зато самоуверенности!.. «Я бы почувяла»... «Я бы», «я бы»... Вот я к тебе год хожу, даже ключ доверила... а ты хоть видела мой паспорт, какие там штампы да записи? Ты хоть разок задумалась, почему я не схватил тебя за руку и не потащил в загс? И ни разу за весь год не заикнулся о женитьбе, что обычно делают порядочные джентльмены в подобной ситуации?

Удар прямо в сердце — не в переносном смысле, а физически она ощущает сильный и глухой удар в сердце, отзывающийся такой же глухой и сильной болью. И тут же догадывается, что он шутит, но как бы он ни трепался, вопрос остается: почему?!

— Ты с первого дня поверила, что я живу в общежитии. А живу ли я в общежитии? Может, у меня дом и семья, жена и ребенок, и когда я ухожу ночевать в общежитие под предлогом, чтобы меня оттуда не выбросили совсем... может, я возвращаюсь домой? И пусть я не очень лажу с женой, но, как сказал Чехов, жена есть жена?

— Перестань! — Ее губы дрожат, глаза полны слез. — Перестань, такими вещами не шутят.

— А если я не шучу? — Увидав, как она побледнела, он притягивает ее на колени и крепко-крепко прижимает к себе. — Представила себе? А теперь попробуй заново продумать свою аварийную сцену.

Она рванулась из его рук, но он удержал ее, плачущую, злую, борющуюся сквозь всхлипывания, что так нечестно, такой ценой ей не нужно...

— Тогда пососи леденец. Вот этот, кисленький.

Он всовывает ей в рот леденец, она послушно сосет его, слышно, как он перекачивается у нее между зубами.

Она переводит дыхание и затихает, всем существом ощущая, что он тут, рядом, любит и все, что он наговорил, — неправда. Но вопрос остается: почему? Она обращает этот вопрос и к себе самой. Она всегда исповедовала свободолобие и независимость в любви. Театр — главное, искусство — вся жизнь, а любовь — дополнение, развлечение, разнообразие, пожалуй, и допинг, как говорит Рита. Ее первые краткие связи были приятны, но не оставили в ее душе особого следа. Когда появился Валерка, она тоже поначалу не придавала их отношениям особого значения, даже рисовалась этим. Летучая связь молодой актрисы со студентом, подрабатывающим в театре на должности осветителя, — почему бы нет? Но связь становилась все прочней, во время гастрольной поездки она тосковала без него и ходила потерянная, когда долго не было писем... Потом, на вокзале, его не было среди встречающих, и она пережила несколько минут горя, и страха, и ревности, пока не увидела его длинную фигуру — он несся, запыхавшийся, протаранивая вокзальную толпу и держа над головой связку растрепанных цветов, и она не удержалась, побежала навстречу, и они при всех целовались, так что потом в театре отбою не было от всяческих шуток... Но и тогда она все-таки не поняла, что Валерка для нее — та самая вторая половина, не разделишь. Радовалась, что он есть, и верила, что так и будет. А он может в один злосчастный день уйти из театра, не прийти к ней и вообще исчезнуть? Может даже не сказать «прощай», и останется от него только пара рубашек да зубная щетка... А он ей нужен. Нужен сегодня, завтра и всегда.

Валерка держит ее, притихшую, и поигрывает хвостиком ее волос, то пощекочет ей шею, то поводит им по своим губам. Ему не нужно спрашивать себя — почему? Он любил женщин, но вовсе не спешил жениться, а когда поступил в театр — тем более не спешил, ждал интересных приключений, и ему сразу повезло, сама премьерша Рита завела с ним увлекательный флирт, и уже было назначено решающее свидание (о чем никогда не узнает Маришка), когда в столовой, в очереди за сосисками с капустой... Да, он стоял в очереди, но как раз перед ним сосиски кончились и остались одни биточки, он огорчился, а сзади раздался энергичный голосок: «Ничего, и биточки пройдут!» Он оглянулся и увидел Маришку. Они дружно взяли биточки и компот, сели за один столик... Потом они говорили: счастливые биточки! Он довольно скоро понял, что с Маришкой — не флирт и не приключение, но чем сильнее он любил, тем тщательней оберегал свою тайну, потому что Маришка в первые же дни посвятила его в свои теории, что искусство — все, а любовь... Он не хотел быть смешным и старомодным. Может, действительно талант должен быть свободен от всяких уз? Может, актрисе необходимо разнообразие чувств, смена впечатлений?.. А Маришка, оказывается, самая обыкновенная девчонка, только нервная и впечатлительная (от таланта?), и никакая она не жрица свободной любви, вот он устроил сейчас довольно жестокую проверку ее чувств, и она расплакалась и до сих пор сопит как маленькая... Ведь и тогда, на вокзале, понял же он, что она любит! Потом снова не поверил... Но ведь любит! И надо решать, пока ее не увели, столько крутится вокруг нее всякого народу, тот же Алешка, которым она восхищается...

Маришка вдруг выскользнула из его рук, пробежала по комнате и остановилась перед ним, взяв в ладони лицо и глядя перед собой счастливыми глазами:

— Я дура! Дура! Никакой не гнев и не гордость надо играть, а любви! Вся роль — любовь, и только! Она не могла подозревать, приглядываться, выслеживать, потому что любила! Любила — значит, доверяла. А когда все рухнуло... тут уже петля, тут такое отчаяние, до столбняка! И никакие объяснения уже не могут...

Взглядом она как бы наткнулась на Валерия, мимолетно улыбнулась ему, но он сейчас мешал, и она сказала с азартом, который он больше всего любил в ней:

— Ты чем-нибудь займись, ну, почитай, что ли, только молчи и повернись лицом к стене, ладно? Я поработаю.

Женщина неторопливо гладит простыни. Движения однообразны, думать не мешают, и она думает о том, что скоро зайдет Степанида и надо будет идти с нею, раз согласилась, а зачем? Кто может ей помочь? Если бы раньше, может, вымолила бы, на коленях ползала бы... А сейчас — о чем?.. Глаза жжет как от слез, но слез нет. Прикрыв глаза от бьющего сверху света, она видит только белое полотно и поблескивающий утюг — вперед-назад, вперед-назад, — а в воображении встает все то же, все то же: солнечный пляж, солнечная вода озера, черное, изогнутое — будь оно проклято! — нависшее над водою дерево, от группы парней отделяется Лешенька, он ловко взбирается по изогнутому стволу, выпрямляется в рост — в одних плавках, мускулистый, загорелый, самый лучший на свете... Стой, стой! Не надо!! Но он не слышит, он весело кричит: «О-го-го-го-го!» — и, сдвинув ладони вытянутых рук, прыгает вниз головой. Зарябила и сомкнулась вода. Тишина... Только на этот раз она сама тут, она бросается в воду гораздо раньше, чем его застывшие от ужаса приятели, она ныряет глубже всех и первую находит подводную корягу, о которую он стукнулся, и его бездыханное тело среди водорослей, у нее хватает сил вытащить его на поверхность, парни помогают, делают искусственное дыхание, они делают его долго, но недостаточно, можно еще! Нужно еще!! — все уже отступились, а она упрямо отгибает назад и пригибает к коченеющей груди безжизненные руки, и вдруг легкое трепетание жизни проходит по его запрокинутому лицу... Почему, почему ее не было там, рядом с ним?!

— Ты готова, Маша?

Степанида, как всегда без стука и без спроса, протискивается в комнату своим рыхлым, грудастым и бокастым телом. Неодобрительно оглядывает соседку, тянет вздернутым носом:

— Никак, спалила?

Маша отдергивает утюг — на том месте, где ее рука прервала движение, на полотне отпечатался коричневатый след.

— Не дело и затеяла. Ведь идтить скоро.

Маша жалко улыбается:

— Ох, не знаю. К тому же Ирочка обещала забежать, да вот... Может, задержало что...

— Что девушек задерживает, известно, — язвительно перебивает Степанида, — говорила ж я, что видела ее! С парнем! У кино! Волосы что грива у лошади — на один бок, юбочка еле-еле стыд прикрывает. Тьфу!

— Молодая же, — робко заступает Маша, распрямляя на подстилке белую блузку с множеством складочек. Пересохшие складочки не даются, морщат.

— Да ты-то, Марья, не молодая, — сурово говорит Степанида. — А все как девка неразумная: то пойду, то не пойду, то хочу, то не знаю. Небось за какой грех тебя бог наказал, знаешь? Отмоли! Истинно гово-

рю тебе: на коленях да со слезами — отмоли! Может, господь бог в благодости своей простит тебя за усердие твое и встретишься ты со своим Лешенькой у подножия его!

Маша ставит утюг на подставку и ошеломленно глядит на Степаниду. Ее крупное, с обвисшими щеками, буро-красное лицо сейчас строго и вдохновенно, будто она действительно и с т и н н о знает, что делать и что их ждет. Может ли это быть? И что она сказала о грехе и божьем наказании?.. За мой грех — Лешеньку?! И как же это — встретиться с Лешенькой у подножия... господя бога?..

Ей становится страшно. Десять лет они живут рядом, больше двадцати — работают на одном участке, по возрасту почти равны, только Маша худенькая и даже теперь выглядит молодо, по-прежнему все зовут ее Машей или Машенькой, а Степаниду за глаза и даже в глаза величают Степанидой Гиппопотамовой, а то и просто Гиппопотамом. Пока был жив ее муж, Степанида была обычной бабой себе на уме, хитровой и неряшливой, иногда сварливой («Ну, понеслась!» — говорил ее муж), иногда бесшабашно веселой. Когда ее скромный, затюканный ею муж умер, она голосила так, что с улицы прибегали на крик, на похоронах кидалась на гроб и требовала, чтоб ее закопали вместе с мужем. Потом замкнулась: заговоришь — буркнет и отвернется. А с год назад появилась как бы новая Степанида, суровая, всезнающая и говорящая чужими, странными словами. Степанида, которая ходит в секту. И теперь в одной квартире с Машей живут как бы две Степаниды, и если с первой, понятной, Маша никогда особенно не считалась и не считается, то вторая, загадочная, все больше забирает над нею власть, временами от этой власти хочется отряхнуться, как от кошмара, но все чаще наплывают мысли, что вот, в безнадежности горя — какой-то огонек, проблеск надежды, спасение... Пусть соломинка, чтоб ухватиться... а вдруг?.. А вдруг?! Может, и правда, не в этой жизни, а где-то там, за гробом, что-то все же есть и как-то встречаются родные души?.. О, если бы! Если бы! Хоть разок, хоть на минуту!..

— Верно говорю, Марья: отмоли грех, заслужи — и снизойдет на тебя благодать господня! — грозно говорит Степанида и добавляет простецки: — Ну, так пойдешь или нет?

— Пойду, пойду, вот только доглажу.

— Ну, смотри!

Степанида уходит. Складочка за складочкой, складочка за складочкой. А мысли беспокойные, взъерошенные какие-то. Бог. Если он все видит и знает, как он мог за ее грех — Лешеньку? Лешенька-то в чем виноват? И почему — грех, если она любила и верила, и была война, и, может, погиб в бою тот лейтенант Толя, а вовсе не скрылся, как судачили бабы в деревне?..

Водя вперед-назад утюгом, она вспоминает своего лейтенанта Толю, как давно не вспоминала. Двадцати еще не было ему, новеньким погонам радовался как мальчишка, рвался на фронт — война шла к концу, успеть бы! И страх смерти или увечий трепетал в нем глубоко-глубоко, и жажда подвигов, и торопливое желание познать любовь, наглотаться нежности... С материнской пронизательностью понимает она теперь то, что между ними было (всего-то за одну быструю неделю!). А лица не помнит, старается вызвать в памяти, но перед глазами встает не Толя, а Лешенька... ведь похожи!..

Негромкий стук.

— Это я, тетя Маша! Можно?

Ирочка вошла — как скользнула в щелку. Обнять не посмела, только чуть приложила щекой к Машиному плечу и сразу же перехватывает утюг:

— Давайте доглажу.

— Ну зачем ты? Я бы сама,— бормочет Маша и охотно садится, распрямляя спину. Что-то уставать стала и слабость находит, иной раз даже голова кружится. Не ходить бы никуда, посидеть с Ирочкой, попить чайку... И чего Степанида наговорила? Волосы распущены? — так мода такая. И ей идет. Юбочка не короче, чем у других молоденьких, тоже — мода, а у Ирочки ножки стройные, ей можно. И ведь какая хорошая оказалась девочка! Отчего же раньше-то невзлюбила ее? За что?

— Еле вырвалась к вам,— тихо говорит Ирочка,— я теперь за весь ОТК отвечаю, за обе смены.

— Повысили, значит?

Ирочка виновато улыбается.

— Прежний начальник на пенсию ушел, а больше некого.

Вот такую же тихонькой она и впервые вошла в дом. Леша привел, объяснил — вместе работают и в вечернем институте в одной группе. Ирочка все молчала, только украдкой приглядывалась, а потом поднялась: «Извините, пора идти заниматься». И ушла. И Леша пошел за нею как привязанный. Вечером рассказал, что она сирота, с шестнадцати лет работает браковщицей, теперь на инженера учится, на заводе ее очень уважают. «Ты не смотри, что тихая, она ух какая принципиальная! Хоть сгори план и премии, брака не пропустит!» — «У вас что же... серьезно?» Леша покраснел и сказал: «Очень!» Все бы ничего, даже мысль мелькнула: «Видно, скоро внуков нянчить!» — но душа просила отсрочки, сами собой пришли доводы: днем на заводе, вечером — учеба, какая тут семья? Кончили бы сперва институт, стали бы на ноги, обзавелись, а то ведь ничего у них нет... «Как — ничего? — со смехом воскликнул Лешенька. — Четыре руки, две головы и два сердца! А у Ирочки еще и комната двенадцать метров!»

Еще и комната! Вот за комнату и невзлюбила девушку. Уведет Лешу на свои двенадцать метров и не оглянется, какое ей дело до того, что мать одна растила, берегла, могла забаловать сыночка — удержалась, через все мальчишеские соблазны провела, не давая споткнуться, сама от всего отказывалась — ради сына!..

Теперь отпустила бы хоть за тысячи километров, лишь бы знать — живой. А тогда показалось — жизнь рушится. И все вспоминала, как очертя голову удрала из родной деревни с четырехлетним сынишкой на руках, чтоб никогда не услышал Лешенька злое слово «приблудный»... Ради общежития и прописки поступила разнорабочей на стройку; ох и намаялась! — работа тяжелая, утром спешишь отвезти Лешеньку в детсад, вечером с работы — забрать из детсада, да сготовить, постирать, поштопать, и всегда что-то на нем горит — то ботинки прохудились, то пальтишко тесно, то костюмчик порвался... Выучилась на маляра, заработок больше и квартиру обещают. В десятках новых домов белила потолки, оклеивала стены, красила окна и двери — и наконец, через десять лет, сама получила комнату рядом со Степанидой и ее мужем — каменщиками того же стройтреста. Получила — а поставит туда нечего, ни кровати, ни табуретки! Тогда и пошла она к пожилому маляру Еремееву в «халтурбригаду» — по вечерам ремонтировать частные квартиры. За все бралась, лишь бы заработать. «Маша у нас безотказная», — говорил Еремеев. И правда, безотказная! Мужчины сложатся на троих и уходят: «Докончишь, Маша?» И она кончает одна — иной раз за полночь. А сердце болит — Лешенька-то один, вдруг ключ потеряет? Или газ не выключит? Или пожар устроит?.. Ничего, вырос, семилетку кончил, поступил учеником монтера, при заводе вечернюю школу кончил, а немного погодя поступил в вечерний институт. Однажды поглядел на мать и сказал властно, как взрослый мужчина: «Кончу институт и сниму тебя с работы, хватит! А пока — кончай с халтурками. Что, на две зарплаты не



проживем?» И ведь настоял на своем! Да только... появилась сероглазая тихоня, где уж теперь о матери думать!..

И еще она вспоминала, стыдясь самой себя, что так и прожила без мужской ласки — ни вдова, ни девушка. Убеждала себя, что ничего ей и не нужно, кроме Лешеньки. А потом встал на ее пути Костя, крановщик. Влюбился, цветы приносил, со своей верхотуры записочки ей кидал. Сватался. Весь участок следил за их любовью, уговаривал Машу — выходи, человек самостоятельный, где другого такого найдешь, чтоб с ребенком брал?! И оказалось — все ей нужно, не кончается бабий век в двадцать восемь лет. Расцвела, повеселела, как увидит Костю — сердце колотится, губы немеют, к щекам жар приливает. Но не торопилась, пусть привыкнет к Лешеньке и Лешенька — к нему. Стал Костя приходить — то яблоко, то конфетку принесет, игрушку починит, в цирк обещает сводить. Привязался к нему Лешенька. Но однажды сидели они, чай пили и вели свой разговор, а Лешенька липнет — колесо у машины отлетело, почини. А Костя возьми и оттолкни мальчонку: «Да не лезь ты, экой настырный!» На том и кончилось... И еще раз к ней сватался человек, когда Лешенька уже на завод поступил. Пожилой человек, вдовец. Померещилось Маше, что выпадет ей наконец облегчение, устала с работы на халтурку, с работы на халтурку, а по выходным — с одной халтурки на другую... Да и человек заботливый, встречает-проводит, придет — или пирожных принесет, или коробочку конфет, а то и сладкого вина. Степанидин муж сразу сдружился с ним, уговаривал Машу: «Чего думаешь? Выходи, чем одной всю жизнь маяться!» Степанида насканивала на мужа: «Много ты понимаешь! Молодому — любовь, а старику что нужно? Бесплатную домработницу да сиделку при его хворях». Маша думала: был бы человек хороший, тогда и я ему помогу, и он мне, заболит, так и поухаживаю, как же иначе?.. А решил вопрос Лешенька. Насупился, нахохлился: «Твое дело, мама, но если этот тип тебе нравится, я в общежитие уйду...» Так и жизнь прошла. Безмужняя вдова. Вся радость — Лешенька. Но вот женится — разве вспомнит, что ради него мать одна осталась!

Теперь бы она и не вздохнула, пусть любят, пусть женятся, и они ко мне забегут, и я к ним. А тогда — нарвелась втихомолку, чтоб Лешенька не заметил. От Ирочки глаза отводила, но через силу привечала ее — не ссориться же! В тот страшный день, когда они компанией поехали за город, она велела Леше привести Ирочку обедать — на пироги. «К шести поспеете?» — «На твои пироги да опоздать? Будем в шесть как из пушки!» Таким она и видела его в последний раз — веселым, с благодарной и счастливой улыбкой.

Тесто взошло легкое, пироги зарумянились в меру и к сроку. Шесть... половина седьмого... семь... четверть восьмого... Почему-то она не волновалась, только жалела, что пирог с капустой остынет. Полулежа на подоконнике, высматривала в воскресной толпе Лешину синюю с белым клетчатую рубашку... а увидела бегущую по улице девушку в Ирином сарафане, но с таким неузнаваемо страшным лицом, что кинулась ей навстречу и закричала еще прежде, чем узнала, как именно это случилось. А Ирочка припала к ней и не рыдала, а только дрожала крупной дрожью, и все повторяла: «Если б я не пустила его! Скажи я: не ходи без меня, не пошел бы. Ну зачем я пустила?!»

Первые дни горя они не разлучались. Кто кого поддерживал? То, что рядом был другой страдающий человек, вынуждало каждую из них как-то жить — готовить какую-нибудь еду, стелить постель, выходить за хлебом... Впервые не ревнуя и не стыдясь, они говорили о погибшем как о живом, узнавая, каждая по-иному, новые грани его личности и получая от этого горькую отраду. Иногда им казалось, что они уже и не расстанутся. Но жизнь брала свое — обоим нужно было работать, Ирочка

кончала институт, делала дипломную работу, потом на заводе ей дали путевку на юг, завелись у нее разные общественные дела... И все-таки она не забывала тетю Машу: прибежит, немногословно сообщит свои новости, вымоет пол или стирает замызганные малярные комбинезоны, а то просто посидят вместе, попьют чайку, помолчат. Проходили месяцы, прошел год, потом два года... Встречи становились реже, иногда Ирочка виновато рассказывала, что была в театре, или ездила «с ребятами» в Петергоф, или устраивали в клубе молодежный вечер... Маша одобряла — «ты молодая, жить-то надо!» — и потом, наедине, сама себя готовила к тому, что и любовь появится, не вековать же такой девушке одной. А в выходной приедет на кладбище — у могилки сидит Ирочка, сцепила пальцы, сжала губы, не плачет — молчит и думает, думает о своем...

Вот и сейчас гладит молча и невесть о чем задумалась. А Маша смотрит на нее и понимает, что ни с кем она не может ни поговорить, ни посоветоваться так, как с Ирочкой, что родней человека у нее нет, только Ирочка и привязывает ее к жизни, пусть тоненькой ниточкой, но привязывает...

— Ирочка!

— Что, тетя Маша?

Откликнулась ласково, а вид почему-то виноватый.

— Как думаешь, Ирочка... бог есть?

— Ой, ну что вы, тетя Маша! Был бы он... да и где ему быть?

Не знает Маша, где ему быть, но и мать с детства внушала ей, что где-то над ними, в небе, он есть и все видит, и Степанида тоже... А по радио говорили, что космонавты все небо насквозь пролетели и нигде ничего нет, кроме пустоты и невесомости, даже воздуха, чтоб дышать. Но если — одна душа, может, и не нужен ей воздух и невесомость не мешает?..

— Ну, а души... может быть, что души после смерти... встречаются?

Ирочка опускает утюг на подставку. Долго не отвечает, потом произносит чуть слышно:

— Если б это могло быть... я бы тогда — с того же дерева...

За стеной тяжело топает, громко ворчит, хлопает дверь Степанида. Напоминает, что пора идти. Что может знать Степанида? Но там, в молельне, есть, наверно, знающие и умеющие объяснить?..

— Я и сама не знаю, Ирочка. Но говорят же люди, будто что-то есть... и, может, души не умирают...

Ирочка приоткрыла рот, чтобы возразить, но не возразила, а как-то странно посмотрела, помолчала и задумчиво говорит:

— Так, наверно, легче.

И принялась доглаживать белье. Осталось всего две наволочки, но она их наглаживает еще тщательней, чем складочки на блузке. Глаза вниз, губы сжаты. И вдруг — громко, раздельно, как никогда еще не говорила:

— Тетя Маша, я пришла сказать вам. Я выхожу замуж.

Последняя тоненькая нить со звоном обрывается. И ничего уже нет, кроме холмика на Парголовском кладбище. Но надо сдержаться. Надо! Пусть не узнает Ирочка женского неизбежного, иссушающего одиночества.

— Кто же он?

— Наш, заводской. Из отдела главного механика. — Помолчала. — Леша дружил с ним... — Всхлинула, слезы одна за другой сбегают по щекам, капая на наволочку.

— Конечно, выходи. Что ж делать-то!..

Ирочка подходит, прижимается к плечу Маши мокрым лицом.

— Вы не думайте, тетя Маша, я никогда не забуду. И к вам приходить буду, как и раньше. Непременно буду.

И тогда Машина душа словно взмывает над образовавшейся пустотой, над лютым горем, над беспросветностью собственного существования, — взмывает и обретает мудрость и твердость.

— А вот это не нужно, Ирочка. Не приходи. Забудь. И начинай жить сначала. Так будет лучше. Правда, лучше!

У нее хватило сил поцеловать девушку на прощанье, и пожелать ей счастья, и проводить мимо Степаниды до выхода, и только вернувшись в свою вконец опустелую комнату — упала на стул, кинула руки на теплую еще подстилку, уткнула лицо в горку теплого, пахнущего глажкой белья и запричитала — не вслух, а сдавленно, шепотом, одно только слово: о-ой, о-ой, о-ой...

Степанида вошла неслышно, положила тяжелую ладонь на ее плечо и стоит, колыхнется над нею крупным рыхлым телом, сострадавая и жалея. Но когда она своими дюжими руками каменщика отрывает Машу от стола, ее голос звучит как всегда грубовато-напористо, обычные бабьи слова перемежаются чужими, заемными, пугающими и баюкающими Машу:

— Утри слезы да пойдем, а то и в моленную не пробьешься. Утешать не берусь, Марья, утешит тебя господь бог, если припадешь к стопам его и очистишь душу молением... Из-за чужой девки плакать, очень то нужно!.. Тоскуешь ты, Марья, от безверия, истинно говорю тебе, сама закрываешь глаза от света истины! Ну зачем живешь, с чем помирать будешь? Подохнешь, и все! — а свет божьей истины направит и озарит тебя, и откроется тебе прощение и благодать, и за гробом — свидание с дорогой душой... Ну, пойдем, что ли? Сколько мне стоять над тобой?!

Маша послушно вытирает слезы и накидывает жакетку, затем, взглянув на Степаниду, берет темный головной платок и тоже повязывается им до бровей. И тогда, сжавшись, семенит за Степанидой, как слепая за поводырем.

Остановить!.. Удержать!.. Но как? Как дойти вот до этих двух душ?.. Стена и стекло. И не достучаться.

Вот они вышли из-под арки ворот и удаляются вдоль темнеющей улицы. Я вижу широкую спину и крупно шагающие, массивные ноги Степаниды, семенящую за ней маленькую фигурку в черном платке... Вот они растворились в темноте...

Стою у окна, смежив веки. Меня душит бессилие. А когда открываю глаза, они сами тянутся — мимо множества окон — вон к тому неяркому, сосредоточенному свету.

Лампа-сгибайка с металлическим колпачком четко ограничивает круг света на рабочем столе. Раскрытые книги с карандашными подчеркваниями и отметинами на полях, логарифмическая линейка, готовальня, лист бумаги с ползущими вкось столбиками цифр, большие руки, для которых карандаш маловат и хрупок, и склоненная над листом кудрявая голова с наморщенным лбом, закушенной в раздумье губой и прищуренными на что-то искомое глазами...

Все остальное, непричастное к работе, тонет в полутьме, оно не имеет значения, что есть — то есть, не важно. Человек думает. В тишине тикает будильник. Тикал бы медленней, столько нужно успеть до ночи!

А в деловые размышления незаметно вползает нечто совсем постороннее. Человек откидывается на спинку стула, разминается, вот и улыбка пробилась — теперь видно, что человек-то совсем молод, ни морщин на лбу, ни сурово закушенных губ, — молод парень, от силы

двадцать пять. Мальчишеским движением он стряхивает с верхней полки и подхватывает маленький атлас мира, находит там карту Индии и, хмыкая, разглядывает ее. Индия! Это все-таки здорово — было бы — поехать в Индию. Что я знаю об Индии? Джа-ва-хар-лал Неру. Индира Ганди. Реки Брампутра и Ганг. Бомбей и Калькутта. Священные коровы — или слоны? Кажется, слоны. Древнейшие храмы. Танцы, где особо выразительно действуют руки... Вот и все? А Миронову я смертельно надоел со своими идеями. Он впервые за два года был приветлив: «Поздравляю, есть мнение включить тебя в группу наладчиков оборудования — в Индию, на год!» Он, кажется, не сомневался, что перед таким соблазном я спасую. «Товарищ Миронов, спасибо, конечно, но я должен довести дело до конца». Ох и рассердился же он! «Ты просто чудак! Сумасшедший чудак!» Интонация была такая, что понимай — дурак. А потом кричали все по очереди. И все повторяли — чудак. Разными интонациями. Только тихий главинж Павел Васильевич не кричал, а уговаривал: «Ну, пойми, Митя, идея у тебя толковая, но абсолютно невыполнимая в наших условиях. Преждевременная! Придет пора, дойдет и до такой автоматизации, тогда НИИ разработает, нам спустят деньги, учтут в плане... иное дело! И вообще этим НИИ занимается!» А когда он сказал, что именно для НИИ готовит материалы, потому что в научно-исследовательский институт не пойдешь с карандашными набросками и словесными объяснениями, Павел Васильевич только охнул: «Правду говорят — неисправимый ты чудак!»

...А ведь случилось в истории, что именно чудачки двигали прогресс. Это не значит, что я — двину. Ничего нового я не открыл, просто нашел хорошую возможность механизировать и автоматизировать две канительные операции. Окупится же — и быстро! Не надо быть экономистом, чтоб сообразить это. А я и подсчитал. Вся беда в том, что техника развивается быстрее, чем техническое сознание производственников. Сегодня они боятся мороки, а когда отстанут — спохватятся. В технике всегда так: что сегодня — преждевременно, завтра — запоздало.

...А в Индию — здорово заманчиво.

...Я — бездельник! Сижу и мечтаю. Вместо того, чтобы работать. А мой железный график горит.

Железный график висит перед ним на одной кнопке. Рассчитанный на пять месяцев — впритык. Если не отвлекаться ни на какие соблазны — ни малые, вроде футбола, ни такие громадные (прямо Эльбрус соблазна!), как Индия. Пять месяцев недосыпа, недугула и вообще не до всего на свете. Пять — в том случае, если ни в чем не заколдит. А то и больше. Значит, ни минуты зря!

Он энергично разминается и набрасывается на листок с цифрами. Считает. Ин-тер-ресно получается! Вникли бы лучше, чем обзывать чудачком!

За стеной, в коридоре, звенит телефон. Ну и пусть — дернулся, но усидел. Телефон звенит-заливается. Пойти? Нет, кто-то уже подходит. «Кого? — лениво спрашивает соседка. — Сейчас позову». И неторопливо шаркает тапками. Сюда или мимо?.. Карандаш выпал из пальцев, все равно ни одной цифры не разглядеть, на лист с цифрами почему-то наплыл серебристый туман, этакая мерцающая пленка.

— Митюша, вас!

Стул отлетел в сторону, дверь отлетела в сторону, соседка тоже куда-то отлетела, охнув. Схватил трубку — и глотает воздух, прежде чем откликнуться осевшим голосом.

— Алло.

— Митюшка? Здорово!

— Здорово.

Будто двое школяров говорят, без всяких там штучек-дрючек, а то

самое мерцающее сияние перебралось сюда и окружило черную коробку настенного аппарата, доносящего независимый голосок с придыханиями от робости:

— Ты что делаешь?

— Ну, что, тружусь. Считать начал. Сбила.

Она молчит. То ли испугалась, что сбила его со счета, то ли хитрит. А вдруг разъединили?!

— Ленушка, ты слушаешь? Это ничего. Как сбился, так и вобьюсь.

А ты откуда звонишь?

— Из автомата. Понимаешь, ребята зовут в кино. Может, пойдём?

— Ну, ты же знаешь!

— Отдохнуть-то когда-нибудь можно? Всего два часика.

Ох! Голосок близок и вкрадчив, а за спиной что-то нарастает, нарастает...

— А кто из ребят?

— Петя с Ларкой. Демин со Светкой. И еще Виталька.

— Ага. Еще, значит, Виталька.

— А что-о?..

— Ничего. Просто так.

Она выжидает.

— Вас целая компания. Так зачем тебе я?

— По-моему, это твоя компания, твои друзья,— начинает она запальчиво и вдруг отчаянно: — Раз звоню, значит, нужен. Мне.

Теперь он молчит. Это надо переварить. Нужен. Мне. Если б увидеть сейчас ее лицо, этот ее взгляд искоса...

— Так пойдём, Митюш?

Он с тоской оглядывается на приоткрытую дверь своей комнаты, где висит на стене железный график, где оставлен стол и цифры, такие нужные цифры, множество очень важных для него цифр... но между ним и дверью успела нарасти прямо-таки глыба, фосфоресцирующая глыба соблазна — хоть штурмуй ее по всем правилам воспитания железного характера, хоть беги мимо нее — на улицу. Но ведь это не два часа, а целый вечер, раз уж встретились, так пойдешь провожать... А если пропадет вечер, весь план к черту, и суббота, как назло, черная, и в воскресенье не выполнишь намеченное.

— Сегодня — никак.

Сжав челюсти, он грозно вперился в расстояние между собою и дверью — все! Никакой глыбы, никакой фосфоресценции, коридор как коридор.

— Если хочется, ты иди с ребятами.

— Ну-у...

Пауза становится затяжной. И все отвратительней думать, что она согласится и Виталька будет тут как тут со своими шуточками и анекдотами.

— А тебе чертить не нужно?

Сквозь черную коробку просвечивает ее неуверенная улыбка.

— В том-то и дело, что в воскресенье у меня намечено обязательно сделать один чертеж. А до того все просчитать!

— А если я тебе помогу? Ты же знаешь, у меня всегда была пятерка по черчению.

— Что ж тебе воскресный день терять,— мужественно говорит он и ждет, что она скажет. Но она гнет свое:

— Никто ничего не теряет. Ребята уже заняли очередь в кассу, ты подбежишь к началу, полтора часа — и все. Будешь считать завтра и в субботу, если не поспеешь — и утром в воскресенье, а я буду чертить хоть до ночи. И все быстро сделаем.

Он растерянно озирается. Он не может сказать, что при ней — не до

работы, какое там «быстро сделаем»! И что таких чертежей она не только не делала, но и не видала!.. А перед дверью его комнаты уже не глыба, а прямо-таки высочайшая гора с призывно сверкающей вершиной, с отвесными обрывами и глубокими расщелинами, соскользнешь — и крышка. Эверест или Джомолунгма — тоже где-то в Индии или около... А далеко за этим Эверестом или Джомолунгмой соблазна — стол и работа, его работа. Но от черной коробки телефона до того стола — не шагнуть.

— И фильм, говорят, очень хороший. С Банионисом.

— Вот и пойдем в воскресенье вечером, если успеем с чертежом.

Он сам удивлен, как у него получился этот невероятный, непосильный шаг через Эверест. Перешагнул — и точка.

— Что делать, Леноч. Есть на свете гуляки и счастливики, у которых на все хватает времени. А я трудяга. Ишак. Некоторые еще называют чудачком.

— Есть немножко, — говорит она, — так я возьму в предварительной на последний сеанс. И позвоню в субботу вечером.

Потом он снова сидит за столом и читает. Очень интересно получается. Да, очень интересные, убедительные цифры! Он улыбается и подмигивает им, этим цифрам. И самому себе. И вдруг понимает, что она все же придет на все воскресенье (со своими пятерками по черчению!) и вечером они пойдут в кино. Что ей Эвересты! — она запросто мелкими шажками обошла его, этот Эверест со всеми его обрывами и расщелинами... Что ж, если он посидит подольше ночью и сделает чертеж в карандаше, она вполне справится с тушью. И вообще она — молодец. Ребята, наверно, сейчас ее уговаривают. А Виталька? Пойдет он в кино или увяжется провожать ее домой?..

Он заново переживает весь разговор и мысленно спотыкается на собственных словах — трудяга, ишак, есть счастливики... фу, какое жалкое вранье! Никакой я не ишак и не несчастенький. Я, может, и есть счастливый, потому что делаю то, что хочу и люблю, и Лена это понимает, и если ей рассказать про Индию — тоже наверно поймет. Есть ведь — должно быть! — в самом человеке нечто, что важнее и шире самого отменного благополучия, зарплат и квартир, развлечений и даже интересных поездок. Есть разные способы жить...

Да, но если ей надоест?..

Холодея от этой мысли, он не позволяет себе обманываться: то, что он хочет и любит, — не на пять месяцев, а на годы, может, и на жизнь, и от этого он не откажется, потому что ему скучно быть ишаком и смотреть себе под ноги, он видит будущее техники и будет биться за преждевременность, потому что если не начать вовремя, будет запоздание, отсталость, рутина... Плохо, что пока — один, нужна пропасть знаний, пропасть работы. Вместе бы! Но когда он хоть как-то оформит свое предложение, найдутся же люди! Главное — не психовать. Пусть не сразу — найдутся, а пока железно трудиться и плевать на препятствия. И ни в чем не отступать.

Да, но если ей надоест?..

Когда у кого-либо в доме случается беда или ссора с соседями, нет лучшей слушательницы, чем Евгения Кирилловна. Она всегда посочувствует, а то и вмешается. Найти ее легко — если погода мало-мальски сносная, она часами сидит во дворе, в зеленом садике, устроенном рядом с детской площадкой. Врачи велели Евгении Кирилловне побольше дышать воздухом, а ходить ей трудно — под тяжестью расплывшегося тела ноги стали прибалывать и пухнуть. Многие знают, что ее собственная жизнь не задалась, но Евгения Кирилловна не распускается, одета опрятно и даже кокетливо, на садовом столике перед нею одна-две книги и

школьная тетрадка, в которой она бисерным почерком записывает свои замечания или понравившиеся мысли. На вопросы соседней она отвечает уклончиво:

— Должны же быть у человека духовные интересы!

Впрочем, она охотно отрывается от своих занятий, если кто-либо подсаживается к ней или проходит по двору. Она знает, кто с кем поссорился, кто в кого влюблен, у кого праздник и кто заболел. Боятся ее только мальчишки — будто нюхом чует, кто и как нашкодил, да неверные жены и загулявшие мужья — встретит и проводит таким взглядом, что деревенеют ноги, а при случае и предупредит кого следует.

— Я человек добрый, — говорит она, — но надо же бороться с безнравственностью.

Среди большого населения дома у нее есть подопечные, чьей судьбой она живо интересуется. Вот и сейчас она держит в руках книгу, а сама высматривает, не возвращается ли из магазина Ксения Федоровна, — месяца три назад эта женщина горько плакала у нее на плече, сын хочет жениться, а по всему видно — счастья не будет! С тех пор молодая невестка утвердилась в ее квартире, а Ксения Федоровна ежедневно проходит туда-сюда, но всегда спешит, поклонится и — мимо...

— Ксения Федоровна, ну можно ли вам таскать такую тяжелую сумку! Садитесь, передохните.

— Пошла за хлебом-булкой, а попались арбузы. Взяла два, с вырезом. Красные!..

Ксения Федоровна садится, отдуваясь, но как-то не чувствуется у нее желанья откровенничать. А ведь как плакала!..

— Я так тревожилась о вас, дорогуша, даже ночью проснусь и думаю: как там бедняжка Ксения Федоровна? И сама всплакну.

Ксения Федоровна удивленно смотрит, потом смущенно улыбается: — Это вы о том? Ну, поплакала по глупости, да и забыла! Такой уж народ матери, всего боимся. Не бедняжка я, Евгения Кирилловна, пожалуй — счастливая. Повезло мне. И Андрюше повезло.

— Да что вы? — В голосе Евгении Кирилловны звучат недоверие и обида.

— Что мы знаем о человеке, пока в жизни, в поступках не увидим? Привел её Андрюша — уж больно неожиданно! — а она смотрит дичком, исподлобья, спросишь — еле выжмет слово... как с такой ужиться? А теперь прямо посветлело в доме! Поверите, только возьмусь полы мыть или стирать, Ася бежит: «Зачем вы, мама! Я сделаю!» — тряпку и ведро отнимет, от корыта отставит, и все весело, быстро, с шуточками... А уж Андрюшу прямо не узнать!

— Очень, очень рада за вас.

Ксения Федоровна берется за сумку, чтобы уйти, Евгения Кирилловна придерживает ее за рукав:

— Не балуйте их, дорогуша. В первые месяцы все хороши, а потом... Вы знаете, как я вас уважаю. И уж кому-кому как не вам счастья бы хоть на старости лет, столько горя хватили!

— Всего было, и счастья и горя, — неуступчиво отвечает Ксения Федоровна, — жизнь есть жизнь. Все вперемешку.

— И Андрюшу вашего я люблю, — продолжает Евгения Кирилловна, — ведь с таких лет знаю! Теперь ему, видимо, за тридцать?

— В сентябре будет тридцать.

— Уж больно молоденькую взял! Девчонки, конечно, за таких серьезных охотно выходят. Надежней. И баловства больше.

— Всего шесть лет разницы, — запальчиво возражает Ксения Федоровна. — И какая она девчонка? Инженер. Любит его, это же чувствуется. А что побалует ее, так какой же это муж, если не балует? Меня, бывало, муж на руках по лестнице вносил.

— Инженер-то инженер,— не отвлекаясь продолжает свое Евгения Кирилловна,— а все на девчонку смахивает. Вчера, гляжу, идет из магазина, присела вон там, вынула кулек фиников да весь и усидела. Конечно, сама зарабатывает, чего ж не купить, если хочется.

— А я сроду не ела фиников.

— Отчего же, мне дочка иногда приносит. Вкусно.

— Кто что любит.

— Так-то так... А только в мое время — создала семью, так каждую копейку домой несешь. И уж если купишь вкусенького, так выбираешь, что и другие любят.

Ксения Федоровна тяжело поднимается со скамьи, радость в ее лице померкла, но говорит она добродушно-насмешливо:

— Ну какое-такое ваше время? Девятнадцатый век, что ли? В нашу-то молодость мы деньги вообще презирали, есть они — тратим, нету — невелика беда! Ни в своем, ни в чужом кармане не считали,— добавляет она уже без добродушия и, чуть кивнув, уходит.

Евгения Кирилловна оскорбленно сжимает губы. Сочувствуешь человеку, для ее же блага предупреждаешь, а она...

— Голубушка, Евгения Кирилловна, можно я около вас поплачу?

Эта соседка, с покрасневшими от слез глазами и носом, уже который год подкарауливает Евгению Кирилловну, чтобы поплакать всласть и пожаловаться — опять муж пришел пьяный, получку пропил да еще, похоже, ее сережки загнал...

Евгения Кирилловна охает, советует подать в суд и соглашается быть свидетельницей. Женщина поддакивает и благодарит, «только с вами и отведешь душу!» — но подавать в суд все-таки не хочет, «подожду, может, и найдутся сережки, может, и обойдется, он когда трезвый — ласковый, прощенья просит...»

— С твоей добротой дождешься, что он тебя бить начнет,— говорит ей вслед Евгения Кирилловна и прислушивается: за ее спиной в лестничной клетке гулко звучат чрезмерно оживленные голоса, басовитый и звонкий, и шаги — твердые мужские и мелкие, с пристуком, женские. Евгения Кирилловна откладывает книгу и садится вполоборота к той парадной, чтоб увидеть, кто там спускается. А-а, красоточка Лера и высокий, по-южному загорелый молодой человек. Наверно, это и есть ее двоюродный. Лерина мать утром хвастала, что приехал неожиданно-негаданно, откуда-то с южной границы, и навез пропасть фруктов. Везет же людям! Мой Витка тоже ведь не на севере, а хоть бы яблочко прислал!

Двоюродный не в форме, в светлых брюках и бобочке. Но тащит фанерный ящик — не иначе как фрукты! И уговаривает Леру:

— А то поедем вместе? Пацана поглядишь, такой мировой пацан!

— Не могу,— говорит Лера,— никак! — И глазами зирк-зирк по всем скамейкам, но вместо своего кучерявого очкарика натывается взглядом на Евгению Кирилловну и небрежно кивает ей: — Здравсьте!

— Здравствуй, Лера,— с нажимом на имя, чтоб поняла, как надо здороваться, отвечает Евгения Кирилловна и хочет спросить, кто да что и куда, но Лера и ее спутник уже умчались под арку ворот, с двух сторон подхватив ящик за обвязку.

Эта девушка раздражает Евгению Кирилловну — после школы провалилась на экзаменах в медицинский, другая переживала бы, а она ушла в турпоход, потом поступила в клинику института санитаркой и еще хохочет: «Утки выношу, чем не специальность!» Ухаживал за нею кандидат наук, отдельная квартира в том же подъезде, свой «Запорожец» и гараж в соседнем дворе... так нет, отказала, и повадился к ней этот очкарик с рваным портфелем... А теперь вот двоюродный какой-то появился. Двоюродный ли? Если он и вправду пограничник, зачем вырядился в штатское? Не полагается. Сергей никогда не позволял себе...



Она роняет книгу. Этого еще не хватало! Сколько лет не вспоминала, очень-то нужно нервы дергать, а сейчас ожило в памяти такое, что и совсем ни к чему: как ходили за грибами в сосновый бор возле лагеря, она была беременна Сонькой, Сергей волновался, не устала бы, а когда попался на пути ручеек, поднял ее на руки, перенес и, покружив, сказал: «Вот она, моя тяжелая ноша!» Ведь было же! Было!.. Ей хочется припомнить еще что-нибудь хорошее, но в память лезут всякие дрязги, и ее жалобы по начальству, и особенно тот день, когда он стоял перед целой комиссией, почернелый, сгорбленный, и почему-то все тер ладонью седеющий висок, а потом тихо сказал: «Можете разжаловать, можете исключить, но жить с нею не могу и не буду!» Подбористый, сердитый генерал рявкнул на него: «Видно, вы совсем уж ничем не дорожите?!» — и другим, смягчившимся голосом предложил послушать жену; она тотчас заговорила, она хорошо подготовилась, вместе с подругой все обосновала, какой он есть, картина получилась яркая, генерал багровел и багровел, казалось, сейчас изничтожит Сергея... а он вдруг поднялся со стула и ка-ак хлопнет кулаком по стулу: «Слушайте, вы, жена! Если он такой подлец и развратник, зачем он вам нужен? Зачем вам около такого негодяя жизнь свою цветущую губить? Получаете от него по аттестату добрую половину жалованья, оставляет он вам квартиру и все нажитое — ну и живите без забот и огорчений! Предлагаю разрешить майору развод и никаких взысканий не накладывать». И все, кто накануне обещал поддержку, все тотчас согласились — стадо бессловесное!..

Она прижимает руки к груди и старается размеренным дыханием пересилить начинающееся удушье. Вот так всегда, стоит позволить себе вспомнить... еще бы, такие переживания!.. Где-то в самой глубине сознания робко пошевеливается мысль, что она сама не то и не так делала, как надо бы, сама оттолкнула, упустила хорошего мужа, не был же он подлецом и развратником! Но мысли этой не пробиться сквозь многолетние напластования злости и подозрений. И разве она была плохой женой? Дом держала в чистоте, каждую неделю пироги пекла, торты делала... Детей его растила, обшивала... Знакомства поддерживала только самые лучшие, кого попало в дом не приваживала... Что он мог предъявить ей? Была требовательной? Так на то он муж и отец, да еще военный, требовала, что полагается. Иные жены, чуть что не так, начинают скандалить, а она сперва старалась объясниться, напомнить о своих правах и его обязанностях. Культурно. И вот благодарности! Еще и сына отнял! Надо было запретить им встречаться и переписываться, так боялась — вдруг меньше денег переводить будет. А он и сманил Витьку! Растила-растила одна, учила уму-разуму, прямо над душой висела, плохих товарищей всех отвадила, а мерзавец чуть подрос — и усвистал к отцу, в военное училище. Была бы поддержка в старости, так нет! Осталась одна дурища Сонька, тридцатилетняя девица, дальше продавщицы «Гастронома» не пошла, да и там от нее проку мало. Женихов перебирала-перебирала — тот голодранец, тот без квартиры, а теперь что?!

— Долго вы играть намерены? — злым окриком сплугивает она мальчишек, раскачавшихся на качелях. — Такие битюги, веревки перетрете!

Мальчишки хотели было наругать, но раздумали — себе дороже! — соскочили и с гогогом помчались на улицу. Теперь до ночи будут шататься неведомо где.

А из подъезда выходит морской офицер с мальчуганом Костином. Оба курносые, оба светлоглазые, на Костике — морской костюмчик и бескозырка с гвардейской лентой. Люди говорят: сразу видно, отец и сын! Но Евгения Кирилловна знает, что мальчишка — ничей, Аленка из 63-й родила его неведомо от кого, в метрике был прочерк, а бравый моряк появился, когда Костику шел третий год, и вот ведь повезло девке! —

взял с довеском, выправил усыновление... а что нашел в Аленке? Разве что на гитаре бренчит, а так — Сонька и та красивей.

Костик застывает перед свободными качелями, обычно они заняты ребятами постарше.

— Ой, папа, покачаться!

— Так ведь нас с тобой за булкой послали?

— Ну, папа! — канючит Костик. — Я немножко, пока ты ходишь.

Моряк посматривает на окна своей квартиры, не выглянет ли Аленка, — надо же, без ее разрешения боится оставить мальчишку!..

— Идите, я присмотрю, — говорит Евгения Кирилловна.

— Вот спасибо! Главное, чтоб на улицу не выбежал. — Он подсаживает мальчика на качели. — Покачайся, матрос, но если ты хоть на шаг за ворота, голову отверну и ножки выдерну, ясно?

— Так точно, ясно! — выкрикивает Костик.

Принимается он храбро, но качели болтаются из стороны в сторону, свободный конец доски задирается. Евгения Кирилловна подходит и помогает Костику раскататься. Костик пыжится изо всех сил и бормочет «я сам», поглядывая по сторонам — вдруг ребята увидят, что его качают, как маленького.

— Ну сам так сам.

Костик чуть не падает, потом садится, потом ложится, лежа у него выходит лучше, доска идет ровней, но раскатать ее не хватает силенок. Евгения Кирилловна подталкивает доску и спрашивает:

— Часто он так грозит голову отвертеть и ножки выдернуть?

— Угу! — с восторгом отвечает Костик.

— Бьет тебя?

— Чего-о?

— Ну, бьет тебя? Наказывает? Обижает?

— Кто? Папа?!

— Папа-то папа... — Она колеблется, медлит, но все же говорит: — Так ведь неродной он тебе.

— Папа?!

Доска еще качается по инерции, а Костик лежит плашмя, не двигаясь.

— То-то и оно, что неродной. Разве родной отец стал бы так грозиться? Голову оторву — это ж надо придумать!

Костик слетает с качелей, кое-как удерживается на ногах и кричит:

— Врете! Врете!

— Ты еще и ругаешься? Дурной, невоспитанный мальчик!

Она возвращается на свою скамью и склоняется над книгой, краем глаза наблюдая за мальчуганом. Постоял... отошел к кустам, спиной ко всему миру, и елозит каблуком по земле... Может, зря сказала? Пусть бы они сами, как хотят? Но должен же он знать! Рано или поздно все равно узнает, а привяжется сердцем — еще больше будет. Надолго ли этот папа! Своих собственных и то бросают, не задумываются. А неродной — неродной и есть.

Вот и Лерин кучерявый очкарик! Шлепнул рваный студенческий портфель на скамейку, уселся рядом с ним и озирает интересующую его часть дома от верхних окон до выходной двери и обратно.

— Лерочку ждете?

Он вздрагивает, смущается, неопределенно двигает головой — то ли подтверждая, то ли отрекаясь.

— Она недавно ушла. С молодым человеком.

— С каким?!

— Новый какой-то. Видный собою, в белой бобочке.

После растерянного молчания кучерявый искусственно взбадривается и, спасая самолюбие, восклицает:

— А-а! Как я забыл! Мы же условились!

И торопливо уходит, налетев на низенький штакетник, ограждающий цветник, и на угол песочницы, а под аркой чуть не выбив бидон из рук идущего навстречу старичка.

— Ну и шалопут,— усмехается старичок и садится рядом с Евгенией Кирилловной,— за пивком ходил. Стариннейшего друга жду в гости.— Не вызвав интереса этим сообщением, он сочувственно спрашивает:— Ну как, не опубликовались?

Старичок пишет мемуары, поэтому Евгения Кирилловна чувствует в нем родственную душу и посвящает в свои дела. Несколько лет назад она послала очень резкий отклик на роман, который разругали в печати, и отклик напечатали в рубрике «Письма читателей». С тех пор ее охватила критическая страсть, и она пишет и пишет отзывы на разные книги, но их почему-то не печатают.

— Теперь без блата, Николай Иваныч, не опубликуешься,— вздыхает она.— Смело скажу, мои рецензии не хуже тех, что печатают, но ведь у меня ни связей, ни знакомств!

В другое время она поговорила бы на эту тему обстоятельней, но сейчас ей мешает застывшая у кустов жалостная фигурка.

— Костик, хочешь, покачаю?

Молчание.

— Не смущайся, малыш, я не сержусь.

И снова — молчание.

— Уж когда нет воспитания, так нет его! — дрожащим голосом говорит Евгения Кирилловна.

Ей очень хочется уйти, но ведь она обещала присмотреть за мальчуганом. Кто мог думать, что он так расстроится!

На минуту ее отвлекает появление Леры — запыхавшаяся Лера вбегает во двор и оглядывает все скамейки, даже, кажется, за скамейки и за кусты зиркнула глазом. Приоткрыла рот, чтобы спросить, но не решилась и неуверенно пошла в свою парадную.

— Уж не того ли шалопута ищет? — посмеивается старичок.

— Кто их знает. Дело молодое.

Сидеть бы и мирно болтать с приятным человеком, но невыносимо чувствовать, что в нескольких шагах странно молчит Костик, и страшно, что вот-вот появится этот его папа.

А папа уже идет, он издали выкликает:

— Матрос Костик, к приему пряника — товсь!

Встрепенулся мальчуган, но головы не повернул. До дрожи напряжены спинка, шея, опущенные руки.

— Не получается у него в одиночку качаться,— торопливо сообщает Евгения Кирилловна.

— Костик, ты что? Упал? Ушибся?

Моряк пытается повернуть мальчугана к себе, Костик ожесточенно сопротивляется, отпихиваясь локтями, головой, плечами... и вдруг с отчаянным плачем утыкается зареванным лицом в отцовский китель:

— Ты же мой папа! Ты — папа!..

Моряк стоит неподвижно, только ладонью крепко прижимает к себе стриженую головенку. Его курносое добродушное лицо искажено яростью. Евгения Кирилловна торопливо и невпопад заговаривает со старичком, обдумывая, как бы незаметно уйти. Плача уже не слышно, но голос моряка до нее доходит, хотя он произносит совсем не громко:

— И зачем такие паскуды небо копят?!

Старичок тоже услышал. Понял или не понял, но засуетился, схватил бидончик с пивом:

— Ну, пойду до дому, до хаты.

Евгения Кирилловна вскакивает, хватая со стола книжки, тетрадь. Как нарочно, самопишущее перо выскальзывает из ее трясущихся паль-

цев и укатывается под скамейку. Она перегибается через спинку — никак! Становится на колени, шарит рукой...

Отец и сын проходят мимо, будто не видя ее.

— Дурачок, у нас с тобой носы, как два пяточка поросячьих, — говорит моряк, — тебя же под копирку сделали с меня, разве не видно? И какой же ты мужчина, если слушаешь сплетни? Как же мы с тобой к пингвинам поплывем?..

Шестилетний человек со всхлипом переводит дыхание.

— Господи, мама, что ты ползаешь тут? — раздается над головой Евгении Кирилловны.

Дочь отстраняет массивную фигуру матери и рывком поднимает перо. Ее миловидное лицо уже тронута увяданьем и бледно от усталости и раздражения.

— Сидишь тут, глупостями занимаешься... лучше бы ужин приготовила или хоть чайник поставила! Топчусь, топчусь с утра до вечера на ногах, а приду — даже чаю нет.

— Долго ли — чайник! А к чаю принесла чего-нибудь?

— А чего я принесу, когда в кармане ни копейки?

— Господи, ну и тетеха!

Они рядом, но отчужденно шагают к своей лестнице.

Заглянуть туда? Войти вслед за ними — в их злую, душную скуку? Не хочу!..

А если они существуют, хочу я того или не хочу?!

Но я же не обязана и не могу — обо всех! А прикрыть глаза, будто не замечаю, будто их нет на свете... могу?..

И все же — мимо! Мимо! Прочь!

Темное окно. Чуть-чуть брезжит какой-то скрытый свет. Почему меня охватывает тревога, голодное нетерпение перед этим темным окном? Почему меня томит ощущение, что я, будто из долгого странствия, возвращаюсь, как в родной дом, к удивительно знакомым и понятным людям, о которых знаю все?.. Откуда взялась уверенность, что сейчас я увижу в этой темной комнате — в кабинете, конечно же, в кабинете, заставленном книжными стеллажами! — хорошо знакомое, даже в страдании сдержанное, умное скуластое лицо ученого, с которым рассталась уже много лет назад... чтобы снова увидеть сейчас, в страшнейшие часы его жизни?!

Да нет же, не может быть!

В нижнем ящике моего стола лежит заброшенная, запылившаяся по краям папка с надписью «книга 2, планы и наброски». Там почти все, что осталось от второй книги дилогии. Ее рукопись, такую любимую и далеко не законченную (еще бы работать и работать!), я спалила на дачном костре в отчаянную минуту, а когда ринулась спасать — пеплом рассыпались страницы. Уцелела одна глава, да вот эти наброски и планы, да еще родословные героев и особый, не без труда составленный «возрастной график» — кому в каком году сколько лет, — ведь два десятилетия должна была охватить дилогия!.. Мне не нужно заглядывать в график, я и так понимаю, что сегодня, в начале 70-х годов, не может быть Русаковского, и совсем стара Ненаглядная, и намного старше Галинка... И все-таки я вглядываюсь в это темное окно с трепетным предчувствием встречи — зная и не зная, каких трудных часов свидетелем стану...

Или это мираж — и встречи не будет?

На зеленый колпак настольной лампы брошены газетные листы, замкнутый круг света выделяет на темном сукне столешницы стопку

книг и глыбу поблескивающего гранями угля, искусно обработанную под чернильный прибор. Стены сплошь укрыты стеллажами — книги, книги, книги. А на тахте неподвижно лежит человек — руки под голову, длинные ноги вытянуты за край тахты, глаза вперены в одну точку, в очень далекую, неразличимую точку.

Даже в полумраке я узнаю эти глаза, полные умной силы, узнаю крутые скулы, сейчас напряженно сжатые... Русаковский! Я вхожу в его жизнь и вместе с ним — нет, его глазами вглядываюсь в ту неразличимую точку, и мучаюсь его мукой, и его слухом воспринимаю звуки жизни, продолжающейся вокруг.

За стенами кабинета, то в одной комнате, то в другой, осторожно постукивают каблучки жены, иногда доносится ее приглушенный и все же мелодичный голос — второго такого он не встречал. Галинка тоже где-то там, прилепывает разношенными тапками и молчит. Вот уже четыре дня как приехала — и молчит. Вздвигаясь, не похожая на себя, вернулась из своей первой экспедиции неожиданно и досрочно, а почему? «Так сложились обстоятельства». И своему дорогому Кузьмёнку не позвонила, а ведь почти год не виделись. Может, в письмах поссорились, а теперь страдает, оттого и примчалась?.. Или в экспедиции вышел какой-то конфликт, погорячилась — а теперь стыдно?.. До сегодняшнего утра это его волновало, он пробовал расспрашивать, но Танюша за спиной дочери подавала знаки — не надо. А сама пьет валерианку и, кажется, вот-вот заплачет. Еще вчера готов был схватить дочь за плечи и потрясти как следует — признавайся, что натворила, и не смей волновать маму... Еще вчера.

Оказывается, один день, даже один час может все переиначить, перечеркнуть все, что было до. Шел на прием, как все, пусть тревожась, но и в тревоге есть надежда, шанс. А потом — потом за один час он заглянул в такое черное ни что, что вышел уже другим, уже не как все, уже за чертой обычной жизни с ее сменами тревог и надежд, забот и неприятностей, и стало странно, что можно принимать к сердцу всякую повседневную ерунду, плакать и глотать валерианку из-за того, что своевольная девочка с кем-то там поссорилась или напоролась в данных, перепутав керны, или еще что-либо такое же пустяковое, отчего разгорелся сыр-бор, драма. Когда все так обнаженно просто: жизнь и смерть. Есть и — нет. Где драма, которой они не понимают. А может, и тут — никакой драмы?.. Если тебя нет, совсем нет, все уже не важно, не видишь, не чувствуешь, даже свою смерть, наверно, не осознаешь, цепляешься остатками сознания за спасительные признаки, за лживые посулы: «Вы еще плясать будете! Паникер! Какие там метастазы! Не метастазы у вас, а дуростазы! Язвочка, с какой живут по двадцать лет!»

Так говорил этот опытнейший, знаменитый хирург. «А еще геолог! Я не знал, что и геологи умеют труса праздновать!» И ведь почти успокоил, убаюкал хорошо отработанными шуточками. Только успокоенность была внешняя, волевая, а внутри все омертвело, как от местного наркоза перед удалением зуба — свое, а будто чужое. И произошло это в одну минуту... да, в ту минуту, когда хирург, ощупывая его живот жесткими, ищущими и что-то уточняющими пальцами, вдруг не совладал со своим лицом. И с голосом: «Что же вы так запустили?!» И сразу — маску на лицо, привычную маску всемогущего спасителя: «Теперь придется малость полежать. Исследуем вас. Вероятно, понадобится небольшая операция. Так что деньков 15—20 ассигнуйте».

Искусство психологического воздействия?.. А как же! Я тоже им владею. Хотя бы с новым нашим техником. Разбитной паренек... а впервые прошел на лодке через пороги, — видел же я, что глаза, как у загнанного зайца... видел, а сказал: молодец, толк из тебя будет! — и тут же

послал опять — за старшого. И ведь привык, даже лихачил! А уж хирург без такого умения — ноль. Ежедневно — день за днем, год за годом — болезни, страх, операции, смерть. Смерть... К этому привыкают. И надо настраивать на спокойствие себя, больных, родственников...

Он и меня настроил. «Деньков 15—20...» А между прочим выяснял: «Женаты? Дети есть?.. О-о, такая большая дочь! И пошла по пути отца? Молодчина! А она здесь или где-нибудь на нехоженых тропах?» Этакая беспечная болтовня, а для чего выяснял — понятно. Нехоженые тропы! Если тропа, значит, хожено. Слова, слова! Потом сам пошел устраивать место, «чтоб вам не маяться у окошек». Пришел улыбающийся, а глаза в сторону: «Вы, профессор, везунчик! Завтра освобождается койка в самой лучшей палате, так что будьте любезны послезавтра к девяти утра». Не подпуская страшную мысль, что операция нужна немедленно, он еще попробовал взять отсрочку: «Понимаете, через три недели день рождения жены, Танюша привыкла, что в этот день я с нею...» — «Учту! — беспечно воскликнул хирург. — Приведем вас в порядок и — прямо на банкетик. Только с острыми закусками повремените и на водку не налегайте. А то вы, геологи, кажется, помалу не привыкли?» Экое банальнейшее представление: бесстрашный геолог топает по нехоженным тропам и дует водку стаканам!..

Простились по-приятельски. А потом — черное солнце. Вышел на улицу, ослепительный полдень, мальчуганы в трусиках с визгом бегут за велосипедом, а на велосипеде, неумело вихляя, такой же мальчуган... Жасмин за решетчатой оградой клиники — полураспустившийся, а как пахнет... Жизнь!.. На той стороне улицы — несколько молчаливых женских фигур, у всех странно закинута голова, глаза — куда-то вверх. Еще не осознав, почему, тоже вскинул голову, взглянул на солнце, а оно черное, как сквозь закопченное стекло во время затмения... Читал в «Тихом Доне» про черное солнце над могилой Аксиньи — не поверил. А оно — вот! В детстве побежал через темную столовую и налетел на приоткрытую дверь — искры брызнули из глаз, многоцветные, разлетающиеся во все стороны. Успел подумать: «Вот что такое — искры из глаз!» — а уж потом заревел от боли. Мама прикладывала к ушибленному надбровью серебряную ложку... Мама!

Из самой глубины, как в детстве — мама!

Где и с кем это было?.. Да, на фронте, перед форсированием Шпрее, тот седой полковник-штабист, властный, придирчивый, сухарь сухарем, а когда его смертельно ранило в грудь и в живот, вдруг закричал: мама!..

Значит, когда приходит последняя, смертная минута?..

Надо взять себя в руки. Остался вот этот вечер, ночь и еще сутки. Сказать Танюше — тем самым тоном, каким говорил со мною хирург?.. Заехать в институт, кто-то из начальства там оставлен, предупредить. Ай-яй-яй, послезавтра Володя Баев принесет последнюю главу диссертации! Без меня сдавать диссертацию?.. Нет, зачем же, вызову в клинику, успею прочитать до операции или через несколько дней после. А к его защите... А почему нет? Логинов через два месяца после такой операции уже работал и живет уже восемь лет. Бывает же! Но... «Что же вы так запустили!» Разрежут и зашьют — поздно. Тогда еще месяц, или два, или три...

Как подготовить Танюшу?..

Постепенно — было бы легче. Зачем я скрывал? Перемогался и скрывал, а в результате: «Что же вы так запустили?» Да, это началось год назад, на изысканиях, — неожиданная тягучая боль. Скорчился, губы кусал. А прошла — забыл. Старался забыть — не боль, а страх, потому что ведь еще тогда заподозрил страшное!.. А затем это повторялось — сперва редко, потом чаще. Иногда думал — съездить в город, по-

казаться врачам... но не хотел никому говорить, поднимать панику, и данные пошли такие обнадеживающие, обозначалось богатейшее месторождение, все работали как черти, — а я уеду к докторам?.. Только Витя, преданный помощник и друг, однажды что-то заметил, но я отмахнулся, отговорился... зачем? Может, тогда еще не было поздно?.. Потом возвращение с победой, поездки в Москву, доклады, поздравления, обработка материалов. А приступы были все чаще и мучительней, и я все больше боялся, прижмуривался, чтобы не признаться самому себе. Если б не тот приступ боли при Вите — до испарины на лице, до обморока!.. Витя и забегал, и устроил прием у знаменитейшего...

Как же подготовить Танюшу?..

Всегда был для нее сильным, здоровущим, лелеял ее и опекал, чуть что — врачи, кардиограммы, путевки в лучшие санатории... Как же теперь оглушить ее — не ты, а я, не я о тебе, а ты обо мне!.. И как она будет — после?..

Говорят, нельзя идти на операцию с мыслью о дурном исходе. А самообманываться — можно? Прожил человеком и кончать жизнь нужно человеком. Без слюнтяйства. Со всеми это случается, когда приходит срок. Только в детстве кажется, что твоя жизнь бесконечна. Те мальчуганы быстро научатся гонять на велосипеде и вдвоем, и стоя, и без руля, с форсом раскинув руки, потом станут взрослыми, сделают в жизни что-то ценное — или не сделают, потом начнут стареть, потом — конец. Так было и будет. Хорошо, если оставишь после себя добрый след. Что останется после меня? Книги и статьи, по которым учатся и еще не один год будут учиться. Новые месторождения — не одно поколение будет их разрабатывать! Ученики... Володю я в любом случае успею довести до защиты. Николаю надо дать встряску — ленив и не умеет сосредоточиться, а талантлив дай бог! Витя? Витю я держу при себе, потому что люблю, лучшего помощника нельзя вообразить, но он давно созрел для самостоятельной работы и, конечно, заменит меня. Значит, любя, я т о р м о з и л его рост?! Завтра же надо о нем поговорить в институте. И в Москву позвонить. И с ним объясниться без обиняков, уж очень он не честолюбив и слишком привык быть в т о р ы м.

И еще — Галинка. Моя кровь. Скуластая и длинноногая, как я. Умница, что бы она там ни натворила по молодости лет. Ей бы не расстраивать маму, а сказать мне. Надо вызвать ее на откровенность и помочь распутать то, что запутала... Может, самому позвонить ее Кузьмёнку? Славный, серьезный юноша. Если б они поженились, я был бы спокойней за нее. И Танюше будет легче...

Танюша. Все можно себе представить, но Танюша — как ей сказать и что будет с нею?! Избалованная и изнеженная мною, все еще красивая и обаятельная, все мои аспиранты влюбляются в нее, а она и рада. Навек Любимая — называл немного насмешливо, потакая ее непреходящей потребности в поклонении, а ведь так оно и есть!

— Ты надолго? — вдруг громко спрашивает за дверью Галинка.

— Тиш-ше!.. — Торопливо поцокивают каблучки Танюши — из передней в столовую. — Тише, папа отдыхает.

— Раньше он никогда не спал днем, — немного тише говорит Галинка. Слышно, как слегка постукивает о пол задняя переключательная качалка, значит, Галинка уселась в качалку с книгой, это ее любимое место.

— Мне кажется, он нездоров, — говорит Танюша.

— Нездоров?! —

В голосе дочери искреннее удивление. Танюша отвечает совсем тихо, до него доносятся отдельные слова:

— ...из последней поездки... наравне с молодыми... он же не скажет... Значит, она все же заметила?..

— Ты надолго? — снова нетерпеливо спрашивает Галинка.

— Как всегда. На часок.

Щелкает замок входной двери. Танюша ушла на ежевечернюю часовую прогулку. Строго отмеренный моцион, в любую погоду. Для сохранения фигуры, для бодрости. Что бы ни было, этот час она выкроит... Что бы ни было!

Перед ним встает видение, отчетливое как явь. Молчаливые женщины стоят напротив клиники, закинув головы и не отрывая глаз от широченных окон операционной, и среди них Танюша с таким же застылым, сразу постаревшим лицом, глаза прикованы к холодным стеклам, за которыми режут, режут, режут...

— Папа, ты спишь?

Свежий и смелый голос — как возвращение к милой, к обычной жизни. Он с удовольствием разглядывает Галинку, остановившуюся на пороге и готовую разбудить его, раз он ей понадобился, в этом можно не сомневаться. Свет из столовой освещает ее мальчишеский силуэт — стройные ноги в тренировочных брючках, небрежно выпущенную поверх синюю рабочую блузу с закатанными выше локтя рукавами, короткую стрижку. Танюша всегда изящна, подтянута, а дочь бравирует отсутствием кокетства, мальчишескими повадками, Танюша называет это «неглиже с отвагой». Впрочем, Галинке идет. Мать красива, а у Галинки скуластое, с резкими чертами, пожалуй, некрасивое, но такое незаурядное лицо! — мимо не пройдешь, захочешь приглядеться.

— Входи, раз пришла. Откинь с лампы газету.

— Не надо. Мне — поговорить. Пока нет мамы.

Она присаживается рядом с ним на край тахты.

— Ну, выкладывай, что натворила.

— Натворить-то я натворила, — с легким смешком говорит Галинка, и сразу: — Дело в том, что я жду ребенка. А мужа нет и никогда не будет. Для ясности — не жалею, беды в этом не вижу и вздохов не хочу. Ни твоих, ни маминих.

У него перехватило дыхание, кровь тяжело ударяет в виски: тук, тук, тук, будто молотком. Ярый гнев отодвигает все, что случилось с ним самим.

— Кто этот негодяй?

Она быстро оборачивается к нему, такую он ее никогда не видел — блаженное, вдохновенно-веселое лицо, сияющие глаза.

— Лучший человек в мире, вот он кто!! Не обольщал и не обманывал, понимаешь? Наоборот, избегал, не хотел, нарочно перекинул на самый дальний участок! Я сама добивалась и обольщала так, что ангел и тот не устоял бы! И добилась! Потому что люблю и никого другого мне не нужно ни сейчас, ни когда бы то ни было, и ребенку я рада — его ребенок! — и мне хорошо, можешь ты-то понять меня?

— А что же он?

— Он женат. И трое детей.

— Так...

Без гнева и горечи думает он о том, что натворила, ох и натворила девчонка! Сейчас ей хорошо — если она сама себя не обманывает, но разве она знает, сколько трудного ждет ее впереди?.. И как ей еще захочется многого другого — ведь двадцать три года! Но это — жизнь. Со всеми выкрутасами и бедами — жизнь. И каждый живет, спотыкается, ищет счастья по-своему. Кто может сказать наверняка — такое счастье тебе не нужно, жди инюго!.. А может быть, по ее характеру именно такое и развернет все ее силы, ум, энергию?..

Он совсем забыл то, что случилось с ним самим, но оно не хочет отступать, оно тут, в его теле, оно властно напоминает о себе тянущей, тяжелой болью. Он заглатывает стон, подавляет желание скорчиться, от этих усилий его прошибает пот.



— Ой, папа,— глянув на него, с досадой роняет дочь,— хоть ты-то не переживай.

— Когда это будет у тебя? — через силу спрашивает он.

— Через пятнадцать недель.— На ее губах светится незнакомая ему, обращенная внутрь улыбка.— Уже шевелится.

Они молчат, бок о бок, каждый прислушиваясь к своему. Боль медленно утихает, потягивая и подергивая, но утихает. Пот холодком стынет на лбу.

— Ты сказала — пятнадцать недель?

— Ага! Всего ничего тебе осталось до бабушки.

Осталось?.. Слова, криком рвущиеся с губ, надо удержать. Быть человеком до конца. Через пятнадцать недель она родит, а меня, возможно, уже не будет. Привычная смена поколений, закономерность, такая жесткая, когда коснется тебя.

Галинка вдруг счастливо смеется и припадает головой к его груди, локоть упирается в его живот, и он весь напрягается от страха, что боль вернется, и осторожно отодвигает ее острый локоток.

— Ты все-таки мировой папа! — восклицает Галинка.— Мама вздыхает и охает, «папа с ума сойдет!», а я знала, знала, что ты у меня умный. Ой, нет, вру, шла к тебе, думала — задушишь. Папка, ты самый замечательный отец в мире!

И тогда он без усилия говорит ей:

— Беда в том, что ты можешь остаться без меня. Вдвоем с мамой будет гораздо трудней.

— То есть как — без тебя?

Он дает ей полную справку, сухую и подробную, как те сведения, что он вычитал сегодня в библиотеке, в медицинских учебниках и справочниках, прежде чем идти домой. Говорит рассудительно, будто этот ужас относится к кому-то другому, постороннему. Но в конце сообщает: послезавтра к девяти утра,— и весь этот ужас наваливается на него, и надо удержаться, удержаться...

— Ты только не пугай себя,— строго говорит Галинка,— после таких операций живут и живут. Я знаю столько случаев...

— А я знаю статистику.

— Начитался? Плюй на статистику! Ты же крепкий, у тебя организм здоровый, поправишься и сам будешь пошучивать над своими страхами. Вот увидишь! Такой знаменитый хирург не взялся бы делать операцию, если б не видел, что можно вылечить, а раз он взялся...

— Не надо, Галинка. Мы должны подготовить маму. Но друг перед другом — можем мы не врать?

Галинка смолкла. Сжала губы, только скула подрагивает.

— Если назло статистике все обойдется, это будет подарок судьбы. А пока надо думать о том, чтобы оставить все в порядке. Маме облегчить. И теперь вот с тобой — надо же все как-то устроить.

Губы ее по-прежнему сжаты, но по дрожащей скуле быстро-быстро бегут слезы. срываются и падают поблескивающими каплями.

— Перестань!

Он берет и потряхивает ее будто заочневшие пальцы.

— Родишь человека, вот и убыль покроешь. Все естественно, Галинка. Я рад, что ты не боишься жизни.

Щелкает замок. Постукивают в передней каблучки.

— Мама.

Она ладонями стирает слезы. И оба настороженно ждут и собирают все душевные силы, как будто все, что они до сих пор говорили и думали, было лишь подготовкой, а сейчас наступает главное испытание.

## В БЕЛУЮ НОЧЬ

Я бегу от них ото всех.

Бегу от сбивчивых мыслей, от зудящей тревоги, от настырной памяти, для которой никогда не погаснет тот дачный костер, рассыпающий пеплом исписанные листы... от наваждения лиц и слов, от невесты откуда взявшегося чувства долга перед всем множеством множеств знакомых незнакомцев, от их судеб, их алчущих глаз.

Как стучат каблуки белой ночью!

Может, оттого, что в и д и ш ь, как беззвучно спит твой город, как матово сияет вода канала, как огромно пронизанное неярким светом небо, а может, и оттого, что белая ночь, сколько ее ни объясняла наука, — колдовство... Идешь легкой походкой, стараясь не нарушить тишины, а каблуки стучат отчетливо, гулко, и откуда-то издалека, из каменных переулков, послушное эхо возвращает тебе их гулкий стук.

Хоть бы один прохожий!..

Горбатый мост у скрещения двух каналов выводит к Марсову полю. Огибаю угловой закругленный дом с белыми колоннами — кажется, именно в нем больше полутора веков назад собирались заговорщики перед тем, как избавить отечество от злого и безумного деспота Павла. Я не помню их имен, не видала их портретов, но будто вижу их — возбужденных и отчаянных, как все те, кто р е ш и л с я — пусть ценою жизни... Гораздо позже, в нашем веке, в подвале этого дома был устроен клуб-кабачок «Привал комедиантов», где вечерами собирались актеры и писатели, — там актриса Любовь Дмитриевна Блок, жена поэта, читала его поэму «Двенадцать», а сам поэт, бледный до прозрачности, стоял у стены и ловил каждое движение немногочисленных слушателей, каждое шепотом оброненное слово. С маленького помоста там читали новые стихи — бормочущий, теряющий листки Хлебников и дерзкий от застенчивости Маяковский (как грохотал его голос под низкими сводами подвала!), молодая Ахматова с глазами пророчицы и совсем неожиданный здесь, странно беззащитный Есенин...

Я помню дом разбомбленным, с широченным провалом во все три этажа со стороны Мойки, и помню, как вскоре горестный провал затянули «декорацией» из раскрашенной фанеры, а потом, только погнавши немцев от городских стен, этот дом одним из первых восстанавливали, бережно сохраняя его петербургский стиль. Сюда я прибежала с Володькой на руках счастливейшим вечером Дня Победы. Во всю длину белоколонных зданий были установлены пушки, и самые веселые в мире орудийные расчеты с показной строгостью и прибаутками отгоняли напирющую толпу... а потом начался салют, пушки ударили все разом, потом еще, еще, еще, и вдруг рухнула часть карниза на здании бывших Павловских казарм — ныне Ленэнерго; уж такой выдался счастливый день, что никого не зашибло, хотя народу было видимо-невидимо — вряд ли кто-нибудь усидел дома в тот вечер, все стремились на люди, обнимали и качали любого военного, целовались и плакали — шальные от восторга, пьяные от горя впервые полностью осознанных утрат, гордые своей причастностью к торжеству, раскрытые для дружеского общения всех со всеми...

Возле этого дома память неизменно раскручивает ленту самых разных воспоминаний, горьких и радостных. По кромке Марсова поля весь первый год блокады я ежедневно брела в Союз писателей и из Союза годной зимой несла для годовалого Сережи немного пшенной или чечевичной болтушки, и если на тропке между сугробами возникала бредущая навстречу обмотанная платками и шарфами фигура, каждый раз обмирала от страха: вдруг отнимет судок, чем тогда накормить Сережу?! А вот тут мы шли однажды с писателем-моряком Александром Зониным лунной зимней ночью и, увлеченные разговором, машинально переступили через

какое-то заграждение, потом переступили через второе и наткнулись на закутанного-перезакутанного часового, который закричал на нас, что мы сумасшедшие, «куда прете, тут же огорожена неразорвавшаяся бомба!..».

После восстановления дом заселили писателями, архитекторами, учеными. На самом закруглении, в квартире, похожей на раскрытый веер, живет Леонид Рахманов, человек тонкого таланта и исключительной скромности. Мы были почти незнакомы до войны, а в первый год блокады сдружились — тогда и люди и дружбы закалялись быстро и надолго. Темны его окна — все спят. А если постучать в окно? Если прийти и сказать: мне трудно, мне необходимо поговорить! Наверно, завернется в халат и будет слушать, и скажет, что без сомнений и тревоги нет литературного труда, я и сам... И во втором этаже, в большой квартире, затемненной колоннами, живут друзья — математик Александров, своеобразный, трудный и во всем талантливый человек, и его жена, искренняя, порывистая Марианна, — и к ним можно бы постучаться, они бы меня поняли, да нет их теперь, уехали в Новосибирск, в Академгородок, и все не едут назад, — Сибирь выиграла, а для Ленинграда — утрата. И для меня тоже.

Вот на этот подъезд я стараюсь не смотреть, уж очень больно, что нет больше на свете Елены Катерли, журналистки и писательницы, веселой и энергичной нашей подружки Ленки-Леночки, до старости комсомолки, — редкий у нее был дар открытости и дружелюбия, жила она размахисто, захлеб, не умела таить про себя ни радости, ни беды, зато и радость, и беду друга принимала всем сердцем, к ней-то уж наверняка можно было ворваться в любой час ночи, — заварила бы кофейку, села бы, закуталась в одеяло, поджав ноги, а потом, выслушав, нашла бы какие-то простые, утешающие слова... Немного дальше на стене того же дома — мемориальная доска. Мне выпало открывать ее в первую годовщину слишком ранней смерти писателя, я говорила проклятые слова «был», «любил», «писал»... но мне и сегодня дико видеть выбитые в камне даты «с 1948 по 1967 год», когда перед глазами — живой друг... Кажется, стоит зайти во двор, повернуть направо и подняться по крутой и круглой, винтовой, как на маяке, лестнице, позвонить у двери третьего этажа — и откроет сам Юрий Герман, скажет что-нибудь шутовское и, прежде чем разговаривать, обязательно метнет на стол все, что найдется в холодильнике, откупорит какое-нибудь особенное, недавно открытое им вино, и уже не захочется выкладывать свое, а захочется утешить душу слушанием — таким уж был Юра, всегда оживленный и хлебосольный, переполненный отрадными впечатлениями, всегда влюбленный в какого-то нового, недавно открытого, совершенно исключительного человека удивительнейшей судьбы...

Однажды, в последние годы ее жизни, я навестила Ольгу Дмитриевну Форш. Ей шел девятый десяток, но она была по-прежнему остро и ясно умна, насмешлива, понятлива, увлекалась рисованием, на здоровье не жаловалась.

— Все бы хорошо, — сказала она, вдруг погрузнев, — одно тяжело: современников не осталось.

Тогда я как-то не сразу поняла ее. А ведь мое поколение, познавшее все бури и грозы беспокойных десятилетий, начало редеть гораздо раньше, смолоду, и все редее, редее...

Как одиноко стучат каблук!

Цок-цок, цок-цок! — вторят стены моим шагам.

И хоть бы один прохожий!..

Не поднимая глаз, прохожу мимо мемориальной доски. Справа — площадь, зеленая, душистая, с широкими, крепко укатанными аллеями, сходящимися к ее центру — к могилам Жертв Революции. Какая величавая ширь! Впервые я видела Марсово поле в раннем детстве, запомнился голый, замошенный булыжником плац, он не казался таким просторным,

хотя я была мала, — он выглядел попросту скучным. А когда я переехала в Петроград, площадь уже стала почти такой, как теперь, массовыми субработниками ее благоустроили и озеленили, только кусты сирени еще не вытянулись, не разрослись, да по краям площади не было подстриженных лип. Но памятник героям революции уже поставили, сложив вокруг могил четыре угольника из плит темного гранита, положенных одна на другую, ступенями, а на концах этих суровых низких стен, у всех четырех проходов к могилам, установили массивные гранитные кубы с поминальными надписями, которые читаешь снова и снова, пленяясь их благородной скорбной красотой:

Не зная имен  
всех героев борьбы  
ЗА СВОБОДУ  
кто кровь свою отдал  
род человеческий  
читит безыменных  
ВСЕМ ИМ В ПАМЯТЬ  
и честь  
этот камень  
на долгие годы  
поставлен.

НЕ ЖЕРТВЫ — ГЕРОИ  
лежат под этой могилой  
НЕ ГОРЕ А ЗАВИСТЬ  
рождает судьба ваша  
в сердцах  
всех благодарных  
потомков...

Каменный реквием создал совсем еще молодой архитектор Руднев, слова поминальной славы написал Луначарский — оба с точным ощущением времени, стиля и традиции. Конечно же, Ольга Берггольц помнила о них, создавая свой блокадный реквием ленинградцам — «Никто не забыт и ничто не забыто» — на стеле Пискаревского мемориального кладбища. Отсюда же, от вечного огня на могилах героев революции, факелом перевезли огонь туда, на Пискаревское... Неразрывность подвигов, жертв и памяти.

Я останавливаюсь. Когда бы я ни проходила здесь, я всегда хоть на минуту останавливаюсь и ловлю взглядом трепетание Вечного огня. Сейчас, белой ночью, он почти незаметен — ровный желто-голубой язычок пламени. «Славно вы жили и умирали прекрасно»... В каком бы настроении ни остановиться тут, душа будто омывается. И на Пискаревском тоже. Два огня нашей судьбы. Нашего поколения. Какие бы ни захлестывали нас беды и бури, как бы нас ни сгибало, ни ломало, они наши и в нас — два незатухающих огня, то ровных, прямых, то мятущихся, опадающих и взрывающихся на ветру...

Цок-цок, цок-цок! — звонко стучат каблуки.

Ну хоть бы один прохожий! Чтоб улыбнуться или просто оглядеть друг друга скольльзящим, но внимательным взглядом, — какие тревоги или мечтанья выгнали тебя, товарищ, из дому в призрачную тишь белой ночи?..

Никого.

Окунувшись в пряную духоту доцветающей сирени, разросшейся на углу улицы Халтурина, переулком — к Неве. Сколько раз выходила к ней этим же переулком, а все-таки снова — беззвучное а-ах! — и почти бегом через пустынный проезд набережной к холодящему ладони гранитному парапету.

Как нежно и каждый раз неповторимо окрашено все переменчивым светом двух зорь — вечерней, догорающей за Петропавловской крепо-

стью, и утренней, зарождающейся над Выборгской стороной. Одна как бы переливается в другую. И обе осторожно касаются невских вод. Горбясь и пошевеливая упругими струями под пролетами Кировского моста, Нева замирает в широком разливе, перед тем как изогнуться вдоль Василеостровского каменного полукружья и лениво, от избытка полноводия, отмахнуть в сторону перетянутой мостами рукав Малой Невы. Течение неторопливо, только по играющим на всем водном просторе отсветам зорь улавливается движение — на холодной стали нежнейше светятся розоватые, желтые, сиреневые и еще бог знает какие причудливые блики. А низкие стены крепостных рavelинов и все здания, глядящие на Неву с Петроградской стороны и с Васильевского, — глухо темны, лишь одно бессонное окошко висит как бы само по себе на стене университетского общежития, прозванного «утюгом», да белые колонны Биржи жемчужно сияют между двух темных, колючих силуэтов колонн Ростральных.

Много городов я повидала на нашей Земле, много рек, своим течением украшающих эти города. Отдаю должное и задумчивые Сене в Париже, и милой Влтаве, ласково отражающей старинные здания и мосты Праги, и мощи Дуная, разрезающего на две части прекрасный Будапешт и голубой границей омывающего уютную Братиславу; любовалась отражением ночных огней Каира в мутных водах Нила и своеобразием Жемчужной реки, испещренной парусами джонок, в Кантоне, и плавным изгибом Амура вокруг Хабаровска, и прелестью Днепра, открывшей мне в лунную ночь с Владимирской соловьиной горки... все хорошо, приманчивы, в каждую из рек хотелось бросить монетку, «чтоб вернуться», — и все же нет для меня города пленительней Ленинграда, а в нем — нет места пленительней вот этого, с разливом Невы между расступившихся берегов. Так все здесь строго и соразмерно. Вглядишься в эту неяркую, неброскую красоту — и не оторваться.

Женский смех, легкий, еле слышный — возник и замер.

Откуда?

Неподалеку от меня на гранитном спуске к воде — две неподвижные фигуры под одним пиджаком внакидку, две головы, темная стриженная и светлая, с россыпью длинных волос, — висок к виску...

Чему она засмеялась? Кто они? Будут ли они еще когда-либо так счастливы, как сейчас, и понимают ли они это? Сколько чуткости, терпения и великодушия нужно, чтобы удержать, сберечь то, что так сильно и дорого им сегодня? Что их ждет, этих двух? Какие преодоления, какая житейская неразбериха, какая ломка двух волей, двух характеров? Сумеют ли они?..

Я не вижу — и все же вижу их лица, не слышу — и слышу их шепот. Еще в дымке, начинают проступать очертания их судеб... Люди, живущие рядом с нею и с ним, а потому обладающие такой властью вмешательства... И не с гранитного спуска, а из будущего доносятся до меня их отчаянные, их взвинченные голоса...

Ознобом, как при лихорадке, возникает предчувствие темы.

Нет, оказывается, ни от чего я не убежала, все — тут, во мне. И никого нет рядом. Стою одна — перед огромностью мира, со всеми своими желаниями и опытом, с ощущением громады несделанного и горечью от того, что сделала меньше и хуже, чем могла бы, а наверстать не успеешь, впереди — меньше, чем позади, новые замыслы упираются, как в стенку, в неизбежные временные пределы. «Не хочу!» — кричи не кричи, не поможет. А ведь, кажется, только-только чему-то научилась в нашем беспощадном ремесле, где повторение удачного приема, даже своего собственного — уже неудача, где не существует ни всесоюзных, ни мировых «стандартов» и никто, кроме тебя самого, не может «поставить» твой голос!.. А я — смогла? Безоглядно бросаясь в поток жизни, всегда в самую стремнину, то ли я делала? Так ли? Сумела ли сказать самое нужное и о

самом важном людям, ради которых жила на свете, сама себе не давая отпуска?..

Глухо стучит сердце. Или это шаги? Нет, тихо-тихо вокруг. Сердце.

А возле меня беззвучно встал человек. Призрачный, как эта ночь. Незнакомый — и чем-то знакомый. Не решаясь вглядываться, чувствую — у него какие-то неведомые права на меня, он знает, о чем я думаю, и странной полуулыбкой сомкнутых губ отвечает на мою тревогу.

— Меня захлестывает, — говорю я, — они теснятся вокруг меня, отпихивая друг друга, и каждый требует: напиши! Раньше я часто проходила мимо, а сейчас томлюсь, что упустила многое и что я должна успеть, обязательно должна...

— Объять необъятное? — усмешается он. — Но ведь еще Козьма Прутков...

— Ну да, есть отбор. По пристрастию. У меня пристрастие было сильным — и на всю жизнь. Мы же росли такие целеустремленные! И цели — прямо космические! Помню, еще девчонкой, в Мурманске... был у меня друг Коля Ларионов...

Мой собеседник молча склоняет голову. Значит, и это знает?

— Вышло так, что столкнулась со всяческой мерзостью, о какой понятия не имела. Конечно, выложила все Коле. А он говорит с этакой деловой озабоченностью: «Да, работы у нас много, не на одну жизнь!» Я тогда не поверила — жизнь казалась длинной-предлинной, все успеем переделать!

— Все не все, а переделали немало.

— Много! Вот у нас часто повторяют — замечательные советские люди. Но иногда — не по адресу. А ведь их много, замечательных! Широкой души, самоотверженных, безотказных. Знаю, видела — и в войну, и в труде, и в нелегком быту. Знаю, именно они определяют главное. Как бы тяжело ни было, как бы им ни мешали. Но пристраиваются под эту марку и себялюбивые, корыстные, фальшивые!..

И не глядя, вижу ту странную полуулыбку. А голос звучит жестко:

— Открытый враг менее страшен, его сокрушают. Но к любой победе сразу пристраивается мещанство. Ему нет дела до идей и жертв, оно спешит использовать результат. Оно увертливо и умеет менять окраску. Пристроится и гребет — себе! Себе! И давит на окружающих, травит души, хуже всего — детей растит по своему подобию. Ты этого не знаешь?

— Знаю. Но не верю в его всесилие.

Он молчит, почти невидимый в крепчающем свете новой зари, охватившей уже добрую треть неба над моей родной Выборгской стороной. А вечерняя заря померкла, только за Петропавловской крепостью задержалась узкая лилово-желтая полоса. И бессонное окошко на «утюге» погасло. Кто там бодрствовал так долго? Студенты зубрили к экзамену? Или шла пирушка? Или — страстный, бестолковый спор, когда все кричат вперебивку, не очень-то вслушиваясь в доводы товарищей?.. Кто бы они ни были, эти ребята, какая бы тина ни хлябала у них под ногами, они сами создадут свою жизнь, и те, кто честен, кто хочет жить, а не прозябать, — неужели не сумеют разобраться и отместить все, что мешает?! Ведь и я создала свою жизнь так, как хотела, отшвырнув прочь все чуждое, и вокруг меня — сколько молодых в чем-то себя ломали!..

— Время было другое, — говорит рядом тот же жесткий голос.

И это знаю.

— Далеко не все понимают, чего они хотят и что нужно отместить. Иногда, наоборот, сами заражаются равнодушием и цинизмом.

— Тем более! — У меня перехватывает горло, я снова слышу глухой стук своего сердца. — Тем более — мы отвечаем. Я — отвечаю. Не хочу

ни на кого перекидывать ответственность. Как бы ни были малы мои силы — отвечаю!

— Так чего же ты маешься сомнениями?

Если б я умела ответить однозначно!

Оттого, что прямолинейность наивной веры давно сменилась пониманием всей противоречивости, многосложности и многоликости жизни?.. Оттого, что я все чаще думаю о косности человеческой природы, о страшной власти привычек и житейских неизбежностей?.. Человек прекрасен и могуч, он может черт-те что сотворить и одолеть... почему же он бывает мерзок или слаб? И ни генетика, ни социология не могут до конца объяснить, почему в одинаковых условиях вырастают такие разные... А искусство? Способно ли оно не только понять и объяснить, но и воздействовать?.. Хочется добраться до каждой человеческой души — иначе какой смысл в моем труде! — но как часто — стена и стекло! Отделенный мир. И надо достучаться. А если не слышат?..

Рядом — короткий, иронический смешок. Почему?..

Ну и колдунья эта белая ночь! Совсем другой человек стоит теперь рядом со мной, он молод, его пригожее лицо обрамлено мягкой бородкой, отнюдь не стилижной, пожалуй — старинной, такие бывали у разночинцев в прошлом веке. Но смотрит он на меня насмешливо и свысока.

— А ведь вы боитесь, что жизнь опередит вас, — говорит он, — боитесь отстать.

— Да, боюсь! — с внезапным отчаянием говорю я. — И времена, и люди, и запросы их — все меняется. Если какой-нибудь художник — будь то писатель, живописец или композитор, все равно! — скажет, что не думает об этом, не тревожится, или он врет, или грош ему цена. Каждое новое поколение чем-то отличается от предыдущего, к каждому надо стучаться сызнова. Изнутри поколения легче... — Я с гневом смотрю в насмешливые глаза, я узнала этого парня, который мог бы внести в литературу так много, а дает так мало. — А вы, вы, молодой и талантливый человек, вам бы плыть саженками, а вы топчетесь на мелководье!

— При чем тут мелководье? — сердито возражает он. — Вы поклоняетесь стремнине, но это не вся река!

Да, не вся. Река жизни имеет свои рискованные перекаты, где можно разбиться о камни, и приманчивые водовороты, которые могут незаметно закрутить-завертеть и утащить на дно, и резкие изгибы, где у берега, возле гниющих коряг, сбиваются пена и мусор, отхлестываемые течением, и тинистые заводи, где течение неощутимо. Разве я не думаю о них — чем шире жизненный опыт, тем чаще и горше?! И разве я чуралась для своих героев самых трудных путей?..

А мой неожиданный собеседник продолжает запальчиво:

— Вы ищите сильных пловцов, зовете восхищаться их мужеством. Что ж, я не против, они есть. А меня занимает самый обычный человек, движения его души, тот особый глубинный мир личности, полный соблазнов, борьбы с самим собой, поисков внутреннего равновесия и смысла существования... мир, который не выявляется публично.

— Без душевного мира человека просто нет литературы! Но... душевный мир, который не выявляется?! Все выявляется! Через поступок, через отношения с другими людьми, через д е я н и е — хорошее или скверное, но выявляется непременно. И отдельная судьба, и все человечество развиваются благодаря деяниям.

— Азбучная истина! — отмахивается он. — Но за большими деяниями легко забыть отдельную человеческую душу, такую, которая не вырвалась ни на какие стремнины, может, изнемогла, запуталась, растерялась...

Он это говорит — или во мне бьется второй, беспокойный голос?.. Ведь это я мучаюсь, а не он, у него-то жизнь впереди — все успеет! — это меня обступают множества множеств людей, мою душу ранят судьбы

неустроенные и мятущиеся, убогие и злые, застрявшие на перекатах и в тинистых заводях... Хочется добраться до каждого человека и разглядеть — какой он и почему... Но не так, не так, как этот парень с его нервным и горьким пером!

А голос — его или мой?! — наступает:

— Проходить мимо? А потом мучиться, что прошел?!

— Нет! — говорю я. — Нет! Не проходите. Пишите. Но не будьте растерянным, когда пишете о растерявшемся человеке. Можно писать и о дураке, и о подлеце, но автор-то должен быть умен и честен, сам понять и ответить читателям, к а к и п о ч е м у. Крупно, честно ответить.

— Зачем?

— Чтобы помочь людям осознать себя. Чтобы они становились лучше.

— Не много ли на себя берете?

Вопрос задан дерзко. Я знаю, почему он сердится, этот славный парень. После первых обольщений — неудача, противоречивые оценки и советы, он заматался, ищет свой путь, сомневается в том, что делает. Сейчас я верю в его талант, пожалуй, больше, чем он сам. Ему бы успех! Не тот иллюзорный успех, когда твое имя начинают упоминать в статьях и обзорах, а единственно подлинный — когда вдруг почувствуешь, что твоя книга нужна людям, когда полетят к тебе письма от читателей, письма-вопросы и письма-исповеди, когда поймешь, что, уже независимая от тебя, твоя книга ж и в е т среди людей, помогая им жить, находя их решения, преодолевать беду... Большого счастья для писателя нет.

Но мой сердитый собеседник этого еще не испытал, он спрашивает о другом. И на его вопрос нелегко ответить — даже самой себе.

— Может, и много беру на себя. Может — и не по силам. Но почему нужно брать малые цели? Это же дело моей жизни, дело вашей жизни, как же мы можем щадить себя и не ставить себе — с каждой книгой заново — наитруднейшую задачу?!

Я стараюсь высказать словами — для него так же, как и для себя, — то, что давно чувствую:

— Мы говорим о внутреннем мире человека, полном соблазнов, борьбы с самим собой, поисков душевного равновесия и смысла существования. Так вот, хорошая книга, если она написана увлеченно и убежденно, имеет прямой доступ в этот скрытый от глаз внутренний мир человека. Она может — и должна! — пробудить в его душе все лучшее, что в ней заложено, обогатить его мысли и чувства и развенчать все мелочное, дурное, пошлое, чтобы человек сам устыдился и подавил в себе недостойное. Если книга ничего не пробуждает в душе — это плохая книга, даже если она написана превосходным языком. Но такие книги не бывают написаны превосходно, ведь стиль — это выражение внутренней сути писателя, а холодная суть и выражается холодно.

Он долго молчит, потом начинает говорить негромко, сдерживая запальчивость:

— В общем, у меня нет возражений против того, что вы тут наговорили: пробудить, развенчать и все такое. И насчет честного, крупного ответа на вопрос: п о ч е м у? — понимаю ваш упрек. И принимаю. Хотите робость назвать мелководьем? Что ж, и это могу принять. Но вот о том, как пробуждать, развенчивать, помогать... не слишком ли вы прямолинейны? Когда вы ставите такую задачу — уже не от искусства, а от педагогики! — непосредственность восприятия жизни нарушается, сквозь образную ткань нет-нет да и выглянет заданность, рационализм. У вас, в частности! — вызывающе добавляет он.

Хотела бы я, чтобы он был не прав! Но, может, он и прав? Ведь когда я снова и снова работаю над своими черновиками и в суровый час нарочно пишу на полях бескомпромиссные оценки (вроде «о-о-ох, длинно!»),



или «плохо!», или «скукота!»), чтобы потом, подобрев к самой себе, не отступить и все написать наново, разве не бывает там и такой: «рацио!» А если я не всегда замечаю это «рацио»?.. Разве не бывает, что я «додалбливаю» свою мысль в нетерпеливом стремлении, чтобы она дошла до каждого читателя?..

— Знаете, друг мой, если бы меня не раздирали всяческие сомнения и тревоги, я бы сейчас сладко спала в своей постели, а не бродила тут неприкаянной. Да и вы, будь вам все ясно, не маялись бы рядом.

Он улыбается своей милой, доброй улыбкой (когда он улыбается, особенно ясно, что он очень добр), но я все равно чувствую, что он еще топорщится колючими иголками и не ищет согласия со мной, но всячески сопротивляется ему.

— Ваша беда,— говорит он снисходительно,— что вы не только исследуете людей, но и хотите воздействовать на них, навязать им свое понимание жизни.

— А как же?! Только не навязать, а... приобщить их, открыть им красоту того, что я люблю, и мерзость того, что ненавижу! Тут я тверда, тут у меня нет сомнений. Стоять наблюдателем-регистратором на берегу? Для писателя — наихудшее место! Я маюсь оттого, что хочу охватить больше, чем могу, но когда жизнь развивается так быстро — да еще в наш бурный век! — разве не главная цель искусства — уловить, запечатлеть, поторопить...

— Даже поторопить?!

— Даже! Высветить, выявить суть — значит, помочь развитию нового.

— Ну, конечно, «новое»! — уже не сдерживаясь, восклицает он. — Маялись-маялись, а пришли к тому же: стремнина, пловцы, «главная цель»! Где уж приметить такие старые, вечные чувства, как любовь, или одиночество, или обида!

Той паре на спуске наши голоса мешают, они медленно уходят вдоль набережной, висок к виску, все так же под одним пиджаком внакидку. Воспоминание вдруг пронзает меня — будто удар током, — это ж то самое место набережной! Именно здесь, прижавшись друг к другу в предчувствии разлуки, мы ходили взад-вперед в ту давнюю-давнюю метельную ночь!..

— И любовь связана со своим временем, — говорю я сухо, — был человек, которого я очень любила. А его убили.

Тишина. Ему, наверно, неловко продолжать спор, и мне как-то не по себе от излишней откровенности. Слишком личная, вибрирующая нота еще звенит в тишине, и я пытаюсь приглушить ее:

— Искусство всегда выражало время и сегодняшний мир человека, главные дела и главные мысли, чувства, надежды. Иначе зачем бы оно?..

Я стараюсь представить себе нашего далекого прапрапрапура. Своей задубелой рукой он брал камень поострей и вырубал на шершавой скале образ зверя или охотника в действии — в беге, в схватке, в прыжке. Какой мощный творческий инстинкт толкнул его в первые запечатлеть осознаваемую жизнь в образах?

Так пробивалось художническое начало, потребность осознать и выразить себя. А дальше шло лишь развитие и разветвление искусства, обогащение средств выражения, осмысление опыта... но все — ради того же: запечатлеть быстротекущую жизнь, понять и выразить самого себя — сегодняшнего.

— Если б это было не так, — говорю я, — после Бетховена и Толстого, Рембрандта и Достоевского искусство должно бы остановиться: сильнее не сделаешь! А оно все торит и торит новую дорожку. И мы с вами топам по ней, спотыкаясь, маемся над словом, над строкой... И все для того

же — чтобы выразить сегодняшний мир людей. Просто выразить? Бесцельно? Да нет же! С тех пор, как человек научился мыслить,— для движения вперед, к цели.

— Вот тут и начинается ваша ошибка! Вести! Агитировать! Воспитывать! Это и делает ваши книги недолговечными!

Удар — наотмашь. Чтобы обидеть? Я удерживаю ответный удар.

— Знаете, друг мой и противник, «Война и мир» создана спустя полвека после войны с Наполеоном, хотя и современники писали о ней немало. Может, так будет и с нашей эпохой? И будущий гений использует наши книги как свидетельства современников?..

— Вас устраивает роль удобрения?

Я пропускаю мимо ушей нарочито обидную формулировку.

— Предпочла бы роль гения, но... В общем, знаю: моя тропка — небольшая, а мой мир — большой. Громадный даже.

— Никак не можете без гигантомании! Мир громадный, герои выдающиеся... но ведь и ошибок наделали!

Почему ему так хочется задеть, обидеть меня?.. И как легко осуждать, когда тебе тридцать лет, когда все тяжелое и трудное произошло до, разве что опалило детство!.. Что он знает о нашем поколении? Плоды трудов и боев — это он воспринимает как должное: строили и построили, воевали и победили, разрушенное отстроили заново, а как же?! Плоды ошибок? — тут есть за что уцепиться скептическому уму. А как оно было, почему, какой ценой мы расплачивались за ошибки...

— Не трагоя, — говорю я, — в крови и в поту оно, поколение.

Молчим. А небо над нами все светлей, хотя краешек солнца покажется еще не скоро, часа через полтора. Земля медленно поворачивается, подставив солнцу свое захладававшее темя. Над водой покачивается предутренний туман. И в этом тумане возникают неясные черты — пока неуловимые, но еще немного... немного...

— Вега! — звучит далекий голос. — Ве-га!

Я вздрагиваю. Только один человек звал меня так. Но он же убит. Убит!..

Сквозь зыбкость тумана проступают очертания гладко выбритой головы, круглое лицо с таким знакомым выражением жизнелюбия и радостной энергии, а под сильными стеклами очков — щемяще ласковый взгляд светлых близоруких глаз... Друг, учитель, любимый, я и о тебе еще не сумела написать в полную силу!..

— Вы сказали: боюсь отстать? Так нет, не боюсь!! Изменить себе, отречься от своего прошлого, начать приспособливаться, подлаживаться — куда страшней. Понимаете?!

А моего собеседника уже нет. Да и был ли он?

Стою одна, холодом тянет от воды, туман легкой влагой оседает на щеках. Зябко свожу плечи и накрест засовываю окоченевшие руки в рукава пальто, добираясь до теплой кожи под сгибами локтей. И бормочу строки Давида Самойлова, давно уже прижившиеся в моей душе:

Большую повесть поколенья  
Шептать, нащупывая звук,  
Шептать, дрожа от изумленья  
И слезы слизывая с губ.

Если бы хватило сил!.. Ведь оно уходит, уходит вместе с людьми — что было и как было, оно выветривается из нашей собственной памяти... Пусть все, написанное мною, будет удобрением для гениальной эпопеи нашего поколения... к черту честолюбие и расчеты, если тема стучится в сердце!

— Так напишите же о себе и своем поколении!

Эта странная белая ночь продолжает свое колдовское дело. Вот и еще кого-то подослала ко мне в непрошенные советчики... Не хочу, довольно, сама как-нибудь разберусь!

Оборачиваюсь с досадой, но мои глаза встречают глаза друга, серые с голубинкой под синью надвинутого на лоб берета. Лицо, тронутое мелкой рябью аккуратных морщинок, светится щедрой готовностью помочь, что бы ни потребовалось, рука друга раскрывает широкую ладонь навстречу моей... Как я могла забыть о нем в те муторные часы, когда так жаждала понимающих глаз и дружеского голоса?!

— Ох, как хорошо, что это вы!

А он говорит, будто прочитал мои мысли:

— Ведь стучится? Вы же давно подбираетесь, я знаю. Сколько набросков вы накопили в потрепанной папке с легкомысленной надписью «р а с с ы п у ш к и»?

— Так они действительно врассыпную! Воспоминания — вроде окон, только в прошлое. Что-то вдруг вспомнится, будто лампа осветила давно забытые события и людей, я и записываю не мудрствуя лукаво. Для себя. Но собрать их в цельное повествование?.. Для читателей?..

— А почему нет? Это же путь духовного развития человека — да в такое неповторимое время. Для многих сегодняшних читателей история нашего поколения — почти загадка.

— Но интересно ли им? Нужно ли?

— Да! — отвечает он с какой-то даже яростью. — Да, если искренне и честно, без позолоты и лака, да!

— История поколения — это и гению не одолеть. А рассказать свою жизнь, хотя бы не целиком, а пунктиром... К тому же, моя жизнь не очень-то характерна для послереволюционного поколения — девочка из дворянской среды, адмиральская дочь!

Он, усмехаясь, покачивает головой, и я сама понимаю, что говорю ерунду, волной революции кого только не подхватывало, неожиданность моей судьбы как раз и характерна. И если цельное повествование сложится, оно пойдет по нарастающей, как бы раструбом — от камерности детских впечатлений — все шире, шире...

— В музыке это обозначается знаком крещендо, — вслух говорю я. И он понимает без пояснений.

— Так что же вас держит?

Прямо-таки допрос с пристрастием! Но разве друг не имеет права?.. И я отвечаю:

— Во-первых, сомнения: не получится ли все о себе да о себе, слишком узко? А во-вторых... стала перебирать сделанное да оглядываться, и меня мучает множество людей, о которых я не написала, и я пишу их, как вижу, могла бы их всех столкнуть и связать в романе, иногда сами собой возникают связи и коллизии... Но нет, и этого не хочу, они мне интересны как есть, потому что необычны для меня.

— Это вам кажется, — возражает он, — разнообразия людей не исчерпаешь, но они такие же ваши, как все прежние. Ваш ракурс, ваши проблемы. Только подбор, может, несколько иной.

Прав ли он? Скольжу по страницам своих же книг... Ну да, там немало и таких, что плывут не на стремнине, но они не были для меня главными. И, пожалуй, я всегда нащупывала для них исходную точку поворота...

— Понимаете, я всю жизнь чувствовала себя борцом и искала в душах то новое, что родила революция. Меня тянуло к натурам сильным, ищущим, к тем, кто не подчиняется обстоятельствам, а поворачивает их по-своему. В конце концов, они — моя среда, что бы я была без них?!

— Вот вам и ответ на сомнения. И ваше любимое крещендо.

Когда я возвращаюсь домой и настезь раскрываю окно, впуская всю прелесть раннего утра, первый солнечный луч уже ощупывает крыши и тусклые стекла слуховых окон, я говорю ему: здравствуй, луч! — а себе приказываю: спать, немедленно спать! И все же, прежде чем лечь и кануть в благодатный сон, я вытягиваю из дальнего ящика потрепанную папку с легкомысленной надписью, удерживаюсь от желания развязать тесемки и не без торжественности кладу ее на рабочий стол.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### НАЧАЛО

И все же — нет! Не хочу никакого связного повествования.

Память — работяга на редкость чуткая, она отбирает из беспорядочного мелькания всевозможных обрывков прожитого только то, что стало какой-то вешкой на пути духовного развития, только то, что оставило на древе человеческой жизни хотя бы малую зарубку.

Если потянуло записать — значит, именно это почему-либо важно?..

Пусть же все сохранится как написано, где отрывочней, где связней. Я только расположу рассыпанные главки так, чтобы рассказанное в них точно чередовалось во времени, ну и самую малость поправлю, где необходимо, или допишу, чтобы прояснить непонятное, но ничего не буду приглаживать или перестраивать ради стройности и занимательности.

Кому покажется неинтересно — отложит, а кому захочется — пройдем вместе по моим вешкам и зарубкам.

### ПРИЧАЩЕНИЕ СВЯТЫХ ТАИН

Мне четыре года. Веранда старого дома на Каче, у бабушки. Поужинали, теперь нам дается час посумерничать — успокоиться после длинного дня беготни и шалостей. Затем — хочешь не хочешь — придется вползти вверх по скрипучей лестнице (каждая ступенька скрипит по-своему), раздеваться, чистить зубы, мыть лицо, шею и уши — все как следует, под маминым всевидящим взглядом, а затем еще и ноги! — в тазу, с мылом, разъедающим свежие ссадины... Чтобы оттянуть эту ненавистную канитель, мы с сестрой забираемся на диван в темном углу и сидим тихо-тихо. Мама ходит по веранде, постукивая каблучками, поправляет фитиль в пузатой керосиновой лампе, меняет воду в кувшине с маками — два лепестка упали на пол и легли красными лодочками, вот-вот поплывут. Мама встряхивает и перестилает на обеденном столе скатерть с бахромой, я обмираю, потому что за ужином опять заплела бахрому косичками, но мама не замечает косичек, она переговаривается с бабушкой — и наконец-то подходит к роялю. Счастливая минута! Я вся напрягаюсь, чтобы не пропустить...

Мамины пальцы растопырились и ударяют по нескольким клавишам сразу, как бы пробуя, что получится — внутри черного ящика густо откликаются и протяжно гудят струны. Мама тоже слушает, как они гудят. Потом ее пальцы быстро-быстро пробегают по клавишам из конца в конец, по белым и черным, получается как ручеек в балке, бегущий по камням большим и маленьким, глухим и звонким... и вдруг возникает и переливается из-под маминых рук прямо в мою душу — чудо, ни с чем не сравнимое чудо. Я каждый вечер пытаюсь поймать его начало — и не успеваю. Я уже знаю такие слова, как нота, аккорд, мелодия, пиано, форте — но разве они что-либо объясняют? Мама берет аккорды — тогда ее

руки кажутся очень большими, и от запястья до локтя вздуваются мускулы; она касается клавиш кончиками пальцев — рука становится нежной и легкой; иногда каждая рука самостоятельна, правая нежна, а левая мощнее, шире... Это я замечаю, но как рождаются созвучия и звуки — каждый раз новые, о чем-то своем говорящие, что-то выпевающие, о чем-то молящие?.. Я стараюсь понять и забываю об этом, я слушаю — и внутри у меня что-то сжимается и холодеет, как от мороженого.

Чудо? Их было много в маминых, сильных как у мужчины, руках. Иногда они повторялись, я узнавала знакомые сочетания звуков и в блаженном нетерпении ждала — вот сейчас будто гром загремит... а сейчас будто голос запоет... Все было так, гремел гром и пел голос, но каждый раз еще лучше, чем прежде, потому что оказывалось — под грозой певуче зашелестели тополя, а голосу вторят глухие созвучия, совсем глухие оттого, что мама ногой нажимает педаль сурдины... Иногда чудо было совсем новое, оно выходило из-под маминых пальцев ошупью, запинаясь в нерешительности — что дальше? Выбрав — что, оно возвращалось назад и повторяло уже нащупанное созвучие уверенней, а потом еще и еще, и вот уже не ошупью, а свободно и торжествующе...

— Что это, Оля? — спрашивала бабушка, встрепенувшись в соломенном кресле, где она подремывала.

— Так. Свое, — говорила мама и снова повторяла сыгранное, но теперь оно как бы расширялось и расцветивалось новыми звуками, и красивое мамино лицо становилось еще красивей, глаза сияли в полумраке как две лампочки.

Иногда мама подпевала роялю — не своим, низким голосом, и пальцы ее брали широкие аккорды на басах.

— Хор разбойников, — бросала она бабушке, — вечером, у костра. Отдыхают и грустят.

Мы уже знали, что мама когда-то, до нас, сочиняла оперу — «Разбойники» и ее хвалил Скрябин. Имя Скрябин произносилось так, что было понятно — лучшей похвалы не бывает. Из отрывочных рассказов, услышанных нами в разное время, сложилась такая история: на каком-то экзамене Скрябин выбрал маму в ученицы, а мама плакала и не хотела, и все ее ругали, а потом мама сочиняла оперу, а еще потом папа увез маму, а Скрябин очень рассердился и закричал: «Так я и знал, что вас уведут!» В этой истории была прелесть непонятности. Еще непонятной было, когда же мама с бабушкой попала к индейцам, которые уже готовились их скальпировать? Хорошо, вовремя появился папа и спас их! Сам папа подробно, субботними вечерами, рассказал нам, как все произошло. Но где же в то время был Скрябин и почему его не схватили индейцы?.. Я попыталась свести воедино папины и мамины рассказы, но мама расхохоталась и отшутилась, как умеют отшучиваться взрослые от серьезных вопросов, а папа сказал: «Я же не сразу женился, мама еще поучилась у Скрябина — до свадьбы».

Слушая хор разбойников, я представляла себе разбойников полуголыми, с перьями на голове — таких я видела на картинке в книге. Мама и бабушка привязаны к деревьям, а они сидят у костра и грустно поют. Может, им все-таки жаль маму?.. А если бы не подросел папа с моряками, маму скальпировали бы. И папа уже не встретил бы маму. И тогда меня не было бы!.. То есть как? Меня — не было бы?! Я вдавилась в угол дивана и от ужаса крепко зажмурилась, но та же мысль продолжала бить в голову молоточками самых звонких клавиш: меня не было!

Мама играла уже что-то другое, знакомое, а я с новой пристальностью смотрела на кувшин с маками и на две красные лодочки, готовые отплыть, на дремлющую в кресле бабушку, на стекла веранды, где бликами отражались два света — от лампы над столом и от неполной луны, вы-

лезавшей из-за черного столба пирамидального тополя. Это была моя первая, ошеломляющая мысль о жизни, которая была, и будет, и могла бы существовать без меня — тополь, луна, маки, вот эта веранда, даже бабушка, даже папа!.. А мама все играла, забыв про часы, и вызываемое ее руками многоголосое чудо подтверждало: была и будет, была и будет!..

Много лет спустя, в концертных залах или у радиоприемника, я обретала вновь то одно, то другое из чудес моего детства. Чудеса назывались — этюд Скрябина, ноктюрн Шопена... Лист, Шуберт, Рахманинов, Бетховен... Бетховен! Он вторгся в мою юность, потрясая своей силищей и еще не осознанной, но воспринимаемой всем существом родственностью жизнеощущения, и навсегда — наравне с «Поэмой экстаза» Скрябина — стал самым близким, самым м о и м. Но первое знакомство с «Аппассионатой» — кажется, на концерте Горовица — неожиданно вернуло меня в раннее детство, на бабушкину покосившуюся веранду, где я услышала чудо из чудес и, не выдержав напора удивительнейших созвучий, забыв таиться, бросилась к маме и закричала:

— Мама, что это?! Что это?!

Запомнился и другой вечер, когда мама, поглядев на часы (пора укладывать!), сыграла под конец что-то будоражащее, искристое, с веселыми всплесками звуков на концах стремительных пассажей, и я громко заплакала, напугав маму и бабушку.

Мама взяла меня на руки, потрогала мой лоб губами — не заболела ли?

— Какое хорошее, — сказала я.

Мама даже огорчилась.

— Дурашка, это вальс Клико, пустячок!

— Что ты хочешь, ребенок, — сказала бабушка, — но какая восприимчивость! Ее надо учить музыке.

Дорого мне обошлось это открытие! Но тогда я ощутила свою новую значительность и отдалась сладкому теплу маминых рук, и в нахлынувшей после слез дремоте увидела себя у рояля, на вращающемся табурете, мои сильные, со вздувшимися мускулами руки извлекали из клавиш что-то еще лучшее, чем этот вальс Клико... и одновременно я сообразила, что раз уж мама взяла меня на руки, она, быть может, сама отнесет меня наверх и пожалеет будить, чтобы мыть лицо, и уши, и ноги, — только нужно совсем заснуть, вот сейчас же совсем заснуть...

## ГОД ОТКРЫТИИ

В детстве казалось, что все в жизни прочно и неизменно — как домашний порядок от «пора вставать» до неизбежного «спать пора!». Папа был моряком, и мы часто переезжали с места на место, побывали и за границей — в Англии, Франции, Италии (папа был послан туда в научную командировку от Военно-морской академии, после чего читал курс лекций «Иностранные флоты»). Но жизнь за границей ничего не меняла во внутреннем распорядке семьи — папа бывал дома только по воскресеньям, мама была с нами с утра до ночи и в любом месте налаживала обычный режим, даже ненавистные каши на завтрак были те же, только в Англии геркулес назывался поридж, а во Франции еще как-то.

Что осталось в моей памяти? Английская девочка, которой запретили играть с нами, потому что мы расшалились в воскресенье, а этот день — для «господа бога»... Пляж на берегу океана, где взрослые люди строили из песка громадные крепости, проводя конкурсы — чья крепость дольше выдержит прилив... Отчаянная драка с французским мальчишкой в Булонском лесу — мальчишка вообразил, что меня можно дразнить

безнаказанно, за что получил тумачков (и я тоже)... Каналы Венеции, голуби на площади, часы с молотобойцами и то, что маме почему-то не выдали денежного перевода и мы уехали в набитом битком вагоне третьего класса, и мама почти всю дорогу стояла, но была такая веселая и неунывающая, что какой-то лысый синьор под конец уступил ей место... Затем курортный городок Закопане в Татрах, куда мы кое-как добрались к добрейшей нашей закопанской бабушке, папиной маме. В Закопане я помню гору Гевонт, похожую на лежащего человека, и висячий мостик над глубоким ущельем, где с шумом мчался пенистый поток, и бабушкин уютный домик с балконом, где днем, на солнце и морозе, спали в меховых мешках ее постояльцы (наш закопанский дедушка был врачом и погиб под снежным обвалом, когда шел в горы к больному, после его смерти бабушка жила тем, что сдавала две комнаты чахоточным, ухаживала за ними и кормила их поразительно вкусными вещами — до сих пор помню бисквит со сливками и свежей земляникой!).

Конечно, впечатлений было значительно больше, чем запомнилось, они наслаивались ежедневно; но даже самые странные из них, вроде «воскресенья — для господ бога», укрепляли представление, что все окружающее налажено раз и навсегда, как предопределена и наша жизнь до того дня, когда на нас наденут платья с белыми передниками и отведут в гимназию, а там опять все будет заведено на много лет вперед.

В семь лет я открыла, что никакой неизменности нет и не так уж все прочно. Я узнала, что решения в жизни могут быть разные, так как человек должен сам выбирать свой путь! Понятно, все это было в ощущениях, а не в отчетливых формулах — кроме последней, потому что именно такая формула была произнесена и надолго врубилась в сознание.

Шел 1913 год. Папу отозвали из академии на флот, и мы вернулись в Севастополь — милый белый город, где я родилась, где отовсюду видна сияющая синь моря, а на Корниловской набережной, где мы поселились, и на Приморском бульваре, где мы гуляли, вкусно пахло водорослями. Какая-то тревога сопровождала наш переезд и жизнь в Севастополе. Взрослые все чаще говорили о возможной войне, о Германии и Австро-Венгрии, о Турции и каких-то проливах Босфор и Дарданеллы. Гуляя нашла все это на карте. Я не раз видела карту Европы, но тут впервые заинтересовалась ею. Меня оскорбило, что наше неоглядное Черное море не больше раковины, а Севастополь — черная точка у края раковины. Что же тогда мы? Я?.. Гуля объяснила, что на карте все во много-много-много раз уменьшено. Это я поняла. Разыскали Англию и Францию, Германию с Берлином, где живет сердитый император Вильгельм, Турцию с ее проливами, — по карте получалось, что все эти страны (из одной в другую ехать и ехать!) — совсем рядом, прямо-таки сцеплены вместе, только разными красками покрашены. Жили-жили рядом, и вдруг стали ссориться, да так, что «в любой момент может вспыхнуть война». Как она «вспыхивает»? И что тогда будет? Наши корабли — военные, значит, будут воевать? И могут затопиться в бухте, как те корабли, которым поставлен памятник на скале у Приморского бульвара? А папа?.. И папа будет воевать?..

Стоило об этом задуматься, все становилось шатким. И страшным. Но пока что страшно было далеко, вспыхнет или не вспыхнет, качинская бабушка сказала: «Может, все обойдется...» Зато в нашей собственной жизни надвигалась давно ожидаемая перемена — с осени мы пойдем в гимназию!

И вдруг именно у нас привычный порядок нарушился: в гимназию нас не отдали.

— Станут кисейными барышнями, как все эти офицерские дочки!

Так сказал папа.

Мы тоже были офицерскими дочками, но у папы не было худших бранных слов, чем эти самые дочки и кисейные барышни. Считалось стыдным ходить летом без синяков и царапин на коленках, бояться темноты и лягушек, плакать, если больно. Наверно, потому, что вместо меня папа хотел сына! Так проговорилась мама, не заметив, что я верчусь подле. Папа ждал сына и даже выбрал для него имя — Сережа... Я чуть не заревела от обиды. Но кто придумал, что я — девчонка? Они просто ошиблись, дали мне девчонское имя, а на самом деле я мальчишка и мальчишкам ни в чем не уступаю!

Попробовала убедить в этом папу. Он улыбнулся:

— Докажи. Можешь влезть на тот тополь?

Будто я не лазала! Но за это мне обычно попадало, а тут... Я залезла на самую верхушку старого пирамидального тополя, ветки там были тонкие и сгибались подо мною, я раскачивалась и кричала от радости. Папа сказал: молодец!

Однажды он позвал нас окапывать каштаны. Мы с папой посадили в балке три деревца и каждое лето окапывали их, а если не было дождей — поливали. На этот раз мне вздумалось пойти босиком. Бабушка не пускала, а я заупрямилась — в сандалиях жарко. Папа сказал:

— Сумеешь выдержать характер? Иди.

Топать по теплой пыли было приятно, но как неудобно оказалось нажимать на лопату босой ногой! Папа окапывал свое дерево не торопясь, чтобы не обогнать нас, и все поглядывал на меня — не сдамся ли. А меня охватил азарт: а вот смогу! выдержу! Когда я в последний раз нажала горячей от боли ногой на лопату и перевернула последний пласт земли, меня распирала радость — победившего упрямства? Или первого преодоления?..

— А домой пойдем полями,— предложил папа. И поглядел на мои ноги.

Стерня успела выгореть и жестко колола ступни. Папа первым перепрыгнул через копну, за ним Гуля. Стиснув зубы, разбежалась и я. Ох, как больно приземляться! Но я прыгала и прыгала вслед за ними. Только не заплакать! Только выдержать!

Когда бабушка, охая над моими в кровь расцарапанными ногами, заставила меня опустить их в таз с теплой водой, папа сказал:

— Ничего, до свадьбы заживет. А характер у нее есть!

Сколько событий детства забыто, а тот день крепко запомнился ощущением особенного, изнутри пришедшего счастья.

Нет, быть кисейными барышнями мы не собирались. Но гимназия — это казалось само собою разумеющимся. И вдруг... Мы ринулись со всех ног, стоило папе поманить нас на диван, где он обычно рассказывал нам разные истории. На этот раз он сказал, что мы уже большие и что человек должен сам выбирать свой путь. Кисейные барышни мечтают танцевать, выйти замуж и всю жизнь ничего не делать. А человек должен приносить пользу людям, родине, иначе он не человек.

— Я хочу,— сказал он,— чтобы вы сами выбрали себе профессию и выросли людьми. Ну-ка, кто кем хочет быть?

— Я — доктором,— не медля сказала Гуля.

Мы любили доктора Федотова, папиного лучшего друга. Федотов был корабельным врачом и вместе с папой объявил бойкот офицеру, который ударил матроса,— с тем офицером никто не здоровался и не разговаривал, так что ему пришлось перевестись на другой корабль. А Федотов был толстый, веселый и с нами говорил нормальным голосом, как со взрослыми,— сюсюканья мы терпеть не могли.

Я бы тоже сказала «доктором», но Гуля меня опередила. По-настоящему мне хотелось стать моряком, не военным, а как дядя Леша — дальнего плавания. Чтобы штилевать сорок дней в Индийском океане, побы-



вать в Сингапуре, Австралии и в загадочном Гонолулу, увидеть колибри, слонов и кенгуру, чтобы стоять в десятибалльный шторм на мостике, а при крушении покидать корабль последней... Но в моряки девочку не возьмут. Кем же мне быть? И тут я вспомнила: однажды вечером папа показал нам Большую и Малую Медведицу и другие созвездия и рассказал, как определяют по ним курс корабля, и как ученые-астрономы в больших башнях — обсерваториях — в большие подзорные трубы изучают звезды.

— Я буду астрономом! — Ответ звучал гордо.

Возможность разных — и самостоятельных! — решений была самым впечатляющим открытием моего детства.

Путь был выбран. Теперь надо было начинать его — с приготовительного класса.

Мама искала домашнюю учительницу. Когда приходили по объявлению учительницы, мы подслушивали под дверь и подглядывали в замочную скважину. Одна нам показалась злющей, другая — скучной. Видимо, и маме тоже. Но вот пришла молодая, веселая, к тому же — студентка!

— Почему же вы остаетесь на зиму в Севастополе? — спросила мама.

Шел такой оживленный разговор, и вдруг — тишина. Боже мой, почему? И какое маме дело — почему?

— Ольга Леонидовна, вы, наверно, слышали... о студенческих событиях?

— Понимаю,— после паузы сказала мама.

Мы не поняли. Но если гипноз доступен детям, в эту минуту все силы гипноза обрушились на маму через замочную скважину. И мама сказала, что надо учить нас по программе приготовительного и первого класса гимназии, чтобы весной мы сдали экстерном экзамены.

— Значит, и «закон божий»? — тихо спросила студентка.

У нас в семье религию не признавали, а церкви мама боялась, считая, что там можно подхватить инфекцию.

— Придется,— сказала мама.

Снова заминка. Что еще?!

— Мне не трудно, Ольга Леонидовна. Но тут есть одно обстоятельство. Я еврейка.

И снова — тишина. Тишина. Тишина.

— Это дело совести,— огорченно сказала мама,— конечно, если вам не позволяют ваши убеждения...

— Ах, при чем тут убеждения! Может, вы сочтете неудобным...

Гуля смотрела на меня своими большими глазами. Я — на нее. Что такое еврейка? И почему — неудобно?

— Мы же интеллигентные люди! — воскликнула мама.— Это чистая формальность, что делать, если полагается по программе!

Они еще поговорили и посмеялись, затем мама негромко позвала нас, видимо, отлично зная, что мы под дверь. Мы чинно вошли и вообще вели себя как образцовые девочки, даже сделали изысканные реверансы. А со следующего дня начали заниматься с Софьей Владимировной — лучшей из учительниц, каких я когда-либо знала.

Читала я свободно лет с шести, кое-как писала поздравления бабушкам, сосчитать что нужно умела, а таблицу умножения и таблицу слов на букву «ять» выучила назубок, когда болела корью,— таблицы висели перед глазами. Поэтому я приладилась писать диктовки и решать задачки вместе с Гулей, молитвы по программе приготовительного класса выучила походя, а Гулин учебник Ветхого завета знала гораздо лучше, чем Гуля, потому что она должна его учить, а я — хочу — учу, хочу — нет. Кроме того, мы читали вслух «Детство» Толстого. Когда кончили,

Софья Владимировна прочитала нам рассказ о Ваньке Жукове и «Спать хочется» — так прочитала, что мы прослезились.

— Вот какое разное бывает детство,— сказала она.— Правда, несправедливо?

После занятий мы гуляли на Приморском бульваре или на Мичманском, ходили в музей Севастопольской обороны, называвшийся Панорамой, и на Малахов курган, где сохранились траншеи, редуты, пушки и круглые ядра — наши и французские. Слово «война» обретало зримые формы. Сколько интересного рассказывала Софья Владимировна во время прогулок! О матросе Петре Кошке, пробиравшемся в тылы французских войск. О партизанах Отечественной войны 1812 года. О крестьянской девушке Жанне д'Арк, отдавшей жизнь за свободу Франции... Вот что такое война!

Но однажды наша дорогая учительница рассказала нам о молоденькой революционерке Вере Засулич, стрелявшей в жестокого петербургского градоначальника. Затем — об узниках Петропавловской и Шлиссельбургской крепостей... О Ленском расстреле, из-за которого по всей стране были забастовки и студенческие волнения...

— И такая есть война, девочки! Самая справедливая.

От нее мы узнали песню, которую можно петь только потихоньку, потому что она з а п р е щ е н н а я. «Смело, друзья, не теряйте бодрость в неравном бою, родину-мать вы спасайте, честь и свободу свою!» Мы вполголоса разучивали ее, сидя на берегу моря, и море вторило песне рокотом волн в прибрежных камнях. «Если ж погибнуть придется в тюрьмах и шахтах сырых...» Я содрогалась, но страх мой был сладок, чувством я постигала отчаянность неравной борьбы и прелесть какой-то пока неведомой силы, заставляющей человека идти хоть на смерть. Значит, и такой можно выбрать путь?!

Для рукописного журнала «Красное яичко», который мы затеяли с Софьей Владимировной, я решила написать рассказ о революционерке, попавшей «в шахту сырую», но дальше первой строчки дело не пошло из-за полного незнания того, о чем я хотела писать.

В ту же зиму мы открыли для себя кинематограф. Папа повел нас посмотреть видовую картину о маневрах флота. Удивительно было видеть знакомые корабли в открытом море — и как будто рядом! Вслед за видовой показали картину «Кай Юлий Цезарь», нас хотели увести, но мы не дались. В том, что происходило, я ничего не поняла — кто на кого сердится и за что. Но поверженного Цезаря ясно помню до сих пор, он приподнимается на локте и смотрит на одного из убийц, а под ними возникает надпись: «И ты, Брут?» Но больше всего меня поразило, что можно на мерцающем экране увидеть незнакомую жизнь, даже самую давнишнюю, и увидеть так, будто все происходит при тебе.

В кинематограф нас больше не пускали. А там шла многосерийная картина «Сонька — золотая ручка» — о знаменитой воровке! Выручила Софья Владимировна. Каждый понедельник она бегала смотреть новую серию (тогда говорили «выпуск»), а во вторник на прогулке все увиденное подробно нам пересказывала. Кстати, вопреки мнению моралистов всех времен, это не пробуждало у нас желания стать воровками.

И еще открытие того года — первая детская любовь. Миша Муравьев. Мы познакомились на елке, и он сразу прирос ко мне, присоединился к нам на прогулках и во всех играх мне уступал. Ощущение власти над ним было ново и чудесно. Но вскоре приехала его двоюродная сестра Катя, и родители велели Мише уступать ей, потому что у Кати умер папа. Умер папа — это было страшно, я согласилась — надо уступать. Но Катя оказалась капризной и заносчивой девчонкой, что бы мы ни затевали — шла наперекор, а Миша ей не прекословил! Я люто ревновала и однажды рассорилась с Мишей насовсем. Недели через три он появился на

бульваре один, догнал меня, схватил за плечи и разом выпалил, что эта дура наконец уехала, что он измучился и теперь снова будет во всем уступать только мне. Мы поцеловались, я крикнула: догоняй! — и побежала... Было решено, что мы поженимся, как только станем большими.

В середине двадцатых годов он разыскал в Севастополе мою тетю, чтобы узнать, где я и что делаю. Когда тетя Вера рассказала все, что знала, Миша схватился за голову:

— Верочка — комсомолка? Боже мой! Боже мой!

Так отпал мой первый жених. Но в тот давний год поклонение Миши питало мою гордость и помогало осознать свою человеческую самостоятельность. На восьмом году? Да, именно в 7—9 лет человек начинает напряженно обдумывать окружающее и самого себя, отстаивает свою самостоятельность и топорщится изо всех силенок, если ему что-то навязывают. А мне — навязали.

В тот год я охладела к музыке — наплыв новых впечатлений был велик, а мама уже не играла вечерами «просто так», по настроению, она готовилась к концерту в Морском собрании и часами отработывала свою программу. Но именно теперь нас вздумали учить музыке! Учительница, Софья Михайловна, не любила ни музыку, ни учеников. Гулю она еще терпела, а меня, кажется, возненавидела, во время урока кричала, что я тупица, и шлепала меня по пальцам. А когда за нами приходила мама, она восторженно говорила: «ваши прелестные девочки!» Меня оскорбляло и ее лицемерие, и то, что вытворяли на клавишах мои собственные руки — клацающий, безрадостный звук! — и нудная монотонность гамм...

Не знаю уж, почему, но передо мною возникла именно Жанна д'Арк, а не более подходящая героиня, когда я решительно сказала маме:

— Учиться музыке я не буду.

Меня убеждали, наказывали, стыдили... Мой первый в жизни бой! Я его выиграла.

Страшновато было, что скажет папа, когда вернется (он уехал в Петербург). Папа улыбнулся:

— Может, лучше хорошо слушать, чем плохо играть?

— Я боюсь, что она потом пожалеет, — сказала мама.

Жалеть — не жалела, но как только уроки кончились, я полюбила музыку снова — и навсегда. Будь учительницей музыки не Софья Михайловна, а Софья Владимировна, я бы, наверно, не взбунтовалась.

Кстати, совпадение имен много лет спустя сильно подвело меня. Приходит ко мне в редакцию пожилая дама в старомодной шляпке, приторно-ласковая, пытается обнять:

— Верочка, я Софья Михайловна, ваша учительница музыки!

Выяснилось, что она хочет переехать в Ленинград и надеется на мою помощь: «Устройте меня в издательство секретаршей!» «Почему секретаршей, вы же музыкантша?» Она ответила вполне современным языком, что ей осточертели ученики... Ох, намного раньше они ей осточертели!

А через некоторое время у меня дома раздался телефонный звонок и сдержанный женский голос сказал:

— Это ваша бывшая учительница Софья Владимировна. Мы с мужем приехали из Ростова, остановились в Доме ученых. Очень хочу повидать... не знаю, как говорить — вас или тебя, но хочу.

Почему-то в памяти всплыла старомодная шляпка и приторная ласковость недавней гостьи, и я суховата сказала, что в эти дни очень занята, если на той неделе...

В трубке звякнуло, раздалась частые гудки... И в ту же секунду я сообразила, кто это, и чуть не взвыла от стыда и горя. Что же теперь делать?! Не сразу, но память подсказала — в Доме ученых. Да, да, да, она

сказала: остановились в Доме ученых. Там есть небольшая гостиница. Ее фамилия — Штернгольц. Проще простого найти ее!

Дежурная гостиницы ответила: такая не проживает.

Подумав, я позвонила снова и возвала к сердцу дежурной — поймите, я невольно оскорбила любимую учительницу, она, конечно же, вышла замуж, и фамилия у нее другая. Золотой человек была эта дежурная! Просмотрела весь список и нашла профессора Сперанского из Ростова с женой Софьей Владимировной. Обрадовав меня, побежала звать ее к телефону. И вот... Как я могла хоть на миг спутать этот милый, грудной голос с каким бы то ни было другим?!

— А я вернулась в номер, реву как дура, муж говорит: что ты хочешь, столько лет прошло, она теперь писатель! А я говорю: если Верушка могла так измениться, значит, нет правды на свете.

Через полчаса я уже обнимала ее — все такую же, прежнюю Софью Владимировну! Нет, она, конечно, постарела и располнела, были и морщинки и сединки, но ведь и внешний облик определяется человеческой внутренней сутью, а человечья суть озаряла ее лицо все тем же ясным светом ума, сердечности и молодой пылкости, и мы сразу заговорили так, будто только вчера роняли слезы, расставаясь на севастопольской пристани, и я все та же озорная Верушка, она знает все мои грехи и посмеивается, и не выдает, и может быть, за это и любит, а я люблю ее за все решительно — от Соньки — золотой ручки до тех глубинных чувств и понятий, которыми она так щедро нас одарила.

Мы говорили и говорили, пока ее муж не взроптал — ведь не пообедали! Мы пошли в полупустой зал ресторана Дома ученых и заказали все самое вкусное, что было в меню, а потом рассеянно съели, за разговором не замечая, что едим, и правда на свете была, и мы распили за нее бутылку доброго вина.

## ВОЙНА И МИР

Сразу после экзаменов мы выехали за город, но не к бабушке, как обычно, а в Учкueвку. Папа считал, что в это лето он почти не сможет отлучаться с флота, и хотел, чтобы мы жили поближе к Севастополю. По утрам мама хватала газеты, ее глаза тревожно пробежали по столбцам... Когда приезжал папа или кто-либо из знакомых, разговор сразу заходил о политических новостях, о приближении войны. Жалели маленькую Сербию, ругали все того же Вильгельма и «престарелого» Франца Иосифа, который тоже был императором, и, видимо, не лучше первого. Кроме них, папа ругал какого-то Эбергарда, я считала, что это еще один негодный император, но оказалось, что это командующий Черноморским флотом, старый адмирал, который «не способен охватить»... Что? Почему? И зачем такого назначили?..

Корабли выходили на учения и напротив Учкueвки стреляли по щитам. Щиты тянулись за буксирами, я боялась, что артиллеристы промахнутся — да в буксир! Иногда в небе, тарахтя, пролетал аэроплан с двумя плоскостями, прикрепленными одна над другой, на носу у него крутился винт, а в кабине виднелась голова авиатора в шлеме. Авиатору мы махали руками.

Из соседней дачи выбегала вечно растрепанная женщина, испуганно спрашивала:

— Это не германский?

В то время Учкueвка была пустынным местом. Пыльная дорога вилась среди пологих холмов, поросших травой — траву никто не косил, ее выжигало солнцем. Кругом ни деревца, ни кустика. Вдоль дороги стояли три дачки, обнесенные низкими заборами из необтесанного камня, возле дачек торчали чахлые саженцы. Одну из этих дачек мы сняли на лето.

Через поле, над обрывом к морю, стояла особняком большая двухэтажная дача, за ее высоким глухим забором зеленели верхушки деревьев и возвышался ветряк — когда ветер крутил его колесо, оно напоминало винт аэроплана. Ходить к той даче нам строго-настрого запретили — от обрыва изредка отваливались пласты, земля трескалась, со стороны моря трещины змеями уползали под забор. Если спуститься по дороге к морю, над широким песчаным пляжем стояла еще одна дача — высокая, белая, но недостроенная, без окон и дверей, говорили, что там ночуют бродяги. Жутко было, когда ветер гулял внутри дачи, — будто люди свистят... Может, те бродяги?

Из-за бродяг или просто из-за пустынности места, но у нас поселился матрос. Папа был уже капитаном второго ранга и «имел право» держать дома денщика, но считал это мерзостью и своим правом не пользовался. А тут вдруг сообщил:

— Завтра придет матрос, поживет с вами до осени. Только мешать ему не надо, пусть сидит и занимается.

Матрос пришел с маленьким рундучком и тяжелой связкой книг. Тонкий, светловолосый, с холодными серыми глазами, он смотрел на нас настороженно, будто все время ждал подвоха. Дачка была одноэтажная, но стояла на взгорке, поэтому со стороны склона был еще полуэтаж в три окна — кухня и две комнатки. В одной из этих комнаток матрос и поселился, расставив на подоконнике книги. Я забыла, как его звали, и не знаю, что с ним стало потом, но мама называла его по имени-отчеству и робела перед его серьезностью. А меня неудержимо тянуло под его окошко. Столько книг! Наверно, очень интересные, если он и на пляж не ходит.

Однажды мне показалось, что его нет в комнате, и я осторожно потянула к себе самую толстую книгу.

— Что вам нужно, барышня?

Он приподнялся над книгами, лицо было недоброе, даже злое.

— Посмотреть... картинки... — пролепетала я, — вы не думайте, я поставлю на место.

Он усмехнулся, вытащил книгу из плотного ряда и показал мне обложку. На ней было напечатано крупными буквами одно слово: «Капитал».

— Картинок в ней нет. И книга не для барышень.

— Я не барышня!

— Ну как же не барышня? Небольшая, но барышня.

Говорил он насмешливо, я обиделась и выпалила одним духом, что кисейные барышни — хуже всего, папа их презирает, человек должен сам выбрать свой путь и приносить пользу, я буду астрономом, я уже знаю обе Медведицы и Полярную звезду, Орион, Скорпион, Вега...

Я скопом перечисляла звезды, какие запомнились по карте звездного неба — ее недавно подарил мне папа, — и надеялась, что матрос поразится моими знаниями, но он о чем-то так задумался, что, кажется, и не слышал про звезды, я до сих пор помню его лицо с изумленной и недоверчивой улыбкой. Осмелев, я спросила:

— Можно мне к вам?

— Ну зайди.

Я мигом оказалась в его комнате, но и он вроде успел передумать:

— А вам разрешат... вам не запрещают ходить ко мне?

Я с досадой кивнула головой:

— Папа запретил. Чтоб не мешали вам заниматься.

И тогда он сказал:

— А ведь он действительно очень хороший человек, ваш папа. До удивления.

До удивления?! Мне казалось несомненным, что папа очень хороший. Но матрос вкладывал в эти слова какой-то другой смысл, гораздо более

глубокий и для меня непонятный. Чтобы скрыть смущение, я уткнулась в раскрытую на столе тетрадь — столбики цифр, какие-то значки и птички с одним длинным крылом, отлетающим вправо.

— Это арифметика?

— Это то, что после арифметики. Алгебра. Слыхала про такую, астроном?

Среди его книг была «Война и мир». Того самого Толстого, который написал «Детство» и «Севастопольские рассказы». Пухлые томики «Войны и мира» были и среди маминых-папиных книг, но мне их не давали, говорили — рано, поэтому к ним и тянуло. Ушла я от матроса с первым томом, спрятала его под тюфяк и начала потихоньку читать. Рано мне было или не рано, но поначалу чтение не давалось, я запутывалась в сложной толстовской фразе и, дотянув до точки, возвращалась назад, чтобы перечитать и понять. Если б я не захотела сама, а мне велели бы прочесть эту книгу — давно бы бросила. Помощь пришла все от той же Софьи Владимировны, хотя ее не было с нами. Я вспомнила, как она читала нам Толстого, ее особую неторопливую интонацию, когда она не просто произносила слова, а сперва как бы подержит каждое на языке, а потом уж преподнесет. Я попробовала читать так же, не торопясь проглатывать слова, а вслух и в той же неторопливой интонации. Ничего не вышло... начало получаться... и вдруг мне открылось наслаждение словом.

С того дня я не могла думать ни о чем другом. Непонятное оставалось непонятным, но, втянувшись в чтение, я наловчилась пропускать «войну» и находить страницы, где рассказывалось о Наташе Ростовой и ее семье. Теперь Наташа Ростова была рядом со мною, нет! — во мне. Даже на море, во время детской возни и купанья, я чувствовала себя и самой собой, и одновременно Наташей, странно тоненькой девочкой с большим ртом. Я злилась на непонимающую Соню и тоже хотела «подхватить бы себя под колени — ту же, как можно ту же», — и полететь... Непрерывное ощущение в себе этой второй жизни так потрясало, что вечером я не могла уснуть, переживая случившееся с нею днем и придумывая, что должно случиться завтра. Утром я впивалась в книгу — так или не так?.. Если мне случалось хоть что-то угадать, я целый день ходила в состоянии блаженного опьянения. Но почти всегда в книге получалось совсем не так, как я придумала, потому что настоящая Наташа жила по-своему и не могла жить по-другому.

В середине лета я начала упорно вчитываться в «войну».

По утрам не только мама, но и мы хватали газеты, выискивая главные новости. А новости были каждый день — одна другой тревожней. В городе Сараеве сербский гимназист стрелял в австро-венгерского наследника Франца Фердинанда... Маленькой Сербии предъявлен ультиматум... Австро-Венгрия объявила ей войну!.. Мобилизация в Германии... мобилизация в России... Англия заявила... Франция заявила...

Начало войны врезалось в память не только само по себе, но и потому, что совпало с домашним конфликтом, в котором я была главной виновницей.

Иногда к маме приезжала знакомая дама, толстая и слезливая. Мама с папой прозвали ее Индюшкой, но почему-то вежливо принимали — кажется, она была чьей-то вдовой. У Индюшки был сын Боря, преротивный рыхлый мальчик чуть старше Гули. Когда Бору привозили на Качу, мы играли втроем, но он и тогда уже задавался. Как-то рано утром он пошел без нас ловить головастика (хотя мы условились идти вместе после завтрака) и, к нашему удовольствию, упал в бассейн. Воды там было по пояс, его быстро вытащили, но он поднял истошный крик, Индюшка отпаивала его валерьянкой и уложила в постель, что очень рассмешило нас, так как мы не раз побывали в бассейне и сами выкарабки-

вались, не поднимая шума. Так вот, в жаркий июльский день в Учкучевку прикатила на извозчике эта дама со своим сынком. Увидав их, я закричала:

— Мама, Индюшка приехала!

Ох, как покраснела и рассердилась мама! А Индюшка и не слышала, она выгружалась из пролетки, цепляясь за Борино плечо, а Боря был фыря-расфуфюра, в новеньком кадетском мундире и фуражке.

Гулю он еще кое-как достаивал чести, а меня не замечал, я была мелюзгой для его кадетского великолепия. Даже когда мы пошли на море, он не захотел расстаться с мундирчиком и фуражкой, чинно вышагивал по дороге и разговаривал только с Гулей — да и то снисходительно. Я начала прыгать вокруг него, выкрикивая:

— Кадет на палочку надет! Кадет на палочку надет!

Сперва он пытался не замечать меня, потом стукнул по затылку — отвяжись! Ну, опыт по части драк у меня был, за этот опыт я не раз стояла в углу. Боря был выше и сильней, но неповоротлив и рыхл, я была мала да увертлива. Когда наши замешкавшиеся мамы появились на дороге под белыми зонтами, кадет лежал в густой пыли лицом вниз, я сидела на нем и дубасила его кулаками по плечам. Маме не сразу удалось оторвать меня от поверженного врага. А враг ревел в голос, по его серому от пыли лицу мутными ручейками текли слезы, мундирчик был измят и грязен, фуражку куда-то укатилась...

Дальнейшее развивалось без меня. Под домом был у нас секретный лаз, я забила туда и время от времени принимала Гулины тайные сообщения: Борьку отмывают в тазу... Борькин мундир почистили, отглаживают... Индюшка собралась уезжать, мама велела, чтоб ты немедленно пришла и попросила прощения...

Просить прощения я не пошла. И вылезла из своего убежища только перед ужином, когда стемнело. Я ждала наказания, но мама просто исключила меня из семьи: смотрела мимо меня, разговаривала только с Гулей, будто не слыша моего робкого голоса. И перед сном, когда я первую старательно и добровольно вымыла все что полагается — мама поцеловала Гулю, а меня — нет.

Утром все продолжалось: я сидела за завтраком — но меня вроде не было. Гуля усердно втягивала меня в разговор о последних новостях, я нарочно задавала вопросы — мама не слышала. Вот что такое бойкот! Лучше бы в угол хоть на три часа!..

И вдруг что-то произошло — какие-то выкрики донеслись с соседних дач, зафыркал мотор. Напротив веранды, где мы завтракали, притормозил открытый автомобиль, в нем стоял во весь рост молодой армейский офицер, он крикнул нам ликующим голосом:

— Господа! Война объявлена! Да здравствует государь император! Ур-ра!

И умчался в сером облаке пыли.

Сразу куда-то отлетело все, что нас занимало минуту назад. Потом я много раз испытывала это резкое переключение от обычного — к чрезвычайному, будто гигантский рычаг переводит жизнь с малых оборотов на большие. В то июльское утро я это испытала впервые. Офицер чему-то радовался, а мама побледнела и сказала странные слова:

— Теперь, наверно, и Турция...

Забыв выпить кофе, она тут же заторопилась в Севастополь — по-видать папу. Папа теперь не скоро к нам выберется, флот будет «на военном положении из-за Турции...» На прощанье она притянула к себе нас обеих и крепко поцеловала. Меня тоже. Моя вина осталась в той, довоенной жизни.

Мы без спросу ворвались к нашему ученому матросу, он наверно знал, при чем Турция, когда война из-за Сербии...

— О Сербии теперь все позабудут,— мрачно сказал он и почему-то начал складывать тетради и книги стопкой.— А уж крови прольется!..

Кровь лилась. Газеты печатали списки убитых, в журнале «Нива» целые страницы, обведенные черной каймой, были отданы фотографиям жертв войны. Прапорщики, поручики, фельдфебели... Я вглядывалась в их лица, почти сплошь — молодые. Еще недавно они ходили фотографироваться, принимали бравый вид, фуражки чуть набекрень, а у казаков — лихо заломлены над вьющимся чубом. А теперь их всех нет — совсем нет?..

Я еще ни разу не видела смерти. Знала, конечно, что люди умирают. Вот и закопанский дедушка погиб под снежной лавиной, а севастопольский дедушка, красивый моряк с черными баками, в бурю неудачно прыгнул в шлюпку, сломал ногу, в ноге получилась гангрена... Но это было еще до меня. И в севастопольскую оборону погибло много моряков и солдат, в Панораме было нарисовано — как, а перед нарисованным, где были уже настоящие камни, пушки, редуты и кучки ядер, лежали лицом вниз убитые — но это не были настоящие убитые, сделали чучела и надели на них сапоги и мундиры. Совсем недавно я прочитала, как убили Петю Ростова, милого, счастливого Петю... но это все же было в книге, стоило перелистнуть несколько страниц назад — и Петя снова дарил свой ножик, и угощал офицеров изюмом без косточек, и ездил с Долоховым к французам, а ночью перед сражением отдавал точить свою саблю и вместе с вжиканьем сабли о брусочек слышал свою музыку, сладкую и торжественную, музыку, которая звучала в нем самом... Я знала наплывающее иногда звучание своей музыки и, читая эти строки, как бы слышала ее вместе с Петей. А следующие страницы, где Петю убивали,— не перечитывала никогда. Петя оставался живым.

Смерть князя Андрея я воспринимала только через Наташу. «Простое и торжественное таинство смерти» — этого я не понимала и не хотела понимать, все мое существо противилось самой возможности смерти — был человек и нету. Стоял перед фотографом, фуражка набекрень, а потом — одна пуля... и все?.. Совсем?.. Как это может быть, что вот я — дышу, бегаю, думаю, и вдруг — ничего?..

Осенью, перед отъездом из Учкучевки, я впервые увидела смерть. И не от болезни, не от пули. На море был шторм. Меня всегда пьянил ветер, я бегала как сумасшедшая по полю, подставляя лицо порывам ветра, и от радости жизни выкрикивала что-то дикарское, благо никто не мог услышать. Презрев строгий запрет, взбежала на самый край обрыва, на гребень его, где стояла таинственная дача. Ветряк стремительно крутился, сливая свои распяленные крылья в сплошное кольцо и посвистывая от напряжения. Ветер подхватил и вздул мое платьишко, рванул волосы. А море-то, море! — бурое у берега и темное-темное над глубиной, до самого горизонта взлохмаченное и исчирканное белыми завитками пены. Волны наискось бежали и бежали одна за другой, с ревом обрушиваясь на пляж. Я осторожно перегнулась через рваный край обрыва, чтобы поглядеть, как они разбиваются,— и увидела на пустом пляже человека. Человек был в одних трусах, голое тело — коричнево от загара. Его тоже радовал ветер — он бежал, подпрыгивал, крутанулся через голову, сделал стойку, снова попрыгал. Я не могла услышать, но и он, наверно, пел или кричал от радости жизни. Затем, вытянув вперед руки со сведенными вместе ладонями, он устремился навстречу водяному валу, проткнул его руками и всем телом прежде, чем вал закрутил его,— и вот уже за прибрежной крутовертью видны его мерно взлетающие над водой руки. На пляже осталась кучка одежды да стоящие носками врозь ботинки, а пловец все плыл и плыл от берега, даже издали было видно, как умело и сильно он плывет. Уже и



голова не видна, только взмахи рук. На минуту я потеряла его, потом увидела снова — он плыл обратно, то исчезая за белыми гребнями, то появляясь. Неторопливо и точно работали его сильные руки. Но что это? Что?! Пловец вдруг скрылся под водой, потом вымахнул над волной с поднятыми руками, будто взывающими о помощи, опять пропал — нету и нету, — еще раз вымахнул, еще отчаяннее вскинув руки... Взвыл ли ветер, крутя надо мною ветряк, или вправду донесся до меня крик?.. А человека уже не было. Сколько ни гляди — бегут и бегут волны, завивая на гребнях пену. И только на пустом пляже — кучка одежды и два ботинка носками врозь.

Я стояла на обрыве долго, окоченев от ужаса. Потом тихо пошла домой и никому, даже Гуле, ничего не сказала ни в этот день, ни на завтра, когда на всех трех дачах обсуждали случившееся. Говорили, что это был великолепный пловец и спортсмен, что его, наверно, ударило шальным бревном, подхваченным волнами, или судорога свела ему ноги. Я жадно прислушивалась и — молчала. Заглянула я с того обрыва в такую страшную безвозвратную пустоту, что не могла говорить об этом детскими словами, а других не было.

В Севастополе война чувствовалась гораздо сильнее, хотя шла пока далеко. Вход в бухту перегородили до дна бонами с противолодочной сеткой, в море тоже ставили мины. Из-за Турции?.. Вся Европа была охвачена войной, мы смотрели по карте, кто с кем и где воюет, о маленькой Сербии никто не вспоминал, а бои шли и шли, на суше и на морях. Может, папа мог бы многое объяснить, но папа приходил редко и ненадолго, чаще мы ходили с мамой на Графскую пристань и с нетерпением ждали, когда покажется маленький щегольской катерок. Папа с флотским шиком стоял в нем, катерок мчался, вздымая бурун, на полном ходу осаживал у нижней ступени — папа одним махом перескакивал на пристань... Но вблизи он выглядел озабоченным...

Было ранее-раннее утро, когда я вдруг проснулась. Только светало, в детской было серо, но я увидела Гулин недоуменный взгляд, обращенный ко мне, и в тот же миг снова раздалось то, что нас разбудило, — незнакомый грохочущий звук, сразу повторенный более громко и звонко, будто что-то лопнуло и упало. Босиком, в рубашонках подскочили к окну. Из окна нашего дома на Корниловской за горловиной бухты было видно открытое море. Море скрывалось в утреннем плотном тумане, но этот туман пробила яркая оранжево-красная вспышка (вот откуда шел грохочущий звук!), а затем в середине бухты поднялся мощный столб воды, задребезжали стекла, кто-то где-то пронзительно закричал. Тут вбежала мама, натягивая халат, схватила нас за плечи и бегом увлекла в ванную, где ей казалось безопасней.

Так началась война на Черном море. Немецкие крейсера «Гёбен» и «Бреслау» вошли в его воды через те самые проливы, обстреляли многие наши порты и скрылись, пользуясь своей быстродвижимостью.

Через несколько дней мы уже повторяли шуточные стихи, ходившие на флоте: «...но пока три адмирала хитрый план решают свой, «Гёбен» тихо, без аврала, возвращается домой». Стихи принес папа, он был усталым и раздраженным, говорил маме:

— Ничего нельзя сделать вовремя! Пока добьешься приема, пока обсудят и утвердят, все теряет смысл.

Незадолго до того папу назначили начальником оперативного отдела штаба флота. Он был сдержанным человеком, но мы все чаще ловили удивлявшие нас слова: «Сколько ни говори — все в вату» (как это — в вату?), «Война — а воевать не дают» (кто? почему не дают?). Доктор Федотов говорил, что армию снабжают «из рук вон плохо», нег снарядов, сапоги с картонной подметкой, все воруют, «все прогнило насквозь». До нас все чаще доносилось новое имя — Распутин, его

произносили с отвращением и почему-то тут же поминали царицу и царя.

Мой ребячий ум с трудом переваривал все, что впитывал. Но сквозь все «почему» проросло одно главное: если все так плохо, почему взрослые не стараются все изменить, чтобы стало хорошо?..

Папа, видимо, пробовал как умел. Он написал командующему докладную записку с резкой критикой всей деятельности штаба и лично адмирала. Он читал эту записку маме, читал Федотову. Очень волновался, как примет ее адмирал. А потом:

— Никак не принял. Сказал спасибо, и все по-старому.

Копия этой большой записки хранилась у мамы, затем перешла ко мне. Вежливо-беспощадная критика с подробными предложениями, что и как исправить. Но... «как в вату»!

И вдруг — новость: царь приехал в Крым, к нему в Ливадию едут с докладом о действиях флота, папа тоже будет докладывать.

Не знаю, надеялся ли папа чего-то добиться, наверно, все же хоть немного надеялся. Узжал он в парадном мундире с золотыми качающимися эполетами, которые я называла «желе». На поясе золотое оружие, награда за Порт-Артур.

Мы весь день волновались. Все-таки царь! Вечером мама разрешила нам лечь попозже, чтобы дождаться папу. И вот он входит в переднюю, с облегчением распахивая ворот мундира.

— Ну как, что? — не терпится маме.

— Ну что? Дурак.

Это было здорово — такой ответ! Но он прибавил к моим «почему» еще один вопрос, на который ответа не было. А маленькому человеку очень нужна ясность, он полон радости существования и убежден, что все в жизни должно быть хорошо. «Не хочу, чтобы плох был мир, в который я вступаю!..»

Из тех смутных предреволюционных лет отчетливо запомнились два события. Старого адмирала наконец сняли, вместо него прибыл с новым штабом адмирал Колчак (в будущем — один из вождей белогвардейщины). А папу назначили командовать крейсером «Аскольд», застрявшим во Франции, на «Аскольде» что-то случилось, шел суд, папа всячески оттягивал отъезд, но его торопили. А добираться нужно было кружным путем, через Швецию и Англию, возможно — в штатском и под чужим именем. Это было интересно, но страшно, немцы объявили беспощадную подводную войну, их подводные лодки топили суда в Северном море, а папе нужно было плыть именно Северным... Как мы терзались страхом за него, пока не получили наконец доброй весточки!

А потом — взрыв «Императрицы Марии», дредноута, стоявшего в глубине бухты. Мы снова жили в Учкеевке. Взрыв произошел рано утром и с такой силой, что вздрогнула земля и зазвенели стекла. Через несколько минут со двора дачи мы слушали (километр за три-четыре) отчаянный, усиленный мегафоном голос Колчака, выкрикивающий приказы по рейду. Что-то и кого-то пытались спасти... Моряков в тот день погибло так много, что в течение месяца даже к учкеевскому берегу иногда прибывало растерзанный труп, оторванные руки и ноги...

Смерть подошла к нам вплотную и носилась по земле, по воде и под водой, обрушивалась с аэропланов, и уже передавали слухи о новых немецких средствах уничтожения людей — о каких-то ядовитых газах...

Именно в тот год, вырванная войной из круга детских интересов, я написала «роман» — не что-нибудь, а «роман»! Писала увлеченно, забыв игры и шалости, упрямо преодолевая трудность самого процесса писания — нет, не творческих мук, их не было, а простого писания: ручка, чернила, бумага и слова, которые надо писать без ошибок.

Сейчас мне уже не вспомнить, что и когда подсказало мне такой сюжет и таких героев. По-видимому, ребячья фантазия переработала многочисленные впечатления, разговоры и недомолвки взрослых. Помню только, что Софья Владимировна с восторгом рассказывала о смелом молодом немце Карле, который один голосовал против войны. Фамилию я тотчас забыла и лишь впоследствии поняла, что речь шла о Карле Либкнехте. Как бы там ни было, действие моего «романа» происходило в Германии. Ученый доктор фон Блюмменфельд изобрел средство, которым можно уничтожить весь мир. Смертельное средство умещалось в одном флаконе — в сейфе доктора. У доктора было два сына — воинственный Вильгельм и революционер Карл. И еще была белокурая секретарша Гретхен, в которую оба сына были влюблены. Между сыновьями шла борьба за обладание флаконом — один хотел погубить всех людей, кроме немцев, другой — всех спасти. С помощью Гретхен, полюбившей его, Карлу удалось завладеть флаконом, уничтожить его содержимое и спасти человечество...

Я помню содержание этого детского сочинения потому, что мама сохранила его и показала мне — взрослой. Толщина рукописи была примерно в три школьных тетрадки. С рисунками автора. На разрисованной обложке было написано: «Секрет доктора фон Блюмменфельда», роман. Первая глава начиналась словами: «Доктор фон Блюмменфельд повернулся в кресле, оглядел сыновей и сказал по-немецки...»

## ВТОРЖЕНИЕ ПОЭЗИИ

С балкона, из окон, с улочек, сбегających под уклон, — отовсюду видна синевая моря. Вогнутая линия пляжа обрывается справа — там стоит в воде скала Дива, очень большая, а за Дивой торчком — утес, он гораздо меньше и похож на человека в рясе с капюшоном, его называют Монах. Над Дивой и Монахом по крутой осыпи вьется дорога к Лимене, над нею нависает обрывистый край горы Кошки, — если как следует приглядеться, можно увидеть, что Дива когда-то давно оторвалась от Кошки и с грохотом сползла вниз, в море. А гору, нависшую над Симеизом, прозвали так потому, что сбоку она похожа на кошку, лежащую головой к морю. На горе — обсерватория, где наблюдает звезды мамин знакомый астроном Неуймин. Мы туда пошли однажды в сумерках, а потом стало темно и Неуймин дал нам посмотреть в большую трубу на звезды. Мне было интересно, но когда я представила себе, что буду всю жизнь сидеть на такой горе и смотреть в трубу, мне как-то расхотелось идти в астрономы. То ли дело стать проводником лошадей! Был в Симеизе проводник, молодой и нарядный, в татарской шапочке, расшитой монетами, он медленно проезжал верхом мимо пансионатов и дач, ведя на поводу двух лошадей для прогулок — черного красавца Принца и золотисто-рыжую Пульку. Покататься на Пулке мне хотелось больше всего на свете.

Сразу за Кошкой открывалась небольшая тихая бухточка, над нею — парк, а в парке — замок из серого камня с зубчатыми башнями. Это — Лимена. В одноэтажном домике-сторожке, стоявшем выше замка, умирал от чахотки наш дядя Коля. Мама приехала помогать тете Вере, а мы проводили время с Кирой, нашей двоюродной сестренкой. Дядю Колю мы так и не видели, только слышали, как он надрывно кашляет; нас гоняли из-под окон — идите в парк! — и мы охотно этим пользовались. Такой совершенной, упительной свободы я не знала ни до, ни после того года. Мы приходили в Лимену утром, среди дня нас выкликали обедать, потом мы опять делали все что вздумается, и так до вечера.

Замок был заперт огромным ключом, ходить туда запрещалось, потому что от сырости в замке обваливались потолки. Ключ хранился у тети Веры, иногда нам удавалось стащить его, и мы, замирая от восторга и страха, на цыпочках вступали в заколдованный мир. В зале с высокими стрельчатыми окнами на возвышении стояла арфа, можно было осторожно подергать струны — они простуженно хрипели. В спальне, обтянутой уже обветшалым шелком, стояла широкая кровать в виде раскрытой перламутровой раковины. Ванна помещалась в спине мраморного лебедя, лебедь выгнул длинную шею и смотрел назад, в ванну, вода должна была течь (воды уже не было) из его клюва. На стенах проступала плесень, кое-где мы шагали через груды упавшей штукатурки. В одной из башен, куда можно было попасть по каменной лестнице, закрученной винтом, стоял мольберт, валялись палитры и высохшие краски. На открытую площадку башни выбираться было опасно, там все трещало и обваливалось, но у самого края, держась за один из зубцов, постоять можно было — и какой же вид открывался оттуда на большое-большое, синее-пресинее море!.. Мы читали в то лето Майн-Рида и Сенкевича, моя голова была забита романтическими приключениями и любовными историями, но и без них романтичность замка и сама его история волновали воображение.

Когда-то богатый владелец соляных приисков на Азовском море, славившийся скупостью, увидел бедную девушку редкостной красоты, безумно влюбился, женился и по ее прихоти в течение одной зимы построил для нее «средневековый замок», за бешеные деньги выкупив у царской казны приморский участок земли. Красавица училась игре на арфе и живописи, собирала на лето кучу гостей, ее пожилой супруг выполнял любой ее каприз... Но красавица умерла от «грудной болезни», после чего богач запер замок на ключ, оставив все как было...

Наш дядя Коля был художником и братом красавицы, он тоже был красив, но живопись не кормила его. Когда он заболел чахоткой, богач разрешил тете Вере жить в Лимене и выполнять роль управляющей или хранительницы, но денег по-родственному не платил. Маму это возмущало. А меня томила мысль, что бывает такая безумная любовь. Наверно, нужно быть очень-очень красивой, чтобы тебя так любили! Я впервые гляделась в зеркало — буду ли я такой? Но зеркало отражало круглую мордашку под детской челкой — и совсем небольшие глаза, которые тетя Вера почему-то прозвала бедовыми, — ничего, ну ничего похожего...

Кира переехала на несколько дней к нам в Сименз. Гуля шепнула мне, что дяде Коле очень плохо, совсем плохо. Но все было обставлено так, что Киру отпустили погостить. И мы поспешили этим воспользоваться: ради гостей нам дали наконец покататься верхом, Кира бредила верховой ездой, в Лимене каталась без седла на огромном смирном битюге с мохнатыми ногами, его звали Каштан, и ходил он только шагом. Пристрастие Киры оказалось прочным, позднее она успешно занималась конным спортом. Мое увлечение было порождено «Княжной Джавахой», единственным романом Лидии Чарской, который я признавала, остальные были об институтках, о «кисейных барышнях». Княжна Джаваха говорила чинным гостям, что любит запах конского навоза, она скакала по горам на горячем коне — это мне нравилось, я тоже мечтала скакать на золотисто-рыжей Пульке. И вот я сижу в седле на Пульке и сжимаю поводья дрожащей от возбуждения рукой. Рядом Гуля на Принце и Кира на том коне, на котором обычно ездит проводник в шапочке с монетами. Мы ездим по Симензу — но, боже мой, разве это езда?! Проводник идет впереди, поцокивая языком, лошади слушаются не нас, а хозяина, они смиренны и послушны, мама идет по краю улицы и не отстает. Только напоследок, на ровной дороге, нам

позволяют прибавить ходу. Пулька бежит резво, все три лошади резво бегут в ряд, проводник бежит сбоку, поцокивая, мама отстала. Но тут оплаченный час кончается, проводник помогает нам слезть с лошадей. Кира сияет, мама тоже сияет — доставила нам удовольствие. Я вежливо улыбаюсь, мне не хочется показывать маме, что я разочарована. Откуда оно пришло, разочарование? Оттого ли, что в нашем катанье не было свободы, или просто оттого, что оно — не то, что мне нужно? Нечто подобное я чувствовала, когда мы возвращались под сияющими звездами из обсерватории, и давняя мечта отлетела в прошлое, будто ее и не было.

В тот год, проведенный в Симеизе, нас снова захватили события большого мира. Взрослые говорили открыто, не понижая голоса, о бездарных генералах и погавщиках-ворах, о Распутине и о царе с царицей, подпавших под влияние жулика, о «чехарде» сменяющихся министров (каждый новый — «тех же шей, да пожиже влей»). В газетах печатались отчеты о заседаниях Государственной думы, я начала просматривать их после того, как депутат Марков 2-й обругал кого-то дураком. «Дурака» напечатали, но целые столбцы в газетах были белыми — цензура что-то вымарала. Случалось, из речи депутата печатали только первые слова, потом шел белый столбец, еще несколько слов — и опять пустота. «Дальше так продолжаться не может!» — это повторяли все, с кем мы соприкасались. А что же будет? Что и как и з м е н и т ь?.. Близость неизбежной перемены будоражила души.

Однажды вечером в нашем пансионате праздновали чей-то день рождения. Мы слушали с балкона, как в гостиной играют на рояле вальсы и польки, шаркают подошвы танцующих, празднично звучат голоса. Потом молодежь выбежала в сад, две девушки под гитару, на два голоса, спели «Не искушай меня без нужды», спели плохо, но им похлопали, после них уже немолодой дяденька спел густым басом «Как король шел на войну», ему тоже похлопали, и он спел еще «Блоху». А потом высокий тоненький гимназист прочитал стихотворение про толпу бродяг бездомных, шедших к водам Ганга из далеких стран, там были слова, обращенные к Будде: «Самодержец мира, ты не прав!» Стоило гимназисту произнести эти слова, как грохнули аплодисменты — не только в саду, но и с балконов, из окон и с улицы, где за садовой решеткой, оказывается, собрались слушатели. Такое было у людей настроение.

Я тоже хлопала изо всех сил, перевесившись через балюстраду балкона. А затем притихла, пораженная тем, что стихи могут быть такими н у ж н ы м и! Эта мысль занимала меня несколько дней — ребячливость отнюдь не мешает напряженной умственной работе, вернее, наоборот — всякая новая мысль поражает ребенка гораздо сильнее, чем взрослого.

И тогда же в мою жизнь по-новому вошла музыка. Сразу после ужина мама торопилась загнать нас в постели, чтобы уйти, но мы увязывались за нею, давая честное слово «сидеть тихо и молчать», мама беспомощно вздыхала и говорила: «Ну, хорошо, только надеть пальто». Мы спускались к морю и шли вдоль пляжа в сторону Алупки, шли довольно долго, в темноте спотыкаясь о камни. Звуки рояля доходили до нас издали, мама ускоряла шаг. Мы шли на музыку, как на свет маяка. И вот она — рядом. Мы забирались на большие камни, еще хранящие дневное тепло, мама садилась поодаль, чтоб мы не мешали. На горном склоне лицом к морю стояла дача, окруженная густой зеленью, зелень в эту пору казалась черной, над нею пиками торчали кипарисы. Распахнутые окна преломляли в своих стеклах лунный свет, бросая в черноту оконных провалов голубые блики. Казалось нам или мы в самом деле видели край белой клавиатуры и склоненную над

нею темную голову?.. Там был Рахманинов. Он играл, не зажигая света, играл что вздумается, иногда обрывал на середине музыкальную фразу и надолго замолкал, иногда брал несколько аккордов и слушал, как протяжно гудят струны — все тише, тише... Я тоже слышала это — или мне так казалось. Иногда он проигрывал целое произведение от начала до явного завершения — не знаю, слышала ли я позднее то, что он тогда играл, у меня нет музыкальной памяти, да и наслаждение тех вечеров не мог бы повторить ни один концерт, тут было все — и обаяние неурочной прогулки, и тайное слушание того, что игралось не для посторонних, и шелест крохотных волн о песок и гальку, и все необозримое море в двух шагах. Не знаю, сколько это продолжалось (до того вечера, когда окна оказались заколоченными), но помню, что в первый раз рожок месяца прокладывал на море узкую, легко дробящуюся полосу, а дача Рахманинова почти сливалась с чернотой деревьев, затем рожок с каждым вечером толстел и округлялся, его голубой свет уже забивал сверкание звезд, были приметны только самые яркие. После двух дней непогоды (когда и мама не ходила, потому что те окна не могли быть открытыми), луна была уже совсем круглая, на море лежала широкая серебряная дорога от горизонта до наших ног, рахманиновская дача стала светло-голубой, а кипарисы — еще черней, мокрые камни на пляже глянцево сверкали, в маминих глазах застыли две маленькие круглые луны, ее белый шарф тоже поголубел и казался незнакомым, а за распахнутыми окнами Рахманинов все играл и играл... Может, ничего прекрасней и не было в жизни, чем эта ночь и музыка Рахманинова, играющего для себя.

Когда он уехал, мне все чего-то не хватало, взрослеющая душа жаждала поэзии — а та будто ждала, чтоб явиться.

Встречая людей, пораженных глухотой к поэзии, и таких, которые без нее не могут жить, я не раз задумывалась: как она возникает, эта колдовская власть? Живет себе человек, не догадываясь, что поэзия где-то рядом, ждет его и даже ищет... живет человек до какого-то дня и часа, когда вдруг — в ответ ли на волнение чувства, на сосредоточенность в жажде познания или на тишину одиночества — вдруг, неожиданно, вся колдовская сила певучих слов ударит в его душу — и без нее уже не обойтись, она остается с ним, радуя, тревожа и вызывая такие отзвуки глубинных чувств, каких он и не знал за собой.

Мое детство прошло без стихов. Не было тогда настоящей детской поэзии, а стихи в журнале «Задушевное слово» не затрагивали ни чувств, ни мысли. После сказок Пушкина и Ершова, читанных нам в раннем детстве, стихи выпали из круга наших восприятий. В кружке маминих-папиних друзей читали Блока и Брюсова, иногда читали стихи Бальмонта, про которые папа и доктор Федотов говорили — «нечто бальмонтонное». Однажды у нас в доме появилась книжка Игоря Северянина, но его дружно окрестили кривлякой. Потом наступило увлечение Рабиндранатом Тагором, его сборник «Гитанджали» читали особым, напевным голосом, мне нравилось — как музыка, но когда я попробовала читать сама, кроме строк о детях, играющих на морских берегах, все оказалось сложным, непонятным...

В Лимене мы свободно рылись в маленькой, случайно подобранной библиотеке тети Веры. Гуля извлекла оттуда «Яму» Куприна и зачитывалась ею, но меня и близко не подпускала: «Тебе рано!» Когда это говорили взрослые, можно было стерпеть, но Гуля!.. Оскорбленная, я пустилась в самостоятельный поиск и вытащила «Медного всадника» — вероятно потому, что недавно с увлечением прочитала «Всадника без головы».

— Это же в стихах, — сказала Гуля.

— Я и хочу в стихах!

В лименовском парке у меня был заветный уголок между кустами жасмина. Здесь я могла без стыда выяснить, действительно ли я «хочу в стихах»... Маленькое предисловие Пушкина о том, что происшествие, описанное в сей повести, основано на истине, меня обнадежило — будет происшествие, да еще истинное! А затем музыка пушкинских стихов сама захватила меня и повела от строки к строке, каждая была хороша и влекла за собой другую, так что уже не оторваться. И все зримо и просто, видишь и берег пустынных волн, и утлый челн, и чернеющие среди болот избы... Но вот дошло до Петербурга через сто лет — и строки стали так чеканно строги и завораживающе прекрасны, что я перечитала еще и еще... Когда мы шли домой, я сама удивилась, заметив, что всю дорогу повторяю на память строку за строкой: «...и ясны спящие громады пустынных улиц, и светла адмиралтейская игла». Разве можно сказать лучше?..

Было удивительно, что такими похожими на музыку, свободно струящимися стихами рассказана истинная, простая и печальная история. Когда безумный Евгений бросил «державцу полумира» свое гневное «Ужо тебе!» — я вспомнила недавно слышанные стихи о бродягах, шедших к водам Ганга, — «Самодержец мира, ты не прав!», и подетски захотела, чтобы медный всадник склонил голову, как Будда. Но такого чуда не произошло и у Пушкина быть не могло, истинность была в том, что Пушкин жалел Евгения, но не осуждал, а даже любил Петра! Ведь он писал: «Красуйся, град Петров, и стой неколебимо как Россия!» — он не хотел «тревожить вечный сон Петра...». Стараясь все это понять, я поняла только, пожалуй — впервые, что истина сложна.

Не расставаясь с «Медным всадником», я скоро запомнила его наизусть. Не заучивала, а запомнила почти все, кроме начала первой главы, до наводнения — оно как-то «не давалось». Когда я решила прочесть сестре вслух, на память, Гуля схватила книжку — я говорю, она проверяет. В некоторых местах, особенно любимых, я сердилась, мне казалось, что Гуля, увлекшись проверкой, плохо воспринимает самое чудесное: «Нева металась, как больной в своей постеле беспокойной» или «судьба с неведомым известьем, как с запечатанным письмом»... Мне хотелось, чтобы и Гуля, и Кира, и мама, и все-все окружающие поняли, как это хорошо!

Но именно с «Медным всадником» связана испытанная мною горькая обида.

Подоспел какой-то семейный праздник, и мы затеяли «концерт». Обычно мы разыгрывали одну-две басни Крылова, устраивали театр теней или кукол. Совершенно не помню, что мы придумали на этот раз, главным номером программы был «Медный всадник», и я пряталась в кустах возле «сцены», судорожно повторяя строки, которые знала менее твердо.

Гуля торжественно объявила:

— Пушкин. «Медный всадник». Читает Вера Кетлинская.

Среди «публики» (кроме наших мам, было еще несколько гостей) раздались веселые возгласы. Мама шепотом подсказала Гуле: «Отрывок!» Гуля мотала головой.

Я вышла из-за куста на середину нашей «сцены» — ею была площадка над каменными ступенями аллеи, ведущей к замку. «Публика» сидела в садовых креслах ниже ступеней. Прикрыв глаза, я начала читать — и пушкинский стих понес меня на своих вольных могучих крыльях. Мне казалось, что я доношу до притихших слушателей каждое слово, каждый поворот настроения, — это уж потом Гуля сказала мне, что я бормотала, заглывала слова и безостановочно размахивала руками. Приоткрыв глаза, я увидела, что «публика» почему-то улыбается, и снова зажмурилась, чтобы не сбиться.

Без запинки прочитав вступление (вся поэма была впереди!), я сделала передышку. Это и Гуля подсказывала — после слов «...вечный сон Петра!» нужно сделать паузу перед словами «Была ужасная пора...», потому что этими словами начинается рассказ о самом происшествии. Но стоило мне на минуту смолкнуть, как «публика» с облегчением захлопала в ладоши, повторяя, что я молодец и умница, здорово выучила такой большой отрывок! Все встали и ухватили кресла, чтоб отнести их к дому, а тетя Вера заторопила: «К столу, к столу! Какао стынет!»

Я еще пробовала убедить их, что поэма только начинается, дальше будет наводнение и все самое главное, но мама обняла меня за плечи и шепнула:

— Нельзя же читать такую длинную вещь целиком!

Из гордости я села со всеми за стол и выпила густое, приторное какао, а потом удрала в свой заветный уголок и наревелась всласть.

Меня долго выкликали, прежде чем я вышла, пряча зареванное лицо. Мама ахнула: «Ты плакала, Верушка? Отчего?» Я отталкивала ее руку. Я убежала вперед по дороге к Симеизу, ни с кем не простясь. Что я могла объяснить им, раз они ничего не почувствовали, не оценили, раз им скучно слушать такие длинные стихи!

Никто не заговаривал со мною о случившемся. Мама, наверно, просто забыла об этом — порывистая и наивная, она жила во власти сменяющихся впечатлений и настроений. А тетя Вера была сдержанной, молчаливой, все примечала и обдумывала. Сколько я ее помню, она не менялась — ее очень высокую тонкую фигуру обтягивала черная юбка и заправленная в широкий кушак блузка с глухим воротом, никаких украшений, кроме тонкой золотой цепочки с часами, для которых в кушаке был кармашек. На строгом лице — внимательные глаза. Тетя Вера все помнила, но «рассусоливать» в нашей семье было не принято. Выждав несколько дней, она дала мне томик Лермонтова с закладкой.

— Прочитай «Мцыри», Верушка. Тебе должно понравиться.

Я все еще сердилась и из упрямства с неделю даже не открывала книгу. Но однажды все-таки не выдержала. Боже мой, «понравиться»?! Слово было не то. Я была ошеломлена этой поэмой, я упивалась ею, после недавней, еще не забытой обиды моя собственная жизнь представлялась мне жалкой и невыносимой, я повторяла как заклинание: «...таких две жизни за одну, но только полную тревог!» «Таких две жизни за одну!..» «Таких две жизни за одну!..»

*(Продолжение следует)*





---

---

НИКОЛАЙ УШАКОВ

★

## НОВЫЕ СТИХИ

\* \*

Едешь,  
едешь в поезде,—  
темный коридор.  
Нет печальней повести  
приподнятых штор.

Над лесною местностью  
в мире тишины,  
в море неизвестности  
звезды сочтены.

Все, что было брошено,  
встало вдалеке,  
слезы,  
как горошины,  
на твоей щеке.

Слезы —  
как горошины...  
Встречный сноп огня.  
Милый мой,  
хороший мой,  
не забудь меня.

\* \*

Пятьдесят семь лет назад началась  
война 1914—1918 годов.

Сумасшедший запах медуницы  
прошлое напоминает мне.

Раскаленный август  
длится,  
длится,  
тощие колосья —  
как в огне.

Дети подбирают колос в поле,  
в пыльном поле материнский вздох,  
но никто своей не знает доли  
на меже событий  
и эпох.



И нет стола —  
                                одна зола,  
                                а пули шьют  
и шьют.  
С портного дело началось —  
                                портной и виноват.  
Идет война и вкривь и вкось.  
Кто виноват?  
Солдат.

\* \* \*

Я над Туркменией летел.  
Жила пустыня — как придется:  
песок желтел  
и голубел,  
темнели  
впадины колодцев.  
Советодатели мои,  
друзья-колодцы,  
не забуду  
я заповеди:

«Напой  
и человека  
и верблюда».

И слово вырвалось,  
коснулось  
неутоленного всего.  
Мне стюардесса улыбнулась  
и не сказала ничего.

Как с перекличкой этой быть  
успокоенья и тревоги?  
Что за привычка говорить  
с самим собою,  
но для многих?



---

---

ЛЕОНИД ЛИХОДЕЕВ

★

## Я И МОЙ АВТОМОБИЛЬ\*

*Роман-фельетон*

### ГЛАВА ПЯТАЯ

— **З**а такие дела,— сказал Крот,— бьют морду. Ты безответственный человек.

— Рома,— Карпухин учтиво приложил руку к сердцу,— ее супруг— ужасный тип. Он замучил ее попреками и подозрениями. Они разошлись.

Крот рассмеялся, задрав голову, что ему было труднее всего.

— Это она тебе сказала?

— Она мне сказала только про развод. Про остальное я догадался сам.

Крот ходил по кабинету, как маневровый тягач. Карпухин оправдывался:

— Рома! Лучше жалеть о том, чего не сделал, чем о том, что сделал.

— Забавная ситуация,— размышлял Крот,— ты знаешь, почему они разошлись?

— Понятия не имею.

— Они разошлись фиктивно! Чтобы она могла вступить в кооператив и оставить Сименюку жилплощадь. А потом они сойдутся, сменяются, и у них будет большая квартира.

— Бедная крошка,— спокойно сказал Карпухин.— А вы не можете дать вашему сотруднику квартиру?

— Чудак! Мы ему дадим в будущем году двухкомнатную, как растущему специалисту. Больше мы не можем. Впрочем, может быть, у нее изменились планы?

— Не думаю,— сказал Карпухин,— я не достоин ее.

Крот засмеялся:

— Наконец-то появился повод для развода!

— Ты формалист,— сказал Карпухин.— Я к тебе пришел не для того, чтобы ты топтал мое чувство. Мне нужна фанера восемь миллиметров. Я уважаю Яковлева -- он дает мне кушать. Позвони своим босьям, чтобы была фанера.

— Фанера, фанера, фанера,— пропел Крот.— Будет тебе фанера...

Он посмотрел на Карпухина своими точками, наполненными маслянистым цветом нездоровой зависти.

— Кажется, все готово,— сказал он.— Суд через неделю. Адвокат— Сорокин. Возможно, вытащим девочку, и у тебя будут основания быть другом дома.

— Пошляк! — закричал Карпухин.— У тебя нет ничего святого!

— Святого у меня до хрена,— возразил Крот.— Поэтому я и вгруз в это дело. Для меня Колькино слово — закон.

---

\* О к о н ч а н и е. Начало см. «Новый мир» №№ 1, 2 с. г.

— А ему зачем?

Крот присел к столу, тарабанил короткими пальцами:

— Он любит, чтобы все было в ажуре. Сережа Сименюк действительно талантливый парень. Он, конечно, лопух, но это к делу не относится. Эта маленькая мымрочка вертит им как хочет. Боюсь, что в конце концов она его отправит на каторгу. Ей нужна большая квартира! И должен сказать, Кеша, что тебе в этой квартире не жить. Ты умрешь, как Рембрандт, в полной неизвестности.

— А Колька твой знает про эти делишки?

— А зачем ему знать? Что у него, заместителя нет?

### От автора

Пророк появился на голенастом тракторе, остановил свою технику рядом с нами и, выплюнув окурок, спросил:

— Застряли?

— Ты не трепись,— сказал пророку Пашка,— ты вытащи.

Пророк надвинул кепку и полез с трактора. Он был в резиновых сапогах.

— Кабы не я, долго бы сидели... Тут не ездят... Сбились вы... Трос есть?

— Конечно, нет, чего захотел,— сердито ответил Пашка.

Пророк покачал головой:

— Кто же это без троса ездит?

И, не ожидая ответа, полез под облучок. Там у него лежала старая пеньковая веревка, толстая и потрепанная от частого употребления. Видно было, что таскал он в рай заблудших не однажды.

Пророк хлюпал по луже, привязывая нас к трактору.

— Поберегись!— крикнул он и попер медленно.

Нельзя сказать, что мы ждали спасения сложа руки или пересказывая друг другу историю своей жизни. Мы пытались выбраться и сами. Поэтому к моменту появления трактора мы уже прочно сидели на брюхе и колеса наши обращались в жижу весьма свободно.

Трактор выбрался на сухое легко. Наш автомобиль стоял за ним мокрый и грязный, отряхиваясь по-собачьи.

Парень отвязался.

— Куда едете?

Мы ответили.

— Двенадцать километров,— сказал парень,— так и держитесь.

Пашка достал рубль.

— Помолись за нас.

Парень улыбнулся прекрасными белыми зубами:

— Я неверующий...

— Не может быть,— сказал Пашка.

Парень сунул рубль в нагрудный карманчик рубашки и уехал.

— Ты его оскорбил,— сказал я, когда мы обогнали пророка.— Ты дал ему динарий за душевный порыв.

— Человек склонен к обогащению.— успокоил меня Петухов,— особенно когда никто не видит.

Мы преодолели двенадцать километров довольно быстро. На окраине небольшой деревни стояла изба в три окна. К избе примыкал дощатый крашенный забор, а в заборе находились ворота с калиточкой.

Пашка остановил машину.

— Неудобно как-то.— промямлил я.— Раздольнов не тот человек, к которому я могу заехать запросто.

— Все люди,— сказал Петухов,— не те. Но жить приходится именно среди людей

Он вылез из машины, подошел к воротам и постучал. Раздался великий былинный лай. Вероятно, за забором проживал Змей Горыныч.

— Чтоб ты окошел! — раздельно произнес Пашка в щель калитки.

Я никогда не бывал у Раздольных. Мне казалось, что я не должен был переступить порога сего. Там происходила жизнь, к которой я не мог и не должен был иметь отношения. Конечно, время делает свое дело, в результате чего быль превращается в воспоминания. Есть время страдать от жажды и время вспоминать о страданиях, утолив ее. Раздольнов, видимо, не унижался до того, чтобы считать себя победителем, но и побежденным считать себя он не мог. Я стоял у ворот дома его и ждал, пока он отворит врата и даст отряхнуть мне пыль странствий у очага своего. Какого черта я поддался Пашке?

Заскрипел засов, из калитки вышел Иван Раздольнов. В холщовых недлинных штанах, в рубахе с пояском был он похож на пастушка-переростка. Он шел, улыбаясь широкими скоромными губами.

— Приехали?... Молодцы...

Посмотрел на машину, покрутил голову — уж больно грязна, — сказал, ударив ногой в шлепанце по колесу:

— Что кобыла-то? Бегат?

Пашка передразнил:

— Отчего бы ей, сердешной, не бегти?

Раздольнов снисходительно похлопал «Москвича» по пыльной заднице:

— Эх, суета... Одно слово — город... Все асфальт вам подавай.

— Слушай, Ваня, — сказал Петухов, — не трепись по-пустому, тут все свои...

Раздольнов снова растекся крупной улыбкой:

— Остришь все?

— Острию... Ты лучше поди к себе в гараж да вынеси канистру овса. А то, вишь, бензозаправки на тракте еще не построили...

— А коли не дам?

— Как не дашь? Мы тебе заплатим хорошо!

Начинался спектакль.

Форма самоподачи Раздольнова казалась мне забавной. Они с Пашкой испытывали друг к другу чувство въедливой симпатии. Они кокетничали, как бы представляя друг перед другом два взаимоисключающих начала второй половины двадцатого века. Во всяком случае, здесь, у себя, Раздольнов ничем не напоминал того джентльмена, который развозил в городе сувениры.

— Не люблю я тебя, Павел Петухов, — печально сказал Раздольнов. — Не люблю. Воды тебе не подам в пекло, к огню не пушу в мороз...

— Меня не люби, хрен с тобой, а бензину дай.

Раздольнов поискал у меня сочувствия:

— Как ты терпишь его, шпыня ненадобного? Ездишь с ним, трапезу делишь...

— Привык, Ваня, — ответил я послушным тоном.

— Разве — привык... Ну, пойдемте.. Возьми канистру-то...

Мы вошли в калитку, и на нас немедленно ринулся неправдоподобно громадный кудлатый сенбернар, крупный, как из зверинца.

— Полкан, Полкан! — припугнул Раздольнов. — Аль не видишь — свои.

Полкан залаял громоподобно, без охоты, как-то равнодушно.

— Слушай! — закричал Пашка. — Запри ты своего Бову-королевича, чтоб ты пропал вместе с ним!

Раздольнов захохотал. Страшенный сенбернар еще разок рывкнул и рухнул на траву башкой на лапы, как тюк. Выкинул язык и задышал.

— Из ваших,— показал Раздольнов на собаку,— породистый. Матка с батькой у него ученые. Медалисты. Интеллигент, словом... Пугает, но не кидается... Не бойсь...

Полкан действительно полностью нас игнорировал.

— Мне его Пивоваров подарил,— продолжал Раздольнов, отодвигая ногой камень, приваливший гаражные ворота.

— Для охоты? — спросил Петухов.

— Кто же охотится с сенбернарами? Я его так держу, для дармоедства. Должен же при хозяйстве и дармоед жить, как думаешь?

Разлаписто ступая по гаревой земле, Раздольнов отворил хорошо окованные ворота, и мы вошли в прохладный гараж. В гараже стоял его известный «козел» и никому из нас еще не известный приземистый лимузин, сверкающий, как драгоценный камень.

— Тут у меня для тебя, пожалуй, новинка будет,— сказал Раздольнов небрежно, стукая боком ступни по колесу шикарной автомашины.— Вздор, конечно, забава, но отчего не купить, коли можно... Говорят, марка «шевролет», что ли... Не знаю. Я не читаю по-ихнему... Ну, давай канистру, нацēju тебе бензинчику...

Мы с Петуховым обошли машину с уважением, как покойника. Шевролет был действительно шевролетом.

— Безделка,— повторил Раздольнов и, вероятно чтобы подтвердить свои слова, открыл дверь, сел за руль и стал меланхолически нажимать кнопки. Он выводил антенну, убирал стекла, включал приемник и наконец, махнув рукой, вылез из машины, сказав:

— Пустячки... Еще холодильник в ней есть и крыша отводится... И этот, как его, кондишен называется. Климат, одним словом... Заелись, сволочи, окончательно... Показал бы, да жаль — аккумулятор посажу...

— Не показывай, не показывай,— поддержал его Петухов,— действительно черт знает что.

— Да,— согласился Раздольнов, поглаживая «козла»,— то ли дело «козлик»: и незатейлив и пройдет где угодно.

Он взял у меня канистру и ушел в угол гаража, где у него стояла на попа большая железная бочка литров на пятьсот с медным краном, впаянным у основания. Воткнув в горловину лейку, висевшую тут же, Раздольнов стал цедить горючее. Мы разглядывали шевролет.

— С бензином плохо,— говорил Раздольнов,— приходится загодя привозить... Глухомань у нас все-таки...

Я взял канистру, которую Раздольнов налил до полна, и пошел к выходу. Раздольнов, шлепая босыми ногами, затворил двери, привалил камень и пошел по двору, вытирая руки о портки. Породистый сенбернар дышал языком. Он не пошевелился в нашу сторону.

— Слушай, Лев Толстой,— сказал Пашка,— водицы бы испить.

— Окрошка у меня нынче,— сказал Раздольнов.— На квасу. Тебе-то небось квас наш не в жилу?

— Почему не в жилу? Тем более ты квас, наверно, в автомобильном холодильнике держишь?

— Баловство... В погребе, добрый человек. В погребе. И вправду, мужики, зайдите похлебайте в дорожку-то. В чайных, сами знаете, добра не жди...

Мы вышли на улицу, и я стал заправлять «Москвича». Бензину в баке почти не оставалось. канистра ушла вся.

Раздольнов наблюдал за мною, заложив руки за спину, и вдруг сказал:

— Вот думаю к концу лета к детям в Крым махнуть... Прямо не знаю: на этом шевролете ехать или привычно — на «козле»?.. Ну, пойдете в дом, что ли...

Раздольнов никогда не упоминал при мне о Клаве. Его тактичность

казалась мне забавной. Он словно берег Клавю, и это повышало его цену в моих глазах.

Мы снова вошли в калитку, и снова Полкан кинулся с громогласным лаем. Но Раздольнов только надавал ему ногой. Сенбернар снова рухнул, задышав языком.

— Грозно привечает,— улыбнулся Раздольнов,— порода...

Смекнув, что дело дошло до приема пищи, сенбернар Полкан взгромоздился на свои львиные лапы, покачиваясь от несурзанности, и вытянулся на три аршина, добавив себе длины хвостом. Приседая на задние лапы и скребя передними трудовую землю, собака зевнула неимоверной пастью, пробасив нутром свое удовольствие. После чего тряхнула куделью и тяжело ступила на крыльцо.

— Чем кормишь? — спросил Пашка.

— Ну уж кухни отдельной для него не держу.— Раздольнов поглядел на зверя удовлетворенно.— Со стола, что бог пошлет.

Мы вошли вслед за Полканом в горницу, рубленую, смолистую, с изразцовой голландской печью. Изразцы на ней были неоднородные, но более-менее подобранные, старинной глазури, синие, где не хватало — зеленые.

— Редкая вещь,— сказал Петухов, погладив печь.

— Монастырские изразцы,— пояснил Раздольнов,— в мусоре подобрал.

Под широкими окнами темнели радиаторы водяного отопления, крашенные с умом, чтоб не выделяться.

И была еще одна существенность в интерьере сем. При монастырских изразцах находился немалый портрет, писанный как бы со старинной истовостью, однако новыми красками, с современной велеречивостью и спешкой, будто писали богоматерь, не веруя ни в ангела, ни в черта, ни в плоть, ни в дух, а единственно в суетную похвалу. И глядела с парсуны сей не кто-нибудь, а сама Клавдия Павловна Раздольнова.

Иван не расспрашивал, нравится ли письмо, Пашка вроде не видел, а я тоже не глядел, ибо была у меня на такой случай фотокарточка в старинных бумагах...

Мы сели к столу.

В горницу по-мышинному явилась неслышная старушка.

— Вот я, мужики, в Америке был. Там, конечно, окрошку не приговоришь. Там у них лед — кубиками, по-городскому... А окрошка без погребца не окрошка... Нет погребов в Америке. Индустриализация...

— Как ты машину купил? — завистливо спросил Пашка.

— Как купил? Заплатил ихние денежки и купил.

— Что ж ты ее, в чемодане вез?

— Зачем в чемодане? Я в Америке заплатил, а брал в Финляндии. Это у них удобно... Оттуда своим ходом.

— А пошлина?

— Эка невидаль — пошлина... Заплатил и пошлину... У меня на нее весь гонорар с «Раздумий» ушел... Грабеж, конечно, но уж больно занятная машина.

Кuşал Иван Раздольнов хорошо, внятно. Чисто держал при себе место, когда из чашки половником набирал добавку, и ложка у него красиво сидела в большой белой руке.

Мы не поехали в этот день никуда. Мы остались ночевать. Иван устал юродствовать, Пашке надоело огрызаться. Мы сидели до поздних летних сумерек, убрав нашу машину во двор.

Неслышная старушка Силантьевна раздувала самовар на сосновых шишечках. Над землею плыл гареватый дух первозданности.



Раздольнов посмотрел на «Москвича»:

— Помыть надо. Утром к речке поедем мыть... Тут при шоссе в восемнадцати километрах один мужик станцию техобслуживания ладит.

— Кто же этот благодетель? — спросил Петухов.

Раздольнов поцарапал палочкой землю.

— Есть тут один. Председатель. Мечтает обогатить родной колхоз. На промыслы налагает.

— Всыплют ему по всем линиям,— сказал Пашка.

Раздольнов посерьезнел:

— Сапожник должен перво-наперво сам обуться. Необутый он дальше кабака не дойдет.

— Но этот благодетель, насколько я понимаю, не сапожник, а пахарь? — спросил Пашка.— Интересно, под видом какой абсолютной идеи будет он строить свою станцию?

Раздольнов засмеялся:

— Под видом консервного завода... Хочет он взять себе для выгоды монастырь Спаса на юру, денежки из туристов качать... Приезжал ко мне, чтобы помог...

— Ну, а ты?

— Что — я? Я — ничего. Тут выждать надо... Конечно, хлебом он не разживется... Нашего хлеба только на попреки и хватает. Тут луга, скотина у нас... Против природы не пойдешь, разве что хуже себе надедаешь... Все равно — хлеб прикупать приходится. А человек мимо выгоды не проходит и не проходил. Он для выгоды своей и церкви строит, и баррикады, и законы пишет, и книги...

Раздольнов разговорился. Видать, долго молчал, да много думал. Нелюбимая старушка Силантьевна поставила самовар на крылечко, сказала:

— Чай идите.

Раздольнов поднялся.

— Хлебом попрекать — нищее дело.

И уже в горнице, разливая чай, продолжал:

— Сыт мужик — сыта наука, и техника, и философия... А не сыт, так и ученый не много изобретает.

— Идеалист ты,— сказал Пашка.

— Возможно, и идеалист,— благодушничал Раздольнов.— А кто же не идеалист?

— Я не идеалист,— сказал Петухов.

— Врешь,— улыбнулся Раздольнов.

Сено пахло историей человечества. Оно пахло первородной сладостью, медовым пространством, которому нет пределов.

Я лежал на этом сене, и оно осторожно звенело подо мною чуть слышным, отдаленным звоном колоколов, упрятанных в глубину души. Оно опускало меня в свою бесконечную тайну и возвышалось вокруг сухим треском. Я лежал в нем, как в колыбели цивилизации, городской человек, навеки отделившийся от земли микропористой резиной вздорных своих постолов. Я тонул в этом сене, и древние гены ударяли в голову хмелем воспоминаний.

О воспоминания о том, чего никогда не видел! Я сладостно умирал в этом сене, тысячелетний пастух, не знавший своего места на земле и наконец достигший его. Как это просто все случилось!

Сено покоило прах мой и будущее мое, и было его дыхание надежным и обманчивым.

Я поворачиваюсь на спину и смотрю в сиреневое небо, в котором проступают редкие звезды и господствует мощная луна, сияющая с пекалом. Луна грозит погаснуть каждый миг, и никому нет охоты повернуть рычажок, снижая напряжение.

Пашка ворочается рядом, за бруствером сена, он хочет мне что-то сказать, но что может сказать мне Павел Петухов, когда я лежу на сене и смотрю на луну?

Она горела всегда с перекалом и никогда не гасла, уставившись на землю неподвижными бледными чертами своего спящего лица. Она уставилась на землю, не видя ее, и надо было просто взглянуть оттуда, чтобы луна прозрела...

Я лежу в сене, как в пеленках, и сено мое шуршит на круглой планете, отороченной голубоватой атмосферой страстей. Страсти эти темны с невидимой стороны и сверкают с видимой, и нет ничего, кроме них, вокруг небольшого шара в упругой ночи мироздания. И негде им больше приткнуться, этим темным и светлым страстям, — совершенно негде, кроме как вокруг своего круглого шара, насыщенного медом и кровью, ревом и тишиной.

Рядом со мною лежит Пашка Петухов, автомобильный инженер, который, я чувствую, закипает остроумием по поводу нашего первобытного ночлега. Но что он может сказать на стоге сена в виду полной луны? Рядом со мною лежит Ваня Раздольнов, человек, понимающий попличьи, бывший технический студент, перешедший в пророки. Он молчит, ему незачем говорить, ибо ночь сама по себе похожа на проповедь. Силеневая проповедь опустилась на землю, прохладная и теплая, спокойная и величественная, в которой не изменить ни слова. Я слушаю эту проповедь и поддаюсь ее снотворной силе, я слышу в ней несуразности и промахи, но она сильнее меня, и я тоже молчу, и мерещится мне отдохновение...

Ваня спохватывается первым и приподнимается на локте.

— Вот так-то, мужики...

Ах, зачем он вылез из тишины, зачем он испугался ее, когда первым должен был испугаться Пашка! Но Пашка выдержал и теперь заговорил от радости:

— Ну что, Лев Толстой, доволен?

— Все шутишь, — говорит Раздольнов, — а ведь действительно даться от земли некуда...

— Можно на луну смотаться, — возражает Павел.

— Зачем же? Из ранца дышать? Воздух-то земной, привезенный. Воздух, добрый человек, люди за собою возят от родных мест. На луне его нету — проверено.

— Иван, — говорю я, — я всей душою тянусь к тебе, и ценю тебя, и думаю, что ты стоящий парень. Но едва дотянусь, как ты начинаешь формулировать. Не формулируй. Иван, и цены тебе не будет.

— Как же не формулировать? — басит он. — Я не формулирую — другой сформулирует, да так ли, как мне нужно? А? Ведь не так, как мне нужно, верно?

— А ежели без формулировок? — передразнивает Павел. — Что же тут формулировать, когда и так все ясно. Вот сено, вот луна, вот звезды, вот пажить. Кажется, правильно я сказал? Пажить это называется?

— Правильно, — весело отвечает Раздольнов. — Ясно-то ясно, да не ясно одно: чье сено и чья луна? В том-то и весь вопрос на земле состоит: чье это сено? Чье сено, да чья каша, да чей посох, коим овнов гнать в рай, к водопою?..

Древние пророки звенят подо мною в сене. Древние пророки шуршат нечесаными, жесткими бородами. На сене ли мой ночлег или на бородах пророков? Медовым духом счастья или укоризной проповеди насыщена моя колыбель? Жерди привалились к стогу, а может быть, не жерди, но посохи судей, двурогие посохи святителей, за которыми не мед, но кровь.

Чье сено? — кричит ночная птица. — Ух! Ух! Хочу знать, чье сено?  
 Ничье, ничье, ничье! — посвистывает суслик.  
 Как это ничье? Ух! Ух!  
 Ничье, ничье, ничье...  
 Чья земля? — гремит ночная птица.  
 Ничья, ничья, ничья...  
 Тихо.  
 Пророки вытаскивают из-под меня жесткие бороды, разбирают по-  
 сохи, как винтовки из пирамиды. Сено оседает.  
 Сон, сон, сон — возвещает ночная птица.  
 Чей сон? Чей сон?.. Чей сон?  
 Всех сон, всех сон...  
 Я просыпаюсь от радостной тревоги. Все это померещилось. Иван  
 спит. Павел спит. Медовая клеверная влага предвещает рассвет. Иван  
 Раздольнов правильно сказал: ложиться надо пониже, с западной сто-  
 роны, чтобы солнце не разбудило...

#### ЧАСТЬ IV

### «ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ»

От автора

Три предмета не дают покоя людям с тех пор, когда человек достиг наконец способности к бессоннице. Три предмета — любовь, деньги и смерть — угнетают впечатлительный человеческий разум и толкают его на создание утешительных философских ценностей.

Ибо люди, с одной стороны, смертны, а с другой — безденежны, что постоянно нервирует их в смысле несовершенства бытия. Если бы люди были, наоборот, денежные и бессмертны, может быть, и любовь у них была бы иной. А пока во всех романах — куда ни глянь — удивительное однообразие.

Пашка маялся со своей Катериной, не смея отступить. Она представляла собою яркий, полнокровный символ дамского равноправия.

Мы не нашли Катерину. Любовь к бессмертному делу увлекла ее из зоны досягаемости.

— Женщина всегда душечка при каком-нибудь эпицентре, — сказал Петухов, — и если у нее дома нету этого эпицентра, она ищет его в общественной деятельности, науке или искусстве...

— Паша, — успокоил я, — просто у нее больше ответственности на этой земле. Поэтому все, что она делает, она делает отчаяннее нашего брата. Поэтому она прекраснее нас с тобою и ужаснее нас с тобою... Если она сделает добро, так это рай... Но если она сделает зло, так ад по сравнению с ним — это парк культуры и отдыха... Дорогой мой старый друг! У нее нет снисхождения к обстоятельствам...

Петухов вел машину, не подпуская меня к рулю. Указатель объезда согнал нас с трассы на проселок. Женщины в заметных апельсиновых жилетах разгребали гудрон...

— Отвернись в окно, — сказал вдруг Петухов, — отвернись и определяй скорость на глаз.

Я повиновался.

— Вероятно, километров восемьдесят?

— Ничего подобного. Только шестьдесят... А теперь сколько?

— Сто!

— Только восемьдесят, дорогой товарищ... Сто еще только будет...

Я посмотрел на спидометр. Петухов разгонял машину. Стрелка подрагивала в сторону предела.

— Не гони, — сказал я, — сто километров — это много.

— Сто километров! — сказал он. — Отвернись и не смотри! Снижаю скорость... Сколько теперь?

Я прикинул на глаз, примериваясь к деревьям, летящим вдоль обочины. Мне показалось, что едем мы медленно.

— Шестьдесят, — сказал я.

— Ошибка — восемьдесят! Ты быстро освоился и очень чутко реагируешь на снижение скорости. А теперь?

Теперь машина и вовсе еле-еле ползла.

— Теперь тридцать! Что ты хочешь этим сказать?

— Ничего подобного — шестьдесят... Я хочу сказать, что падение скорости раздражает тебя...

— Ну и что, Паша?

— Ничего. Просто людям неохота упускать достигнутый уровень. Им кажется, что уровень падает в два раза быстрее, чем на самом деле. Поэтому они не замечают, когда уровень растет... Им кажется, что он растет в два раза медленнее. Можешь назвать это явление эффект Петухова. Этот эффект всегда радует меня в раздумьях о судьбах человечества...

Показалась вывеска бензоколонки. Петухов включил поворотный сигнал, продолжая резонерствовать:

— Человек меньше удивляется космическим полетам, чем перебоям в водоснабжении.

— Не скажи, Паша, — возразил я. — Он не удивляется ни тому, ни другому... Ты бы пересмотрел свой эффект...

Мы въехали в небольшое пространство, набитое машинами, жаждущими бензина...

У этого колодца грузовики пили устало и долго, как лошади. Шоферы дальних рейсов расхаживали между ними ни быстро, ни медленно, переговариваясь незлобиво:

— Бензину у ней мало...

— Спрашивал?

— Говорит, подвезут ночью...

— У тебя ремешка нет лишнего?

— Доедешь...

— А чего же она не ограничивает, если бензину мало?

— Не ограничивает — значит, хватит...

Легкое беспокойство метнулось из-под грузовиков к легковым машинам. Возле колонки, где нам предстояло напиться, парень с «пикапчика» сцепился с кем-то.

— Собственникам не давать! — крикнул парень из окна своей машины.

Девушка-заправщица с сумкой на боку не слушала его, занимаясь своим делом.

— Бензину мало, — повторил парень, — в первую очередь государственным машинам.

И хлопнув дверцей, стал впихивать свой «пикапчик» впереди знакомой мне «Волги» с каким-то особенным электронным зажиганием.

Я узнал полярного летчика.

— Назад! — сказал полярный летчик.

— Собственникам не давать! — снова крикнул парень. — Бензину мало!

Девушка очнулась:

— Чего ты паникуешь?

— Чего паникую? Я не паникую. Ребята говорят — мало...

— Ребята... А я тебе что-нибудь говорила?

— Убери свою калошу, — сказал полярный летчик.

Парень вылез из своего «пикапчика».

— Государственные важнее собственных.

Полярный летчик подогнал машину, взял черной перчаткой наконечник и сунул в бак.

Парень не отвязывался:

— А что? Скажешь, не важнее?

Парень был небрит и зачухан.

Полярный летчик спокойно выслушал его, поправил перчатки, подошел к нему, ласково положил на его плечо твердую руку, обтянутую черной кожей, и сказал тихо и вразумительно:

— Слушай, маленький. Ты пока нерпа, тюлень, понял? Я полярный летчик. Мы там, в Арктике, делаем из тюленей людей. Запиши мой телефон, я возьму тебя с собой и сделаю из тебя человека...

Парень сбросил с плеча руку.

— Полярный летчик, полярный летчик... На тебе не написано...

Полярный летчик повернулся к машине.

— Когда надумаешь звонить, побрейся...

Мне было жаль парня. Перспектива стать человеком несомненно унизила его достоинство. Он был растерян. Немного подумав, он нашел самый оригинальный ответ:

— Некогда каждый день бреюсь...

— Каждый день, маленький, каждый день, — ласково ответил летчик, вынимая бензиновый шланг.

— Не все собственники жулики, — убежденно сказала девушка, останавливая колонку.

Парень не отвечал. Летчик тоже не оборачивался.

Он повесил наконечник и спросил:

— Сколько?

— Пятьдесят, — ответила девушка.

Летчик полез за кошельком. Девушка сказала:

— У нас по талонам.

— По каким еще талонам? — удивился летчик.

— Он с неба свалился! — обрадовался парень, но летчик не обратил внимания на его радость.

— По талонам, — повторила девушка. — В хозяйственных магазинах продаются талоны...

— А зачем?

— Для удобства, — пояснила девушка. — То деньги, а то — талоны!

— Но вот у меня нет талона — как быть?

— Нет талона, не надо бензин брать.

— Так, так, — сказал летчик, — а колбаса у вас еще не по талонам?

— Чудные вы, — приятно удивилась девушка, — для вас же удобнее...

— Не помню, чтобы у меня кто-нибудь спрашивал, что мне удобнее.

— Не спрашивали его! — обрадовался парень.

— Спокойно, маленький, — сказал летчик, — закрой заслонку. Девушка, у меня есть только наличные. Бензин в баке. Не возьмете, я уеду так.

— Почему уедете? Давайте талоны. Летчик! Какой вы летчик, если не знаете порядков...

Летчик достал три рубля, дал их девушке и сказал:

— Когда увидите того финансового гения, который придумал эти талоны, скажите ему, что он гений. Запомните?

Он сел в машину и, махнув рукою парню, крикнул:

— До свиданья, маленький! Когда надумаешь звонить, побрейся! Звони!

И уехал.

Шоферы дальних рейсов отваливали. Десять — двадцать минут у колонки все-таки тоже отдых. А шуровать еще ой как далеко. Они от-

дышали. Они не лезли в разговоры. Покусаятся — оближутся. Один только, побойчее, спросил, садясь в свою двадцатитонную коломбину:

— Чего ты связался с ним?

И тоже уехал, не дождавшись ответа. Уехал и «пикапчик». Есть время брать бензин и есть время отчаливать, уступая место другим.

У нас были талоны. Наша жизнь у этого колодца прошла незамеченной. И мы поехали дальше.

Я не обращал внимания на скорость, с которой мы неслись. Эффект Петухова укачивал меня в своем поступательном движении вперед...

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

Судья Нина Сергеевна Ставленникова листала дело поначалу совершенно равнодушно. Такие дела, к сожалению, случаются нередко, и кривая их не падает соответственно с ростом механического транспорта, находящегося в личном владении граждан. Кроме того, пешеходы до сих пор ведут себя на улицах неосмотрительно, что также не снижает процента несчастных случаев.

Судя по материалам, представленным следствием, Нина Сергеевна сделала вывод, что обвиняемая Сименюк А. И. заслуживает строгого наказания, предусмотренного соответствующими статьями Уголовного кодекса. Свидетели обвинения подтверждали версию следователя, и Нина Сергеевна не сомневалась в справедливости своего предварительного решения. Действительно, молодая баба несется на машине как на пожар и наезжает на ни в чем не повинного пенсионера, лишая своим действием его семью отца, мужа и деда. Но были и другие свидетели. По их показаниям выходило, что обвиняемая не видела жертву. По их показаниям получалось, что во всем виновата другая машина, закрывшая обзор. Нина Сергеевна не знала точно семейного положения пострадавшего — это не имело значения для процесса, — но она зато знала, что прокурор, конечно, соберет недостающие сведения, чтобы подействовать и на публику, и на суд, и, главным образом, на народных заседателей, от справедливого гнева которых многое зависит в вынесении приговора на всю катушку.

Правда, у обвиняемой имеются дети. Это обстоятельство может также произвести впечатление на заседателей, которые прежде всего люди, не лишённые материнских чувств. Материнских потому, что заседателями по делу вызывались женщины. Впрочем, Нина Сергеевна чувствовала и различие между обвиняемой и заседательницами. Конечно, и у них и у нее были дети. Но у них не было автомобиля и еще неизвестно, что перевесит — сходство или различие. Во всяком случае, Нина Сергеевна любила судить, когда заседателями были женщины. С ними она находила больше общего. С ними было все понятно с полуслова. Если при этом прокурором была тоже женщина, Нина Сергеевна даже как-то веселела. Впрочем, прокурором может быть и мужчина. Невелика беда. Прокурор должен обвинять, и его обвинительные функции в глазах Нины Сергеевны как бы уравнивали его с женщинами, которые, как известно, только одни и чувствуют справедливость, чего не скажешь о мужчинах.

Мужчине лучше всего быть адвокатом. Нина Сергеевна ощущала особое удовлетворение, когда ей удавалось прижать адвоката, уличить в неточности. Мужчина-адвокат, краснобай-трепач, всегда старается улизнуть от прямых обвинений. Вообще все мужчины трусы, и надежды на них нет. У них нет истинных, глубоких чувств. Им все равно, кого защищать — лишь бы платили. Они строят свои версии, опираясь на логические посылки, холодные и бесчувственные. Лишенные морального начала, лишённые любви к людям, к справедливости. Мужчина-адвокат только раздражает суд и делает хуже своим подзащитным.

Нина Сергеевна предпочитала, чтобы адвокатом был мужчина. Если адвокатом являлась женщина, Нина Сергеевна мрачнела и понимала, что нашла коса на камень. Потому что женщина обходится без мужской логики, а говорит с болью сердца, руководствуясь душевным порывом. Во-вторых, женщина всегда соперница, а что такое соперница, Нина Сергеевна знала слишком хорошо, ибо личная жизнь ее чуть было не пошла наперекосяк именно вследствие сокрушительного удара, нанесенного соперницей.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Когда Сорокин увидел на суде Яковлева и сообразил, что друг-приятель надул его, он был поражен. Он мог ожидать подвоха от кого угодно, только не от этого чистого парня. Адвокат как-то даже растерялся на небольшое время. Он был уверен, что свидетели Крот и другие говорят сущую правду. Спектакль разыграли с такой точностью, что не только адвокат, но и прокурор не заметил подвоха и вынужден был под напором показаний Крота и других заколебаться. А прокуроры не любят отступаться от своей версии. Сорокин видел, что защищать эту Сименюк будет легко. Листая дело, он, конечно, наткнулся на фамилию Яковлева, но могло ли ему прийти в голову, что этот Яковлев и есть его чистый, тихий, праведный Иван Ефимыч?

Свидетелей адвокатам не показывают. Адвокат не знал, кого ему подсунут в процессе. И вот — Яковлев!

Сорокин даже вытянулся, когда вошел свидетель Яковлев.

«Туфта! — блеснуло в адвокатском сердце. — Подставные! Кто же его надоумил? Зачем? Какое он имеет отношение к этой комедии?»

Яковлев глухо сказал, что видел, как черная «Волга» проскочила на красный свет, когда он остановился перед светофором. Ему стало жалко водителя «Москвича», и он, отъехав к обочине, дал Сименюк свой адрес. Обвиняемому он помнит. Она же сказала, что в том состоянии, в котором была, конечно, запомнила его плохо, потому что ничего не соображала.

Психология была тонкой. Сорокин размышлял, кто же это все придумал. И опытный глаз не обманул его, когда показания давал Крот.

«Да, — подумал про него адвокат, — не дай бог. Не дай бог столкнуться с таким деятелем. Сейчас он выручает виноватого, ладно, ладно. А что будет, если он вздумает обвинять невинного?»

Показания были убедительны. Вопросов адвокат не имел. И даже то, что он не имел вопросов, действовало на суд в пользу обвиняемой. Действительно, какие тут могут быть вопросы, когда и так ясно — невинна. А обвиняемая? Дамочка как дамочка, немного хитроватая, немного глуповатая, практичная и довольно толковая. Разошлась с мужем по причине его измены, двое детей... Слушайте! Но ведь и это туфта! Он же разговаривал с мужем! Ну тюфяк же! Нежный, ласковый, безвольный тюфяк — не от мира сего! Измена? Какая измена? Для чего же это ей надо было? Фикция, несомненно. Но для чего? Как для чего? Она же вступила в кооператив после развода! Купился! Купился как лопух, а вернее, как фразер, выражаясь языком некоторых подзащитных!

Лопух!

Но допустим, он раскусил бы всю эту пьесу заранее? Так что же — отказался бы он защищать эту дамочку? Нет, конечно. Что же произошло? Почему ему хочется уйти? Обида? Вот тебе и Сорокин! Провели и Сорокина. Облапошили, как студента. И кто? Яковлев! Неужели он не знал, кто адвокат?

— Товарищ адвокат, вам предоставляется слово для защиты.

Адвокат, сидевший в обиженном Сорокине, выпрямился и прокашлялся. Дело адвоката — спасать людей, дело его — оберегать их от не-

заслуженного наказания. Но сейчас произошло особенное. Обвинение сникло. Игра была сыграна превосходно, а он, матерый Сорокин, был всего лишь фишкой в этой игре. Игра была уже выиграна без него! Нужно было сделать этот выигрыш красивым. Ладно, черт с вами!

— Товарищи судьи,— сказал Сорокин,— дело, которое мы здесь разбираем, представляет серьезный общественный интерес. В этом деле, как в капле воды, отражается скрещение двух противоположных взглядов на один и тот же предмет... Товарищи судьи,— говорил Сорокин,— я позволю себе сказать несколько слов об истории предмета, вызывающего две противоположные точки зрения. Автомобиль родился на скверной проселочной дороге. Он родился в то время, когда еще существовало твердое убеждение, что керосин делают студенты из покойников...

Небольшой смешок раздался в зале. Сорокин всегда подпускал в начале шуточку, чтобы овладеть вниманием. Сорокин выждал смешок.

— Кучер сидел на козлах, зажав в перчатках вожжи, и глядел вперед через гордые уши своих лошадей. Кучера не знали ограничения в своей деятельности и ворчали, когда им предписывали ездить по одной стороне. Я напоминаю об этом всем известном периоде лишь для того, чтобы подчеркнуть особую миссию, которая выпала на долю автомобиля. Никакое изобретение не наращивало таких бешеных темпов развития, как автомобиль. И никакое изобретение не ставило перед населением такого количества задач. Уже через пятнадцать лет после своего рождения автомобиль заставил работать на себя сотни профессий и сотни тысяч отдельных лиц. Он потребовал бензина, металла, дорог, химии и юриспруденции. Он потребовал новой психологии, отличающейся от кучерской самым радикальным образом. Он явился на свет, чтобы навсегда покончить с тем способом передвижения, по образу и подобию которого он возник. Кучера были и остались в истории привилегированной прослойкой по отношению к пешеходам. Они ни за что не уступали своего преимущества.

«Интересно,— подумала Нина Сергеевна,— как он перейдет к делу. При чем здесь кучер?»

Сорокин взял графин, налил воды в стакан, но не выпил, а продолжал, будто забыв про воду:

— Шоферы не поехали по этому ложному пути, отвергнутому историей. Единственно чего они добивались из всех сил — это социального равноправия с пешеходами. У кареты никогда не было перспективной общедоступности, у автомобиля она появилась в день рождения. И если вы присмотритесь, то заметите, что все беды автомобиля, все его трудности и мытарства связаны не с его сущностью, а с предрассудком, будто он все еще не автомобиль, а карета, которая требует привилегии и исключительности. А на самом деле автомобиль хочет — да не хочет, а просто жаждет — стать доступнее и многочисленнее.

«Ловко,— подумала Нина Сергеевна,— вот зачем ему понадобились кучера. Интересно, как он готовится к выступлению? Какими источниками пользуется? Или, может быть, художественной литературой?»

— Автомобилизм — это часть бытия, свидетельствующая об индустриализации общества,— сказал Сорокин, и Нина Сергеевна прониклась к его словам участием.— Возникший для того, чтобы высвободить время, он отнимает его в десятикратных размерах, если отношение к автомобилизму отстает от его сущности... Сколько раз мы слышали слова неодобрительного отношения к автомобилю? Вот сегодня, идя на судебное заседание, я сам слышал известные всем нам слова, относившиеся к автомобилисту: «Куда прешь, номера сниму!» Кричал, прошу заметить, не инспектор, кричал совершенно не причастный к законам энтузиаст. Инспектор, наоборот, подошел, спросил, посоветовал, где поставить машину, будто и не слышал окрика. Надеюсь, ему этот окрик



был так же неприятен, как и мне. Я упоминаю этот случай, потому что в нем тоже отразились две психологии — проселочно-кучерская и шоссеино-автомобильная. Очень хочется некоторым отстающим от событий энтузиастам поставить свою голову на чужие плечи. Но только не худо бы пояснить — желательна ли это для владельца плеч?

Опять смехок в зале. Нине Сергеевне тоже захотелось улыбнуться. Сорокин показал, насколько представитель власти внимательнее и умнее частного лица. Это было приятно, и Нина Сергеевна с трудом сдержала улыбку.

— В самом деле,— говорил адвокат,— какой автомобилист специально, нарочито сядет в автомобиль с целью покалечить себе подобного? Вздор! Но отсталые люди ищут свои принципы именно во вздоре... Здесь, на этом суде, мы можем легко отметить два отношения к случившемуся. Отношение свидетелей обвинения и отношение свидетелей защиты.

«Вот он к чему все это рассказывал,— разобралась наконец Нина Сергеевна.— Умно, ничего не скажешь».

Сорокин взял стакан, вздохнул, посмотрел на него, но не выпил, поставив снова.

— Прошу обратить внимание на то, как обвиняют мою подзащитную. Свидетели обвинения не представляют себе, что человек, сидящий за рулем, может быть невиновен. Они полагают, что тот, кто сел за руль, уже заранее поставил себя в предосудительное положение. С таким отсталым взглядом развивать автомобилизм чрезвычайно трудно. А вам известно, что развитие автомобилизма является одной из насущных задач нашего общества.

Сорокин знал, что нащупал пульс речи. Нина Сергеевна слушала с интересом, заседательницы тоже пригорюнились, чувствуя приятную складность адвокатских слов. Действительно, хочешь не хочешь, а задача такая имеется. Сорокин отпил наконец глоточек.

— Теперь рассмотрим дух показаний свидетелей защиты. Эти люди, разные по социальному положению, смотрят на автомобилизм совершенно иначе. Они полагают, что человек, севший за руль, не ставит себя ни в какое особое положение. Они считают, что человек за рулем и человек на пешеходной дорожке должны быть поставлены в равные условия перед законом. Мы можем скорбеть о жертве. Но мы должны понимать, что в условиях современного общества светофоры стоят для всех — и для пешеходов, каковым был этот несчастный старик, и для дисциплинированных водителей, каковой является моя подзащитная, и для тех, кто до сих пор обладает кучерской психологией, как это произошло в случае с автомобилем, закрывшим обзор и послужившим истинной причиной трагедии. Я думаю, что не скажу ничего нового, если отмечу, что автомобилизм — это та самая часть общественного бытия, в которой нет ни кучеров, ни зевак, ни лошадей, ни ослов, а есть одни люди, поставленные в равные условия ответственности за свои деяния...

Теперь Нина Сергеевна ждала, чем он закончит. Конечно, речь была убедительной. Сорокин, как всегда, чувствовал главный момент. Его речь в защиту развития автомобилизма отвечала требованиям дня. Он был, конечно, большой политик. И несмотря на то, что перешел в адвокаты, продолжал отстаивать государственные интересы как прокурор.

— Товарищи судьи! Невиновность моей подзащитной настолько очевидна, что просить о снисхождении значило бы не доверять суду, объясняя то, что ему известно. Мы находимся на пути к Большому Автомобилю с большой буквы. Другого пути у нас все равно нет. Большой Автомобиль у нас все равно будет, он уже вырисовывается, он уже движется на конвейере... Ему нужна Большая Автомобильная Дорога, украшенная доброжелательностью, пониманием и высокой ответственностью всех граждан перед порядком на этой Дороге с большой буквы!..

Сорокин сел, мельком взглянул на суд и опытным взглядом определил: «Год исправительных работ».

Но он ошибся и на этот раз.

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Яковлев сидел в «козлике», терпеливо дожидаясь. У него было много дел до вечера, а Сорокин все не шел.

Сорокин ошибся.

Нина Сергеевна была поставлена перед задачей нетрудной и приятной. Аргументация адвоката по поводу недоказанности состава преступления была, как ей казалось, достаточно убедительной. Она успела продумать ее, несмотря на то, что адвокат отвлекал ее интересной и содержательной речью. Однако освободить просто так эту молодую женщину Нина Сергеевна не могла. Нельзя, чтобы человек, сбивший другого человека, остался без наказания. Такое решение суда выглядело бы чуть ли не как поощрение. Этак все начнут сбивать пешеходов гораздо охотнее. Нет, конечно, оставить обвиняемую без наказания нельзя. Но и наказывать нужно так, чтобы прекратить дело. Надо так осудить, чтобы осужденная не жаловалась. Осудить полюбовно. Потому что, если она станет жаловаться да в инстанциях отменят приговор, у Нины Сергеевны окажется неприятный крючок в послужном списке, что ей, как молодому работнику, совсем ни к чему. А при таком адвокате, как Сорокин, подобные крючки случались.

Исходя из вышеизложенного, суд вынес приговор — год условно. Это устраивало всех. Волки были сыты, овцы были целы. Сименюк трянула желтыми кудрями, прокурор сглотнул слюну, Сорокин победительно осматривал суд.

Сорокин собрал бумаги, вышел и увидел Яковлева. Кивнул ему: «Здрастье» — и пошел домой. Яковлев остановил его:

— Владимир Андреич, садись, отвезу...

— Неохота мне с тобой ездить, — сказал Сорокин.

Яковлев не ответил, но почувствовал, что Сорокин поедет...

И действительно, Сорокин нехотя влез к нему в машину.

— Я хочу знать, — сказал Сорокин, положив папку на колени и держась за перекладину на щитке «козлика», — я хочу знать: соображал ты, что делаешь, или не соображал?

Яковлев молча засопел.

— Да отъезжай ты от суда, чудило! Не хватает, чтобы меня увидели в твоей машине...

— Пускай видят, — сказал Яковлев, включая мотор, — мы не воровали...

— А что же мы делали, если не воровали?

Машина стронулась. Яковлев молча доехал до угла, свернул, покосился на Сорокина.

— Не воровали, и все тут...

— Слушай, — вздохнул Сорокин, — ты знал, что я буду адвокатом?

— Ну, не знал...

— Ну — знал или ну — не знал?

Яковлев ехал, думая. Он не знал, что адвокатом будет Сорокин.

Адвокат закурил. Вытаскивая папиросы из правого кармана, он качнулся влево, толкнув Яковлева плечом. Яковлев словно очнулся.

— Я зла не хотел...

— Дубина ты все-таки, — ласково сказал Сорокин. — Ты вроде только что родился... Ты что, суда не нюхал? Что это тебе, кружок театральной самодеятельности?

— Я не виноват был... Я за правду сидел...

— За правду! Так я тебе должен сказать, что сегодня ты себе заработал совершенно честно ровно год тюрьмы за лжесвидетельство!

Яковлев взглянул удивленно: неужели, мол, заработал? Но Сорокин засмеялся:

— Ну, рассказывай, как все это произошло. Что тебе Крот посулил? Стройматериалы? Электрооборудование? Чем он тебя, дурака, взял?

Яковлев хотел было возразить — какой, мол, Крот, — но не возразил. Раскусил его Владимир Андреевич сразу, лучше не отмахиваться.

— Меня добрые люди попросили...

— Это Крот — добрый человек?! Да он же сволочь!

— А ты почему знаешь? — возразил Яковлев. — Подъемник достал, туф армянский достал... Все по закону...

— Туф армянский! Сам ты туф армянский! Потому он и сволочь. Он же все это кино представил так, что даже я не раскусил сразу.

Яковлев улыбнулся:

— Видишь, и ты...

Сорокин распалился:

— Ему эту бабенцию вытащить надо было — он на все пошел, в фонды полез, тебя запутал, законы нарушил.

— Законы... — проворчал Яковлев, останавливаясь перед светофором и выключая передачу. — Законы... У меня один закон: чтобы людям хорошо жилось... И весь закон... Что же я худого делаю? Хочу общество обогатить? Ну, пока еще приходится крутиться... Так не для себя же я кручусь... А люди хотят помочь, связи имеют — почему от добра отворачиваться?

— Зеленый свет, — сказал Сорокин.

За «козликком» раздался нетерпеливый короткий сигнал: Яковлев закрыл кому-то дорогу. Он вскинулся и поехал, рассуждая:

— Надо жить по общественной пользе. По выгоде. Но не для себя, а для общества...

— Это ты мне уже говорил. И про жалость и про выгоду. Хочешь ты, Иван Ефимыч, жить по выгоде, а живешь по жалости. Ты и те «виллисы» жалел, и лес жалел, и эту чертовку пожалел... Ты только себя не жалел...

Яковлев осторожно объехал длинный прицеп.

— Почему ж она чертовка? У ней дети есть, муж...

— Потому что такая баба, если начнет торопиться, отца родного собьет! Это же — во!

Сорокин сжал кулак, показал Ивану Ефимовичу.

— А куда ей торопиться! — вяло возразил Яковлев.

— Она эту жизнь крутит как шарманку, играет на ней что хочет!.. — выпалил Сорокин. — Поверни в следующий переулок... Выгода! Ты думаешь, что ищешь выгоды для общества, а на самом деле проявляешь одну жалость! Безлесные районы пожалел — в тюрьму попал, эту бабу пожалел — в подставные свидетели пошел... Тебе не выгода от земли нужна, тебе просто жалко ее, ты и крутишься, как в проруби... Останови возле того дома...

Машина послушно остановилась, чиркнув колесом по бровке. Сорокин открыл дверцу.

— Ты хоть знаешь, в какое положение меня поставил?

— Чего — положение?... Дело выиграно...

— Слушай... Я же не знаю свидетелей... Я играю вслепую... Я же не знаю, кого мне подсунут... Почему ты меня не пожалел?

— Тебя? — Яковлев подумал. — Тебя — другое дело. Ты свой... Свои — сочтемся и без закона... Я, если бы знал, что ты адвокат, еще смелее пошел бы... Все же свой, неужели же... Того...

— Да тебя же свой Васька заложил! Свой же! С одного котелка кашу ели!

Яковлев удивился:

— Ну и что? Бывает... Совести, значит, не хватило... А ты, Андреич, вроде бы и не рад, что эта баба на свободе?

Сорокин засмеялся:

— Есть же закон, понимаешь? За-кон! Если закон станет над людьми, всем будет выгодно и никого жалеть не придется... Каждый получит, что ему следует. Это же и есть справедливость! Туф армянский!

Яковлеву не хотелось расставаться. Он попросил папироску: курил редко и курева при себе не держал. Пустил дым, неглубоко затянувшись.

— Ты свой, Андреич. Это вроде бы я сам себя пожалел... Себя жалеть не приходится для общественной пользы...

— Дубина! — весело сказал Сорокин. — Будь здоров! В следующий раз, когда придется лжесвидетельствовать, позвони. Хоть посоветуйся!.. Как там твои дела?

— Помалу... Приезжай... На вальдшнепов приезжай... Хозяйке поклонись... И не обижайся, Андреич. Материальные фонды на улице не валяются... И связи у этого ответственного работника есть... Пригодится в хозяйстве.

Он протянул Сорокину руку, и Сорокин пожал ее, улыбаясь в душе...

**От автора**

Во двор въезжает катафалк.

Это не ко мне.

Это к Сфинксу.

Яков Михайлович, я не успел с вами расстаться за множество лет моих, которые совпали с вашими годами. Зачем вы так неожиданно?

Вас не помиловала смерть, Яков Михайлович, и я не знаю, стала ли афоризмом ваша угроза поставить мне двойку за веру в предопределенность. Может ли шутивная угроза сделаться мудростью? Кто мне теперь ответит?

Вы жаловали меня и, когда я был еще отроком, пересказали слова какого-то святого: «Человек падает по своей воле, стоит же волею господ». Яков Михайлович, я понял вас. Святой был не прав. Человек стоит своей волей. Падает же — волею господ. Вы были правы — труднее всего воспитать одного человека: самого себя...

Вас проводит ваш зять, который занимается дистанционным управлением. Он знает точно, какими будут дороги через сто лет. Я не знаю. Я не провожу. Я не хочу вас видеть таким, каким не хочу видеть. Мне это не все равно. Есть время сходить и время расставаться. Что такое расставание, Яков Михайлович? Вы нам этого не задавали. Я не знаю, что это такое. Вы же не станете спрашивать нас то, что не задали? Впрочем, если вам нужно, поставьте мне двойку.

Во двор въезжает катафалк.

Это не ко мне.

Это к Сфинксу.

Яков Михайлович, помните, как мы с вами ели капусту под Новый год?..

#### ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Карпухин лежал на пляже как распятый, задрал бороденку, чтобы солнце прогрело шею. Он считал, что такое прогревание полезно для его здоровья.

Яковлев хорошо заплатил карпухинской братии. Чайная действительно получилась выдающаяся — со всего района ездили смотреть. Начальство как бы заужало Ивана Ефимовича, поскольку могло включить эту чайную в число районных достопримечательностей. Скоро сказка сказывается, да не скоро материальные фонды добываются. Есть

время строить чайные и есть время делать следующий шаг. Яковлев по немногословности своей только что заикался на сей счет, но заикался с цифрами в руке. И на данном этапе исторического развития добился немалого — начальство уже слушало.

Конечно, Карпухину как узкому специалисту все эти страдания были безразличны, но, с другой стороны, перспектива крупных реставрационных работ маячила перед ним весьма призывно, и он боялся одного: чтобы не вышел Спас из районного подчинения, чтобы не захватили инициативу какие-нибудь конторы.

Ромка сдержал слово — достал Яковлеву кое-чего. Яковлев то ли своим умом дошел, то ли вычитал где, но мысль использовать землю на всю катушку со всеми приложенными к ней ценностями не оставляла его. Хотел он быть богатым, этот парень, у которого и водки-то прилично выпить было не из чего.

Земля — мать богатства, а труд — отец его. И все дело в том, как папаша ухаживает за мамашей. Ласкает ли, ценит ли, или же, напившись, дерет поперек рожи как неродную. Все дело в том, велит ли он мамаше сапоги с него, дурака, стаскивать, старея до срока, или же пироги печь, разумно прикидывая содержимое сусека, румянясь от довольства.

Природа — храм, а человек в ней — жрец, оттого и бывает благолепие. А если природа — храм, а человек в ней — хам, ничего, кроме плача, в доме не получается.

Городской человек, Карпухин был далек от этих чисто яковлевских рассуждений. Его занимали фрески и не занимали коровники. Но при всей постоянной нехватке средств к пропитанию Карпухин мог бы дизайнерствовать и на голодный желудок, ибо в каждом человеке есть своя страсть, данная от природы.

Карпухин дремал, подставив горло осеннему южному солнцу: Он скорее всего ничего не думал, а вернее, думал, когда лезть в воду — через пять минут или через десять. И решил лезть тогда, когда рядом с ним расположится кто-нибудь. Если дама — немного погодить, если же, наоборот, джентльмен — лезть сразу.

Поэтому когда рядом с ним затрещала галька, Карпухин покосился и сел. Надо было лезть в воду. Он присмотрелся к подошедшему и признал в нем не кого-нибудь, а именно человека, которого не только не ожидал встретить, но даже не стремился.

— Сергей Петрович! — воскликнул Карпухин.

Следователь покосился, стал строго расстегивать штаны, сказал отчужденно:

— А... И вы здесь...

Он проиграл и видел в данный момент перед собою нахальную бородатую рожу одного из злостных виновников его конфуза.

— Присаживайтесь, Сергей Петрович, — с преувеличенной радостью пригласил Карпухин.

— Я и так присаживаюсь, — ответил следователь, — а вы все на свободе?

— А где же мне еще быть?! — вроде бы удивленно спросил Карпухин, понимая, что следователь страдает.

Следователь аккуратно сложил штаны и оказался в черных плавочках. Тело его было лимонно-желтым, содержавшимся в постоянном отдалении от солнца. Он сел на гальку, полез за папиросами, закурил — с того утра снова стал курить и уже не мог бросить.

Карпухин старался заглянуть в глаза, искал взгляда, но искал, как домушник в чужой квартире, наобум.

— Ох, Карпухин, Карпухин, — сказал следователь, — встретимся мы еще с вами, да не на пляже...

— Где вам будет угодно! — сказал Карпухин с поспешностью.

Следователь пропустил наглость мимо.

— А этот ваш... с визитной карточкой, тоже здесь?

— Увы... Он сейчас в Ницце...

Следователь горько усмехнулся, втянул последний дым, спрятал окурок под серый булыжник, встал и пошел к воде. Галька вызывающе затрещала под его бледными худыми ногами с большими разлапистыми ступнями. Он остановился, подумал и неожиданно разбежался, как пацан, прыгнул в волну, нырнул и, вынырнув далеко, поплыл саженками. Он плыл легко, высовываясь из воды по пояс, будто шел по дну...

— Сергей Петрович,— примирительно сказал Карпухин, когда следователь вернулся,— зачем же вы на меня сердитесь?

— С чего вы взяли, что я на вас сержусь? Я не на вас сержусь. Я на себя сержусь. Держал все ваше кодро в руках и — выпустил.

— Ну,— возразил Карпухин,— это нечеловеколюбиво. Девочка получила свободу, разве это вас не радует как гуманиста?

Следователь посмотрел в наглые карпухинские глаза, играя челюстями.

— Меня как гуманиста радует, когда виновный сидит за решеткой... Ваша девица, кроме всего, в фиктивном разводе...

— Неужели? — всплеснул руками Карпухин, но осекся, не желая валять дурака.— Знаю, Сергей Петрович, все знаю.

Следователь вздохнул:

— Ну ладно... Одного не пойму: зачем вам было идти на риск? На лжесвидетельство... Не бойтесь, у меня нет аппарата, как у этого, который в Ницце...

Карпухин улыбнулся:

— Тут скрестились интересы многих... Что же касается меня, я шалопай, бузотер... Можете считать, что я это сделал из принципа...

Следователь снова недобро пожевал челюстями.

— Из принципа... Интересно, какие у вас могут быть принципы, если вы пошли подставным свидетелем... Да еще, возможно, получили за это...

Карпухин улыбнулся:

— Вот видите, вы меня подозреваете... Впрочем, это ваша профессия — подозревать людей.

Следователь взглянул исподлобья.

— Как же вас не подозревать?... Принципы... Где же они, ваши принципы, если вы идете наперекор правосудию?

Карпухин посмотрел на следователя спокойно, со скрытым состраданием.

— Вы правы, Сергей Петрович... У меня принципов нет. Но я их соблюдаю...

Следователь впервые улыбнулся. Улыбнулся неумело, через силу, вроде бы не он улыбался, а кто-то другой, залезший в него не спросясь.

— Да, сознаюсь... Надули вы меня...

Карпухин оперся на локоть.

— Но это же так естественно... Вы должны знать, что опровергнуть правду гораздо легче, чем опровергнуть ложь.

Следователь резко поднялся. Действительно, такая дикая мысль прижала и его тогда. Но он ужаснулся ей, а этот сирота вроде бы даже радуется.

— Это пока! — строго сказал Сергей Петрович.— Пока! Пока еще люди неосознательны! А когда они станут сознательными, тогда правду не опровергнешь!

Карпухин улыбнулся:

— Сергей Петрович, давайте не ссориться в такой прекрасный день... Вот видите этот камень?

Карпухин взял с пляжа обкатанный вековыми волнами голубова-

тый булыжник. Следователь посмотрел на предмет, ожидая дальнейших слов. Карпухин взвесил булыжник в руке.

— Камень есть. Стало быть, это правда... Теперь смотрите...

Он размахнулся и швырнул булыжник в волну. Камень шелкнул по воде, брызнул и утонул.

— Где правда? — спросил Карпухин. — Нет ее! Видите, рука пустая... Правда утонула — ищи ее теперь... Но зато, Сергей Петрович, вы можете вполне доказывать, что я швырнул не камень, а кошелек с деньгами, слиток золота, алмазный перстень, корону императора — все что вам понадобится. И я уже не смогу от вас отбиться. Теперь все решат ваши свидетели, которые несомненно покажут, что я утопил королевскую корону... Впрочем, вы сможете обойтись и без них — зачем они вам, если они должны показать то, чему вы их научите... Здесь важно начало. А когда вы начнете доказывать, вы и сами себе поверите. И докажете не только про корону, но и про кольцо и про кошелек и даже догадаетесь, сколько монет в нем лежало...

— Все это философия, — сказал следователь, — что же, по-вашему, я буду фикцией заниматься?

— А почему нет? — спросил Карпухин. — Вы же заподозрили меня в том, что я взял на лапу? И доказать это вы сможете гораздо легче, чем я опровергнуть.

Карпухин встал и побежал в воду. Следователь закурил, наблюдая за ним, как орел за лисицей, — пристально и неподвижно. Карпухин побарахтался в воде, поплыл немножко, вернулся, снова побарахтался и вылез. Следователь сказал будто даже с удовлетворением:

— Плаваешь неважно... Дыхание короткое.

#### От автора

А в Москве уже топили печи, как писал когда-то Чехов.

Я сидел у Павла Петухова, держа руку на горячей холке отопительной батареи.

Катерина Великая будто никогда и не отходила от семейного очага, будто не ее мы искали в чистом поле. Домашняя, теплая, прекрасная дама в фартуке сооружала нам обед.

— Ты ничего не понимаешь, — ласковым контральто втолковывала прекрасная дама. — Каждое новое месторождение — это богатство...

— Вздор! — кричал Петухов. — Пусть будет миллион месторождений. Это полдела! Четверть дела! Из ископаемого нужно еще делать продукцию!

— Но для того, чтобы делать продукцию, нужно иметь из чего...

— А если ты имеешь из чего, но не делаешь?

Петухов бесился. Он выражал свою индивидуальную ревность каким-то странным общественным способом.

— Золото! — кричал он. — Вы думаете, чем больше золота — тем крепче деньги? Ерунда! Чем больше вашего золота, тем оно дешевле! Деньги крепки производительностью труда! Торговлей! Обменом, черт бы вас побрал!

Я не вмешивался в этот давний семейный спор. Я сидел тихо и смотрел на большой букет красных роз, стоящий в синем глиняном кувшине. «Где он взял розы? Это не тепличные розы. Он их, наверно, заказывал на юге».

— А ты как думаешь? — загремел на меня Пашка. — Никак ты не думаешь!

Он заметил, что я разглядываю букет, слишком яростно отражающий его отношение к Катерине. Катерина, улыбаясь, накрывала на стол. Пашка набросился на меня:

— Деньги не подкрепляются золотом!!!

— Ну их к черту, Паша,— примирительно сказал я,— откуда мне знать, чем они подкрепляются? Я их сроду в руках не держал...

— Да, да! Ты специалист по недвижимости. Атаман Зеленый, старый разбойник!

— Не трогай его,— заступилась Катерина,— что тебе от него нужно? Квартира будет снова твоя. Мне же полагается дополнительная площадь...

— Паша,— добавил я,— вдовый кошт не так уж... Женщина — большая сила... Катерина исправит мою ошибку и соберет квартиру воедино...

— Я не хочу рассчитывать на женщин! — кричал Петухов.

— Но их нельзя снимать со счета... Лучше скажи, как государство богатеет, и чем живет, и почему не нужно золота ему, когда простой продукт имеет?

— Не цитируй, чего не понимаешь! Деньги подкрепляются тем, что можно сожрать и без чего нельзя жить! Хлебом, одеждой, счетами за газ! Они подкрепляются тем, что необходимо покупать каждый день! Если купить нечего, это бумажки. А для того, чтобы было что купить, нужна производительность труда. А золото не едят!

— Помоги мне расстелить скатерть,— сказала Катерина.

Я поспешно поднял кувшин с розами и вспомнил Раздольнова с его пионами... «Вот тебе и вся производительность труда».

— Значит, соседняя комната уже ваша?

— Почти,— сказала Катерина.

Пашка улыбнулся:

— Наконец можно делать ремонт... Я думаю, что тот негоциант, который приобрел мое родовое, лучше тебя разбирается в средствах обращения...

Я не ответил.

Пашка набил трубку, посмотрел в окно. За окном оседал первый слякотный снег.

— Между прочим,— сказал он как всегда неожиданно,— что поддерживает порядок на дорогах? Что создает безопасность езды?

Я не понял вопроса.

— Ну что? — пояснил Пашка.— Правила движения? Исправность транспорта? Строгость инспекторов?

— Вероятно, и то, и другое, и третье,— ответил я.

— Нет,— сказал Петухов,— безопасность езды создает единственный фактор, который мы не берем в расчет.

— Какой же?

Петухов выпустил дым.

— Взаимоуязвимость автомобилей. Фактор чисто психологический. Ты не можешь разбить чужую машину без риска разбить свою. И поэтому ты осторожен... Если на дороге появится всего одна неуязвимая машина, езда станет невозможна...

Я удивился:

— К чему относится эта доктрина?

— Она относится ко всему на свете... Безопасность каждого держится взаимоуязвимостью всех... Между прочим, тебе придется выпить шампанского, несмотря на то, что ты за рулем...

Проглотив Пашкин посошок в честь возвращения прекрасной дамы к семейному очагу, я осторожно выехал из дворового колодца сквозь туннель и повернул направо по скользкой гололедной мостовой. Уличный фонарь золотил изморось, фары не помогли ему. Нервная слякоть путала все вокруг. Я выехал ощупью, стараясь не буксовать, хотя это было трудно.

Сначала меня удержал сноп света, а вслед за ним автомобиль мой принял на себя железный звучный удар. Все было понятно...



Дверцу заклинило, пришлось вылезать направо. Может быть, если бы мой выход из машины не был замедлен обстоятельствами, может быть, если бы я увидел сразу следы аварии, я бы и вел себя иначе. Но переползание по сиденью замедлило действие, и я успел отчетливо сообщить, что это конец.

Горячая «Волга» вгрызлась в мой бок тусклыми никелированными зубами. Она как-то привстала на задние лапы, и морда ее была усыпана собственным стеклянным крошевом. Было тихо, из-под «Волги» дымилась радиаторная водица.

Я посмотрел на машины и удивился. Стекла моего автомобиля были целы. Хозяин «Волги» — небольшой плотный человек в очках и без шапки — суетливо кинулся ко мне. Он понимал, что был виноват.

— Слушай,— сказал он,— давай обойдемся без милиции, я заплачу... Ну, сколько тебе?

Он стоял около меня на пустынной улице, и в морозящем свете я видел на лице его испуг. Я ничего не сказал. Мы не могли разъехаться, нас надо было растаскивать.

— У вас разбит радиатор,— сказал я, отворачиваясь,— как вы поедете?

Он мгновенно пропал под своей машиной и вынырнул.

— Да... Течет... Как же я... Ничего не видел...

— Попробуйте завести,— сказал я.

Он влез в машину, мотор завелся, но он сразу заглушил его и вылез.

— У вас на руке кровь,— сказал я.

— Это стеклянная крошка... Все сиденье в крошке... Так вы согласны? Я заплачу вам за ремонт...

— Я согласен, отъезжайте... Но как вы сами доедете без воды?

— Что-что? — вдруг спросил он и приблизил ко мне свои большие очки, распластанные на носу.

— Как вы сами доедете? — спросил я громче.— Вам нужен тягач... Трос у вас есть?

Он улыбнулся зловещей радостью:

— Ты, оказывается, надал? Повезло мне, ничего не скажешь. Это меняет положение. Оказывается, платить буду не я тебе, а ты мне?

— Отъезжайте,— сказал я.— Вы же видите, что сами виноваты.

Но он уже был главнее меня. Он перерос меня в течение одной секунды, когда ноздри его уловили запах предательского Пашкиного пошоска. Это было похмелье в чужом пиру.

— Я никуда не уеду,— сказал он играющим, высоким голосом.— Я был виноват до выяснения особых обстоятельств... Я вижу, вы интеллигентный человек. В одной пьесе, если помните, говорится: «Стой! Власть переменилась!» Так это сказано о нашей встрече...

— Не говорите глупостей,— сказал я.

— Интересно, сколько держится запах? — веселился он.— Додержится ли он до приезда автоинспектора?

Мне стало противно.

— Вы довольно мелкий подлец... Я уйду. Дождитесь инспектора сами. Интересно, что вы ему скажете? Что наехали на машину, стоявшую у бровки?

Он ответил железным голосом:

— Вы никуда не уйдете. Я вас не пущу.

— Как же вы меня не пустите?

— Милый,— сказал он,— я занимался боксом.

— Мне кажется, вы занимались шантажом.

— И это было! Стукнуть пьяного сгоряча за аварию? Это же так естественно!

Нет, ему не пришлось меня задерживать. Я оттолкнул его и пошел

по скользкому тротуару, он схватил меня за рукав. «Сбить у него очки?» — подумал я. Нас осветила инспекторская коляска.

— Товарищ инспектор! — закричал он.

Инспектор слез с седла, подошел к машинам, поглядел.

— Чья «Волга»?

— Моя, — сказал он.

— Так чего вы кричите? Надо ездить аккуратнее. Документы...

Он протянул документы, как будто держал их наготове.

— Вы разберитесь сначала. Он пьян!

Инспектор подошел ко мне.

— Он пьян! Он подсек меня!

— Инспектор, — сказал я, — вы же видите, что это неправда...

— Документы, — сказал инспектор.

Я знал, что все пропало. Я знал, что не вырвусь из цепких рук этого страшного типа, нечаянно нашедшего свою радость. Он нашел свою яркую радость на железном дереве закона. Закон распростер над ним свои охранительные ветви и защищал его от меня. Я знал, что мне придется платить. Предательский запах Пашкиного посошка обойдется мне так дорого, что едва ли я подниму эту тяжесть. Я понимал, что под этот запах он сменит мотор, трансмиссию — все что захочет, потому что закон на его стороне. Я понял, что пришла пора прощаться с моим автомобилем. Есть время садиться в машину и есть время вылезать, отдавая ее за долги.

И это время пришло.

— Инспектор, — сказал я, — вот мои документы. Ключ в машине...

Я очень устал...

— Пить надо меньше, — сказал страшный тип, но я не ответил ему.

Я пошел по скользкому тротуару домой. Инспектор крикнул:

— Водитель, стойте!

Я не остановился.

— Я вам приказываю, стойте! — крикнул инспектор и свистнул.

Ночная изморось секла мое лицо и беспомощно стекала по нему.

Я шел домой, понимая, что у каждого взрослого человека бывает свое Ватерлоо, и этим он как две капли воды похож на Наполеона.

С такими бонапартистскими мыслями я отпер свою дверь, зажег свет и увидел верного своего маршала, который мне не изменил.

— Филька, — сказал я, — прошу прощения. Я задержался, а тебе пора гулять. Ты ведь нигде не напачкал, Филька? Я это знаю. Ты терпел и дотерпел бы до страшного суда, потому что ты благородный пес. Пойдем, Филька, выполнять веление природы.

Он посмотрел на меня честно и радостно. И радость его была мужественна, ибо вот уже несколько часов благородство его брало верх над естеством. А может, не брало? Может, естеством его и было благородство?

Пес протянул мне умную голову, ожидая ошейника.

Мы спустились вниз и направились к своей загородочке. Дворовые фонари освещали наш путь, изморось светлела и робко переходила в снежок. Я открыл собачью калиточку и отцепил поводок. Филька отряхнулся, глянул на меня, подошел к столбику, понюхал его и поднял ногу. Это было по правилам.

Дом наш, похожий на корабль, плыл через косой снежок, окна его светились теплым домашним вечером. На кухне у Сфинкса горел приглушенный свет.

— Филька, — сказал я, — ты ведь не потеряешь морального облика, хорошая собака? Ты ведь никогда не поднимешь ногу где попало?

Пес бегал по площадке, нюхая, фыркая и делая стойку.

— Филька, спокойно, не выдумывай себе врагов... Это ложная концепция... Кошка? Где кошка, Филя? И почему ты думаешь, что она тебе

враг? Это предрассудок, Филя. Я тоже не люблю кошек, но ты ведь ни разу не видел, чтобы я за ними гонялся или лаял на них... И, надеюсь, никогда не увидишь... Пойдем домой...

Мы пришли, отряхнулись и стали варить себе кашу. Что же теперь нам делать? Работать. «Работать надо»,— сказал мне тогда большой синий автоинспектор, очень похожий на сегодняшнего. Работать. Я же интеллигентный человек, как заметил этот тип. В какой-то пьесе сказано: «Любите ли вы работать?» Не говорите глупостей, водитель. Все гораздо проще.

Я смотрю на книжные ряды, в которых хранятся великие вопросы. Плоский мир сформулированных иллюзий сверкает во взоре моем золотой фольгой корешков.

— Филя, не находишь ли ты, что все гораздо проще, если не выдумывать себе врагов? Не находишь ли ты, Филя, что нет ничего коварнее легковерия? Ты полагаешь, что эти мысли исключают друг друга? Не думаю...

Звонок.

Я открываю дверь.

На пороге стоит большой синий милиционер. Тот самый, который когда-то проколол мои права. Как это я не узнал его сразу? Это он, сегодняшний инспектор. Зачем он пришел?

— Здравья желаю, водитель... Нехорошо у нас получилось.

— Да, инспектор, нехорошо... Я готов нести ответственность.

— А я боялся — не найду вас.

— Как же вы могли меня не найти? Адрес в правах.

— Мало ли! Машина прописана в одном месте, владелец живет в другом — это через раз бывает...

Лужица появилась у его юфтового осеннего сапога. Чего ему надо? Филька приковылял к лужице, понюхал ее, глянул вопросительно.

— Собака, — сказал инспектор, — а не кусается. Что это с ней? Чего она ковыляет?

— Инспектор, эта собака не знала врагов со дня рождения. Она родилась такой. За это ее должны были усыпить, но оставили.

— Как звать? — улыбнулся инспектор.

— Филипп Красивый.

— Красивый! — усомнился гость.

— Сокращенно Филька.

Пес посмотрел на меня и взглядом подтвердил истинность моих показаний.

— Раздевайтесь, инспектор, — сказал я, — снимите форму, выпейте чаю, согрейтесь.

— Некогда. Я вам машину вашу пригнал... Оштрафовать бы вас полагалось за ваши номера.

— Как пригнали?!

— А так! Добавляете работы ОРУДу...

— Но я же должен ему за ремонт?.. Я же был пьян?..

— Сколько вы выпили?

— Бокал шампанского... Закон на его стороне...

— Я его сразу не полюбил, — сказал инспектор, снимая шинель. — Так правые не кричат... Наслежу я вам здесь...

— Можете в сапогах, а если хотите — снимите сапоги, я дам вам тапочки. Это знаменитые тапочки, я встречал в них Новый год.

— В тапочках в гроб ложатся, а не Новый год встречают, — заметил инспектор. — Прямо не знаю, что мне с вами делать... По закону, конечно, вашей машины разве что хватит, чтобы с ним расплатиться... Машина, прямо скажу... Еле-еле скорость повтыкал... Он здорово побился... Он с вас шкуру снимет, а закон будет только присутствовать при этом.

Я взял у него шинель и пододвинул стул:

— Но я уже решил, инспектор, я устал...

Он присел снимать мокрые сапоги:

— Устали... Устанешь! Что с того, что устанешь? Бороться надо...

Он надел тапочки и пошел за мною на кухню, приглаживая волосы тяжелой рукой. Филька поплелся за нами.

— Инспектор,— сказал я, накрывая стол,— я устал от людей, для которых человек — мелочь. Я устал от нахального пугливого их крика, от их вымогательских душ...

— Устанешь,— повторил инспектор.— Хитрован он будь здоров... И фамилия у него чудная — Крот! Роман Романович Крот. Ну, ничего — пускай повозится, починит... Пугать меня начал, что я вас выпустил... Нашел себе дурачков... Пьяный! Я пьяного сквозь землю увижу... И хитрована увижу... А тут и причинной связи не было...

Я достал бутылку. Инспектор шмыгнул носом, ничего не сказав.

— Инспектор,— сказал я,— я устал от людей, которые залезают выше закона, выше правил и видят закон в одном ожесточении своем.

— Есть у нас еще такие, чего скрывать...

— Я устал от лицемеров, которые по всем правилам обгоняют слева, а обогнав, резко жмут на тормоза, чтобы ты вмазался в их бронированный зад... Вмазался насмерть, погибнув от радости быстрой езды...

Инспектор подумал, налил себе, выпил осторожно, взял срезок колбасы.

— Надо соблюдать дистанцию, чтоб не вмазать... А обгон слева — как его иначе? Движение у нас пока еще правое... Это где левое движение, там справа обгоняют...

Мы сидели долго, и беседовали, и пили светлую влагу, уравнивающую людей.

— Я вас узнал, инспектор,— сказал я.— Помните, год назад...

— Я не вас узнал,— ответил он,— я прокол свой узнал... Увидел — узнал... Что ж у вас, в самом деле не было денег?

— Не было.

— Не верилось. Не люблю хитроvanов.

Он ушел за полночь, крупный синий инспектор, не любящий хитроvanов.

Я подошел к окну и увидел, как он шагал по мокрому снегу, оставляя четкие следы. Снег садился на его развитые плечи, снег кружился в лучах фонарей. Ночной гость направлялся к воротам и вдруг, резко повернувшись, подошел к моему автомобилю. Он постоял, посмотрел, провел рукою по вмятине, покачал головою и ушел. Трудно было влезать этому крупному парню в небольшую машину через все сиденье.

Снег повалил гуще, засыпая двор и легко громоздясь на помятой крыше машины. Снег застревал на покореженном боку автомобиля. К утру машина исчезнет в сугробе.

Я смотрю в окно и чувствую чей-то упругий взгляд на затылке.

Филька глядит на меня остро, и в коричневых глазах его поблескивают алмазные осколки оптимизма.

— Филька,— говорю я,— не ругай меня идеалистом... Надеюсь, ты и сам понимаешь, что, кроме нравственной поруки, другой нет...

Пес смотрит внимательными глазами. Осколки сливаются в крепкие бриллианты.

— Филька,— говорю я,— Филька, скажи мне «добрый вечер», и я — миллионер!..



---

# ИЗ ФРАНЦУЗСКОЙ ПОЭЗИИ

РЭМОН КЕНО

★

## *Стихи последних лет*

*Имя Рэмона Кено (род. в 1903 году), поэта, романиста и ученого, широко известно и во Франции и за границей. Некоторые его стихи (такие, например, как «Если ты думаешь») стали достоянием современного фольклора, а слова и выражения из его романа «Зази в метро» вошли в разговорный язык. Впервые переводы его стихов были опубликованы у нас в 1963 году в «Новом мире» и потом не раз публиковались в сборниках и периодике. Предлагаемая ниже подборка взята из книг Кено, вышедших в последние годы.*

### ПРЕКРАСНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Они взбираются по трапу каравеллы,  
вкруг них золото сверкает и самшит,  
и тонким кружевом обшит весь парус белый,  
и шелковый штандарт над мачтою шуршит.

Пришел отплыть час. Они поют и с пеньем  
порт покидают свой. Блестит морская гладь  
как масло жидкое, и вихрь ее не вспенит,  
и даже облака на небе не видать.

Но вот приходит ночь. Один щелчок нежданный  
на дно кораблик их пускает, и тогда,  
верхом на бревна сев, над бездной океана  
они качаются, и с них течет вода.

Хоть отсырев слегка, но живы и здоровы,  
они когда-нибудь увидят порт опять,  
не став счастливей от всего пережитого  
и тайный смысл судьбы пытаюсь разгадать.

### ПРИ ЛУННОМ СВЕТЕ

Шагал человек по дороге,  
неся наковальню и сети,  
он камень искал на дороге  
при лунном свете, при лунном свете.

Нести нелегко их было,  
и наковальню и сети,  
и время так медленно плыло  
при лунном свете, при лунном свете.

Но камень был найден все же,  
хотя ни при чем тут сети,  
на наковальню положен  
был камень при лунном свете.

И молот упал на камень  
ночью в разгаре лета,  
и молний вспыхнувший пламень  
был ярче лунного света.

Когда же кузнец утомился,  
потухли молнии эти...  
Уснул он, и сон ему снился  
при лунном свете, при лунном свете.

### КРЕПЧЕ СКАЛЫ

В трещинах от дождей,  
в трещинах от эрозий,  
от росы, от цепких корней,  
то на солнце, то на морозе

продолжает свой путь скала,  
заполняя пространство пустое,  
дальше, дальше идет скала,  
неподвижно во времени стоя,

к своему финалу идет,  
к превращению в пыль, для которой  
ветер снова место найдет,  
облетая земные просторы.

Лишь бы воды не пересохли,  
лишь бы травы с земли не исчезли,  
лишь бы воздух остался, а в небе,  
как и прежде, солнце сияло,  
чтобы в этом пустынном мире  
продолжала свой путь скала  
до конечного разрушенья,  
до своего финала.

### ВЕЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

Если б несколько галльских хижин  
были б все-таки сохранены,  
посещали бы их,  
изучали бы их,  
эти памятники старины.  
Но урбанисты римские,  
но инженеры романские,  
но готические проектировщики  
в своем рвении были равны,  
и без всякого сожаления  
были галльские эти строения  
до единого снесены.

## УЛИТКИ

Мы пойдем  
в зоосад,  
там улитки, говорят,  
в зоосад без лишних слов  
мы пойдем полюбоваться  
и на тигров и на львов.

И споем  
мы о том,  
что у нас в краю родном,  
вдалеке от Африки,  
с незапамятных веков  
нет ни тигров и ни львов,  
как в далекой Африке.

Эти звери,  
эти звери  
очень, очень хороши!  
Только если б эти звери  
завелись у нас в глуши,  
это было б очень худо,  
ну, а в клетках просто чудо  
до чего же хороши.

Бросим взгляд  
на зоосад,  
а потом  
пойдем назад  
в край наш безопасный,  
где ни тигров нет, ни львов  
и где жизнь в тени кустов  
кажется прекрасной.

И улитки в край родной  
направляются,  
и они к себе домой  
возвращаются,  
где любители улиток  
с нетерпением ждут улиток  
и, живьем их проглотив,  
ухмыляются.

*Перевел М. Кудинов.*

*Французские эпиграммы*

КЛЕМАН МАРО  
(1496—1544)

*Сон*

Приснилось мне полуночной порой,  
Как будто ты пришла в мои объятия.  
А пробудясь, был одинок опять я.  
И обратился с горестной мольбой

Я к Аполлону<sup>1</sup>: «Сбудется ли мой  
 Волшебный сон, поведай, бог, скорее!»  
 Но нежной красотой твоей пленен,  
 «Не сбудется!» — изрек ревниво он.  
 Любовь моя, ты проучи злодея  
 И докажи: обманщик Аполлон!

**МЕЛЛЕН ДЕ СЕН-ЖЕЛЕ**  
 (1491—1558)

*Некому поэту*

Хоть воздает мое перо  
 Хвалу лишь одному Маро,  
 Ты на меня, собрат, не сетуй:  
 Тебя хвалить я был бы рад,  
 Но сам ты лучше во сто крат  
 Справляешься с задачей этой.

**ЖАН БЕРТО**  
 (1552—1611)

\* \* \*

В наш век добро мы помнить перестали,  
 Неблагодарность царствует везде;  
 Злодейство мы чеканим на металле,  
 Благodeянье пишем по воде.

**МАТЮРЕН РЕНЬЕ**  
 (1573—1613)

*Все не вовремя*

Мой первый муж, когда, к несчастью,  
 Была я чересчур юна,  
 Ко мне пылал и в полдень страстью,  
 И в полночь не давал мне сна.  
 Теперь я для любви созрела,  
 Полна желаний и огня,  
 Но нет второму мужу дела  
 Ни днем, ни ночью до меня.  
 Мой первый муж такой был нежный!  
 А что второй? Бревну сродни.  
 Амур! Верни мне возраст прежний  
 Иль мужа прежнего верни.

**ЖАН-ОЖЬЕ ГОМБО**  
 (1580?—1666)

*На святость Поля*

Поль богомольцев поражает  
 Притворством ревностным своим.  
 Он стал ханжой и полагает,  
 Что это значит — стал святым.

<sup>1</sup> Аполлон — у древних римлян бог света и покровитель искусств; считался также богом, предсказывающим будущее.



**ТЕОФИЛЬ ДЕ ВИО**  
(1590—1626)

*На похороны сына фрейлины*

Шарлотта хоронила сына.  
Весь двор был в трауре большом.  
Там каждый плакавший мужчина  
Считал себя его отцом.

**Д'АСЕЙИ**  
(1604—1673)

*Злостному неплательщику*

Помилуйте, любезный мой Клеон:  
Вы отдаёте вежливо поклон,  
Вы отдаёте должное остроте,  
Вы можете отдать концы, Клеон,  
Но денег вы назад не отдаёте.

**ПОЛЬ СКАРРОН**  
(1610—1660)

*Эпитафия*

Под сей плитой почил игумен.  
Он был донельзя неразумен:  
Умри неделею поздней,  
Он жил бы дольше на семь дней.

**ИЗААК ДЕ БЕНСЕРАД**  
(1612—1691)

\* \* \*

Сапожник, двадцать лет проживший в нищете,  
Подался в лекари, стал загребать помногу.  
И голову ему теперь вверяют те,  
Кто прежде никогда б ему не вверил ногу.

**ЖАН ДЕ ЛАФОНТЕН (?)**  
(1621—1695)

*На лютую зиму во Франции*

«Беда от лютых холодов!  
Как! Неужель для обогрева  
Моих владений мало дров?» —  
Воскликнул Фёб, исполнен гнева.  
Одна из муз сказала так:  
«Вели скорее на сожженье  
Отдать творенья злых писак,  
И выйдем мы из положенья».

**ПРАДОН**  
(1632—1698)

\* \* \*

Твой друг снискал любовь у Лоры,  
Хоть ты его красивей и умней:  
С ней о себе ведешь ты разговоры,  
А твой соперник лишь о ней.

**НИКОЛА БУАЛО-ДЕПРЕО**  
(1636—1711)

*Некой девице*

Нам бог Амур желал удачи,  
Но отвернулся Гименей:  
Ты думала, что я богаче,  
А я считал, что ты умней.

**ГИЙОМ АМФРИ ДЕ ШОЛЬЕ**  
(1639—1720)

*На ревность*

О Ревность, Купидона дочь,  
С глазами зоркими и злыми!  
Терзаешь души день и ночь  
Ты подозреньями своими.  
Когда бы горестных сердец  
Не отравляла ты жестоко,  
Спокоен был бы твой отец:  
Он слеп, а ты — тысячеока.

**БЕРНАР ДЕ ЛАМОННА**  
(1641—1728)

*На исцелителя-чудотворца*

Калек, больных на площади полно.  
Мы к чудотворцу с оханьем и плачем,  
Толкаясь, тянемся, ползем и скачем.  
И всем нам исцелиться суждено:  
Прозреть хромым и не хромать незрячим.

**БАРАТОН**  
(1650?—1725?)

*На процветающего кюре*

— Отец Анри, приехав в город Дьепп,  
Неплохо там сумел обосноваться:  
К нему толпой на исповедь стремятся.  
— А чем он знаменит? — Он глух и слеп.

**ЖАН-БАТИСТ РУССО**  
(1671—1741)

\* \* \*

— Начать ли тяжбу мне с моим соседом? —  
У одного судьи спросил истец.  
— В Сорбонну обратись к законоведам,—  
Подумав, посоветовал мудрец: —  
Коль выяснится с самого начала,  
Что все права на стороне твоей,  
То лучше не судись — надежды мало;  
Коль на чужой — судись и не робей.

**ВОЛЬТЕР**  
(1694—1778)

*На смерть д'Оба<sup>2</sup>, человека образованного,  
но до того взбалмошного, что с ним все  
избегали встречи*

— Кто там стучится? — крикнул сатана.  
— Откройте! Д'Об! — Тут черти врассыпную.  
Д'Об входит в преисподнюю пустую,  
Глазам не веря: — Вот тебе и на!  
Сия картина мне весьма знакома:  
Ужели я опять попал в Париж?  
Бывало, там кого ни навестишь,  
Никак застать не удастся дома.

**АЛЕКСИС ПИРОН**  
(1689—1773)

\* \* \*

Святой отец наш Блез  
Опять в подвал полез —  
Не из боязни грому,  
А из приязни к рому.

**ПЬЕР-АНТУАН ДЕ ЛАПЛАС**  
(1707—1793)

*Эпитафия интригану*

Здесь интриган лежит в могиле.  
Изменчив, как хамелеон,  
Он столько поменял имен,  
Что истинное позабыли.

<sup>2</sup> Д'Об — племянник академика Фонтенеля, был интендантом Суассона.

**ПОНС-ДЕНИ ЭКУШАР-ЛЁБРЕН**  
(1729—1807)

\* \* \*

— Я обворован, я в печали!  
— Да что ты? Бедный Алидор!  
— Тетрадь моих стихов украли.  
— Да что ты? Бедный, бедный вор!

*На одного пиита*

К моей придравшись эпиграмме,  
Мстит эпиграммой мне пиит.  
Моими ранен он стихами,  
Своими наповал убит.

**БАУР-ЛОРМИАН**  
(1770—1854)

*На Экушара-Лёбрена*

Лёбрен живет одною славой.  
Как похудел он, боже правый!

**ЖАН-ПЬЕР ПОНСЕ-ДЕЛЬПЕШ**  
(1734—1817)

\* \* \*

Я в гостях у Жюля неприлично  
Много ем и мало разговариваю.  
Нуден Жюль, и я его обычно  
Объедаю, но не перевариваю.

**ПОНС ДЕ ВЕРДЕН**  
(1759—1844)

\* \* \*

Вот капитал. Пускай тебе вовек он  
Не господином будет, а слугой,  
Поскольку он — как доказал нам Бэкон<sup>3</sup>—  
Слуга хороший, господин плохой.

**АРМАН ГУФФЕ**  
(1775—1845)

*Запамятовал*

— Мы с братом воевали браво.  
Один из нас, ведя отряд,  
Погиб. — А кто из вас? — Я, право,  
Не помню. Кажется, мой брат.

<sup>3</sup> Фрэнсис Бэкон (1561—1626) — английский гуманист и философ эпохи первоначального капиталистического накопления.

**ШАРЛЬ БРЕГО-ДЮ-ЛЮ**

(1784—?)

\* \* \*

Открой, как дряхлый муж твой стал отцом  
 Двух мальчуганов и прелестной дочки,  
 А я открою, как глупец Гийом  
 Стал автором, не написав ни строчки.

**АЛЕКСАНДР ПОТЕ**

(1820—1897)

\* \* \*

Жак попался красотке в сети...  
 Под луной обвенчался с ней  
 И убил ее на рассвете.  
 Утро вечера мудреней.

*Анонимные эпиграммы**1. На смерть маркизы Помпадур<sup>4</sup>*

Неверная жена, любовница на славу,  
 Маркиза Помпадур скончалась. И по праву  
 Два бога слезы льют над ней,  
 Не в силах превозмочь кручину:  
 Оплакивает жизнь маркизы Гименей,  
 А Купидон — ее кончину.

*2. На введение во Франции бумажных денег*

Век золотой, серебряный и медный,  
 Затем железный канули бесследно.  
 Тогда ниспослан был на белый свет  
 Банкир Неккер<sup>5</sup>, наш казначей присяжный.  
 Он возвестил, что нет в казне монет,  
 Что наступил отныне век бумажный.

*3. Эпитафия тирану*

Не плачь, прохожий, о судьбе  
 Того, кто здесь почил навеки:  
 Когда бы не смежил он веки,  
 Смежить пришлось бы их тебе.

<sup>4</sup> Жанна-Антуанетта Пуассон де Помпадур (1721—1764) — фаворитка Людовика XV, открывшая во Франции эру министров в юбке.

<sup>5</sup> Жак Неккер (1732—1804) — генеральный директор финансов при дворе Людовика XVI. Первый опыт эмиссии бумажных денег во Франции связан с деятельностью Джона Лоу, банк которого быстро разорился (1720).

#### 4. На смерть Мольера<sup>6</sup>

Старушка издавала вопли:  
«Кого везут там? Уж не гроб ли  
С Мольером?» «Слез, кума, не лей,—  
Сказал аптекарь.— Это снова  
Проделки мнимого больного:  
Он водит за нос лекарей».

#### 5. На первое издание французского академического словаря<sup>7</sup> (1694)

Издатель снова сна лишился:  
Большой словарь на свет явился.  
Теперь ответ необходим:  
Ему и в лавке неужели  
Лежать не меньше, чем доселе  
Трудились авторы над ним?

#### 6

Лишь день разлуки, и уже письмо мне:  
«Я год тебя не видела, мой свет!»  
Два дня разлуки, и читаю: «Вспомни,  
Что я тебя не видела сто лет...»  
Спешу к любимой тотчас же явиться.  
Ведь если не зайду я к ней три дня,  
То скажет мне души моей царица,  
Что никогда не видела меня.

#### 7

— Ты видел дистих мой? Все хвалят мысль и слог.  
— Да, видел, помнится. Но одолеть не смог.

#### 8

Отмучился поэт Симон!  
Его стезя была терниста:  
Он у издателя рожден  
И погребен у букиниста.

*Перевел Владимир Васильев.*

<sup>6</sup> Мольер (1622—1673) — драматург и актер, почувствовал себя плохо во время исполнения роли Мнимого больного из своей одноименной комедии. В ту же ночь он скончался.

<sup>7</sup> Члены Французской академии работали над изданием своего словаря более полувека.

## ЖОАШЕН ДЮ БЕЛЛЕ

*Из книги «Сожаления»*

*Дю Белле, выдающийся поэт французского Возрождения (1522—1560), был теоретиком нового движения в поэзии, реформатором поэтического языка и стихотворных форм. Провел три года в Риме в составе французского посольства при папском дворе, на должности управляющего финансовыми делами. Коррупция, фальшь, преступность Ватикана вызвали в нем отвращение к Риму.*

\* \* \*

Ты помнишь, Лагай, я собирался в Рим,  
И ты мне говорил (мы у тебя сидели):  
«Запомни, Дю Белле, каким ты был доселе,  
Каким уходишь ты — и воротись таким».

И вот вернулся я — таким же, не другим,  
Лишь то, что волосы немного посидели,  
Да чаще хмурю бровь, и дальше стал от цели,  
И только мучаюсь, все мучаюсь одним.

Одно грызет меня и гложет сожаленье.  
Не думай, я не вор, не грешен в преступленье,  
Но сам обрек себя на трехгодичный плен,

Сам обманул себя надеждою напрасной  
И растерял себя из жажды перемен,  
Когда уехал в Рим из Франции прекрасной.

\* \* \*

Кто может, мой Байель, под небом неродным  
И жить и странствовать ловцом удачи мнимой,  
И в призрачной борьбе с судьбой неумолимой  
Брести из двери в дверь по чуждым мостовым,

Кто может позабыть все то, что звал своим,  
Любовь к семье своей, любовь к своей любимой,  
К земле, от прошлых дней вовек неотделимой,  
И даже не мечтать о возвращении к ним —

Тот камнем порожден, провел с волками детство,  
Тот принял от зверей жестокий дух в наследство,  
Тигрицы молоко сосал он детским ртом!

Да нет, и дикий зверь бежит с охоты в нору,  
А уж домашние, так те в любую пору,  
Где б ни были они, спешат к себе, в свой дом.

\* \* \*

Блажен, кто принял бой, когда пришла пора,  
Кого ни смерть, ни плен, ни пуля не встречала,  
Кто долго странствовал, не находя причала,  
Но сохранил свой дом, не распродав добра.

Блажен, кто, зная блеск и милости Двора,  
Не ведал зависти, измены и кинжала,  
Не променял покой на пурпур кардинала  
И яда не испил, воссев на трон Петра.

Блажен, кто руль вверял волнам неукротимым,  
Блажен, кто в суд ходил, но не был подсудимым,  
Кого не стерегла ни пытка, ни тюрьма.

Блажен, кто был богат, но жил без опасений,  
Не ревновал жену,— но, верьте, всех блаженней,  
Кто прожил в Риме год и не сошел с ума.

*Перевел Вильгельм Левик.*





---

---

# О Ч И Р Ж И    И А Ш И Х    Д Ж Е Й

## НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

МАИЯ ГАНИНА

★

### ДОЖДЛИВОЙ ОСЕНЬЮ...

**ШШШ** ла, и не верилось, что эти металлоконструкции, уже принявшие очертания цеха, поднялись на месте будущего прессоворамного завода. Когда я летом приезжала сюда, тут был котлован, полуза-топленный водой, а самым высоким зданием на площадке — палаточка диспетчерской. Площадку завода двигателей только планировали, а сейчас тоже вон тянется по горизонту гривка металлоконструкций. Вылезают цеха из земли...

Иду, вернее полуплыву, едва не черпая поверх сапог, по жидкой грязи, вспоминаю июньские дожди, тоже лившие сплошняком двадцать дней и парализовавшие стройку, — природа, увы, редко благосклонна к строителям. Бывает же в других местах — где это вовсе не обязательно — сухое лето, золотая осень! Здесь осень поистине «золотая»... Грунты глинистые, они почти совсем не фильтруют воду, все въезды в котлованы глубоко развезло, самосвалы с бетоном садятся так прочно, что и мощным трактором не выдернешь. Даже бульдозеры тонут в раскисшей почве. Стоят бетонные работы, не двигается «земля» — нулевой цикл, основа дальнейшего. Была в сентябре хорошая погода — и рванули, не считаясь со временем, дали фронт работ монтажникам, тогда-то и вылезли из земли первые пролеты прессоворамного и завода дизельных двигателей. Сейчас вот опять второй месяц дожди...

Через четыре года отсюда должны выйти первые грузовики, должны стоять цеха и работать станки, а рабочие будут жить в Новом городе, который уже замаячил на горизонте белыми неодинаковыми сухариками. Пройдет время — позабудется, как все тут было, как месили грязь и злились на погоду, забудется, кто тут трудно жил и трудно строил. Строители уходят, построив, и всем кажется, что так было от века: поезда ходили из Москвы во Владивосток, Магнитка давала чугун, а ЗИЛ, ГАЗ и МАЗ выпускали автомобили.

Я люблю стройки с их нервно-напряженным ритмом и ежедневными поворотами ситуации, ломающими вроде бы налаженное. Строитель должен обладать мгновенной реакцией и упрямством, помогающим не падать духом и раз за разом, все время сызнава, преодолевать сопротивление, которое оказывают природа и обстоятельства.

Итак: «Остановись, мгновенье!» Я предлагаю вашему вниманию несколько коротких по времени эпизодов из длинной цепочки дней и ночей строительства КамАЗа.

1. Вторая декада июля. Идет закладка фундаментов заводов на площадке треста Автозаводстрой — прессоворамного, автосборочного и завода дизельных двигателей. Дождь, шедший непрерывно едва ли не месяц, вроде прекратился, но тучи еще черны, висят низко, иногда покрапывает. Здесь степь, с которой содрали верхний плодородный

слой,— бескрайне обнажена коричневая, взъерошенная, измятая гусеницами бульдозеров и колесами «МАЗов» и «КРАЗов» земля. Серая палаточка диспетчерской, рядом котлован прессоворамного с тремя десятками полузатопленных фундаментов и давно установленной опалубкой еще для полутора десятков опор — нужен бетон. Но самосвалы садятся на съезде в котлован, бетон идет плохо. Тогда диспетчеры заворачивают машины с бетоном на временные дороги, там работают студенческие отряды из Литвы и из Омска. Часто от заказанного бетона приходится вообще отказываться, и диспетчеры с завода, естественно, поднимают скандал: бетон приготовлен, его надо куда-то девать, выполнять свой, внутренний план. Они правы, хотя главная диспетчерская Автозаводстроя отказывается от бетона не от хорошей жизни: бетон — это занятость рабочих, которых сейчас загружают чем придется, бетон — это заработки и хорошее настроение, наконец бетон — это выполнение плана, это фронт работ монтажникам. Бетон — это рывок вперед. На сегодняшний да и на завтрашний день бетон — это все.

Семь утра. В полутемной палаточке главной диспетчерской, где стоят впритык два канцелярских стола, стул и две лавки, идет передача смены. На столах навалены журналы, листы ведомостей, однако нет ни телефонов, ни рации: связь с площадкой еще не налажена.

— Гена, сколько вчера бетона приняли на прессоворамный и на дороги? — спрашивает Маша Ардашова, беленькая, крохотная, с серьезным девчоночьим лицом.

— Сорок кубов... — говорит Геннадий. — В первую смену всю возили и половину второй. В девять часов, как дождь начался, так и сели.

— Сделали ноль целых и много десятых, — вздыхает Маша. — Господи, когда же наконец работать-то в полную силу начнем? Лета не видели, а уже осень скоро. Вездеходы на Калмаш и Кузембетьево пришли?

— Пока нет.

— Ну вот, опять рабочих перевозить нечем...

В палаточку вваливаются отработавшие ночную смену рабочие, которые живут на квартирах в татарской деревне Калмаш. Конечно, в Набережных Челнах построено много современных домов городского типа, большинство их занято под общежития, но людей на КамАЗ приехало столько, что этих общежитий даже при максимальном уплотнении не хватает. Часть рабочих живет в палатках, кое-кто в вагончиках, и довольно много народу расквартировано в деревнях. Последнее, пожалуй, самое неудобное: дороги туда сейчас практически непроезжие, обычный вахтовый «зилек» садится, а вездеходы автохозяйство выделяет с неохотой: мало их. Вопрос о перевозке рабочих из деревень не сходит с повестки дня не только в тресте Автозаводстрой, но и в Главном управлении Камгэсэнергостроя, которому подчиняются все тресты строительства. «Рабочие по деревням — это гиря на шее! — говорил на одном из совещаний заместитель начальника управления строительства Батенчук. — Везить — проблема, снабжать — проблема. Надо форсировать жилищное строительство всеми способами». Его и форсируют, но пока, тем не менее, людей принимать надо, рабочих не хватает, так что от деревень так скоро не отделаешься...

— Да не кричите! — морщится Маша. — Был бы вездеход, неужто бы не дала? «Зилек» не пройдет к вам, не поедет шофер...

— Пешком опять, значит? — машет отороченными оборкой рукавами красной рубахи длинноволосый круглолицый парень, которого все почему-то зовут Маня. — Пятнадцать километров по грязи, а вкалывали всю ночь!

— Бетона не было, где ты вкалывал? — осаживает его Маша. — И вообще ты, Маня, главный сачок, а глотку дерешь, будто правда работага.

— Звони, диспетчер, вызывай транспорт! — кричит хорошенькая черноглазая девушка с ямками на щеках.

Ее зовут Сильва, она у калмашских тоже из заводил, есть у них и еще одна заметная рыжая деваха, дразнят ее почему-то Чемпионкой. Сейчас Чемпионка помалкивает, глядит искоса на Сильву, посмеивается: давай-давай, бузи, подружка!

— Ну куда мне звонить? — упавшим голосом говорит Маша. — Ты соображаешь, что говоришь? Где у меня связь?

— Пока связь не наладят, так и будете оставаться ночными и дневными сторожами при палатке! — говорит вошедший начальник треста Автозаводстрой Фоменко. — Связисты которую неделю возятся, никак мачту установить не могут!..

Садится на лавку, широко поставив ноги в грязных кирзовых сапогах, придвигает к себе диспетчерский журнал.

— Как с бетоном?

И выслушав, что с половины второй смены и всю третью бетон из-за бездорожья не принимали и что сейчас тоже в котлован машины вряд ли пройдут, Фоменко начинает молча просматривать журнал и транспортные ведомости, делать пометки в своем блокноте.

— Это не рапорт, а письмо Татьяны! — сердито говорит он Геннадию. — «Происшествий не было!» Ничего себе «происшествий не было» — машины простаивали, от бетона отказались! Ни слова о погодных условиях: лил дождь, было страшно, палатка чуть не улетела!..

Геннадий смущенно улыбается, пожимает плечами, понимая, что, конечно, правильно начальник огорчается из-за бетона, сколько же можно: лето за вторую половину перевалило, а там — осень, хорошего ждать не приходится, строить же надо — кровь из носу!..

— Наша хозяйка говорит, — общительно улыбнувшись, обращается к Фоменко Сильва, — это, мол, наш Магомет с вашим Христом собрались начало такой большой стройки отметить. Пьют и льют!.. А обычно в это время сухо и жарко бывает.

Фоменко поднял мрачные глаза — Сильву точно ветром выдуло из палатки. За ней потянулись остальные рабочие: придется домой пешком идти, ничего не поделаешь.

На КамАЗ Владислав Александрович Фоменко перевелся из Братска месяц назад. В Братске он проработал одиннадцать лет, последние пять лет был начальником строительства братского лесопромышленного комплекса. Конечно, привыкнув к отлаженному ритму большой стройки, трудно сразу так перекантоваться и весело созерцать хаос начала.

«К работе что привыкать, к работе привычки не надо!.. — ответил как-то на мой вопрос Фоменко. — Кадры! Ткачихи, часовщики, прораб — летчик, главный диспетчер — вчерашний капитан парохода. Не руководить, а ликбез проводить!..»

Все верно: народ посъехался, постянулся со всего Союза самый разный. Есть опытные строители, а есть люди, решившие по тем или иным причинам начать жизнь сначала, никогда прежде стройки не видевшие. Для нас КамАЗ — это прежде всего новый грузовик и решенная проблема перевозок, для них — это надежда на новую, прекрасную, иную, чем раньше, жизнь, надежда на хорошую квартиру и работу на будущем автозаводе. Работу по душе. «Я, например, буду в дендрарии на заводе двигателей кактусы разводить, — говорит инженер Ольга Александровна Зубченко. — Вы знаете, в Москве на Арбате есть комиссионный магазинчик, там кактусы продают. Дорогие, но такие необыкновенные!.. Я каждый раз, как в Москве в командировке бываю, тринадцать мест домой везу! Главным образом кактусы!..»

Все это хорошо, однако ведь недаром существует выражение «армия строителей». Много людей — это еще не армия. Каждый должен

свое место понять, должен притереться к соседу, вступить с ним в те сложные отношения налаженной стройки, когда как бы предугадываешь заранее, как поступит сосед справа, и сосед слева, и тот, что впереди, и тот, что сзади. Когда много разных характеров перестанут быть конгломератом, а вступят в сложную химическую реакцию, результатом которой будет то, что один характер что-то потеряет, а другой что-то приобретет, и все вместе приучатся перевозмогать себя ради дела. Когда экскаваторщик или бульдозерист, который работает в карьере, будет не просто экскаваторщик или бульдозерист, а Иван Иванов или Петр Петров, всем на стройке известный, — и тогда уже не надо будет начальнику участка сто раз на дню, отвлекаясь от других дел, бегать в котлован проверять, так ли идет работа. Имя влечет за собой ответственность, напортачить может безымянный... Пока это все не свершится, чуда не будет. Можно поставить во главе треста одного начальника, можно другого, более опытного и умелого, — этот другой, возможно, чуть ускорит реакцию притирки людей друг к другу, но все равно реакция требует времени. Только по прошествии времени стройка обретает лицо, характер, ритм, и уже тогда не в силах ослабить, сбить ее с этого ритма перестановка людей: она заставит новичка повиноваться традиции...

«Говорят, в Америке, — рассказывал Михаил Трофимович Троицкий, секретарь Татарского обкома по промышленности, — есть фирма, которая занимается строительством крупных предприятий. Построили — и весь аппарат управленческий и главные кадры среднего командного состава и строителей так целиком на новое место и переезжают...»

Конечно, при таком методе время притирки сводится практически к нулю, исключает такая система и нездоровое соперничество между группами специалистов, прибывших с разныхстроек...

— Вы же опытный строитель, — говорит Фоменко начальнику пресоворамного участка Михайлову, вошедшему в диспетчерскую. — Расставьте людей по-умному. Прогноз есть, что дожди кончились, надо форсировать работы. Вы можете с людей работу потребовать?

— Могу... — соглашается Михайлов.

У него и на самом деле хорошая производственная биография: работал раньше в строительном управлении в Волгограде, строил промышленные и гражданские сооружения. Начал после окончания техникума с мастера, потом стал прорабом, потом начальником участка — все как полагается. И здесь Михайлов уже больше года, первый ковш земли на котловане пресоворамного этой зимой при нем вынимали, первый куб бетона в фундаменты при нем заложили 8 мая...

— Ну так требуйте, занимайтесь своим делом! Откачайте воду из котлована, спустите воду с дорог, прорежьте канавы!.. В УМС все равно механизмы будут простаивать, поставьте их на дороги. Где бульдозеры?

— «14-09» перегоняли на завод двигателей, не дошел: видно, куда-то забрали по дороге, — говорит Геннадий. — «С-100» — вон стоит, бульдозериста нет...

— Проклятые умэсовцы завязались, не поймешь, кто что делает, никто не поймет! Есть тут где-нибудь эти механизаторы — Шуваевы, Широпятовы, где они?

— Да вроде бы на площадку не приезжал еще никто...

— Восьмой час — никого нет! — катает желваки на скулах Фоменко.

Ухо мое привыкло уже к этим неблагоприятным сочетаниям: УМС, АТХ, УАТ — на всех совещаниях в управлении строительства и в тресте начальники малых и больших подразделений раздразненно поминуют и управление механизации строительства (УМС), и автотранспортное хозяйство (АТХ), и управление автотранспорта (УАТ). То и дело слышишь: добавьте хоть два бульдозера, дайте еще несколько кранов на площадку, проследите, бога ради, чтобы выходили все нам приписанные

«КРАЗЫ» и «МАЗЫ», автобусы, «зилки», вахтовые машины... Транспорт, техника, дороги — без этого стройка мертва, работы на шаг с места не сдвинутся. Всяческой техники отпущено строительству щедрой рукой, механизмы новые, их хватило бы вполне, только пока низок коэффициент использования. Быстро ломаются механизмы при здешней эксплуатации на этих дорогах, видимо, не хватает и хороших механизаторов, не хватает шоферов: плохо с жильем, трудны пока и общие условия жизни, а хороший механизатор, хороший шофер себе цену знает...

— Не руководить, а ликбез проводить! Каждому указать надо, где доску взять и куда ее прибить,— раздраженно повторяет Фоменко и выходит из диспетчерской.

Уходит и Михайлов «требовать работу с людей», остаемся мы с Машей встречать и провожать поток машин, уже потянувшийся на площадку.

Я передежурила в этой палаточке со всеми диспетчерами и знаю, что Маша Ардашова только кажется слабенькой девочкой. Человек она серьезный, болеющий за производство. Приехала она из Удмуртии год назад. Живет пока в конторе треста, там сейчас многие живут: просто ставят раскладушки в техническом или производственном отделе, сдвинув столы и стулья,— и дом начинает жить своей второй жизнью. В красном уголке внизу вообще сейчас общежитие — разместили человек двадцать. А что делать? У Маши дежурство суточное, и, допустим, освободившись завтра в восемь утра, после бессонной ночи спать она сразу лечь не сможет, надо дожидаться четырех, когда служащие уйдут.

— Гуляю... В Челны уеду, хожу по магазинам или в кино,— говорит Маша.— Если плохая погода, сижу где-нибудь. Установится вот тепло, на Каму буду уходить спать...

И улыбается, хотя вроде бы чему уж тут улыбаться? Но, видно, многие, кто связал свои будущие планы с Новыми Челнами, живут так: это ненадолго, это можно перетерпеть, а вот уж построят дома, дадут квартиру, буду работать на автозаводе, будет прочная, обеспеченная жизнь, жизнь с нуля — и дальше вверх... Квартиры в Новом городе и на самом деле неплохие: ванные, кафель, мойки на кухнях, пластик, имитирующий паркет...

— Что у тебя? — спрашивает Маша шофера, забежавшего отметить путевку.— Бетон? Давай пока на дорогу 11-а вези, там студенты работают. Следующим рейсом, наверное, уже на прессоворамный можно будет проехать, бульдозер воду с дороги сейчас там спускает.

Шофер уходит, в диспетчерскую заглядывает бригадир бетонщиков Константин Михайлович Альчиков и говорит облегченно, что, слава богу, дорогу в котлован вроде бы наладили, можно проехать, так что, девчата, давайте на ПРЗ бетон, рабочие давно ждут. Следующую машину с бетоном Маша направляет в котлован, потом направляет туда и водовозку с технической водой: проблеснуло горячее солнышко, бетон надо поливать. Опять подошел «МАЗ» с бетоном — Маша тоже послала его в котлован; тот, что за ним, идет на дорогу 4-а, потом снова в котлован, потом на 11-а, потом на 4-а, потом опять две машины в котлован... Песок, щебень, гравий, вода; бульдозер — туда, кран — сюда, разгрузить оборудование для домика связи... Конечно, не такая сложная шахматная партия, но все надо держать в голове, все помнить, чтобы люди не простаивали, чтобы бетон приходил вовремя, чтобы песок и щебень на подсыпку основания дорог шли в то место, где они нужны, чтобы водовозки не болтались без толку, а везли воду на поселок или в студенческий городок или залить емкости, где ждут. День поднимается до зенита, затем идет на убыль — вроде бы ничего прошел день.

— Эй, девчата! — ложится грудью на стойку незнакомый шофер из второй смены. — Это вы что тут творите?

— Как? — не понимает Маша. — Где творим? Ничего не творим, работаем.

— За такую работу надо головы снимать с вас и ваших начальников! — начинает шофер жать на голосовые связки. — Сел я с такой вашей работой на съезде в котлован, бульдозер давай, выдергивать надо! И бетон куда теперь девать? Схватится бетон, пока я тут буду мыкаться...

— Как это сел? Дождя нет, все ездят, а ты сел? Как это схватится бетон! Ты что? Его в котловане ждут...

— Пойди погляди, разуй глаза! — советует шофер.

Мы с Машей выходим, сначала ничего не можем понять, потом наконец соображаем, что вода из насоса, который по распоряжению Михайлова откачивает ее из котлована, сделал по развороченному грунту площадку небольшой зигзаг, стекает по дороге обратно в котлован... Мы стоим, молчим оцепенело, потом Маша говорит:

— Как в кино «Золотой ключик», помните, там Мартинсон пруд вычерпывает, а вода с горки обратно течет: три тысячи триста двадцать третье ведро, три тысячи триста двадцать четвертое...

— Артель напрасный труд...

— Ну вот... — вздыхает Маша. — Руки просто опускаются с такими деятелями... Ладно, найдите Михайлова, пока я тут бульдозер откуда-нибудь сниму. Надо выдергивать «МАЗ», ничего не поделаешь... Михайлов либо в котловане, либо в палатке, где СМУ-3 помещается.

Маша бежит на площадку автосборочного снять на время оттуда бульдозер, а я иду в котлован, потом в палатку СМУ-3, потом снова в котлован — вижу наконец высокую, с размашистыми движениями фигуру Михайлова, он громко выясняет отношения с рабочими бригады Альчикова. Я подхожу и передаю просьбу Маши зайти в диспетчерскую. Идем мимо «МАЗа», который успел проскочить, пока дорога совсем не раскисла. По днищу кузова колотят ломом рабочие, скребут лопатами приставший бетон.

— Анатолий Васильевич, — спрашиваю я, — а почему «МАЗы» без вибраторов работают?

В общем-то, на сегодняшний день это вполне допотопное сочетание: кузов самосвала, из которого рабочие лопатами выбирают бетон. Обычно шофер включает вибратор, кузов потряхивает — и бетон самостоятельно сползает в бадью. Экономится время, силы, да и техника не уродуется.

— А так надо, — отмахивается Михайлов. — Зачем вибраторы? Так чище...

Я изумленно замолкаю. Сказано это столь уверенным тоном, что я на мгновение верю: «Так чище»!.. Через два дня я стану свидетельницей следующего разговора Михайлова с «представителем заказчика».

— Анкерные болты? Там все точно.

— Как же точно, когда разница два сантиметра?

— Ну, два сантиметра — это ерунда!

— Анкерные болты, два сантиметра отклонения — ерунда?! Я не буду их у вас принимать!

— Хорошо, — с теми же ясными глазами говорит Анатолий Васильевич. — Сдадим только на три метра, а верхушку потом переделаем...

Вот вам и «опытный строитель»!.. Откуда это в нем, тридцатитрехлетнем взрослом человеке, чья это школа, кто его приучил работать — лишь бы с рук спихнуть, а там хоть трава не расти?..

Выслушав Машу, Михайлов невозмутимо улыбается:

— И всего делов-то? Подумаешь, сейчас наладим!

Снова тарыхтит бульдозер, отводя в сторону воду, прорезает в дороге канавы, чтобы сошла вода. То же самое он делал нынче утром. Провяла немного дорога — пошли опять в котлован «МАЗы» с бетоном.

В палатку снова заходит Альчиков, ворчит:

— Не успел отойти, уже работа сменилась! Это можно так работать: одно не кончил, на другое перебрасывают? Ну, Михайлов, бестолковая голова!..—И спрашивает:—С нуля в третью смену бетон заказан?

Маша смотрит в ведомость.

— Заказан, тридцать пять кубов.

— А вездеход будет рабочих из Кузембетьева привезти? У меня третья смена вся в Кузембетьева да в Калмаше живет, проверь, Мария.

— Заказан...— говорит Маша.—Только пришет ли АТХ?..

— Не пришет, так встанем,— говорит Альчиков.— Опять придется от бетона отказываться.

— Диспетчеры бетонного меня убьют тогда. Прошлый раз, когда отказались, они меня саму бетоном завалить грозились...

«...Насосы на откачке котлована ПРЗ работали нормально, но в период 17—19 часов откачиваемая вода, не имея выхода за пределы дорожного полотна, стала снова стекать в котлован. Трактором был пробит выход, откачка продолжалась всю ночь...» — это про то, что было сегодня. А вот в диспетчерском журнале запись следующего дня: «Во вторую и третью смену насосы на откачке котлована работали нормально, но в первую смену пришлось их остановить, потому что вся вода опять начала стекать на дорогу на прессоворамный, машины с бетоном снова ни одна не могли пройти без бульдозера».

И еще запись: «...По вине вахтовой машины сорвана доставка рабочих на дорогу 4-а и на ПРЗ (не вышли 8 человек). По этой причине на дорогу 4-а принято 3 машины бетона (работали 2 человека). Начальником участка прессоворамного завода Михайловым в сменную заявку на бетон внесены изменения: после разгрузки двух машин с бетоном дан на них отказ, а две другие машины переключены на возку бетона в котлован ПРЗ. Диспетчер бетонного завода тов. Рубан распорядился завалить бетоном вагончики СМУ-3. Загрузив отказанные две машины бетоном, прибыл лично на объект. По его команде одна машина была разгружена под порог конторы, во второй машине не сработал подъемник, и она ушла в гараж неразгруженной...»

Выходит, правильно Маша опасалась, что диспетчеры с завода завалят-таки ее бетоном, не выдержав постоянных отказов. По счастью, правда, произошло это не в ее дежурство.

Притирка... Конечно, была не права я, когда писала, что нужно лишь время, просто время — и стройка, набрав силу, обретет свое лицо и свой характер, будет диктовать сложившиеся правила и традиции новичкам. Разные могут быть традиции. При одних люди, подобные Михайлову, чувствуют себя как рыба в воде, а при других увольняются «по собственному желанию»... Через две недели Михайлов «уволится» «по собственному желанию», вместо него начальником прессоворамного участка был назначен Андрей Андреевич Ковалевский. О нем пойдет речь позже, я застаю его уже во второй свой приезд, в ноябре.

2. Обычно автобусы и вахтовые машины с рабочими подъезжают, останавливаются, высаживают своих пассажиров, едут дальше, на другие участки. В диспетчерской мы их почти не слышим: деловито растекаются бетонщики, арматурщики, гидроспецстройевцы, связисты по своим тропкам — в прессоворамный, к домику связи, к строящейся столовой,

на дороги, на автосборочный. Ну, а эту вахтовую слышим. Маша говорит: «Калмашские приехали, значит, вышел вездеход». А я вспоминаю сразу сибирские стройки, дорогу Сталинск — Абакан, год тысяча девятьсот пятьдесят шестой, тогда теперешним восемнадцатилетним было по три года, и родители и в мыслях не могли представить, что через пятнадцать лет их дитяtko будет мотаться на вахтовках по татарским степям, спать в татарских деревнях и укладывать бетон в фундаменты будущего автозавода. Теперь мои сибирские восемнадцатилетние уже строители со стажем, занимают средние командные посты, подпирают тех, кто тогда, при них, занимали средние командные посты, а нынче стали начальниками трестов и главными инженерами. Фоменко, например, в конце 50-х годов работал сначала мастером, потом прорабом в котловане на Братской ГЭС, здесь он начальник треста — прошло меньше пятнадцати лет. Андрею Андреевичу Ковалевскому сейчас тридцать три года, он начальник участка — кем будет Ковалевский через пятнадцать лет?

Вспоминаю же я тех, сибирских моих, потому, что ездили они с работы и на работу с песней: «Ты ко мне приедешь раннею весною молодой хозяйкой прямо в новый дом...» Калмашские уезжают и приезжают тоже с песней, хотя, естественно, уже с другой. Вот, например, с этой:

...Что было, то было,  
Закат заалел.  
Сама полюбила,  
Никто не велел.  
Родных не ругаю,  
Подруг не виню.  
В огне замерзаю,  
А в стужу горю...

Песня вроде бы грустная, минорная, но у них получается что-то вроде маршевой — рвут глотки что есть силы, весело и победно. Не они, впрочем, первые, не они последние.

Ну, вот:

Что было, то было,  
Скрывать не могла.  
Себя позабыла,  
К нему подошла.  
А он мне ответил:  
«Не плачь, не велью.  
Не ты виновата,  
Другую люблю!..»

Рвут связки, сливаются в один на верхах охрипшие девичьи голоса и голоса парней. Лишь бы громко.

Я давно уже, между прочим, собиралась поехать, пожить недельку в Калмаше, посмотреть, как там устроились нынешние молодые. Крику, жалоб много, наверное, справедливых: «Помыться после работы негде, сейчас, пока тепло, моемся в стоячем пруду за деревней, а похолодает? Хлеб и продукты автолавка привозит днем, когда нет никого — деревенские все разбирают, а мы приедем с работы, есть нечего. Белье редко меняют». Где-то, в одном из челнинских общежитий, я видела лозунг: «В Братске начинали с палаток!» На всех сибирских стройках, между прочим, начинали с палаток, не видели в этом ничего особенного, и я, честно говоря, не вижу. Холостой молодежи не страшно пожить летом в палатке, а зимой в вагончике. Вот семейные — другое дело, когда есть дети, тут уж нужны условия. Впрочем, вагончики теперь иные, чем во времена сибирских строек: тогда это была теплушка с нарами и печкой, теперь это дом на две семьи с паровым отоплением, водой, уборной (конечно, когда полностью доведены до конца работы по санитарно-техническому оборудованию).



В один прекрасный день вместе с окончившей работу первой сменной я забралась на открытый вахтовый «зиллок» с сиденьями вдоль высоких бортов и в обществе Сильвы, Чемпионки, Мани и других, менее заметных, но более работающих, поехала в Калмаш.

Деревня большая, расположена на холмах, перерезанных оврагами, избы обычные, рубленые, высокие заборы с тесовыми воротами, возле ворот, как положено, лавочки. На лавочках сидят судачат старухи, разглядывают с любопытством приезжих. Глаза у старух голубые, лица длинные, тонконосые — прямо Псковщина либо Вологодщина... Вот только платки повязаны иначе: не наискось углом платок сложен, а просто два параллельных конца завязаны под подбородком, белый же четырехугольник распущен по спине — называется платок джаулык или шаль-джаулык, если это шелковая богатая шаль с кистями. Ну, и платья иные — широкие, собранные на кокетке, из яркой однотонной материи — кульяк называется такое платье. Садов в деревне нет, хотя климат вроде бы позволяет. И овощей в огородах нет никаких, одна картошка. Такая традиция...

Внутри, в избе, — большая беленая «русская» печь, на круглом столе — самовар, тюль и герань на окнах. В избе душно: варится в печке картошка курам и самовар еще кипит, а окна закрыты, чтобы мухи не летели. Все знакомо, все привычно, словно бы и не в Татарии, а на родине Псковщине или Владимирщине. Только вот стеганые одеяла — джургак — да большие цветастые подушки — джастек (размером больше, чем метр на метр), — аккуратными стопками сложенные на постели до самого потолка, напомнили мне Узбекистан. Ну, и старик хозяин расстелил возле окна платок, сел на поджатые ноги, кланяется, бормочет молитвы: сегодня четверг, день поминовения усопших.

Вошла молодая хозяйка Халима, взглянула на отца, потом на меня, сказала полусмущенно-полунасмешливо:

— Алла-алла, господи помилуй! — И улыбнулась мне, показав красивые белые зубы. — Чай пить давай. Картошка вона есть горячий, суп есть. Клади сама. Кушать хочется, дорога, устала, да?.. Валя! — зовет она девушку, которая спит на диване, закрыв лицо вафельным полотенцем. — Вставай, самовар кипит. Чай пей! Работать скоро.

Валя садится, глядя на нас одурелыми сонными глазами, потом снова падает на подушку. Работать ей в третью смену, ночью. Валя — бетонщица.

Халима уходит на скотный двор, я, немного разобрав вещи и стянув с горячих ног сапоги — жарко, но глина на площадке еще не просхла, в котлован без сапог не пройдешь, — сажусь за стол всласть попить чайку из самовара. Я вообще люблю хороший крепкий чай, а из самовара особенно. Не знаю, чем объяснить, может, соли минеральные из воды выпадают иначе, но та же самая вода, вскипяченная в чайнике и в самоваре, на вкус совершенно разная, никакого сравнения. И чай заваривается иначе.

Пьем чай мы с Машей Карагуцэ, приехавшей из Молдавии, она работает здесь бригадиром бетонщиц. А вообще по профессии Маша учительница, учится на третьем курсе заочного отделения филфака Кишиневского университета. Сейчас Маша бюллетенит: ей сильно обожгло ноги бетоном. Девчата рассказывали мне об этом случае взхлеб: первый героический поступок, которому они были свидетелями. Сама Маша относится к проститутке с неловкостью, рассказывает смущаясь: в общем-то, просто нарушение правил техники безопасности.

— Ноги в резиновых сапогах горят, ну, мы стараемся в тапочках ездить на работу, теперь дождей ведь нет уже... А по технике безопасности не положено. Мы бетонировали дорожки на ЗЯБе, ребята укладывают, а мы трамбуем. Потом ребята на обед ушли, а тут два

«МАЗа» с бетоном подъехали, дождик начал сеяться и скоро разошелся сильней: бетон стынет... Куда его девать — под откос? Мастеру отвечать, да и жалко: семь кубов почти... Самосвал бетона рублей семьдесят стоит. Ну, мы с мастером Ниной Зайцевой решили, что примем. Работали ничего, только когда последний самосвал стал бетон вываливать, мне на ноги попало, а я в тапочках... Сначала не заметила, работали же, а потом почувствовала: горят, нету мочи, как будто кипятком ошпарила. Меня в больницу отвезли. Да ничего, проходит уже...

Маша поднимает глаза — черные, освещающие ее скуластое красивое лицо, смотрит — как я отнеслась? При всей безусловной нелепости ситуации, я на стороне Маши: не люблю равнодушных.

Валя Ташкова наконец просыпается, встает, долго умывается на дворе, потом садится с нами пить чай. Ей прислали из дома посылку, там вобла, черешневый самодельный компот, еще что-то вкусное, домашнее. Валя вскрывает посылку топором и тащит все на стол: девочки живут «семьей».

Приходит еще одна девушка, она работает в СМУ-3 секретарем-машинисткой и тоже живет здесь, у Халимы, зовут ее Оля. Почти во всех избах, где площадь позволяет, рабочие размещены по трое, по четверо. Я спрашиваю девушек, как они устраиваются с питанием.

— Картошку покупаем у хозяев: здесь картошка очень хорошая и дешевая. Яички берем по рублю десяток... Молоко навалом, хочешь — кислое, хочешь — свежее... Барана как-то покупали, сложились, он недорого обошелся, — хором рассказывают девочки. — Хлеб, правда, не всегда есть: магазин в совхозе обычно уже закрыт, когда с работы едем, а автолавка тоже днем приезжает, ей так удобнее... Но хозяева добрые, хорошие, готовить разрешают. Помыться только вот, правда, негде после работы — не будешь же баню каждый день топить, да и с дровами тут плохо. Потом газ у хозяев с нашей помощью кончился, а заправить баллоны негде...

Как выясняется впоследствии, вопрос с дровами (кант от необрезных досок, вполне пригодный для топки бани) и с автолавкой решается довольно просто, с газом сложнее, но тоже решается.

Попив чаю и принарядившись, Оля и Валя уходят в клуб — там кино, а потом танцы и песни под аккордеон едва не до утра. Маша ложится спать. Приходит Халима, мы с ней опять пьем чай, разговариваем, насколько это возможно: Халима плохо знает русский, я не знаю татарского. Халима спрашивает меня о Москве, о моей семье. Я тоже спрашиваю Халиму о ее муже, о старших детях: в избе крутится лишь мальчишечка лет шести, зовут его Марс, — по возрасту же Халиме положено бы вроде уже иметь двадцатилетних. Халима рассказывает, что точно, был у нее взрослый сын, но в прошлом году утонул в Каме. А этой зимой муж поехал привезти что-то со склада: в январе лед всегда уже прочный, в совхоз, сокращая путь, ездят через озеро — потому муж, наверное, не опасался и не успел соскочить, когда лошадь с санями провалилась. Нашли их только на другой день. В марте Халима взяла в детдоме мальчика, я думала, это ее сын: балованный, заласканный мальчишка, бойкий очень. Нужно много мужества и жажды жизни, наверное, чтобы в сорок пять лет начать все сначала...

Я ставлю свою раскладушку в сенях рядом с раскладушкой Маши Карагуцэ, где-то в первом часу приходит Оля-секретарша, грохает раскладушкой в комнате, а Валя-бетонщица, забежав переодеться, уже уехала на работу «с нуля», в третью смену. Так мы и живем, мешая день с ночью: Валя, приехав с ночной, ложится спать, а мы, поднявшись в пять утра, едем с вахтовой машиной на работу — мелькают поля, перелески, низкое солнце светит сбоку, девочки, едва машина трогается, сразу принимают петь. Потом смена у Вали-бетонщицы ме-

няется, она начинает приезжать в первом часу, к этому времени Оля-секретарша возвращается с танцев, они пьют чай, едят и громко обсуждают, что сказала Сильва, и как вела себя Чемпионка, и что выделял на танцах Пан Зюзя, и какой все-таки дурак Маня,— обсудив и дав оценку всем новостям и событиям, девчата тоже ложатся спать...

3. И вот — ноябрь. Я приехала в Челны 3-го, а 7-го ходила на демонстрацию вместе с Автозаводстроем. Весь октябрь лил дождь, ноябрь тоже начался дождем, но в ночь на 7-е чуть подморозило и выпал снежок, окрестности прибрались, покрасивели. 6-го все ворчали, за чем, мол, по такой грязище тащиться на демонстрацию, особенно из дальних поселков (есть еще поселки, где живут рабочие, расположенные за 20—30 километров от Челнов), сделали бы митинг в каждой поселке — и все. Но 7-го уже все были довольны: получился действительно праздник.

У каждого строительного треста — а их в управлении Камгэсэнергострой одиннадцать — было свое оформление колонны, свой ярко украшенный грузовик, едущий впереди. Возглавлял же демонстрацию опытный образец «КамАЗа», изготовленный на ЗИЛе. Встретила тупоносый грузовичок толпа, созерцающая демонстрацию, аплодисментами и криками «ура»: искренними — из-за него ведь все. Колонна демонстрантов шла мимо трибун минут сорок, все получилось действительно празднично и торжественно.

Мне показалось, что вроде бы «притирка» в Автозаводстрое заканчивается: дружно, кучно шли рабочие и служащие конторы треста и всех пяти СМУ. Пели вместе, смеялись без особых на то причин, толкались, согреваясь, когда колонна останавливалась надолго, так же, как на обычной демонстрации в большом, давно существующем городе, где люди работают вместе десятилетиями, сослуживцы дружат семьями и все друг про друга знают. Фоменко и главный инженер Автозаводстроя Владимир Александрович Альфиш тоже пели, и толкались, и смеялись, позабыв, по-моему, на этот недолгий час, что дожди, что подъездов в котлованы нет, что бетон попадает к фундаментам лишь тогда, когда самосвалы таскают бульдозерами. А может, просто думали, что мороз закрепится, землю прихватит, подсушит...

8-го было сухо, а 9-го снова посыпал дождь со снегом. На площадках, там, где кончался асфальт и бетонка, грязь стояла по колено и местами глубже, вязкая, как раствор, пройти по ней двадцать шагов — мученье, просто подвиг. Пытались в эту грязь сыпать щебенку и песок, но грунты здешние, поглотив сотню кубов подсыпки, выжимали из себя снова добрую порцию тестообразной глины. «Так на психику рабочих действует эта грязь!.. — взмолился, не выдержав однажды, на планерке начальник СМУ-4 Федоров. — Солнце нынче утром появилось, я гляжу: просто глаз отдыхает и на сердце легче!..» «Я тут вчера смотрел фильм «Освобождение», — вторит ему начальник СМУ-3 Шрамко. — Послушайте полминуты, я расскажу... Там, значит, показывают Ставку, кабинет Сталина. Решается вопрос — как танки пойдут по болоту? Потом показывают солдат, у них такие плетеные мокроступы... И вот я вспомнил, как начальник участка или прораб прессоворамного чуть ли не под гусеницы ложатся бульдозеристу, чтобы он прочистил путь. Так, может, «пустим танки по болоту»? Какое-то инженерное решение возможно же найти?!» Может, и можно. Но пока не находится...

Ковалевский, чтобы рабочие не болтались без дела, поставил все четыре бригады готовить щиты, опалубку и арматуру здесь же, за конторой, на стройдворе. Подморозит — готовую опалубку можно быстро установить, быстро заполнить бетоном. Лишь бы подморозило, при готовой опалубке бригады могут принимать до 150 кубов бетона в сутки. Часть рабочих разбирали и резали доски, остальные продолжали ра-

боты по утеплению палаточного городка, образовавшегося в мое отсутствие на площадке: сюда переехала контора треста и СМУ-3. В каменном здании бывшего управления теперь общежитие — человек шестьдесят как-то худо-бедно устроились, в том числе и Ковалевский.

Приехал он сюда в августе из Ворошиловградской области, там работал главным инженером СУ, строил промышленные предприятия. Поговорив с ним, Фоменко решил, что такого, по первому впечатлению, ценного работника упускать нельзя. Самым веским аргументом, который он смог привести Ковалевскому, чтобы заманить его именно в свой трест, было: «Кабинет тебе под жилье отдам. В конце концов, мой кабинет: кому хочу, тому и отдам!»

Ковалевский живет теперь с семьей в Орловке, в бывшем кабинете Фоменко, работает начальником прессоворамного участка, сменив уволившегося Михайлова. По общему признанию, Фоменко не зря отдал ему свой кабинет: Ковалевский — деловой, серьезный, знающий работник. Да и вообще хорошо, что контора перебралась на площадку. От Орловки до площадки Автозаводстроя километров пятнадцать, никакой регулярный транспорт туда не ходит, потому, естественно, раньше производство было отдельно, а контора отдельно, работников производственного и технического отделов на площадке, бывало, и не увидишь — все равно что в командировку съездить. А теперь не так. Правда, палатки вовремя не утеплили, в октябре стоял в них промозглый холод, люди простужались, болели. Но теперь брезентовые стены и потолки обшили прессованным картоном, наладили подачу тепла по трубам от калориферной установки, дали электрообогреватели — работать можно. К зиме же надеются перебраться в новую контору, которая строится.

Ковалевский лазает по площадке прессоворамного, сильно прихрамывая: нога у него сломана еще в детстве, срослась неправильно. Он невысокий, лицо круглое, со смуглым румянцем, чернобровое — молодое лицо тридцатитрехлетнего человека, вот только взгляд черных глаз не по возрасту деловит и пристален.

— После этой стройки, — говорит мне Ковалевский, — нам теперь только Берингов пролив перекрывать! Масштабы-то здесь... Теперь после КамАЗа всякая другая стройка маленькой покажется. — Останавливается, поджидая, пока я выберусь из лужи на более твердое место, и продолжает: — Правда, прессоворамный красивее завода двигателей?

Пока готов один пролет прессоворамного, приблизительно шестая часть. Всего он будет занимать площадь в двадцать пять гектаров; автосборочный завод, который расположен через дорогу, займет площадь в сорок пять гектаров; завод дизельных двигателей — тридцать пять.

Красивый?.. Внизу между ажурными металлическими колоннами, поддерживающими изящно-ажурные подстропильные фермы, копошатся, тонут в разворошенном суглинке бульдозеры, два экскаватора и дизельный кран. Ходят, еле выдирая сапоги, рабочие, убирают от фундаментов, готовых под обратную засыпку, сломанные доски, прутки арматуры — всякий хлам. И вокруг сколько видит глаз — черное, разворошенное, неудобное. Сыплет мельчайший седой дождь... Однако я верю, что Ковалевский говорит то, что думает: я тоже патриот прессоворамного, ибо он родился на моих глазах...

Вчера Владимир Александрович Альфиш показывал мне альбом Саратовской ГЭС. Медленно переворачивал листы с фотографиями и, улыбаясь, взглядывал на меня: правда, красиво? Я вежливо кивала: красиво... Чего уж там красивого — плотина, расхристанные внутренности шлюза, машинный зал, бетонный узел, бетонные блоки, тетраиды, какие-то промышленные сооружения... А у Альфиша лицо светилось: «Вот в этом месте я стоял, когда начали перекрывать, шоферы разош-

лись — чуть было за ночь, до митинга не перекрыли!.. А вот на бетонном узле мы придумали... А был такой случай...» Незадолго перед этим Фоменко показывал мне альбом братского лесопромышленного комплекса, где тоже — цеха, заводы, промышленные сооружения, строительные леса. Комментировал фотографии Фоменко скупно: он несловохотлив, потом, вероятно, ему кажется, что и так все ясно. Но лицо его тоже светилось изнутри, а глаза мягчели. Плотный кусок жизни для Альфиша и Фоменко эта Саратовская ГЭС или ЛПК, так же как для меня та или иная книга, допустим. Но через четыре года, вероятно, и я с тем же чувством буду разглядывать готовый альбом КамАЗа и говорить, перебивая других: «А вот помните, когда были готовы фундаменты на прессоворамном!.. А помните, когда били первые сваи на авто-сборочном!..» Красиво? Конечно, красиво...

Надо сказать, что теперь уже котлованы под фундаменты заводов на КамАЗе рыть не будут: во всех инстанциях утверждены фундаменты из буро-набивных свай — последнее слово в строительной технике. Вместо того чтобы копать глубокий, часто метров до восьми — десяти огромный котлован, а затем снова его засыпать, когда фундаменты готовы, площадку планируют бульдозерами до нужной отметки, потом свайные станки начинают бить цилиндрические ямы нужной глубины; в эту яму вставляется арматурный каркас, заполняется бетоном прямо без опалубки. Рядом выбираются еще две или три ямы, бетонируются — и «куст» свай, заменяющий колонну фундамента, готов. Сверху делается, уже в опалубке, бетонный ростверк — и через две недели, когда бетон созреет, можно монтировать фермы. Фермы, кстати, тоже монтируются не по старинке, а прежде собираются в большие блоки на площадке укрупнительной сборки, а затем уже краном поднимаются вверх. Так удобнее и быстрее. Вообще на строительстве КамАЗа применено довольно много разных технических новшеств...

— Маша, узнай давай у Альчикова, когда он товарищеский суд над прогульщиками собирается провести, — спрашивает Ковалевский у Маши Карагуцэ, она теперь секретарь комсомольской организации в СМУ-3. — Пока грязь. А то дождется — подморозит, бетон пойдет, а он будет устраивать всякие мероприятия. Скоро подморозить должно...

Ждут морозов... Во всех это ожидание — точно как на старте: встали, приготовились, сейчас, через секунду, выстрел — и рывок... Только затягивается что-то этот стартовый выстрел...

— Вот сентябрь сухой стоял, как мы работали! — вспоминает Ковалевский. — Все постарались взять... Разработали четкий график производства работ по бригадам, вывесили на видных местах: на прорабской да прямо в котловане на подколонниках — красочные плакаты. Допустим: бригада Альчикова или там Абрамова при выполнении собственного такого-то плана и тематического задания в такие-то сроки заработает столько-то и премиальных получит столько-то. Аккордно-премиальные наряды ввели. Правда, сначала в эти аккордно-премиальные наряды не очень-то верили: набалованы были раньше — тут поработал, там доску приколотил, половину времени так проходил, а все равно по шесть, по семь рублей в день выводили. Ну, мы организовали строгий учет: сколько заработал — столько получил. Девчата по двести пятьдесят рублей заработали... Но как вкальвали люди, со временем не считались, с выходными — понимали: вот-вот пойдут дожди, наотдыхаешься выше завязки... Мастеров по сменам иначе расставили. В общем, поломали кое-что... Нужно было сдать под монтаж подколонники — и сдали. Весь октябрь в дожди монтажникам фронт работ был обеспечен. Мы-то, конечно, тонули... — И вздыхает: — Морозы!.. Мы бы рванули опять... Все готово, только бы мороз...

— Да, морозов бы... — вторит ему Маша Карагуцэ. — Работы стоят, а у нас на «временном» от вагончика до вагончика не дойдешь... Когда еще дорожки забетонируют...

В Калмаше теперь уже не живет никто, всех переселили на временный поселок, в вагончики. Я думала, честно говоря, с наступлением холодов половина моих калмашских посбежит домой — нет. То и дело мелькают в бригадах знакомые лица. Валя Ташкова поработала месяц табельщицей у Ковалевского, снова ушла в бригаду бетонщиц: скучно табельщицей. Просто взяла и ушла, не стала даже ждать, пока Ковалевский кого-то взамен найдет. «Не буду я тут сидеть! А я вам давно говорила... Не хочу — и все, а что у вас здесь интересного?» И Маня остался, правда устроился на стариковскую должность: ночным сторожем при палаточках конторы. Сильва вышла в Калмаше замуж за милиционера, работает в совхозе дояркой. Чемпионка уехала, Люба Балакалова с мужем остались, работают бетонщиками. Многие остались.

4. Вышла без двадцати шесть, в воздухе пахнет морозом, грязь на дороге будто поджалась, чуть проминается под ногой, но держит. Автобусы, которые возят рабочих на площадку Автозаводстроя, останавливаются возле старого кладбища — там близко общежитие. Мне же надо идти через деревянные Челны. Еще вчера это было просто героическое форсирование водных рубежей: ступаешь в жидкое суглинистое тесто — и не знаешь, то ли перебредешь до твердого, то ли черпанешь сапогами через верх. И потом утром всегда опаздываешь, торопишься, ноги неверно скользят — а упади? Уж лучше в речку упасть, хоть на ходу обсохнешь, а тут?.. Бывало такое на моих глазах, после этого уж не на работу, а в баню не раздеваясь... Сегодня деревянные Челны словно выплыли на сушу. Разделилась улица: возле домов опрятно-коричневая, просторная, а посередине — проезжая часть, помятая, конечно, скатами тяжелых грузовиков, но вполне проходимая. Идетя легко, весело: неужто подморозило?

По черному небу — неяркая темно-оранжевая полоса восхода, окна деревянных домов еще темны, кое-где только редко светятся окошки. На серых досках заборов — изморозь. Петух в сарае закричал, прошла десять шагов — другой подхватил, и пошла перекличка.

Светаёт. У кладбища — цепочка автобусов. На ТЭЦ, на завод двигателей, на прессоворамный. В автобус набиваются плотно: не хватает транспорта. Идет до площадки автобус минут сорок, многие дремлют: рано все-таки вставать в пять утра. Остальные разговаривают, спорят, речь преимущественно все же окающая, волжская.

— Ондрей поехал вчера на своей машине в Нижне-Камск, дак я к нему напросился...

— Молодежь да девушки у меня, их кое-как на разные работы россовываешь...

— Ты со своей лопатой за пятерку цельный день горб ломить будешь, а я с естоль-то за два часа наковыряю. Механизатор, он...

— Наковыряю!.. Именно что наковыряешь, а мы посла за вами ровняй! Механизаторы, мать честная...

Ковалевский находит Альчикова в обогревателе.

— Костя, надо вторую и третью смену усилить. Я надеюсь, бетон пойдет.

— Так? — морщит лоб Альчиков. — Сегодня, думаешь, Андрей Андреевич, съезды уже наладят?

— Допросился я у диспетчеров бульдозера, он там на съезде сейчас бугры ровняет. Во вторую и третью смену заказан уже бетон по пятьдесят кубов... Отошли из звеньев, кто не в свою смену, домой.

— Ну, ладно, коли так..

Альчиков идет на стройдвор. Рабочие разбирают завалы горбыля и необрезной доски, выбирают, какую можно пустить на обшивку труб внутренней теплотрассы, а какую, получше, на щиты.

— Петрова! — окликает Альчиков. — Во вторую смену надо выйти, есть надежда — бетон пойдет. Поезжай домой, автобус сейчас будет. И ты, Балакалова, и ты, Куковицкий... Ярулин, тоже поезжай, отдохни, в третью, в свою, выйдешь...

— Бетон пойдет? — спрашивает Фарит Ярулин. — Ну так я выйду. Сейчас первую отработаю, вторую маленько отдохну, а в третью снова выйду. Выходных там больно много набралось с этими дождями...

— И я тоже в третью выйду, а сейчас поработаю, — говорит Наташа Петрова. — Тоже выходных много...

— Ну, глядите, коли не тяжело будет... — соглашается Альчиков. — Так и вам выгодно и производству тоже...

Перебравшись через вал снятого растительного слоя, идет на площадку прессоворамного.

Константину Михайловичу Альчикову тридцать девять лет, приехал он сюда из Кировской области — город Вятские Поляны. По профессии Альчиков слесарь-лекальщик пятого разряда, работал на заводе, имел личное клеймо. Я спрашиваю, почему он, имея такую хорошую специальность, приехал сюда, мыкается по грязи и дождю, живет с двумя детьми и женой в так называемой «малосемейке» в Орловке?

— А там у нас насчет квартир плохо, — откровенно отвечает Константин Михайлович. — Мы со стариками моими жили, так вечно нелады... Ну и уехали. Вот ремонтно-инструментальный завод пустят в семьдесят втором году, меня с моей специальностью с охотой возьмут туда и квартиру сразу дадут... У меня «Москвич» свой, дороги наладят, куда захотел — туда поехал... Я на самострое, в строительстве гаражей участвую. Ничего, все хорошо будет...

Он крепенький, невысокий, с маленьким сухим лицом, острым взглядом небольших глаз. По-крестьянски прижимистый, счет деньгам знает и за свою бригаду всегда постоит. Бригада Альчикова — одна из лучших в тресте, это они 8 мая положили первый бетон на прессоворамном. Константин Михайлович умеет внутри бригады держать порядок и дисциплину, основанную опять же на рубле. Если кто старается проехать за счет других: больше покуривать да руками махать, чем работать, — Константин Михайлович без излишней стыдливости ставит такому рабочему два или четыре часа вместо восьми, заработок же в бригаде распределяется соответственно разряду и «выходам». Рабочие по бригадам распределены равномерно: постарше, семейные (те, кто стремится заработать), и молодые, выпускники ГПТУ.

— Если что, я сачку прямо в глаза говорю, — объясняет мне Альчиков. — Ему неудобно. На собраниях бригадных жестоко обсуждаем. И прогульщики тоже. Ну, и звеньевым наказываю: подгоняйте, я за всеми не услежу, а вы семейные, вам семью прокормить надо...

Грязь схватилась, идти легко, только скользко. В котловане прессоворамного работает еще одно звено из бригады Альчикова, убирают хлам возле фундаментов, снимают опалубку, где бетон уже созрел, можно готовить к сдаче.

— Слесарев, Михайлов! — окликает опять Альчиков. — Поезжайте сейчас домой, автобус на поселок идет от диспетчерской. Надо в третью смену будет выйти: бетон пойдет.

— Да мы выйдем, Константин Михалыч, — отзывается Слесарев. — Во вторую отдохнем да выйдем. Наотдыхались за дожди...

— На стройке — как в колхозе, — соглашается Альчиков. — Сухой день — на вес золота...

В три часа дня пошел бетон, а в четыре была планерка у Альфиша. Тон разговоров — прямо в ставку командующего фронтом перед сражением...

— Всем главным инженерам и начальникам управлений дать завтра в начале дня свои соображения о мероприятиях по выполнению плана на оставшуюся декаду. Каждый день будет проводиться оперативка, как в сентябре. Коротко будете докладывать выполнение за прошедший день и мероприятия на следующий...— Это Альфиш.

— Надо расписать каждой бригаде объемы работ, чем она будет обеспечена, чтобы каждый знал, что он сделал сегодня, что будет делать завтра, а что послезавтра... И что за это получит. Аккордно-премиальные наряды надо опять ввести, как в сентябре... Не уходить, пока не выполнил сменное задание.— Это Фоменко.— Помощь друг другу надо оказывать. Подошел рабочий, просит бульдозер — отдай, даже если это не твой рабочий. Пусть не стоит! Зря просить ведь не будет. Если есть доска, просят — отдай! Не нужно быть курицей, которая под себя гребет. Только в общем взаимодействии победа...

— Установилась бы погода...—хором вздыхают начальники СМУ.— Лишь бы подморозило, а уж мы рванем!.. Все готово, все налажено, руки истосковались по настоящей работе...

С нуля вахтовая машина не привезла рабочих из Боровецкого: новый шофер, наверное, не нашел ночью деревню. Тут сам черт поначалу их не разберет, эти дороги. И не съездишь за ними: заблудился где-то вахтовый «зиллок».

— Стройка...— вздыхает Ковалевский,— не завод. Вроде все наладишь, предусмотритишь — нет, выскочит непредвиденное, как черт из подполья...

Стоял возле диспетчерской, нервничал, румянец от этого сильнее выступал на смуглых скулах: бетон идет хорошо, а через полчаса принимать его будет некому. К диспетчерской потянулись рабочие со второй смены ждать автобуса.

— Ребята,— подошел к ним Ковалевский.— Не привез «зиллок» третью смену из Боровецкого. Восемь человек...

— Ну и что?

— Бетон идет.

— Так мы пятьдесят кубов уже приняли, горбину наломали. Почти что, считай, и обедать не ходили, всухомятку пожевали — и все...

— Ребята, останьтесь, примите бетон. Пятьдесят кубов на третью смену заказано — неужто отказываться? Наголодались по бетону.

— Да нет, устали, рук не поднять...

— Надо...

— Короче говоря, уломал я их,— объяснил мне потом Ковалевский.— Пообещал, конечно, разово заплатить. Прикинул я так: чем мне отказываться от бетона, лучше я переплачу ребятам — действительно ведь трудно две смены на бетоне вкалывать. За пятьдесят кубов бетона заказчик заплатит мне две тысячи рублей. Из них мне четыреста рублей пойдет в фонд заработной платы. Пусть я этим шести человекам переплачу сколько — все равно получается большая экономия и выгода по всем статьям. А главное — бетон принимаем! Дороги есть, а бетону отказывать — это как же? Всегда выход найти можно...

Ночью пресоворамный освещен изнутри прожекторами — огромная розовая клетка из ажурного железа, наполненная дымящимся клубящимся светом. Красиво...





---

---

# М У Б Л И Щ И С Т И К А

Г. ХРОМУШИН

★

## НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ БОРЬБА

*Гигантский переворот в науке и технике, свидетелями которого мы являемся, оказывает огромное влияние на все стороны жизни современного общества. Проблема социальных последствий научно-технической революции стала сегодня полем острейшей идеологической борьбы. Ибо от общественного строя зависит, как будут использованы громадные возможности, которые открывает перед человечеством столь бурное развитие науки и техники.*

*Идеологи буржуазии стремятся доказать, будто научно-техническая революция приведет к размыванию граней между социализмом и капитализмом, к созданию «общества-гибрида».*

*Разоблачая их, советские ученые исходят из указаний XXIV съезда КПСС, на котором выдвинута задача огромной исторической важности — органически соединить достижения научно-технической революции с преимуществами социализма.*

*Одной из самых важных проблем современности — социальным последствиям научно-технической революции будут посвящены статьи социологов, экономистов, философов, которые журнал начинает публиковать с этого номера.*

### 1. ТЕХНОКРАТИЧЕСКИЕ ИЛЛЮЗИИ 60-Х ГОДОВ

**Б**уржуазные идеологи сегодня оказываются перед суровой необходимостью считаться с фактами. Западногерманский журнал «Шпигель» констатирует: «Десятилетие, в котором начались космические полеты и впервые человеку было пересажено чужое сердце, в котором был разгадан механизм человеческой наследственности и была установлена армия электронно-вычислительных рабов, все же не было таким уж золотым, если к его концу... самая могущественная индустриальная страна земного шара сотрясается до основания от волнений и насилия, миллионы юношей и девушек участвуют в акциях протеста или пытаются застрелиться в снах, навеваемых гашишем и марихуаной».

60-е годы нашего столетия прошли под знаком дальнейшего углубления коренного противоречия между двумя мировыми общественно-экономическими системами — социализмом и империализмом.

В этих условиях борьба между идеологией монополистической буржуазии и идеологией рабочего класса, в которой отражается главный классовый конфликт нашей эпохи, приобретает не только особую остроту, но и становится все более важным фактором в борьбе за социалистическое преобразование мира.

В последнее десятилетие по мере развертывания научно-технического прогресса главным в идеологической борьбе становится вопрос о соотношении и научно-технической и социальной революции. Именно от правильного решения этой проблемы зависит будущее человечества.

Современная научно-техническая революция представляет собою не просто переворот в науке и технике, какие имели место и в прошлом, — она тесно связана с коренными социальными преобразованиями нашей эпохи, которые подготовлены

«...глубочайшими революционными сдвигами, изменившими социально-политическую структуру мира» («Правда», 13 ноября 1970 года).

Буквально за одно десятилетие на основе современной науки и техники созданы такие производительные силы, которые дают реальную возможность перейти к научной организации человеческого общества. Революционный характер современных производительных сил состоит в том, что они являются материальной основой для перехода к социалистическому способу производства в мировом масштабе.

Не случайно поэтому идеологи буржуазии концентрируют все свои усилия на том, чтобы извратить ход и общественные последствия научно-технической революции, скрыть, затушевать антагонистические противоречия буржуазного общества, ослабить влияние идей и опыта социализма на сознание трудящихся масс.

Еще два-три десятилетия назад буржуазная идеология базировалась на абсолютном отрицании социализма и безоговорочном восхвалении капитализма как строя, якобы полностью согласующегося с самой природой человека. Идеи апологетов XIX века Сениора и Мак-Куллоха, Сэя и Бастиа, Кантэ и Штирнера считались незыблемыми. Лозунг Штирнера «единственный и его собственность», выражавший мысль о том, что вокруг «я», владеющего собственностью, вертится весь мир, в грубой и прямолинейной форме излагал жизненное кредо буржуазии. Частная собственность, экономическая «демократия», стимул частно-предпринимательской прибыли, неравенство между «ленивыми» трудящимися и «тружениками»-капиталистами провозглашались вечными законами бытия. В середине XX века подобная система идеологических догм буржуазии оказалась подорванной до основания.

Защитники монополий встали перед необходимостью пересмотреть все линии своей идеологической обороны, с тем чтобы хоть внешне привести их в соответствие с современной действительностью. Если прежде капитализм провозглашался строем, не нуждающимся ни в каких переменах, то теперь на Западе все чаще говорят о его «гибкости», «приспособляемости к новым условиям», «эволюции». Решающую роль в этой вынужденной идеологической перестройке сыграли, конечно, крупнейшие достижения Советского Союза, мирового социализма в развитии экономики, науки, культуры. Революционизирующая сила примера социализма резко обострила в то же время общественные противоречия внутри капиталистических стран.

Ныне монополистической буржуазии противостоит не только революционный рабочий класс, все увеличивающаяся армия людей наемного труда, но и ряд других социальных групп капиталистического общества — крестьянство, кулаки и мелкая буржуазия города, учащая молодежь и интеллигенция, угнетаемые империализмом национальные меньшинства, народы стран Азии, Африки, Латинской Америки. Эти социальные силы, ощущающие на себе гнет капиталистической эксплуатации, активно выступают вместе с рабочим классом против империализма, его политики, все более часто и открыто называют социализм своей конечной целью. В этом, несомненно, важное достижение социализма в мировой идеологической борьбе. Наши противники вынуждены спешно перестраивать ряды своих идеологов. Сегодня их силы все более группируются вокруг позиции, которую можно назвать «технологической».

Начиная примерно с середины 50-х годов идеологи монополий резко активизировали свою деятельность и выдвинули целый ряд концепций о перерождении природы капитализма под влиянием техники. Ими было провозглашено наступление эры всеобщего благоденствия и процветания, в условиях которой будут якобы ликвидированы социальные антагонизмы, будет покончено с безработицей и нищетой, будет обеспечено бескризисное развитие капиталистической экономики.

Западные интеллектуалы активно пропагандируют идеи о том, что научно-техническая революция автоматически изменяет прежние социальные структуры, ведет все развитые страны к стадии «индустриального общества» и делает несущественными прежние различия между капитализмом и социализмом. Марксистско-ленинский анализ сущности капиталистического строя отбрасывается на том

основании, будто старый капитализм под влиянием технического прогресса претерпел коренные изменения. Так, например, журнал «Шпигель», подводя итог Международному симпозиуму по проблемам будущего, утверждал: «Традиционное разделение на эксплуататоров и эксплуатируемых, мерило однозначных классовых интересов, устаревшее понятие собственности и право распоряжаться средствами производства в обществе будущего уже не смогут быть единственными исходными точками при анализе и контроле над механизмами, принимающими решения... Таким образом, — делает журнал вывод, — впредь традиционные категории буржуазного государства будут постепенно исчезать, по мере того как наука и техника создадут базу будущего общества».

Чем же заменяет, по мнению буржуазных идеологов, «традиционные категории» капитализма научно-техническая революция, к каким общественным последствиям приведет она в «постиндустриальную эпоху»? Наиболее распространенный ответ сводится к тому, что бурное развитие техники независимо от существующих отношений собственности на средства производства обеспечит всем людям невиданное сокращение рабочего времени, праздный досуг и изобилие потребительских благ. К 2000 году, утверждает американский теоретик Герман Кан, средний человек вполне будет довольствоваться этим изобилием, прочностью своего положения, своим благоденствием и всеми теми новыми возможностями времяпрепровождения, которые перед ним открываются. Вопрос о хищническом господстве финансово-промышленной олигархии будет автоматически снят. Власть возьмет в руки элита технократов. Развитие техники приведет, по мнению Кана, к обществу, в котором прежние классы — капиталистов, наемных рабочих, средних слоев — сольются в единую массу сытого и праздного мещанства. В этом обществе не останется места для коммунистической идеологии, вопрос о необходимости социалистических преобразований потеряет смысл.

Некоторые из пропагандистов «свободного мира» готовы даже признать, что для отдельных стран, прежде всего для России, коммунистическая идеология представляла собой важное средство пробуждения энтузиазма и самопожертвования, которые были необходимы для прыжка вперед. Но теперь, мол, когда индустриализация завершена, коммунистическая идеология превращается в чужеродное тело. Возникают и широко пропагандируются концепции Раймона Арона, Жака Фурастье, Жака Элюля и других об «индустриальном обществе», «нового индустриального государства» Джона Гэлбрейта, «постиндустриального общества» Даниэля Белла, «технотронной эры» Збигнева Бжезинского, «конвергенции», «деидеологизации» и т. д. Внешние различия между этими концепциями существенного значения не имеют. Их авторы исходят из общего положения о независимости техники от общественных структур, о спонтанном изменении социальных отношений по мере развертывания научно-технической революции, автоматической ликвидации прежних пороков и противоречий капитализма и т. д. Надо отметить, что на какой-то период времени империалистической пропаганде удалось добиться определенных успехов в распространении такого рода иллюзий.

Основополагающая идея этих «мифов» сводится к тому, что развернувшаяся научно-техническая революция якобы заменяет и делает ненужной революцию социальную, ибо снимает проблему классовой борьбы, устраняет социальные противоречия и антагонизмы. Как заявил Р. Арон, «революция, о которой говорил Маркс, находится позади нас».

Методологический порок подобных концепций состоит в том, что они акцентируют внимание лишь на одной стороне способа производства — производительных силах, степень развития которых сама по себе, как известно, не приводит к смене общественных формаций. Что же касается производственных отношений, совокупность которых как раз и определяет существенные черты той или иной общественной системы, то они полностью исключаются из буржуазных социологических исследований. Подобная точка зрения открывает широкие возможности для разного рода спекуляций на некоторых новых явлениях, связанных с ростом государственно-монополистического капитализма, для поисков сходных черт в разви-

тии противоположных общественных систем, свидетельствующих якобы об их сближении, и т. п.

Различные технологические концепции прямо противопоставляются теории научного коммунизма, отражают антикоммунистическую позицию монополистической буржуазии. Смысл идеи «абсолюта техники» сводится не только к попыткам замаскировать противоположность капитализма и социализма, но и доказать, будто индустриальное развитие общества ведет к обесценению социальных классовых идеалов, открывает возможность решать социальные проблемы чисто техническими (управленческими, административными) методами, что и делает излишними «идеологический» подход и идеологические принципы. Империалистическая пропаганда, выдвинув теорию «деидеологизации», провозгласила приверженность к идеологии чуть ли не главным тормозом развития общества по мере достижения им высокой степени индустриализации. Так, в антикоммунистическом сборнике «Общественная мысль в Советском Союзе» утверждается, будто создание в СССР «индустриального общества с фатальной неизбежностью делает марксизм неуместным».

Еще откровеннее высказывается американский журнал «Ньюсуик». «Как бы то ни было, — отмечал журнал, — ...коммунистические системы должны претерпеть значительные изменения, если они намерены выйти за пределы ранней индустриальной эры и если не хотят стать историческим анахронизмом в век, который требует творческого новаторства и широкого интеллектуального обмена. Следовательно, Запад имеет уникальную возможность поставить перед Востоком выбор: или полное примирение с Западом (читай: подчинение. — Г. Х.), или постепенный застой и в конечном итоге переворот». Следовательно, тезис о «деидеологизации», согласно которому научно-технический прогресс автоматически подрывает основу борьбы между буржуазной и социалистической идеологиями, превращен империалистической пропагандой в одно из основных орудий политики «эрозии» социалистического мира. Во внешнеполитическом послании конгрессу (январь 1970 года) Р. Никсон заявил, что идеологическими аксессуарами споров были лозунги прошлого столетия, а «сегодня «измы» утратили свою жизненность». Таким образом, антикоммунистический аспект апологетических технологических концепций состоит в том, что социалистические страны могут включиться в общий поток технической модернизации и индустриализма лишь в том случае, если они откажутся от своей политической системы и коммунистической идеологии. Теоретики «индустриального мира» проповедуют автоматизм в изменении общественных отношений по мере развития техники, но относят этот автоматизм лишь к капиталистическому обществу. Для социализма же такой «принцип» уже оказывается недействительным, и трудящимся подбрасывается идея, что лишь политическая и идеологическая эрозия социализма снимет препятствия на пути индустриального развития социалистических стран в общем потоке научно-технической революции.

Однако на рубеже 70-х годов новая линия идеологической обороны империализма в лице теорий «индустриального общества» и «конвергенции» начала давать глубокие трещины.

## 2. ТЕХНИКА И БУДУЩЕЕ: МЕЧТЫ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ

В 60-е годы буржуазия нескольких наиболее развитых стран капитализма, используя достижения науки и техники, сумела добиться значительного расширения производства и увеличения потребления.

В то же время обострение социально-экономических противоречий капитализма в конце 60-х — начале 70-х годов наглядно продемонстрировало всю несостоятельность расчетов на то, что научно-техническая революция сама по себе разрешит все социальные проблемы капиталистического общества. Полностью провалились также и попытки идеологического размывания социализма, его поглощения капитализмом в процессе так называемой «конвергенции».

Эти неудачи вызывают в капиталистическом лагере вспышку истерии и пессимизма. Наигранная вера во всемогущество техники сменяется громогласными

криками о разочаровании в прогрессе, проповедью всеобщей деморализации, фатальной дисгармонии человеческого бытия, неизбежности ядерной войны. На этом фоне резко активизируются наиболее правые идейно-политические силы империализма вплоть до откровенно фашистских, которые пытаются взять на себя главную роль в идеологической и политической борьбе против коммунизма. Империалистическая пропаганда вынуждена отказаться от ряда собственных идеологических концепций, выдвинутых в недавнем прошлом, либо модернизировать их с учетом изменения соотношения классовых сил на мировой арене и новых социальных условий, сложившихся за последние годы в самих капиталистических странах.

В наши дни усиливается критика теорий «индустриального мира» и «конвергенции» со стороны наиболее реакционных идеологов монополий, обвиняющих эти теории в либеральном отношении к коммунизму. Вместе с тем правые круги, опираясь на исходные принципы технологических концепций, активно пропагандируют различные ультрареакционные представления об обществе будущего. Наступление ультраправых заставляет буржуазных псевдолибералов, развивавших теорию индустриального общества (таких, как Р. Арон), выступать ныне с пессимистическими идеями о непознаваемости общественных последствий прогресса техники. Однако подобный пессимизм вполне уживается со все более явным антикоммунизмом и антисоветизмом, причем на этой основе усиливается смычка буржуазных идеологов-технократов с представителями новейшего правого и «левого» ревизионизма. Позиция правых достаточно ясно отражается, например, в книгах Б. Вольфа «Идеология у власти. Размышления о русской революции», З. Бжезинского «Между двумя эпохами. Роль Америки в технотронную эру», Ф. Ревеля «Ни Маркс, ни Иисус (Американская революция)».

В. Вольф — один из ведущих сотрудников гуверовского института войны, революции и мира, руководство которого близко к верхушке республиканской партии и играет далеко не последнюю роль в выработке идеологических концепций американского империализма. Именно гуверовская школа выступает сейчас в качестве лидера идейно-пропагандистских центров антикоммунизма в США, выразителем взглядов промышленных кругов, которые сегодня ратуют за возврат к политике «холодной войны». С этих позиций, как пишет Вольф, «теория конвергенции не выдерживает критики», ибо она «вместо активной борьбы с коммунизмом» призывает США «к пассивному выжиданию». Непосредственным объектом критики Вольф избрал профессора Гарвардского университета Д. Гэлбрейта, по мнению которого расширение технического прогресса должно привести к автоматическому переходу власти в руки профессиональных управляющих, специалистов и ученых независимо от социального строя общества. Гэлбрейт и его последователи возлагают надежды на сближение капитализма с социализмом, точнее, рассчитывают, будто в процессе развития техники «коммунисты сами перестанут быть коммунистами».

Для спора между сторонниками теории «конвергенции» и идеологами гуверовской школы показателен такой эпизод. Собираясь в поездку в Советский Союз, Гэлбрейт отправил друзьям депешу, в которой говорилось: «Передайте Сиднею Хуку (американский философ-антикоммунист. — Г. Х.), чтобы он не беспокоился: я не вернусь коммунистом». «Я не боюсь, что он вернется коммунистом, я боюсь, что он вернется и скажет, что они не коммунисты», — ответил С. Хук. Иначе говоря, Вольф, Хук и прочие реакционеры отрицают теорию «конвергенции» не потому, что она не направлена против социализма, а из опасения, что ее внешне объективистский характер может посеять настроения ненужности оголтелого антикоммунизма, изменить грубо антисоветский климат, насаждаемый ультраправой империалистической реакцией.

Отбрасывая мнимолиберальные теории «конвергенции», правые буржуазные идеологи предлагают гораздо активнее, чем прежде, бросить все силы империалистической пропаганды на поддержку откровенно апологетической концепции «американской цивилизации» — якобы единственного существующего сегодня эталона общества будущего. Именно этот тезис лежит в основе широко пропагандируемых

в последнее время работ З. Бжезинского, Г. Кана, Э. Тоффлера (автора нашумевшей книги «Шок будущего») и других.

Эти футурологи подчеркивают, что оперируют только фактами и пользуются языком научной терминологии, всячески демонстрируют свою трезвость и объективность. Они резко отмежевываются от «научной фантастики», от набивших оскомину опусов о роботах и кибермозге, заселении Марса и войне миров в космосе, космических бандитах, таинственных аппаратах, вооруженных лазерными лучами, деградации человека, очеловечивании обезьян и прочем. Теоретики этого направления, претендуя на научное прогнозирование перспектив человеческого общества, объективности ради не боятся подчеркивать трудности предстоящего пути. Например, ссылаясь на Международный симпозиум по проблемам будущего, западно-германский журнал «Шпигель» отмечал: «Будущее — так гласит требование теперь уже и господствующей, и безнадежно разменивающейся на мелочи футурологии — нужно исследовать научными средствами. Но было бы нелепо ждать от футурологии, что она в состоянии описывать будущее или теоретически возможное будущее столь же объективно, как, скажем, физическая формула характеризует какое-то научное положение, поддающееся количественному выражению». Итак, сделав скидку на «трудности», посмотрим, какими же научными средствами оперирует буржуазная футурология.

Главным и практически единственным средством в руках буржуазных ученых является описание возможностей современной техники. Эти описания ошеломляют читателя не меньше, чем самая безудержная литературная фантастика: вычислительные машины с памятью в тысячи раз обширнее, чем регистрирующая способность применяемых сейчас электронных машин; города и поселки, возвышающиеся над поверхностью моря, словно буровые вышки, автомобили на воздушных подушках и с дистанционным управлением или массовые средства транспорта, которые словно гильзы пневматической почты несутся по системе каналов; обучающие машины и синтетическое сырье, вытеснившее дерево и металл.

Техника всесильна, и, оседлав ее, люди примчатся к будущему, в котором социальные конфликты нашей эпохи отпадут сами собою, — вот лейтмотив рассуждений буржуазных футурологов. Перед человечеством, утверждают они, возникает новая, самая важная проблема: преодолеть страх перед техникой будущего и определить пределы приспособляемости человека к головокружительным и быстрым переменам.

Убыстряющиеся под влиянием техники перемены, утверждают футурологи, обгоняют способность людей приспособляться к ним. Задачи, которые ставило человечество, оказываются вдруг уже решенными, а техника выдвигает все новые и новые проблемы грядущего сверхиндустриального общества.

Футурологи любят пользоваться пословицей, согласно которой тот, кто едет верхом на тигре, уже не может слезть с него. В их изображении человечество уселось на взбесившегося зверя — технику и становится все более зависимым от него. Но все же оно не утратило надежды всадить зверю шпоры в бока и научиться управлять им.

Буржуазные теоретики пытаются придать своим рассуждениям всеобщий характер, стремясь затушевать антагонистическую природу империализма. В их изображении общественный прогресс представляется не в виде борьбы двух противоположных социальных систем — капитализма и социализма, в которой изжившая себя капиталистическая формация неизбежно уступит место социализму, а в виде приспособления человечества к прогрессу техники и поиска средств активного использования плодов научно-технической революции. Тоффлер утверждает, будто под знаком растущего материального избытка хозяйство будет приспособляться к новому уровню человеческих потребностей, будто грядущая экономическая структура поставит во главу угла задачу «психологического удовлетворения человека». «Проблемы, которые возникнут в результате создания этой новой экономики, сделают великий конфликт двадцатого века, конфликт между капитализмом и коммунизмом, сравнительно незначительным, так как они далеко выйдут за рамки любой экономической и политической догмы», — утверждает он.

Объявляя общество будущего механическим продуктом технического прогресса, идеологи империализма новейшей формации не только защищают монополии, снимая с них вину за эксплуатацию трудящихся масс и обострение социальных антагонизмов, но и утверждают, будто условия для социалистической революции безвозвратно ушли в прошлое. Западные футурологи охотно ратуют за любые революции, лишь бы предотвратить одну — социальную революцию пролетариата. Тот же Тоффлер признает, что существующая общественная структура Запада больна. Но в противоположность марксистскому выводу об общем кризисе капитализма и неизбежности социалистического преобразования общественных отношений он выдвигает фальшивый тезис о кризисе индустриального общества, который якобы независим от политической структуры, а связан с неумением приспособиться к переменам, вызванным развитием техники. «Мы переживаем революцию молодежи, сексуальную революцию, расовую революцию, революцию бывших колоний и все более быструю и глубокую технологическую революцию. Мы вступили в период кризиса индустриализма. Короче говоря, мы стоим на пороге «сверхиндустриальной революции» (там же, стр. 146).

Однако позиция буржуазных футурологов характеризуется еще одним показательным штрихом. Большинство из них направляет свои усилия на реабилитацию прежде всего системы монополистического капитализма в США, представляя ее в виде реально существующего прообраза будущего всего человечества.

Только в США, утверждают апологеты типа Тоффлера, Бжезинского или французского философа Ревеля, техника будущего существует как реальность сегодняшнего дня, вызываемые ею перемены все более убыстряют темп жизни, социальные конфликты заменяются борьбой за приспособляемость к переменам, индустрия потребления перерастает в индустрию удовольствий.

Бжезинский не случайно провозгласил диаметрально якобы противоположность своей теории «технотронной эры» концепциям «постиндустриального общества», хотя в действительности его теория крайне эклектична, она собрана из различных положений, высказанных Беллом, Гэлбрейтом, Тинбергеном и другими. Если теории «постиндустриального общества», пытаясь сохранить видимость объективности, признавали некоторые пороки современного капитализма и его социальные конфликты, относя их ликвидацию к последующему периоду расцвета научно-технической революции, то в придуманном Бжезинским «технотронном веке» никаких социальных взрывов и общественных революций быть уже не может. «Технотронная революция», провозглашает он, создает новые экономические, политические и социальные отношения, отличные от тех, которыми характеризуется индустриальное общество. Решающей силой общественного развития становится электронно-вычислительные машины, а человеку остается сфера материального потребления, проведения досуга, развития своих способностей. Империализм США провозглашается практическим воплощением технотронной эры, что якобы и дает ему право не только служить примером, но и принуждать другие страны к восприятию американского опыта, невзирая на их сопротивление. Основная цель этой теории — навязать миру господство американских монополий под маской заботы о благе народов, не достигших пока еще «высот» американской цивилизации. Бжезинский горько сетует на то, что мир «не понимает» существа технотронной революции. Из-за этого капиталистическое общество подвергается незаслуженным нападкам. Более того, «образец прогресса» — Соединенные Штаты, где «капитализм» и «империализм» приняли классические формы, — становится основной мишенью критики. С этим «пагубным заблуждением» и борется в первую очередь Бжезинский, пытаясь представить американский империализм в роли социального первопроходца эры революции электронно-вычислительных машин. Само собой разумеется, что марксистско-ленинская теория общественного развития отвергается полностью и категорически как якобы одна из идеологических концепций прошлого. Более того, даже буржуазно-либеральные идеи «конвергенции», несмотря на их антисоциалистическую сущность, оказываются неприемлемыми на том «основании», что американский капитализм под воздействием ЭВМ переродился и не

нуждается больше в переменах, тем более в заимствовании хоть какого-либо опыта у социализма.

Безудержному восхвалению империализма США как образца социального устройства периода научно-технического прогресса посвящена и книга Ревеля, в которой утверждается: «Революция XX века будет совершена в США. Она может быть совершена только там. Она уже началась». Реакционная, воинственная концепция «американской цивилизации», раздуваемая империалистической пропагандой, носит грубо антикоммунистический характер, она нацелена на безоговорочное отрицание социализма, всех без исключения сторон его практики и теории. Опровергая идею «сходства» индустриальной мощи США и СССР как «опасный» крен в сторону признания хоть каких-либо заслуг социализма, Бжезинский, Ревель и другие ультра идут на любые фальсификации.

Полностью игнорируя созидательный опыт СССР и других стран социализма, на деле строящих новый мир подлинно свободных людей, новоявленные идеологи империализма открыто восхваляют центр мировой реакции — США, видя в них прототип единственно возможного будущего человечества. Они, естественно, ни слова не говорят о засилии самых мощных и хищных монополий в экономике и политике США, о зловещем военно-промышленном комплексе, тень которого падает на всю страну, о растратах научного таланта, труда и средств в процессе милитаризации, о неразрешенных социальных, расовых, моральных и политических проблемах Америки. Но о вопиющих противоречиях и пороках социальной и экономической системы США вынуждены писать даже буржуазные авторы, трезво подходящие к действительности. Один из них, западногерманский журналист Р. Винтер, опубликовал недавно книгу «Кошмары Америки», воссоздающую портрет этого империалистического гиганта. Большая экономика, социальные и расовые контрасты, насилие, распад человеческой личности — таковы США сегодня. Паразитизм американских монополий как в фокусе отражается в деятельности военно-промышленного комплекса, который, как пишет Винтер, «впился в тело народа и неудержимо сосет его кровь. Он узурпировал огромные секторы народного хозяйства, стал крупнейшим фактором денежного обращения, от него зависят миллионы людей, он ворочает гигантскими суммами». 80 миллиардов долларов в год расходуется в США на военные нужды.

Тоффлер и ему подобные восторгаются индустрией «бросовых вещей» как приметой сверхиндустриального общества в США. Винтер показывает, во что обходится эта «примета» рядовому американцу. «По всей вероятности, — пишет он, — нигде в мире так не обирают трудовой народ, как в Америке. Нигде столь бесстыдно не добиваются прибылей».

Западные футурологи перебрасывают прямой мостик от восхваления американского империализма к картинам будущего. Что же видят они в этом будущем, которое якобы неизбежно для всего человечества?

В 2000 году, считает Г. Кан, большинство людей будет счастливо или, по крайней мере, будет считать себя счастливым, хотя этого нельзя сказать обо всех. Многих отталкивает одержимость материальной стороной жизни, и они увлекаются причудливыми верованиями, культами и этическими движениями. Сложность высокоорганизованного общества оправдывает введение все более жестких ограничений по отношению к личности, а прогресс техники облегчает правительству эту задачу. Страна охвачена страхом. Тоффлер детализирует начертанную Каном схему, вводя термин «многообразие». Людям, утверждает он, будет предложено подобное взрыву наступление личных альтернатив, личной свободы, вытекающей из технологии. «Сверхиндустрия» нуждается не в «массовых людях», а в людях, сильно отличающихся друг от друга. Но возможность развития человеческой индивидуальности, интеллекта, общественного сознания Тоффлера не устраивает. Огромные возможности для сверхиндустрии, мечтает этот реакционер, даст прогресс биологической науки. После освоения «технологии» производства детей будет заранее программироваться не только пол, но и интеллектуальный уровень, внешний вид и черты характера будущего ребенка. Можно будет выводить «сверхчеловеков» для использования их в управлении и науке и «недочеловеков» — жи-



вых придатков машин. Более того, витийствует Тоффлер, время «кибергов» — симбиоза человека и машины — гораздо ближе, чем мы думаем. Таково, по Тоффлеру, «подлинное» проявление человеческой свободы, когда человек освободится от устаревших понятий семьи, верности, любви, чувства общественного долга.

Подобные кощунственные прогнозы не новы, они берут свое начало от идеологии фашизма, делившего расы на избранные и подлежащие уничтожению, людей — на суперменов и рабов. «Анализ» футурологов — сокровенная мечта империалистической реакции, пытающейся увековечить свое господство путем превращения трудящихся в бессловесное и запуганное стадо. Недаром тема страха — перед техникой, перед информацией, перед связями с другими людьми, — ведущая тема в прогнозах будущего, вышедших из-под пера Кана, Тоффлера и прочих мракобесов.

Предсказания буржуазных футурологов пронизаны презрением к трудящимся и человеческой личности, рисуют убого-безысходную картину абсолютного господства монополий над народными массами.

Коммунисты раскрыли важную особенность классовой борьбы: дряхлеющий империализм ищет спасения в реакции, крайней формой которой является фашизм. Идеологические концепции правых буржуазных футурологов лишней раз подтверждают этот вывод. Если фашизм в его первоизданном виде опирался на биолого-расовую идеологию, то его современные варианты можно назвать «кибернетическими», ибо именно с помощью ЭВМ, водруженных над обществом, идеологи монополий рассчитывают остановить социальный прогресс человечества.

### 3. ПРОПОВЕДЬ СОЦИАЛЬНОГО ПЕССИМИЗМА

Как откликнулись на обострение социальных противоречий капитализма буржуазные либералы, авторы концепций «индустриального общества» и «абсолюта техники» в общественных отношениях?

Либеральное крыло буржуазных идеологов, выступавших от имени новых слоев научно-технической интеллигенции, широковещательно заявило о том, что в процессе научно-технической революции группы монополистического капитала будут автоматически лишены власти, что власть перейдет к стоящим над классами и идеологиями профессиональным специалистам и ученым. Теперь научная несостоятельность такого рода концепций, их мелкобуржуазная классовая подоплека и антисоциалистическая сущность полностью разоблачена.

В условиях, когда преимущества социализма раскрываются все более полно, а единство социалистических стран крепнет, западные идеологи буржуазно-либерального толка впадают в уныние. Радужные надежды на то, что научно-техническая революция избавит капитализм от его язв и пороков, получившие широкое распространение в начале 60-х годов, вянут на глазах. Ликование по поводу очередного ниспровержения коммунистической идеологии с помощью теории «постиндустриального общества» и «конвергенции» повсюду уступает место отчаянию, тревоге и растерянности. В странах «Общего рынка» и в США темпы роста национального дохода замедляются, инфляция душит общество, безработица растет. Социальные конфликты приобретают все более острый характер, массовые забастовки сотрясают капиталистические страны.

Аллен Вейнраб, физик из Гарвардского университета, приходит к выводу о том, что было нелепо приписывать научно-техническому прогрессу роль автономной движущей силы. «Почему, — вопрошает он, — колоссальный прогресс науки не только не в состоянии разрешить основные социальные проблемы, но даже усугубляет их?» Правда, ответ на это «почему» в отношении капитализма дан научной теорией познания, марксизмом-ленинизмом. Но идеологам буржуазии он не по вкусу. Они пускаются на поиск собственного ответа, который раз демонстрируя бесплодность попыток скрыть противоречия капитализма.

«Преклонение перед техническим прогрессом ради него самого должно прекратиться», — заявил американский экономист В. Леонтьев. Французский футуролог Бертран де Жувенель с тревогой вопрошает: «Как будто с каждым годом

мы все лучше оснащены для достижения того, чего мы хотим. Но чего же мы, в сущности, хотим?»

Идеологические защитники капитализма делают вид, будто возникающие проблемы социального, этического, экономического порядка не связаны со структурой общественных отношений, а знания человека просто не могут позволить пока предвидеть последствия прогресса техники. Иными словами, они пытаются свалить вину за обострение социальных антагонизмов с капитализма на недостаток человеческих знаний. «Наука, — писал журнал «Шпигель», — до сих пор не могла справиться с задачей определить социальную и моральную ценность вызванного ею самой прогресса». Социал-философские системы так и не смогли ничего противопоставить пессимистическому выводу, который сформулировал философ Макс Хоркхеймер: «Развитие технических средств сопровождается процессом обезчеловечения». Подобные рассуждения как нельзя лучше вскрывают классовую пристрастность буржуазных идеологов. Они сознательно обходят вопрос о том, что развитие технического прогресса углубляет социальные конфликты, делает механизм общественной машины все более бесчувственным и бесчеловечным не всегда и не везде, а лишь в условиях капитализма, подчиняющего общественное производство хищнической погоне за прибылью. Буржуазная наука, о которой только и ведется речь, действительно не может указать выхода из противоречий современного капиталистического мира, ибо путь социалистических преобразований для нее неприемлем.

Крушение иллюзий, которые питали идеологи буржуазно-либерального толка, весьма отчетливо отражено в новой книге одного из авторов теории «конвергенции» Р. Арона «Разочарование в прогрессе. Очерк о диалектике современности» (Париж, 1969). Называя «сходство советского и западного режимов, их конвергирующую эволюцию в сторону смешанного режима» распространенной темой для спекуляций, Арон выделяет главный вопрос, который, по его мнению, ставит научно-техническая революция. «До каких пор, — пишет он, — исходя из одинаковых производительных сил (а производительные силы, наука и техника становятся схожими более или менее во всех развитых обществах), производственные отношения и социальные структуры могут отличаться друг от друга?» Прямого ответа на этот вопрос Арон не дает. «Нейтралитет, за который я выступаю, — пишет он, — ...выражает убеждение, что ни революция, ни техника не обновят человеческое существование». Таким образом, тезис о неизбежности конвергентного слияния формально снят. Но здесь-то и раскрывается классовая цель теории конвергенции — расчет на буржуазно-либеральное перерождение Советского Союза и попытка скомпрометировать советскую «модель социализма». Демагогия о «слиянии» заменяется в новой работе Арона откровенным антисоветизмом. Социальный пессимизм буржуазных идеологов оказывается не чем иным, как ширмой антисоциалистической пропаганды.

Поиски сходства между двумя противоположными общественными системами, модные в прошлом десятилетии, уступили место критическим наскокам на социализм, поискам аргументов в защиту современного капитализма. Цель этих словесных построений прежняя — снять проблему классовой борьбы и социалистической революции. В этом плане намечается принципиальное единство между буржуазно-либеральными и ревизионистскими концепциями. Представители и тех и других в своих нападках на социализм фальсифицируют прежде всего две проблемы: проблему собственности и проблему изменений в структуре рабочего класса.

«Освещая определенный вид собственности и технику управления, — пишет Арон, — марксизм-ленинизм превращает в смертельную борьбу добра и зла эвентуально разумный диалог о соответствующих достоинствах различных социальных порядков. Он начинает с раздирания человечества на враждебные лагеря под тем предлогом, что ведет его к конечному примирению».

Если приглядеться к сочинению Арона более внимательно, нетрудно увидеть — в нем обосновывается не право на диалог, а полное отрицание общественной социалистической собственности. Между собственностью социалистического государства и собственностью корпораций ставится знак равенства на том основа-

нии, что и в том и в другом случае «судьба рабочих не изменяется». Подобный тезис служит главным «аргументом» для злобных нападок на советскую модель социализма и в руках Р. Гароди. В книжке «Большой поворот социализма» главной «ошибкой» советского общества Гароди объявляет создание модели на основе единственной формы коллективной собственности — государственной, которая якобы пригодна для создания материальной базы социализма, но не самого социализма. Подобное теоретизирование отражает лишь попытки подорвать революционизирующую силу примера социалистического общества, краеугольным камнем которого является общенародная собственность на средства производства, обеспечивающая планомерное и быстрое развитие производства в интересах всех трудящихся.

С другой стороны, пессимизм в отношении социальных последствий технического прогресса при капитализме широко используется для того, чтобы сбить накал классовой борьбы и увести трудящихся в сторону от социалистической революции. Буржуазные идеологи и ревизионисты утверждают, что последствия технической революции непознаваемы, люди бессильны предвидеть будущее, а социальные силы обновления или утратили свою революционность, или еще не созрели, в результате чего всякая классовая борьба против капитала якобы теряет смысл. Показательно, что буржуазная теория об «испарении» прежнего пролетариата, в результате которого якобы сами собой исчезают силы, способные революционным путем ниспровергнуть капитализм, широко подхвачена и современным ревизионизмом.

В основе вымысла об «исчезновении» пролетариата лежит спекуляция некоторыми фактами, характеризующими реальные структурные сдвиги внутри современного рабочего класса.

Прежде всего за последние десятилетия существенно увеличилось количество наемных работников во всех развитых капиталистических странах. Если в 1900 году число людей, работающих по найму, составляло 82,2 миллиона человек, то в 1969 году оно выросло до 234,9 миллиона, то есть почти в три раза. Вместе с тем в отраслевой структуре наемного труда произошли существенные сдвиги. В XIX — начале XX века основную часть рабочего класса составляли лица, занятые простым физическим трудом. Теперь картина совершенно иная. Научно-техническая революция повсеместно привела к сокращению доли физического труда и повышению в рядах наемных работников удельного веса квалифицированных рабочих, научно-технической интеллигенции, инженерно-технического персонала, работников сферы услуг. Уже в середине 50-х годов в США, например, число лиц, занимающихся нефизическим трудом, превысило численность работников физического труда.

Вместе с резким увеличением численности квалифицированных рабочих и инженерно-административного персонала происходит заметная нивелировка условий и форм труда многих рабочих и служащих. Например, в сборочных цехах радиоэлектронных заводов рабочие, техники и инженеры трудятся вместе: рабочие собирают части аппаратуры, техники komponуют узлы, инженеры монтируют весь аппарат или заняты его проверкой. Здесь уже нет тех различий в труде рабочих и служащих, которые наблюдались в прошлом.

Маркс в свое время выдвинул идею совокупного рабочего, различные категории которого находятся на разном расстоянии от предмета труда. Сегодня большая часть функций совокупного рабочего выполняется служащими. Одновременно деятельность большинства рабочих теряет характер простого физического труда.

Эти факты грубо искажаются буржуазными идеологами и ревизионистами в целях «опровержения» марксистско-ленинского учения о пролетариате и его революционной роли могильщика капитализма. Авторы «новых» социальных концепций намеренно ограничивают понятие пролетариат, сводя его к рабочим, занятым простым физическим трудом, и исключая из рабочего класса всех квалифицированных работников и служащих. Уменьшение числа лиц физического труда и выдается ими за «исчезновение» пролетариата.

Но реальная действительность дает новые подтверждения правильности марксистско-ленинской теории.

В современных условиях происходит не уничтожение пролетариата, а резкое расширение сферы наемного труда, эксплуатирующегося капиталом. Основное классовое противоречие буржуазного общества на монополистической и государственно-монополистической фазе развития капитализма достигает крайней остроты. Борьба против хищнического господства монополий повсеместно обостряется. И теория об «исчезновении» пролетариата пускается в оборот для того, чтобы сбить накал классовых битв. Рабочему классу как бы говорят: раз вы уже не пролетарии, значит, противоречий между вами и монополиями быть не может, вы заинтересованы в классовом мире и сотрудничестве ради роста производства. Таким образом, обратной стороной вымысла об «исчезновении» пролетариата является фальшивая теория о потере рабочим классом своего боевого духа. Оппортунисты и ревизионисты активно помогают монополиям в попытках протащить эту разоруженческую идейку в ряды рабочего класса Запада. Тезис о том, что научно-техническая революция обеспечила создание общества всеобщей гармонии, в котором прежние классовые антагонизмы оказались якобы автоматически снятыми, положен в основу политики отказа от защиты классовых интересов пролетариата, проводимой правой социал-демократией.

Этим же целям служит и деятельность современных ревизионистов типа Эрнста Фишера, группы журнала «Манифесто», Роже Гароди, различных оппозиционных групп, исключенных из компартий Австрии, Италии, Франции. Показателен путь вправо, проделанный Роже Гароди, который претендовал на творческое развитие марксизма в современных условиях. В последних книгах, особенно в пасквиле против коммунизма «Большой поворот социализма», Гароди провозгласил необходимость анализа объективных факторов современного капитализма. Он высокомерно отбросил выводы, сделанные в документах Международного совещания коммунистических и рабочих партий, и обвинил коммунистов в недооценке роли научно-технической революции. Но что же было предложено им взамен? Гароди вслед за буржуазными идеологами абсолютизировал сдвиги в материальном производстве и влияние научно-технической революции на общественные отношения капитализма. Он выдвинул концепцию так называемого «нового исторического блока», решающую роль в котором отвел научно-технической интеллигенции. И наконец, провозгласил, что не рабочий класс, а творческая интеллигенция выступает сегодня в качестве единственного носителя социалистической перспективы, так как пролетариат будто бы утратил прежнюю революционность. Если выбросить из этой схемы потерявшую смысл ссылку на социалистическую перспективу, то она как две капли воды станет похожей на концепцию постиндустриального общества социальных гармоний.

Абсолютизация отдельных процессов современного капиталистического общества привела Гароди к типично ревизионистской позиции: расчлняя рабочий класс на отдельные отряды и выделяя группу интеллигенции как революционную силу, он сознательно зачеркивает подлинно прогрессивную роль других отрядов пролетариата, не входящих в группу интеллигенции. Но опыт истории бил и бьет по ревизионистам.

Капитализм создал не только чудовище олигархий, но и породил боевой рабочий класс, дал толчок массовому возмущению, вовлек многомиллионные массы в борьбу, ведущую роль в которой играет пролетариат, революционизирующий сознание других отрядов трудящихся.

Накал классовой борьбы повсюду нарастает, лживые теории о потере рабочими боевого духа опровергаются действительностью сегодняшнего дня.

#### 4. НОВЫЙ МАНЕВР ИДЕОЛОГОВ МОНОПОЛИИ

Провал расчетов идеологов монополий на то, что техника автоматически снимет социальные конфликты капитализма и приведет к политической и идеологической эрозии социализма, сопровождается выдвижением в 1970 году нового вари-

анта теории конвергенции. Ее авторы широко пропагандируют идею о том, что развитие техники грозит уничтожением самой нашей планеты, а поэтому необходимо отбросить все идейно-политические конфликты и объединить усилия (независимо от социальных структур) в борьбе за спасение окружающей среды.

Социолог Э. Розенталь писал в статье, опубликованной агентством Рейтер: «Все большее число ученых считает, что загрязнение поверхности земли, атмосферы и воды представляет собой такую же угрозу для человечества, как и ядерная война».

В 1970 году ученые сумели наконец убедить миллионы людей во всем мире в том, что загрязнение окружающей среды — проблема чрезвычайно серьезная».

Это действительно серьезная и тревожная проблема, влекущая в перспективе угрозу существования человека. Но спекулируя на ней, буржуазная пропаганда надеется отвлечь внимание человечества от преступлений империализма и сбить накал классовой борьбы между капитализмом и социализмом на мировой арене.

Реакционный идеологический аспект нового маневра антикоммунистической пропаганды тем опаснее, что он отталкивается от реальных и тревожных фактов, вызванных к жизни использованием современного прогресса производства и техники в условиях капитализма.

Действительно, сегодня все большие масштабы приобретает заражение окружающей среды, хищническое использование природных и людских ресурсов, скудность десятков миллионов людей в городах, непригодных для нормального житья, и т. п. На конгрессе, посвященном проблемам среды, в 1969 году профессор биологии университета Вашингтона в Сент-Луисе доктор Коммонер заявил, что через двадцать пять—тридцать лет мы достигнем «точки, после которой нет возврата» на нашем самоубийственном пути, ведущем к разрушению природы планеты.

В 1970 и 1971 годах политические деятели и идеологи империализма как по команде забили тревогу в связи с загрязнением среды. В послании «О положении страны» президент США Р. Никсон демагогически заявил: «Величайший вопрос 70-х годов сводится к тому, должны ли мы смириться со своим окружением или же мы заключим мир с природой и начнем выплачивать репарации за тот ущерб, который причинили нашему воздуху, нашей земле и нашей воде». Этот ущерб поистине огромен и продолжает катастрофически возрастать. Западная пресса наводняется сенсационными материалами на эту тему. «Борьба за спасение земли от человека», «Проблема года — окружающая среда» — кричат заголовки в американском журнале «Тайм». «Мюнхен — самый отравленный город в ФРГ», — предупреждает западногерманский «Штерн». «Мы убиваем море», — сетует «Нью-Йорк таймс мэгэзин». Поток подобных материалов нарастает, как снежная лавина.

Биолог П. Эрлих предсказывает, что к 1980 году океаны вымрут, так как рыбные запасы моря будут истреблены. Заражение морей приобретает огромные масштабы. Главными канализационными трубами, по которым в океан попадает все больше вредных веществ, являются реки. Отбросы, грязь и пена, металлы и кислоты в заводских сточных водах, ядовитые химикаты и удобрения, токсические нефтепродукты — все это выносятся в море. Поверхность океанов все больше загрязняется нефтью.

Серьезную угрозу представляет смог, висящий над крупными капиталистическими городами. Из 200 миллионов тонн ядовитых газов, ежегодно попадающих в воздух, около 95 миллионов тонн приходится на выхлопные газы автомобилей. Промышленные предприятия и электростанции выпускают в атмосферу еще около 50 миллионов тонн пепла и 26 миллионов тонн окисей серы.

Американские космонавты корабля «Аполлон-10» увидели с высоты 25 тысяч миль Лос-Анджелес в виде грязного пятна. Пилоты пассажирских самолетов, по сообщениям печати, рассказывают, что коричневые испарения, которые видны на расстоянии 70 миль, поднимаются в воздух почти над каждым крупным американским городом. «То, что сейчас вдыхают американцы, — писал журнал

«Тайм», — гораздо ближе к обычной грязи, чем к воздуху в общепринятом смысле этого слова».

Именно на США, самую мощную страну капитализма, приходится почти 50 процентов загрязнения природных богатств земли промышленными отходами. Даже американская печать подчеркивает, что с точки зрения отравления биосферы США несут на себе очень тяжелую ответственность. Хотя на долю Соединенных Штатов приходится всего 5,7 процента населения земного шара, американцы поглощают 40 процентов природных ресурсов, добываемых в мире.

Ущерб, наносимый воде, почве и воздуху, по предсказаниям специалистов, в недалеком будущем, возможно, станет необратимым. Но монополии не желают считаться с этими фактами, продолжая хищнически эксплуатировать окружающую среду в погоне за прибылью. Правительство США, выступая с демагогическими призывами о защите среды, на деле потакает монополистическим хищникам.

К заправилам бизнеса, отравляющим среду и грабящим природные ресурсы, обращаются с призывами «осознать ответственность перед человечеством». Но тут же президент Никсон заявляет предпринимателям, что их не собираются делать козлами отпущения и «бить бизнес по голове». О каких мерах по защите среды можно говорить, когда главные отравители среды твердят, что меры против загрязнения обходятся слишком дорого или технически «невыполнимы»?

Все более остро стоит проблема урбанизации — роста огромных городов с невероятной скученностью населения. «Сансан, Джемай, Чипиттс, Босваш... Эти города существуют. Это самые большие города в мире», — писал недавно журнал «Пари матч». Сансан — город в Калифорнии. Он простирается от Сан-Франциско до Сан-Хосе, ядром его является Лос-Анджелес. В 2000 году он будет насчитывать 44 миллиона жителей. Но гигантские городские массивы все менее пригодны для жизни человека, они заваливаются промышленными и бытовыми отходами, небо над ними отравлено смогом.

Президент США Р. Никсон в послании о проблемах городов признает, что в США существует острая нехватка жилищ, наличие огромного числа пустующих и приходящих в упадок зданий, что 24 миллиона американцев живут в неудовлетворительных условиях. «Многие из наших центральных городов, — писал президент, — некогда являвших собой символ жизнеспособности и благоприятных возможностей, сейчас стали местом разочарования и упадка». Но предложенная им программа финансирования проблем городов — всего лишь паллиатив, ибо крохи, выделяемые на это из бюджета, львиную долю которого пожирают военные расходы, не могут решить острейшей проблемы, связанной с объективными законами капиталистической системы.

Различные проекты создания города будущего — земного рая механизированного комфорта — представляют собою реакционную утопию, ибо они полностью игнорируют неизбежное классовое расслоение при капитализме, хищническую эксплуатацию наемного труда капиталом.

Заражение среды не знает государственных границ и несет угрозу всему человечеству. Советский Союз, социалистические государства, разрабатывая серьезные меры по защите природы, готовы сотрудничать с другими государствами в решении вопросов сохранения окружающей среды, касающихся целых регионов или всей планеты. И в этом одно из проявлений серьезного подхода социалистических стран к реализации политики мирного сосуществования государств с различным общественным строем. Но политика мирного сосуществования не распространялась и не может распространяться на область идеологии, на область классовых отношений. Используя в корыстных целях действительно сложную проблему загрязнения окружающей среды, идеологи империализма пытаются с ее помощью подменить обостряющуюся классовую и идеологическую борьбу в своих странах и на международном арене некими совместными усилиями по спасению природы. Об этом недвусмысленно заявил журнал «Тайм»: «Борьба за охрану природы вполне может стать той важнейшей проблемой, которая объединит в 70-е годы нашу расколотую страну».

Бесспорно, преодоление «экологического кризиса» — проблема чрезвычайной важности. Но это вопрос особый, и притом весьма далекий от проблем идеологической борьбы. Между тем идеологи монополий, стремясь снять с империализма ответственность за его преступления, прибегают к очередному маневру. Новые проблемы, порождаемые современным капиталистическим производством, они объявляют общечеловеческими, якобы не связанными с сущностью монополий, а вытекающими из самого процесса индустриализации. Апологеты империализма стремятся отвлечь внимание трудящихся от того факта, что величайшей угрозой человечеству является сам империализм, его хищническая, эксплуататорская природа, что без уничтожения империализма дальнейший общественный прогресс уже невозможен.

\* \* \*

Если говорить, таким образом, о главном вопросе, стоящем в центре идеологической борьбы, связанной с ходом и последствиями научно-технической революции, то это вопрос о соотношении производительных сил и производственных отношений, технико-экономических и социальных факторов, технической и социальной революций. Идеологи монополий стремятся с помощью самых разнообразных приемов — теорий индустриального мира и деидеологизации, футурологических прогнозов, грубой апологетики американского империализма, спекуляций вокруг проблем окружающей среды — оторвать технико-экономические факторы от социальных, противопоставить их и, более того, внушить массам, будто развитие техники само по себе решает все социальные проблемы. Главный удар при этом направляется против теории марксизма-ленинизма, против учения о классовой борьбе и неизбежности революционного перехода от капитализма к социализму.

Борьба против этих новейших концепций наших идеологических противников приобретает важное идейно-политическое значение. В этой борьбе на стороне социализма опыт истории, правда жизни, коренные интересы трудящихся масс всех стран мира.



---

---

# НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

ВЛАДИМИР ОГНЕВ

★

## ОТ ХОРВАТИИ ДО СЛОВЕНИИ\*

30 сентября 1970

**С**олнце садилось, когда мы приехали в Идрию. Это старый центр по добыче ртуть. Рудники тут существуют пятьсот лет. Когда Колумб открывал свою Америку, ртуть уже открыли. Город окутан разноцветными дымами. Вдоль реки, тоже муаровой от выпадающих примесей, тихой и почти неподвижной, высились старинные дома. Узкие и высокие их фасады под двускатными крышами напоминали бойницы старинных замков. Разноцветная вода тускло отражает огромные деревья, свесившиеся над рекой. Въезжаем в Идрию. Мощные каменные улочки покато бегут в гору. Что-то напоминает мне Ялту. Зеленый город расположен террасами. Много особняков. Тихо.

Дане, молчавший всю дорогу, вдруг говорит:

— Бедный Млакар.— И качает головой.

— Ты про сына?

— А про что же. Сам он в порядке.

Мы ставим машину в каком-то зеленом тупичке и выходим.

— Тут недалеко,— говорит Дане.

Я не спрашиваю, о чем он, усталость растекается по жилам, лень даже говорить. И тишина вокруг гипнотизирует. Солнце вот-вот зайдет. Людей не видно, город кажется пустым. Мы идем по узкому чистенькому тротуарчику, и шаги гулко отдаются в вечернем воздухе.

Мы подошли к деревянному дому среди каменных валунов и зарослей жасмина и дрока. Дане постучал в дверь, подергал ее — никого. Дане сплюнул, повернулся, пошел. Я последовал за ним.

— Тут моя тетка живет. Сто лет не видел ее,— наконец догадался сообщить он.— Пойдем в мастерскую, тут рядом.

Мы пошли вниз по улочке.

— Млакар теперь ничего. А у него тоже были свои заботы. После войны его посадили.— Дане усмехнулся как-то виновато.— Да, посадили... Знаешь, по сути это правильно — раскулачивали деревню. Ну, классовая борьба, это ты должен понимать.— Дане стал строгим и отдаленным.

— Постой, постой. Млакар же герой войны! — Я ничего не понимал.

— Ну и что? — разозлился Дане, он даже остановился и смотрел на меня своими сразу же становящимися бешеными глазами.— Да, герой, а я что говорю — не герой? Но классовая борьба остается. У него был дом, скот, машина, динамо... — Дане загибал пальцы перед моим носом,— пасека...

— Машину, динамо он в больницу отдал, мед, ты же знаешь, партизанам скормил... Мясо тоже...

— Его раскулачили правильно,— Дане схватил меня за плечи и стал трясти,— слышишь, правильно!

---

\* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 2 с. г.



— Пусти меня, — холодно сказал я, и Дане сразу обмяк.

Мы шли молча. У мастерской «Чипка» Дане снова рвал двери и колотил кулаком. Наконец на втором этаже открылось маленькое окошечко, и кудрявая головка, едва пролезая в оконце, сказала, что сегодня «Чипка» не работает. Дане, задрвав голову, спросил какое-то женское имя, ему ответили, что имярек в этот час пьет чай, разве мы не знаем этого? Оконце захлопнулось, мы стояли, не зная, что предпринять.

— Здесь делают знаменитые чипки, это такое кружево. Только в Идрии. Тетка сохранила древнее искусство, передает ученицам. Мастерская сейчас государственная. — Тетка была очень богатой, потому он с ней порвал, но потом услышал, что она передала дом и мастерскую государству, а себе оставила только маленькую комнату. Он навещал ее, дай бог памяти, в позапрошлом или позапоза...

— Лет сто назад, — подсказал я.

— Нет, года три назад, — серьезно сказал Дане. — И вообще ты ничего не понимаешь... Ты меня прости, но ты хоть и советский человек, ты плохой марксист... Млакар — герой. Млакар — герой в одно время, правильно. А если надо отдать свое в мирное время, он еще подумает, скажет: я заработал своими руками...

— Ну, скажет... Так что?

— Вернулся, стал жить в Логе. Потом все изменилось, разрешили иметь дом большой, пасеку, машину... Он опять все построил — что сам, что купил. Живет вот, видел.

— Без батраков? — спросил я не без иронии.

— Один работал, это верно.

Дане не умеет обижаться, не обращает внимания на «покупки», он говорит сам с собой честно, стараясь не вилить. Этим он мне все больше нравится.

— Смотри, смотри, вон образцы. — Дане припал к окну мастерской и махал мне рукой. — Кружева тонкие, ажурные, как большие звезды... Это гордость Идрии. Первая — ртуть. Вторая — чипка.

Я пытался рассмотреть образцы. Но видел только красные круги — в темноте уставали глаза.

— Красиво, — сказал я неопределенно и сделал рукой круглое, но весьма неточное движение, даже пошевелил пальцами. Мы снова пошли наверх по улочке.

Тетку мы нашли действительно за чаем. Но пила она его во флигеле. «Одна маленькая комнатка», которую тетка оставила себе, отдав все остальное народной власти, обернулась тремя огромными залами с лепными потолками и уютным флигелем. Мы пили ароматный чай из жасмина, ели варенье. Тетушка полулежала в кресле-качалке, завернувшись в шаль с кистями, и вытирала слезы благодарности. Дане, правда, как оказалось, приезжал к ней не далее как два месяца назад, но видеть дорогого племянника тетка все равно рада. Мне она подарила чипку величиной с десертную тарелку на память. Тетка, кстати, сказала, что техника вязания кружев пришла из России. Это очень заинтересовало Дане, он даже вынул блокнот и записал что-то.

## **1 октября**

Встречался с комиссаром по фамилии Павлин. Очень скромным оказался этот Павлин. Простое лицо, спокойный, выдержанный. Добрый. Он свел меня с интересными людьми.

Нада Крайгер — писатель, бывшая партизанка. Ее муж умер в 1958 году. Знаменитый художник Пирнат. Сидел в концлагере. Рисовал там ужасы — унижение, но и духовную стойкость, характеры, позы ожидания, напряженного ожидания действия... Видел автопортрет Пирната — на фоне колючей проволоки. Сын его — знаменитый современный скульптор, иллюстрировал книгу Нады Крайгер «Мой сын в Киргизии». Эта книга — для детей. Нада написала ее как рассказ деда внукам о русском плене в первую мировую войну, о революции в

России. Крайгер — честный, прямой, крутой, я бы сказал, человек. В разговоре со мной она назвала еще одно имя: Даринка Собан. Врач партизанской больницы «Павла». Такая же, как «Франя», только лесная, в глухомани, недалеко от Идриш.

Тогда мы с Дане не смогли попасть в музей партизанской борьбы. Бавдаж, директор и смотритель музея, был в Любляне, а без него, сказал Дане, не имело смысла смотреть экспонаты. Бавдаж — интересный свидетель, сам партизан, знает многое.

Нада говорит просто: у меня машина, мы можем хоть сейчас поехать в Идрию. Тут всего 57 километров. Это вчера. Мы выехали поздно, после обеда, в дороге сделали остановку — оказалось, требуется доливка бензина в бак. В Идрию приехали вечером. Не сразу нашли музей. Он где-то на горке. Южная ночь начала круто, без раздумий в форме вечера. Пока мы тыркались в какие-то калитки и ворота, посвечивая фонариком, стало совсем темно. Фонарей — ни на столбах, ни на домах. Я расстроился — ведь завтра уезжать в Белград, а предчувствие никогда меня не обманывает: знаю, что тут найду какой-то кончик истории важной и поучительной. Самодовольная морда Майера все чаще маячит в памяти. Рассказ о художнике Пирнате кольнул в самое сердце. Майер скупает рисунки лагерных художников. Пирнат сидит на фоне колючей проволоки. Майер гладит лысину смуглой рукой в рыжих волосках, которые кажутся седыми... Майер считает «неморальным» поездку в Словению...

— Вот, — прерывает мои мысли Нада, — нашла. Это здесь.

Высокая стена дома. Деревянная терраса вдоль второго этажа. Входим во двор. Дом расположен в форме каре. Внутри двора стоят какие-то машины («Это типографские машины», — поясняет Нада), санитарный фургон, еще что-то, покрытое брезентом от дождя. По скрипучей лестнице поднимаемся на террасу. Толкаемся в закрытые двери. В переходе, подсвечивая фонариком, наталкиваемся на детей. Два маленьких существа, прижавшись друг к другу, сидят на ящике. Они укрыты одним пиджаком. Мальчик и девочка. Пиджак сполз, и Нада почти машинально поправляет его.

— Грация, — вежливо говорит девочка.

Она чуть постарше. Нада быстро лопочет по-итальянски и улыбается.

— Итальянцы, — говорит она мне, — папа и мама посадили их на пять минут, чтобы они не сломали шеи. Так они говорят.

Я похлопал по плечу глазастого мальчика, таравившегося на меня, мы двинулись по террасе, а мальчик сказал мне «оревидерчи».

Нада шла с фонариком впереди и ругалась, спотыкаясь о какие-то ящики. Одно время нам казалось, что мы увидели свет в одном из окон, но он тотчас пропал. Когда обошли всю террасу, спустились во двор и подходили к воротам, услышали возбужденные голоса. Говорили по-итальянски. Рядом с нашим «рено» стоял «фиат», который мы видели, подъезжая к музею. Дети, все так же прикрытые пиджаком, нерешительно стояли у открытой дверцы, а их папа отчаянно жестикулировал. Видно, маме надоело мучить детей, а папа имел какие-то высшие соображения по этому поводу. Нада стала говорить с итальянцами. Говорили они почти все разом. Нада по очереди освещала рты говоривших. Это напоминало мне то ли телевизионное интервью, то ли чешское представление «Латерны магики». Свет вырывал части тел, лица, порхал, как огненная бабочка, вверх и вниз. Наконец луч на время замер где-то внизу, и я увидел, что направлен он на ногу итальянца, закатывающего брючину. Все наклонились и внимательно ожидали, что покажет им итальянец. А показал он рану с неровным большим шрамом. И при этом говорил:

— Даринка.

Нада радостно что-то обещала итальянцу, а он стал ее обнимать. Дети запрыгали радостно, и жена итальянца экспансивно обняла и Наду и мужа.

— Он здесь партизанил, — сказала мне Нада восторженно, — понимаете, его оперировала Даринка Собан. Сейчас мы поедем в ней. Он русский, — сказала Нада итальянцу, показав на меня.

— О, у нас были русские в батальоне, много, смелые ребята.

Итальянец теперь тискал меня. Жена и дети вскоре присоединились к нему, и мне стало даже неловко — на меня ложилась слава целой нации.

— Но нам нужен Бавдаж, и мы его найдем. — Нада стала по-военному решительной. Она заложила два пальца в рот и громко свистнула.

Маленький бамбино восторженно смотрел на нее, открыв рот.

Свист возымел действие. На террасе послышались легкие шаги, и вскоре по лестнице сбегал мальчик. Это оказался сын Бавдажа. Нада объяснила ситуацию, мальчик оказался смысленным, он на все кивал утвердительно и, так и продолжая кивать, перешел на бег, устремляясь куда-то в ночь...

Минут через семь появился Бавдаж с сыном. Нада объяснила ему, что и мы и итальянец хотели бы посмотреть музей и выставку лагерной графики. Бавдаж повел нас снова по переходам и лестницам. Мы продолжали возбужденно обмениваться впечатлениями. Надо же так, итальянец не был здесь после войны и теперь увидит Даринку, та была совсем девочкой, да и он не старый... Жена итальянца что-то сказала мужу, и он обнял ее и поцеловал. Конечно, она его не так поняла, «мама миа!» Нада говорила Бавдажу обо мне, он несколько раз обернулся, хотя все равно ничего не видно в двух шагах.

Когда мы вошли в зал музея и Бавдаж включил электричество, мы, щурясь, рассмотрели друг друга. Итальянец оказался худеньким, моложавым, жена его — хорошенькой светловолосой особой в очках, а дети просто куклками — одна в моднейшей юбочке и кофточке, другой в шортиках и капитанской курточке. Бавдаж, тяжелый, спокойный и невозмутимый мужчина с большими руками и медленными движениями, казалось, оттенял вечное движение семьи итальянца. Бавдаж спросил итальянца, в каком тот был отряде, и, когда тот ответил, всмотрелся в него и нерешительно спросил:

— Простите, а вы... случайно, не Ментасти?

— Ментасти, — растерянно сказал итальянец.

— Вот история, — сказал, расплываясь, Бавдаж и почему-то повернулся ко мне, — вот история... Мы считали его погибшим. Я дал розыск по радио, кто знает... Он — Ментасти!

Бавдаж подошел и обнял его.

Дальше началось новое братание, и даже у меня что-то запершило в горле. Я видел, как покраснели глаза у Нады, как жена итальянца вытирала глаза платочком. Они говорили и вспоминали свой отряд. Оказывается, по рисункам Ментасти — он художник — восстановили макет больницы, сожженной немцами, а рисунки Ментасти воспроизведены здесь (и Бавдаж приносит нам брошюру «Большинница Пávла», издания Нова Горица, 1967). Мы смотрим рисунки Ментасти тех лет, даже дети вырывают книгу и хотят посмотреть картинку... Потом мы идем во второй зал и смотрим рисунки Пирната. Молча стоит Нада. Сурово сдвинуты брови. Ментасти тихо говорит мне (Бавдаж переводит):

— У нас воевали русские. Два батальона. Самые бесстрашные. Бросались на бункер. У некоторых по десять ран...

— Вы спросите Даринку: она должна помнить имя русского. Он подарил ей еще ложку, спросите про ложку, ладно? Не забудьте.

— О, один был два метра, — вспоминает Ментасти, — гиганто русо! Советский офицер. Раны в живот. Шесть ран. Когда его принесли на шинелях, он задыхался, умирал — мы так решили. Просил пить. Даринка сказала: дайте воды, дайте вина, все равно. А утром, видим, живой. Даринка сказала: не давайте пить, он может выжить, он чудом живет, значит, может победить смерть. Потом меня увезли в Триест. Перевели в госпиталь другой, однажды утром захожу в палату к другу и вижу на подоконнике вещи, которые я видел у русского гиганта: квасец и бритва безопасная — у наших таких нет, я сразу закричал: русо? Да, говорят, русский тут лежит. Вижу, к койке приставлен стул, — понял, он самый, ему удлиннили койку, понимаешь? Значит, он выжил! Но меня уже увозили, и я не видел его...

— Витторио, — спросил Бавдаж, — а ты помнишь русских девушек?

— О, как же не помню! — Ментасти покосился на жену. — Они были так смешно одеты... Не помню, как это называется — короткие пальто и из них лезет вата... Если хочешь узнать, кто девушка, смотри на бороду — мужчины все с усами и бородами, остальное все одинаково: сапоги, пальто эти с ватой из дырок, автома-ты, брюки... — Ментасти смеется тихо, вспоминая что-то.

— Один русский, — говорит Бавдаж, — заблудился в лесах, долго искал «Павлу», потом нашел — голодный, поцарапанный, заросший до самых глаз... Мы говорим: ешь, ешь сначала; он все спрашивал: «Где наши, где фронт теперь?» Мы сказали — в Румынии... Он заплакал и долго есть не мог, плакал и смеялся...

— Добердон, вспомнил, Добердон — так называлась казарма в Триесте, где раненых развозили по больницам! — Ментасти хлопал жену по спине. — Она вспомнила, я рассказывал, а сам забыл...

Жена Витторио что-то сказала.

— Она говорит, что сестра Ментасти тоже была в партизанах там, в Италии. Он здесь, она там, он не знал. Умерла в прошлом году, и ей пришла медаль. После смерти.

Вдруг раздалось щелканье затвора и громкое детское «тра-та-та-та...». Мы оглянулись. Сын Бавдажа и маленький итальянец залегли друг против друга — один за немецким трофейным пулеметом, другой с автоматом... Ментасти нахмурился. Бавдаж усмехнулся.

— Ничего... играют, — сказала Нада и вздохнула.

...В Любляну мы ехали на двух машинах.

Нада правила резко, на поворотах почти не сбавляя скорости. Она рассказывала о Пирнате. Я вспоминал его графику. «В юности...» Так называется лист о любви. Худенький парень с автоматом за плечами. На стене — символ непрочно-сти! — покосившийся портрет. Девушка. Цветы. Девушка как тень.

Другие листы проходят передо мной... Вито Глобочник: «Яма». Ноги немца. Сапоги, вырастающие до неба. И люди в яме. Вспоминаю поэму Ковачича «Яма». Вспоминаю нашего поэта Бориса Слуцкого, кстати, героя Югославии, награжден-ного орденом здесь в войну, когда Слуцкий был офицером связи при штабе мар-шала Тито...

Он писал о Кёльнской яме, где земля приняла семьдесят тысяч пленных...

О вы, кто наши души живые  
Хотели купить за похлебку с кашей,  
Смотрите, как, мясо с ладоней выев,  
Кончают жизнь товарищи наши!  
Землю роем, скребем ногтями,  
Стоном стонем в Кёльнской яме.  
Но все остается, как было, как было!  
Каша с вами, а души с нами.

Я читаю стихи Наде. Она взволнованно кивает: хорошие стихи. Фары выры-вают из тьмы купы деревьев, скрипят тормоза на крутых поворотах, свежий ветер врывается в кабину через полуотпущенное окно. Как свирепо, сладко пахнет осень!

Витторио гонит свой «фиат» за нами.

— Интересна история этого стихотворения, — говорю я Наде.

Это было на Авале, под Белградом. Немцы окружили нашу часть, которая рвалась к столице вместе с партизанами. Борис сидел на Авале с громкоговори-телями и «работал на немцев». Он говорил им спокойно, как он умеет, сдавайтесь, мол, нечего трепыхаться, дело ваше капут по всем статьям. А они еще трепыха-лись. Я был на Авале в прошлом году — там следы минометных осколков на скульптурной группе Мештровича и сейчас видны... Так вот, Слуцкий там сагити-ровал отличнейшим образом: две тысячи немцев сдались добровольно... А неза-долго до этого Слуцкий беседовал с партизанами, среди них был один сибиряк, босоногий, бежавший в партизаны из концлагеря. Он и рассказал поэту историю Кёльнской ямы. Причем, Борис говорил мне, почти такими словами и начал: «Нас

было семьдесят тысяч пленных»... «Не знаю сам, — рассказывал Слуцкий, — как это у меня так получилось — за два часа там же, на Авале, было написано стихотворение... До этого два года не писал стихов. И после этого примерно столько же». Вот такая история...

— Вы были на Авале. Помните, как стоят эти женщины-кариатиды? Мештрович — сильный талант. Памятник Неизвестному солдату поставлен на Авале еще перед самой войной... А женщины (они олицетворяют все народы Югославии) так и стоят... Женщины сильнее мужчин, — неожиданно закончила Нада.

— Я люблю Мештровича, — сказал я, — люблю за эпичность, которая достигается лирическими средствами. Вы знаете, конечно, его скульптуры последнего периода, «Мать», «Девушка из Посавины» или «Мать Хорватов», что стоит в старом городе, в Загребе, в доме-атриуме Мештровича... В «Девушке из Посавины» — деревенская угловатость, стихийная грация женственности. Но это — народ. Здоровая красота. Когда женственность достигается без жеманности, тогда красота — наивысшая. Это я называю эпичностью в первую очередь. И потом, как у него сидит Мать Хорватов! Ведь так сидят женщины на рынке, у очага, у калитки где-нибудь в Далматинском Загорье — руки сложены на согнутых, высоко поставленных коленях. Так сидят только на Востоке и на Юге. Найдена поза народная, национальная, простая и в то же время — величественная. Никакого пафоса. Но и никакого быта. Вот в чем величие искусства подлинного, национального в полном смысле слова!

— Достоинство. Достоинство, — значительно сказала Нада. — У Мештровича есть скульптура, кажется — «Лаокоон моего времени», там вокруг тела старика оплелись сотни, ну, не сотни, но много рук — молодых, мускулистых, вы видели?

— А как же, — усмехнулся я, — символ нового, которое душит старое. Партански. Без лишних сантиментов.

— Вы так думаете? — тревожно спросила Нада и огорченно покачала головой.

Некоторое время слышно было только шуршание шин, ровный голос мотора. Потом Нада вздохнула:

— Бедный Дане... — Она никогда не думала о внешней связи. Говорила с собеседником как с собой.

Я оглядываюсь назад. Витторно гонит свой «фиат» за нами. Его фары мешают мне рассмотреть сидящих в машине. Но он заметил меня и сигналил приветствие. Я подымаю руку и машу ему.

— Я не рассказывала вам о дяде? Нет? Его звали Феликс Лапайне. Колоритнейшая личность...

История, действительно стоящая внимания. Вот она. Лапайне — крупный торговец, человек, всю жизнь бежавший политики, но всю жизнь служивший ей. В первую мировую войну попал в русский плен как солдат австро-венгерской армии. Его сослали в Сибирь. Там его застала революция. К этому времени дядя Феликс влюбился в дочь скототорговца, некую Анастасию. Пышнотелая Юнона была страстной и готовой на все. Они вместе взяли в свои руки торговлю лошадьми и ворочали капиталами на широкую ногу. Феликс Францевич жил в Семипалатинске и ездил в Киргизию. Революция перевернула душу дяди Феликса, и, хотя он клялся Юноне, что всегда презирал политику, в один прекрасный день он отгрузил целый эшелон с мясом голодающей Москве. Он приехал в столицу и начал помогать снабжать армию революции. Он дружил с Цюрупой. Однажды Лапайне приехал к нему и сказал: «Я принес вам подарок». Тяжелый чемодан грохнулся на письменный стол. Когда Цюрупа открыл крышку, у него чуть не закружилась голова: чемодан был набит копченостями. Дядя рассказывал Наде, что Цюрупа бросился к телефону и куда-то нервно звонил. Наконец его соединили: «Алло! Ясли! Ура! Срочно приезжайте... Да, говорит Цюрупа... Честное слово, не пожалейте...» Дядя Феликс рассказывал и плакал сердито: «Чертовы фанатики, а? Каково? Ну разве можно не помогать таким людям! Я не революции помогал, а хорошим людям...» Дядя Феликс еще не раз отрекался от своей причастности к рево-

люции и называл себя типичным капиталистом. Однако когда началась гражданская война в Китае, он как-то «случайно» поехал в Китай и там снова выступил на стороне каких-то «хороших» людей, которым понадобилась его помощь, кстати, в финансовом отношении немалая... К тому времени этот талантливый «капиталист» имел на счету огромные суммы. Из Китая дядя вернулся похудевший, больной, без гроша за пазухой, но веселый и полный оптимизма. Он говорил, конечно, что это его последний революционный поступок, что, собственно, никогда он политической не занимался, теперь же вообще уйдет на покой. Он и ушел бы, но подполье в Словении нуждалось в средствах для типографии левого толка, а Пирнат, его родственник, с которым они всегда ругались, что-то там подписал в 1938 году, какую-то бумагу с призывом заключить договор с СССР, и надо было помочь этим левым, потому что среди них много хороших людей... До семидесяти двух лет прожил дядя Феликс, умер он от рака легких. Умер как и жил — непоследовательно. Что-то напутал с завещанием: все завещал не богатым родственникам, а сумасшедшим художникам и фантазерам...

Я спросил, знал ли дядю Феликса Дане и как он относился к этому чудачку-миллионеру. Нада засмеялась. Дане, разумеется, против Лапайне, но любил его втайне. Рифма? Случайная... А может, и не совсем случайная. Вообще, Дане — честнейший малый. Она почти всегда с ним согласна. Такая и Даринка. Это старые партизаны, с ними ей легко и просто. С молодежью — труднее. Сын Дане не понимает отца. Он лепит что-то страшное, нет, этого я не могу даже представить — в Советском Союзе такое представить нельзя... Была ли Нада в СССР? Да, но мало, коротко. Очень много дел. Есть у Дане брат, историк. Ревизионист. Хотя много знает. Что правда, то правда...

Ментасти сигналит. Мы останавливаемся. Здесь развилка. Итальянцы поворачивают на юг. Мы прощаемся, целуемся. Да, да, он будет звонить Даринке. Как жаль, что завтра он должен быть в Ферраре... Он хватает ручку и при свете фары пишет четким убористым почерком свой адрес в моей записной книжке: «Ментасти Витторио, — и в скобках свою партизанскую кличку: Берри. Адрес: Феррара, Италия, виа Алжерна, 15. Партизан триестской бригады, лечился в больнице «Павла». Ах, как жаль, что он не увидит Даринку... Жена сигналит. Показывает на часы. Дети спят сном праведников на заднем сиденье. Мы их не будим.

...К Даринке Собан мы приехали в полночь. Она живет с матерью и двумя детьми в маленьком новеньком доме-атриуме, чуде современного бытового градостроительства. Красный кирпич стен зимнего сада, гаража, внутренних стен, увитых зеленью, гармонирует с деревом — панели внутренней отделки под ясень. Окно-ниша из гостиной в кухню, камин, изолированные детские комнаты с встроенной в стену школьной доской, убирающимися столом, кроватью. Комнаты обогреваются электрокаминами.

Даринка долго не поймет со сна — много работы в клинике, где она работает, — почему мы нагрянули. Она милая, добрая, простая. В домашнем халатике кажется уютной домохозяйкой, а не героической партизанкой. Полнота тронула ее лицо, тело; усталость в глазах, наверное, постоянна. Жизнь и после войны не баловала ее. Работа, дети и опять работа. Она приносит яблоко — огромное, чистое, своего сада. Больше ничего мы с Надой не хотим. Но и яблоко мне жаль резать, я такого образца еще не видел — выставочный.

Да, Ментасти уже звонил ей. Она узнала его, хотя столько прошло — разве те годы забудутся... А вот о русском партизане с ложкой — никак не может его вспомнить... Да, обменялись ложками. Русская ложка такая круглая — это помнит, а самого русского — нет... Даринка морщит лоб и страдает: как же это? Но она помнит других. Мне интересно? Нет, ничего, что ночь. Я ведь завтра уеду. Так мало времени. Вообще у нас мало времени... Вчера еще была молодая, чего-то хотела, надеялась... Был жених. И вот — война. Как все быстро пролетело... Нет, ничего она не жалеет, какое там! Все равно, даже с человеческой точки зрения, это самое лучшее время: все стало видно далеко, по-настоящему, без всяких прикрас. Цена людям, конечно же, проверяется в трудностях. И даже

не все, что кажется законом жизни, таковым является всегда... Как бы это точнее?

— Вот скажите, пожалуйста — кстати, о русских, — как тут понимать... Был в отряде мальчик, почти ребенок, ну, подросток. Звали его Вася. Его привели русские, когда влились в отряд. Его звали сын полка. Воевал он вместе с нами, ну, его, конечно, старались где можно щадить. Но где на войне легче? Смелый, как все дети, до глупости почти смелый. А раз во время дежурства в больнице (Васю легко ранило в руку) слышу ночью — плачет. Очень я удивилась, трудно в такое поверить было. Подхожу: что ты, мол? Болит? Мотает головой. Боишься чего? Еще сильнее замотал. «Вспомнил, сегодня мой день рождения... Мама бы мне пирог испекла». Лег носом в подушку и плачет. Много я видела, а тут вдруг так мне его жалко стало, — говорит Даринка, и лицо ее становится еще более мягким и домашним...

Она замолчала, и пальцы стали перебирать кромку халата. Потом продолжала так:

— Пошла я к повару, разбудила: что у тебя есть вкусного? А он говорит: ни вкусного, ни невкусного. Ты же, мол, знаешь, нам неделю не подбрасывали ничего. Я ему: так и так. Он почесал голову, улыбается — хороший парень. «А пойди ты, Даринка, по баракам, пошарь у них по мешкам да по тумбочкам...» Я пошла. Кто сухарик, кто сухой груши, кто сахару. Взяла марлю, сделала мешочек, прихожу, лежит носом к стене. Я ему даю мешочек: поздравляют тебя, мол, партизаны, поправляйся скорее, скоро, мол, победа, и поедешь ты в Россию... Знаете, что с ним было! Смеется — глаза блестят, утер слезы, даже дрожит весь, сказать что-то хочет... Ну, что ты, что? — я ему. А он мне: «Ты, Даринка, такой человек... Никогда не забуду. Знаешь, что я для тебя сделаю... Я — вот рука заживет — в первом бою, клянусь мамой, фашиста убью, часы сниму и подарю тебе!»

Даринка смеется тихо, морщинки сбегаются к переносице, похожа на бабушку сейчас, что рассказала сказку и рада: дитя засыпает...

— Вот и скажите, — она становится серьезной, и прямо на глазах лицо ее молодеет, я поражен такой разительной переменной, — где тут ребенок, а где — война? Кто его, Васю этого, научил? Убить немца — ему как воды выпить, об этом не думает даже, он думает, как бы добром за добро отплатить... И страшно и жалко его, правда? Сниму, говорит, с него часы и подарю... А где он их возьмет, правда, если не уберет немца?.. Вот она, жизнь, какая.

— Что-то ты раньше не жалела немцев, — смеется Нада.

— Я о Васе, — тихо говорит Даринка и зябко кутается в халатик.

Я вдруг вспоминаю музей в Идрии: зверства «белой гвардии» — националистов Словении. Говорю, что фото, которые показал Бавдаж, до сих пор у меня в глазах. Сколько их видел в газетах — и фашистские истязания, позирование у виселиц, у трупов, сложенных деловито в штабеля, эти гнусные улыбки — о, выродки рода человеческого! — какие они одинаковые у любого фашиста в любом краю света... Жестокость мира, жестокость людей, теряющих облик человека. Я говорю, что читал «Лилику» Михайловича...

— Драгослав Михайлович, — говорит Нада. — Да, да, книгу не читала, но фильм видела... Жуткий фильм.

— А, жуткая жизнь, — говорю я. — Не фильм. Впрочем, фильма не видел.

— О чем это? — спрашивает Даринка.

Я рассказываю: девочка с матерью в войну. Мать с отчаяния и голода становится проституткой. Девочка видит страшную изнанку жизни, играет с тряпичной куклой, рассказывает ей о себе. Одинокий ребенок. Рядом у соседей живет мальчик с дефектом речи. Он добрый, любит Лилику, это он и назвал ее так — Лилика, так он произносит ее имя Милица. И совсем измученная девочка, избиваемая отчимом — мать поздно нашла мужа и держится за него, хочет, чтобы все было наконец, как у людей, — ненавидимая собственной матерью, которая готова предать ребенка, но не потерять «законного мужа», чуть не сходит с ума. Она готова отплатить за доброту мальчика тем, что предлагает свое тело — иной любви, иной платы Лилика не знает... Вот вам опять — кого винить, что понимать под добром

и злом? Девочка ли делает зло, что предлагает себя в «плату» за доброту? Вася ли виноват, что спокойно думает об убийстве, не имея другого способа «подарить часы»? Он каждый день убивает немцев, если они попадут в прорезь его автомата. Он мстит за смерть людей, ему близких, но его маленькая душа ожесточается рано, и неизвестно еще, как сложится его характер потом, когда он станет взрослым, а необходимость убивать, чтобы не быть убитым самому, потеряет свою вину. Это мы, взрослые, можем говорить о справедливости. Дети знают детство или не знают его. Многие им не по силам.

— Ой, что же я. У меня ведь есть для вас интересное. — Даринка встала из-за стола, за которым мы сидели, и пошла в соседнюю комнату.

Нада курила, задумчиво углубясь в свои мысли.

Я посмотрел в зимний сад. Чуть подсвеченные фонарем от гаража зеленые нити, высокие столбики кактусов, широкие листья неизвестных мне растений замерли в полумгле. Там царил мир, покой и кажущееся согласие, гармония, о которой так много пишут у нас в последнее время молодые критики искусства и которой так мало в нашей жизни. Постепенно мысли мои возвратились к началу моего путешествия, к Белградскому аэропорту, к аквариуму синевы, к тихой обманчивой музыке вальса, а от нее — к Майеру. Я опять — что за навязчивость! — видел его смуглую руку на голом черепе и от этой картины воспоминание передвинулось к графике лагерной темы — на меня смотрели темные впадины лошадиного черепа. Да, на листе ватмана ничего больше не было — только голый, омытый дождями и высушенный ветром череп коня с большими глазами... Франсе Михелич, словенский художник, назвал свой лист «Голова коня». Не знаю, почему мне так запало в память это — казалось бы, рядом с человеческими смертями менее впечатляющее изображение. Я опять посмотрел в зимний сад, но и там увидел большой белый продолговатый галун... Очень я устал сегодня.

Вошла Даринка и протянула мне записную книжку. Она обтянута красным парашютным шелком, прошита по краям белыми нитками. Начиналась стихами на словенском языке, тщательно переписанными аккуратным женским почерком. Каждое стихотворение заканчивалось красной звездой с серпом и молотом. Что-то показалось мне знакомым — я прочитал вслух словенские буквы и засмеялся от радости: теплым запахом проталин, ветром пахнуло на меня от знакомых строк, написанных с ударениями, иногда неправильными, над гласными: «...Я вижу, погода ясна и тепла, скажите, ведь правда, что это весна?» Это стихотворение — вернее, эти строки из русского поэта — заканчивало войну. Под ним стояла дата — 1945...

Я быстро перелистал книжечку и вдруг увидел другой почерк. Писали на русском и не очень грамотно — стихи. Я спросил Даринку.

— Ради этого я и принесла записную книжку. Это Зеленский, русский партизан, который писал стихи. И мне тут одно посвящается. Он написал марш — мы его пели, положив на популярную музыку. Кто по-русски, кто по-словенски, а потом, когда русских было уже много, все почти научились петь русские слова.

И Даринка, заодно вскинув голову, пропела вполголоса, чтоб не разбудить детей:

Мы разбили гада, слез теперь не надо,  
Гнет наш не вернется никогда  
Власть будет народна, жизнь будет свободна-а,  
Проживем мы долгие года-а...

Нада стала ей вторить:

Власть будет народна-а, жизнь будет свободна-а,  
Проживем мы долгие года-а...

Теперь они пели громко, и дверь отворилась, и в проеме показалась белая головка заспанной девочки. Они сидели спиной, и только я видел, как постепенно улыбка растягивает рот девочки, как переминается она босыми ножками на холод-



ном полу. Потом девочка не утерпела, и в наступившей тишине раздалось то-ченькое:

Пложивем мы долх-хие гада...

Даринка вскочила со смехом, дверь захлопнулась. Потом Даринка что-то долго говорила шепотом за дверью, а мы с Надой вдвоем листали записную книжку. Нада тоже не знала о ней, и все спрашивала:

— Это правда интересно?

Она была счастлива.

Мы прощались с Даринкой в сенях, я звал ее в Москву, где она никогда не была и где очень хотела побывать.

— Это мечта моей жизни, — сказала она просто и серьезно.

Записную книжку она дала мне в гостиницу до завтра.

До завтра. А завтра уже наступило. В отель я вернулся в три. Вот уже зашумели за зашторенным окном машины, начала бить баба копра на строительстве нового высотного дома. «Турист» рядом со строительной площадкой. Записная книжка прочитана. Спать уже поздно, но идти завтракать рано. Лег, заложил руки за голову, смотрю на розовеющую штору, вспоминаю события прошедших дней. Все сливается в один большой день. Хорошо, если бы все дни жизни были так наполнены. Но откуда берутся силы? Когда я, собственно, спал в полном смысле слова как дома? Трудно вспомнить.

По дороге в Идрию мы заезжали с Дане в Разоры. Это то место, где 22 июня 1941 года, узнав о нападении Германии на Советский Союз, «отпорники» Словении нанесли первый удар по оккупантам-итальянцам. Я уже записывал донесение политкомиссара Турчича-Восточного. В Разорах сейчас все по-иному, трудно найти свидетелей той акции, но все-таки жители помнят, как каратели сгоняли людей местечка, как расстреляли их соседей Игнация и Елинку Когей. Почему убили именно их? Люди говорят, что просто их сделали заложниками. В Разорах предателей не было, да и партизан, собственно, тоже не было еще. Все одинаково не любили оккупантов, за что вообще можно любить оккупантов?

Но я нашел документы архива партизанской войны. Там есть такое донесение из штаба дивизии «Турино» в штаб армии. Оно оперативно, помечено 23 июня 1941 года. Привожу его в выдержках:

«Полковник Де Лис, начальник 82-го пехотного полка, который был на месте преступления уже 22 июня около 12 часов, до 8 часов следующего дня руководил операцией по очищению, к этому моменту подоспел Гуэли с четырьмя отрядами службы безопасности и принял руководство акцией. Он сжег 30 домов, арестовал 24 человека, из которых 4 были расстреляны на месте».

Еще один отголосок этого события я нашел в дневнике одного из чиновников особой службы, доктора Антонио Станциоле (запись от 25 июня 1943 года):

«В тот день (22 июня. — **Вл. О.**) приехал в Идрию вечером инспектор особой службы Гуэли с отрядом карабинеров, и в течение ночи и утра 23-го того месяца была проведена очередная чистка... Все дома по дороге Войско—Чековник—Мрзла рупа, в которых могли быть подготовлены партизаны, напавшие на отряд из Идрии, были проверены. После этого Гуэли приказал арестовать 22 человека, которые были родственниками террористов, а также приказал сжечь тридцать объектов, в которых террористы получали помощь и еду. Людей, которых застали в тех домах, взяты были в плен... В течение акции убиты два появившихся обывателя, которые бросились бежать при виде карабинеров. Были при этом убиты Игнацио Когей, сын Матей, рождения 1887 года, в Войске, и его дочь, которую раненый карабинец Ферручио Томаччи особо опознал как лицо, бывшее при нападении, — потом, когда террористы убежали, она смеялась над ранеными карабинерами, просившими помощи».

Жители Разор отрицают, что это правда. Они говорят, что Томаччи бежал почему-то без штанов и пытался спрятаться во дворе Когеев, над этим и смеялась девушка, а то, что он был ранен, она и не знала... Говорят также, что, кроме двух Когеев, итальянцы убили некоего Лойзета Фельца, а четвертого они не знают. Мно-

гих, рассказывали жители, согнали на кладбище местечка, и там Гуэли грозил расстрелять их, требовал выдать террористов, но потом отправил арестованных в Идрию. Меньшинство там отпустили, а большинство посадили в тюрьму. Потом женщин отделили и послали в концлагерь в Фрашете ди Алатри, а мужчин в Каиро Монтеноте. После отпадения Италии от Германии женщин отпустили домой, а вот мужчин ожидала иная участь: они попали в Маутхаузен, так как их передали немцам...

После нападения в Разорах сам командир дивизии «Турино» генерал Луиджи Краль руководил операцией по прочесыванию большого района действий партизан под руководством Турчича. В документах архива есть донесение XXIV армейского корпуса от 29 июня 1943 года, где упоминается бой, который приняли бойцы Турчича с превосходящими силами противника. Партизаны нанесли большой урон итальянцам и ушли в горы.

...Я встал и перечитал все переписанное из красной книжечки Даринки Собан. Это был, собственно, альбом песен. Сначала шли словенские песни на стихи известных мне поэтов: Отона Жупанчича, Каюха, Клопчича, Бора, Смиляна Самеца, Удовича. Потом все чаще (ближе к 1944 году) русские песни: «Из-за острова на стрежень», «В степи под Херсоном», «Катюша», «Три танкиста», «Кружится, кружится шар голубой...».

— Да, мы очень любили советские песни, пели их и до войны, а в войну они стали особо дорогими... Мы прислушивались к радиосводкам, а потом всегда пели эти песни... Россия становилась ближе...

Это говорила Даринка. Подтверждала Нада Крайгер. Дане же считал, что лучше русских песен вообще нет в мире. Я сказал, помню, что люблю македонские и далматинские, которые слышал в Сплите в прошлом году. Он, усмехнувшись, пожал плечами. Дане и в песне ценил идею. А я вспомнил южную ночь, шелест волны у причала Сплита, башню старой постройки, крутую лестницу туда, к близким большим звездам, запах вина и морского воздуха — терраса чуть освещалась цветного стекла фонариками, у каждого столика — свой... Мы сидели с Владо, бывшим партизаном, ныне шофером туристической фирмы «Путник», я и мои друзья из Москвы. Владо угощал нас. Далеко бежали огни порта, вся бухта казалась разлинованной синими и красными дрожащими линиями. А за соседним столиком, наклонившись друг к другу, пели два парня и девушка на три голоса. Пели тихо, но внятно, и все слушали, и никому они не мешали. Я слушал голоса моих спутников и песню, изредка говорил что-то сам, но одно не мешало другому. Это было впервые. Казалось, и море, и люди, и песня, и прохладный после жаркого дня ветер — все сговорилось не мешать друг другу, каждый делал свое дело, а ощущение покоя и счастья переполняло меня, и я знал, что виновник — музыка... Потом я слушал не лирические песни, не грустные и нежные мелодии народа, прикоснувшегося к благословенной итальянской культуре, а суровые, диковато-нежные песни каменистой Македонии, полутурецкие-полуславянские, однообразно-прекрасные, как заклинания. В них был Восток с его жутковатым простором.

Однажды ночью, когда Сплит не спит, а поет песни, я набрел в старом городе на миниатюрную площадь, выложенную белыми мраморными плитами, в которых переливались огни подсветок. Витрины крохотных магазинчиков отважно и лихо сверкали неоновыми трубками. Окна раскрыты, и в них наполовину, по пояс, высовывались черноволосые девушки, они смеялись, кокетничали, а внизу под одним из балконов стояли три парня в тельняшках, с гитарой. Как они пели! Это была, сказали мне потом, канцона. Девушка, которой это посвящалось, бросила им розу и закрыла окно. Они ушли. Я долго еще стоял в темной улочке, выходящей на площадь, не в силах двинуться. Боясь спугнуть эти чары. Что сказать об этой манере петь неаполитанские канцоны? Парни поют их огромно, но так, как будто поют себе для собственного удовольствия. Обычно они стоят кружком, наклонившись друг к другу, как беседуют. Я заметил, что в их манере нет и капли позы, стремления поразить, «переплюнуть» соперника. В этом есть какой-то врожденный

такт, деликатность щедро одаренных натур, музыкальная, я бы сказал, воспитанность.

...И еще я вспомнил почему-то рассказ о том, как партизаны справляли свадьбу доктора Франи, о которой говорил Млакар. «Мы пели шепотом...» А не петь не могли даже под угрозой смерти, когда немцы рядом...

И я снова стал читать стихи из книжечки Даринки.

Повезло «Катюше» Исаковского. Она записана даже дважды. Второй раз в варианте пародии — не на текст, конечно, на немцев, которых ждет расплата...

Разлетались головы и туши,  
Дрожь колотит немца за рекой.  
Это наша русская Катюша  
Немчуре поет заупой.

В страхе станет падать немец в яму,  
С головой зароется в сугроб,  
Но его и там огонь достанет,  
И станцует немец прямо в гроб.

Все мы любим девушку Катюшу.  
Все мы знаем, как она поет.  
Из врагов выматывает души,  
А друзьям отвагу придает.

Любопытно, что в тексте ряд слов дан в словенской редакции. После слова, которое не очень казалось понятным, стоял еще словенский перевод в скобках. Так, «сугроб» сопровождало слово «pamet», «огонь» — «dosegla granata», «туши» объяснялось через «telesa», «выматывать души» — «sprušča».

Но главный интерес представляли для меня, конечно, стихи партизана Зеленского.

Среди бука, елок  
И нависших скал,  
Временно построен,  
Там барак стоял.

То была больница,  
Не простой барак.  
Жизнь внутри больницы  
Протекала так.

Далее шло подробное описание дня. Потом Зеленский переходил к описанию самоотверженного труда Даринки и других «больничарок». В стихах, наивных, местами просто неграмотных, билось живое чувство.

И прошу всегда так:  
Помогай ты нам  
За славу народа  
И на страх врагам.

Если будет счастье —  
Я буду живой  
И вернусь в Россию,  
В свой я край родной...

...Утро брало свое. День начинался яркий, солнечный. Я открыл окно, шум большого города ворвался к комнате. Сейчас выпью кофе и поеду на студию — Нада договорилась, мне покажут фильмы. Потом — встреча с молодыми поэтами. Потом — с историком, другом Дане. Потом — разговор в Союзе писателей, нечто вроде приема, — и на вокзал. Глаза режет свет. Голова тяжелая.

...Я в темном маленьком зальчике. Сейчас зажжется экран. Директор студии, он же художественный руководитель, профессор Владимир Кох еще раз вошел в зал, чтобы проверить, не надо ли еще чего советскому гостю. Чего же еще? На низком столике передо мною кофе, содовая вода, даже виски и коньяк — так принято. Три удобных кресла и микшер. Слава богу, я умею пользоваться этой шту-

кой. Был главным редактором Экспериментальной киностудии. Кроме нового микшера, у нас ничего «экспериментального» не оказалось.

Профессор-директор оставил нас с Надой. Она пьет содовую, курит, обжигается кофе и требует от меня откровенности:

— Это единственное, чего я хочу. Директор смущен: он не хотел показывать эти фильмы. Он знает, что советским людям они не нравятся.

— Слушайте, Нада, когда вы перестанете говорить обо мне в собирательном смысле? — Я уже начинаю сердиться.

— Ну, пожалуйста, пожалуйста, но только не говорите у себя, что все искусство в Югославии такое. Совсем нет. У нас есть и хорошие картины, настоящие, реалистические.

Они меня доведут: взялись настраивать, что эксперимент и не может дать ничего хорошего, что это параллельный поток, где все не так как надо. А почему же вы выпускаете такие фильмы? Да, знаете, спрос на них... А, спрос! Значит, «если звезды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно?». Кох сказал без тени улыбки:

— Нет, но так работают режиссеры...

— Наверное, режиссеры чувствуют спрос?

— А, увидите сами! — Профессор Кох смеется.

Первый фильм, снятый в новой манере, экспериментальной, за недостатком времени смотрим не целиком. Так договорились, чтобы полностью посмотреть «Седмину» Матьяша Клопчича и документальные фильмы.

Второй фильм я досмотрел до конца. «Седмину» можно перевести как «Поминки на седьмой день».

Это рассказ об оккупации, начале войны против оккупантов в Любляне. Действуют в картине молодые люди. Фильм решен в сочетании цветных и черно-белых кусков. То, что происходит на самом деле, дано вне цвета. Мечты, представления юных героев — в цвете. Но этим противопоставлением достигается, мне кажется, и эмоциональный подтекст фильма. Идея: юность на войне. Героическое проходит целую шкалу испытаний от романтического и абстрактного порыва к реальному пониманию сути подвига. Мальчики и девочки на уроке в старшем классе. Любовь. Два друга, из которых один уже в подполье, а другой — главный герой — мечется между книжным и живым представлением о жизни, между любовью плотской и идеальной и не может выбрать. Он сын своей семьи, где отец, лицемер и демагог, поначалу кажется едва ли не оплотом патриотического сознания, но потом, когда постоялец-оккупант начинает сожительствовать с сестрой героя, отец умоляет не гневать оккупантов. Сын рвет с семьей, уходит к партизанам-террористам, но и это не конец испытаний. В акции погибает его друг, который любил ту же девушку, какую любил и он. Но герой предает ее с опытной вдовушкой, каюсь и устраивая истерики. Друг прикрыл его отступление, любимая простила ему измены, но герой, напоровшись на офицера — сожителя его сестры, в самозащите убивает его и, убегая от трупа, теряет всякое самообладание. Он находит, вернее, натывается на любимую и от вида крови на руках своих звереет: пытается изнасиловать человека, которого щадил от любви как последний оплот чистоты, привязанности, самого дорогого человека... Ему нужно доказать себе, что в мире ничего не осталось. Он плачет, получив пощечины. И тогда любимая сама нежными ласками и шепотом, как ребенка, привлекает его к себе. Финал прекрасен. Они говорят о том, что произошло. Неужели ничего больше не осталось? Осталось все самое лучшее, остальное перегорело. Это говорит любимая героя, прощаясь. Связой пришел за героем. Его ждут партизаны. Утро пробивается сквозь тучи. Впереди большая дорога. Герой растерян, опустошен. Он еще не нашел себя. Любимая провожает его, прижавшись плечом к его вещмешку. «Сегодня седьмой день поминок по нему...» — говорит герой. Она кивает. Она знает, о ком он говорит. Так кончается фильм Матьяша Клопчича.

В нем много настоящей правды, которую мы не всегда смеем говорить даже себе. И в то же время в фильме густ налет фрейдовского, одностороннего понимания человека, абсурда поступков и целей, растерянности и безволия, возведенных в

ранг всеобщего закона жизни. Итальянский офицер, милый и слабый, говорит сестре героя, что война пройдет стороной, что есть только любовь и это — для всех, и для оккупантов и для оккупированных. Поначалу он и кажется такой жертвой войны, человек в очках, не желающий убивать и гордящийся тем, что война не заставила его обогреть руки кровью. Но вот старый пьяница, забулдыга, бросает в него ночью камень, и итальянец в страхе стреляет в старика. Старик убит. Вот тот же офицер выслеживает брата своей любовницы и ведет его в штаб, приставив пистолет к спине. Он уже совсем другой: он раньше нашего героя понял, что логика борьбы не оставляет места для абстрактных понятий личной непричастности: или он — или его...

Здесь все понятно. Такова действительность. Но логика поступков героя не так проста. Он не просто мечется. Он начисто отвергает путь примирения с врагом, он рвется в террористы, он готов среди бела дня на центральной площади города, при свете солнца осуществить дерзкую акцию. Он готов ходить к вдовушке и предаваться «грешной» и темной страсти. Он готов на все, но все не соединяется в нем — вот в чем штука. Он хочет, чтобы черное, «грязное», необходимое сделал какой-то другой человек в нем, другое его «я», а первое «я», главное «я», останется чистым, нетронутым. Он мучится не от сознания того, что жизнь постепенно заставляет его сделать выбор, эта альтернатива перед ним никак еще не встала, а оттого, что его второе, главное «я» вытесняется все решительнее. Он думает, что можно оставаться чистым, заставив подставное «я» принять на себя всю тяжесть и грязь жизни. Он не может забыть, как истекающий кровью друг на клумбе городского парка лежа отстреливался от противника, как он приподнялся последний раз с уже пустой каскетой и как продолжал поднимать ослабевшей рукой пистолет, разряженный пистолет в сторону наклонившегося над ним офицера-итальянца... Эта картина стояла в сознании умирающего друга, но режиссер сделал так, что мы воспринимаем последние секунды погибшего как свои, как его, главного героя, мучительно размышляющего, — это итог юной жизни, так мало сделавшей для свободы, но целиком преданной главной цели. И, умирая, он тянет пистолет к врагу... Может быть, в понимании концепции режиссера не последнюю роль призван играть образ представителя центра. Зловещий человек с каменным лицом и железными словами, такая ходячая догма, машина исполнения вышестоящих директив... Человек, приводящий в движение террор, посылающий юнцов на смерть, не доверяющий им, никому, кроме себя, своей непогрешимости. Наш герой видит в нем, вероятно, крайность своего первого, служебного «я». Он ненавистен ему, но и человек-директива не принимает нашего героя — инстинктом железа и крови: хлюпик-интеллигент ненавистен ему. Они — разные полюса. Но на стороне железного, волевого человека — цельность. То, чего не хватает герою. Он хочет стать цельным, задавив в себе человеческое. Но его материал не поддается закалке огнем и кровью. И задавив человеческое, он только ощущает пустоту. Зачем ему такая цельность?

Мне кажется, логикой художественной мысли Клопчич поставил нас перед этой дилеммой, а не перед какой-либо другой.

Так что же такое экспериментальное кино?

Если вчера выбор: цельность или расплывчатость героя, не умеющего сделать выбор, — наше искусство решало (и не могло не решать) только с одним знаком — осуждения сопротивляющегося, непрочного сознания, то сегодня, на новом этапе общественного развития, искусство вынуждено сделать более глубокий разрез человеческого сознания. Оно хочет понять, из какого «материала» состоит человек действия, как осуществляется переход от «человека идеи» к «поступку личности». И сколько здесь слагаемых.

Матьяш Клопчич сделал важный шаг к новому пониманию сложности проблемы «война и человек». Но он — так кажется мне — запутал мысль чрезмерным акцентированием комплекса вины, наследия компромиссов отца, фрейдизма. Он оставил своего героя на распутье важных решений. Вывод не сделан — он и не обязателен в искусстве. Но четкость авторской идеи смазана.

Я видел еще два фильма «Виба-фильма»: «Монстр» и «Якац». Две разные короткометражные картины.

«Монстр» — фильм тоже экспериментальный. Это фильм абсурда. Мне чужда его форма притчи, холодная аллегория, претендующая на излишне широкий смысл. Человек с красным шариком бежит по полю. За ним гонится плотная, черная толпа. Они настигают человека и отнимают шарик. Свалка из-за шарика, и его раздирают на лоскутья. Потом толпа радостно бежит с целой серией таких же одинаковых шариков. Потом человека нагоняют, чтобы навязать ему эти свои символы массового творчества, чуть не убивают его в гневе. Затем человек в черном свитере — художник, как нетрудно догадаться, — что-то рисует красками, вероятно женское лицо, но краски текут по экрану, расплываются в нечто фарсовое, художник в гневе и отчаянии начинает все сначала... Передана постоянная мука творчества с надрывом, противопоставлена толпе, невозможность индивидуальности выразить себя доведена до состояния претенциозной назидательности, к тому же истерически выраженной. Мне фильм не понравился.

«Якац» — фамилия известного народного художника. Это цветной реалистический фильм о жизни и творчестве художника.

Это словенское кино. Немного ранее я смотрел в Белграде картину «Бициклисты» («Велосипедисты»), сделанную в Сараеве режиссером Пуришем Джорджевичем. Я лично не очень понимаю такого рода иронические фильмы. Жанр фарса на военную тематику мне чужд. Помню, еще тогда, давно, глядя на Бабетту, которая шла на войну, красиво двигая бедрами, — Брижит Бардо, несмотря на прелестную выдумку и легкость французского отношения к самым серьезным материям, я подумал о том, что есть, вероятно, своя, национальная точка отсчета и для жанра. Русский человек — советский человек, — для которого война была личным горем (назовите мне семью, в которой бы не было жертв в Отечествонную войну!), не может, не потеряв чувство такта, совести, хохотать, видя выстрелы и падающие тела. Я далек от ханжества, знаю, что время позволяет многое переоценивать, юмор не противоречит чувству внутренней серьезности и ответственности перед памятью братьев, погибших на полях всемирной битвы с фашизмом... И все-таки мне чужды поиски в направлении смещения жанра в фильмах о войне. У югославского режиссера, кстати молодого, не знающего, что такое война на самом деле, вне «жанра», смешное странно сочетается с жестоким. Мы видим массу смертей серьезных и не всегда ясных по смыслу сюжета (например, свои убивают девушку, которая пошла с немцем, вероятно, с целью мести за любимого), видим двусмысленные трюки с хождением чешских циркачей по перилам моста, немецких велосипедистов, дружно откусывающих одинаковые яблоки, видим танцы обывателей в ресторанчике то с немцами, то с партизанами, людей, предающих своих и тут же совершающих восстание... Не отразилась ли и в концепции П. Джорджевича та же модная идея всеобщего абсурда? Во всем этом калейдоскопе смешных положений, условного опереточного переживания персонажей, любви, переданной приемами мимов, с серьезными и острыми врываниями жизни в ее документированной основе, с ее непридуманными жестокостями и смертями есть нечто для меня несоединимое, противоестественное. Да и не такое уж это открытие. Я вспоминаю родоначальника этого жанра — вещь такую же фарсовую и алогичную французского производства конца 40-х годов...

Не могу навязывать своей антипатии, готов прислушаться к доводам уважаемых критиков, считающих «Велосипедистов» удачным фильмом. Выражаю лишь свое сомнение в правомочности такого рода эксперимента в кино.

Собственно говоря, всякий эксперимент в искусстве правомочен. Просто результаты бывают разные. Для меня новое в искусстве связано с новой концепцией человека.

Можно спросить: а так ли быстро меняется природа человека, что нужны все новые концепции? Не гоняемся ли мы за призраками? Наверное, часто да. Но концепция человека — любая, старая и сегодняшняя, — только приближение к тайне человеческой природы, природы общественного человека. Мы постоянно

обновляем свое представление о себе самих и потому, что сами постоянно меняемся.

...Нада спрашивает, почему я грустный. Мы выходим из темного зала и прощаемся с Кохом. Уже садимся в машину, когда она говорит:

— Теперь вы решите, что у нас плохое кино. А у нас есть и другие фильмы...

Но, честно говоря, я уже не слушаю Наду. Я думаю о том, что в новом всегда таятся что-то грядущее, хотя бы кусочек того, что все равно будет, хотя нам и не нравится его приход. И наверное, и «Седмина» и «Велосипедисты» говорят о том же: стучится иное понимание прошлой войны, такое, какого мне пока не понять. Говорит новое поколение. Правы мы или нет, уже поздно. Вот почему мне грустно. И потому, что я не в силах доказать молодым свою правоту. И потому, быть может, что я навсегда останусь там, у окопа, заросшего лебедой, где лежат отстрелянные мятые гильзы, в которых поселились муравьи...

Решили разговор с молодыми поэтами отложить до встречи в Союзе на так называемом приеме, а сейчас Телевидение просит кратко выступить по теме «Поэзия Словении. Что вы о ней знаете? Что издается в СССР?».

Пять минут жду в холле. Три — меня напудрили и условились о том, что интервьюер («Йоже Худечек, будем знакомы. Очень приятно. Я толкну вас ногой — значит, время истекло») задаст мне три вопроса: о югославской литературе — словенской в первую очередь, — о личных планах, о планах издательств на ближайшее будущее в Советском Союзе.

Пять минут говорю перед камерой. Идет видеозапись для передачи через два дня — «Культурные диагонали». Поражен четкостью работы. У нас это заняло бы минимум час. Почти без слов профессионально действуют операторы на двух камерах, ассистент, режиссер. Стоп! Отлично. Выходим с Худечекком. У нас еще есть время. На пять минут в «Черного кота»? Хорошо. Кофе, бриньевец — мятная водка. На машине — в Союз писателей.

Здесь уже есть знакомые: Мира Михелич, председатель иностранного отдела, Яро Долар, Гитица Якопин, Йоже Шмидт, Миле Павлин, Нада Крайгер. Новые для меня — переводчик Борко Божидар (польский, чешский), молодые поэты Тоне Кунтнер и «знаменитый» Шаламун.

Знаменитый Томаш Шаламун оказался скромным малым. Он говорил со мной о Лорке и Элиоте, Рильке и Дилане Томасе. Шаламун честно сказал, что растерян: он думал, что в Советском Союзе плохо знают крупных поэтов Запада. Труднее сложился разговор о национальных традициях. Шаламун их, в общем, не отрицал, но как-то затруднялся определить современное отличие его, скажем, поэзии и поэтики от поэтики французской или английской. Говорим об Уевиче. Это Шаламуну ближе. Да, да, молодые многому учились у него. И у других славянских поэтов, конечно. Собственно, по Шаламуну, национальная традиция в том особенно и проявляется — в преемственности, которая не всегда заметна, как гены, они есть, и тут ничего не поделаешь... И все-таки мне показалось, что молодой поэт немного не договаривал. Что делать, мы знакомы всего полчаса.

Шаламун не только поэт, но и скульптор. Он учился в Любляне, Кракове, Париже, Риме. Окончил Академию изящных искусств в Любляне. Здесь и живет. Выставки были в Нью-Йорке, Париже, многих городах Югославии. Сознаюсь, я был весьма шокирован и растерян, увидев некоторые «скульптуры» моего юного друга. Они называются «шоу». Материал своеобразен: голые тела натурщика и натурщицы. Позы йогов с явным намеком на половой акт. Позы фиксирует фотограф, и «скульптура» находит место на страницах журнала, например студенческого «Проблемы актуальности». Почему предпочтение отдано живым фигурам? Они изменчивы. Их легко конструировать. Они не надоедают — их легко «разобрать», внести «поправки». Не есть ли это эфемериды? Искусство всегда связывалось именно с прочностью, устойчивостью, не так ли? Шаламун улыбается, пожимает плечами:

— О, многое, многое изменилось...

Говорят еще, что XX век — век целесообразности. Зачем держать скульптуру в запасниках? Когда ее смотрят, она функциональна, она оправдана. Но наступила ночь. Скульптура «простаивает» вхолостую. Коэффициент полезного действия. Особенность вариаций — не надоедать. Изменчивость нынешнего настроения, фактор времени, лимитированная потребность ухода от реальности в мир грез...

— Постоянная погоня за текучестью спроса, скажите уж лучше так, рассеянность внимания, настроения, философия мига... Но эти-то качества вторичны, лишь вторичны... В искусстве перестали видеть его духовный смысл. Что есть художник? Что есть искусство?

Шаламун пожал плечами, и улыбка его говорила: слышали...

— Идея жизни. Сохранение этого мгновения, но на фоне эпохи, эры человечества. Сохранение формы как запоминаемой идеи существования. Возьмем балканский XIII век. Славянский поэтический гений обтесывает циклопические камни, знаменитые стечки, рассеянные по горам и долинам Боснии, Паннонии, Далмации. Лика, Славония, Западная Сербия. Они стоят под небом и солнцем, под дождем и градом, эти величественные документы еретического, культурного, географического единства южнославянской цивилизации. Стелы, глыбы, достигающие тридцати тонн веса! На камнях встречаешь орнаментику, говорящую языком антики, архаики... Но как отзывается сердце на такие славянские мольбы — в поэзии могильных надгробий. «Молю ви се братио и господо, не мойте ми кости претресати» — написано на одном боснийском «мраморе», а на другом земля предков названа своей и благородной («На своей земли, на племенитой»)... «И молю вас не наступайте на ме, я сам был како ви есте, ви чете быти како есам я».

Идея рода человеческого, его единства — «я сам был како ви есте, ви чете быти како есам я» — разве хотя бы это перестало питать искусство?

Нет, это я уже не с Шаламуном говорю. Он остался где-то в тумане неполного понимания... Я говорю теперь с собой.

...1944 год. На освобожденной территории из Загреба в Тепуско привезли на мулах некоторые детали, из которых в партизанской мастерской смонтировали литографический пресс. На этом прессе Златко Прица и Эдо Муртич — прекрасные хорватские художники — с помощью одного словенца-литографа издали в ноябре 1944 года в 250 экземплярах свое литографическое издание «Ямы» Ивана Горана Ковачича. Текст писал Муртич гусиным пером, рисунки делали вдвоем с Прицей. Переплетчик Векослав Жганер переплел «Яму» и обложил парашютным полотном, раскрашенным при помощи гипермангана. Когда в 1945 году один экземпляр этого уникального издания попал в Париж, Пикассо и Матисс держали его в руках и удивлялись: трудно было поверить, что что-то подобное возможно создать где-то в горах, во время партизанской войны... Сразу же после создания книги литографический пресс был уничтожен прямым попаданием бомбы...

Что же вечно и что «преходяще» в искусстве? Что вообще переживает века? Какое новаторство нужно книге, песне, слову, мазку живописца, чтобы из XIII века донеслись эти слова, разрывающие душу: «И молю вас не наступайте на ме...» — чтобы в век ракет и автоматизированных душегубок гусиным пером и куском парашютного шелка можно было создать книгу, потрясшую гениального создателя «Герники»?

Нет, я совсем не хочу противопоставить гусиное перо компьютеру. Я размышляю вслух, хочу понять, ищу истину. И пусть ищут ее по-своему и Шаламун, и Дане, и Давичо, и Максимович, и Нада Крайгер... Пусть все ищут.

Но искать надо не в темноте. А если и в темноте, то с фонарем.

Нельзя забыть то, что было до нас. Оно все равно о себе напомнит.

Я вспомнил выставку архисовременного искусства в Загребе, в Старом городе, на средневековой площади, среди древних храмов и купеческих особняков в стиле раннего барокко. Внутри одного из старинных домов помещалась выставка с компьютером, сложнейшей, как мне объяснили, опережающей «даже Америку» системой управления. Вы садитесь в кресло за пульт и сами делаете себе «красиво», как сказал бы Маяковский. На огромном экране загораются разноцветные по-



лосы, кубики — мозаика абстрактной живописи, поп-арта. Легкое управление, скажочные рисунки, светящиеся краски... Играть необыкновенно интересно, постепенно втягиваешься — творишь вариацию за вариацией, кстати неповторимые. Но в конце концов время твоего «творчества» заканчивается, и ты гасишь экран. Управление основано на сложной системе полупроводников, гарантирующих вам практически бесчисленное количество картин — представьте, что вы просто-напросто играете на цветовом рояле, где вместо музыки звуков — музыка сочетаний красок и форм. Вероятно, в таком господстве личного творчества «каждого» много самообмана, роли случайности. Разумеется, человек при управлении «живописным роялем» не только не композитор, но даже не пианист, так как вызвать необходимое тебе сочетание форм и цветов сознательно ты не можешь — за тебя конструирует мозг машины, прикосновение пальцев к клавишам не соответствует пока нотам — элемент интуиции не присутствует тоже. Это царство объективной случайности, роение тысячи совпадений, накладываемых одно на другое... Нет ли в этом изобретении технического ума какого-то не случайного элемента — знаменания века? В сознании современного человека личность все больше перестает играть роль творца, изменчивость и лихорадка технического прогресса порождают всеобщие иллюзии о косности, отсталости духовных процессов, в том числе и творческой состоятельности человека. Лихорадочное состояние вечной неутолимости, погони за модой порождает и компьютеры, и живую скульптуру, и предметную поэзию, где слово рассыпается на буквы, а буквы хотят играть самостоятельных единиц, атомов... Один молодой поэт писал, что «сегодня» — «понятие перехода», что старое всегда слабо, что новое «больше старого» и потому «нет круга», иными словами — нет замкнутости.

Круга нет и в другом смысле: круг замыкает, но круг и продолжает. В новом искусстве крайнего проявления — радикальном модернизме — нет преемственности. Вот в чем его беда. Вот в чем я вижу источник его быстрого вырождения. Оно умирает, едва родившись.

У того же Томаша Шаламуна есть хорошие стихи, есть безусловный талант, есть чувство времени. Он умен и предприимчив, как многие молодые его направления, он поверил, что современное искусство спаяно с бизнесом. Нет, он не обогащается, не торгует «святым» искусством. Он не верит в то, что искусство — явление духовной жизни. Знаменательный парадокс: с одной стороны, модернисты крайнего толка полностью отрицают личность художника, его внутренний мир, как-то сопряженный с духовным началом действительности, — они конструируют, техницизируют, строят «блоками» стандартного духовного габарита; с другой же стороны, претендуют на неповторимость и воинственно отстаивают ее; попробуйте отстать в мире конкуренции вечно меняющихся вкусов — выпадете из внимания прессы!

Положение архипротиворечивое. Надо быть «я», чтобы о тебе не забыли, но твое «я» должно быть похоже на многие «не я», чтобы не выпасть из круга моды. Это уже круг. Но замкнутый в себе.

Я читал стихи Шаламуна в трех разных журналах. В «Золотых ребятах» (или «Добрые малы»?), студенческом ревю с подзаголовком, который сам по себе демонстрирует языкотворческий аспект печатного органа молодых: «трибуна-рибунат-тибунар-бунатри-унатриб-натрибу-атрибун-трибуна»... Но и там нашел я студенческие протесты против американского империализма, стихи о Камбодже, статьи о нуждах студенческого самоуправления, то есть серьезные, боевые материалы. В другом еженедельнике, «Полья», — газете культуры и искусства, издаваемой в городе Нови Сад, в которой есть ряд разумных статей, тоже помещены стихи Шаламуна. Наконец, напечатаны стихотворения Шаламуна в журнале «Проблемы», который издается на родине поэта, в Люблине. И здесь наряду с интересом к философии, искусству за рубежом (между прочим, во всех трех названных мною органах пишется о советском искусстве: об «Андрее Рублеве» — фильме А. Тарковского, о поэзии Марины Цветаевой, о стихах Беллы Ахмадулиной) многое — от провинциального высокомерия феноменологической критики, штукарских «новаций» со словом и против слова.

В каждом журнале Шаламун представлен противоречивыми стихами. В них — та же самая двойственность, что и в материалах журналов. С одной стороны, напряженная мысль о времени и месте человека в нем (например, стихотворение о доме, который как бы «заговаривает» бомбовый люк, чтобы он раскрылся не над его крышей, — ироническая констатация иллюзий мещанина в современном мире), с другой — модная вариация на тему абсурда существования в мире жестокости и эклектика разноязычия (строки, написанные по-английски, слова из других языков), формалистические намеки на корневую символику и т. п.

С Томашем я говорил и на встрече в Союзе словенских писателей, и еще раз наедине. Он, повторяю, произвел на меня хорошее впечатление. Мне кажется, что его стесняет положение, при котором он, при всей своей претензии на «европейскую» и в некотором роде даже «мировую» известность, остается малоизвестным в своем отечестве.

— Рудолф, Медвед, Шаламун не идут, — вздыхая, говорил мне один известный издатель. — Они предпочитают издаваться в частных издательствах. Есть такая форма издания в Югославии. Если у тебя набралось несколько сот динаров — одолжить нетрудно такую сумму, — идешь в типографию, договариваешься, тебя издадут небольшим тиражом, а потом Агенция авторская подсчитает, что пойдет автору, что государству, что типографии. По выходе цензура (постцензура) просматривает опусы молодых авторов. Вот и весь процесс. Если читатель заметит автора, раскупит книги, государственные издательства приглашают поэта и заключают с ним договор. На первую книгу рискуют редко. Надо сказать, что даже большие тиражи — это одна, две, от силы три тысячи экземпляров.

— А Кунтнер? — спросил я.

Как-то познакомился с милым, скромным поэтом. Он актер. Играет в театре и пишет стихи. Его стихи, по контрасту вероятно, покорили простотой, ясностью, социальной остротой. Вот, например, «Песнь павшего партизана». Перевел сам. В подстрочнике так:

«Брат, не ходи на могилу. Меня уже давно нет среди мертвых (забыли меня, мертвеца). Мне уже давно отоснились сны о тебе, хорошие сны, мой брат. Тогда ты говорил: пролетарий, права... Но разошлись мы. Ты — живой — и гордишься мною, когда едешь на своем черном «мерседесе», брат».

Кунтнер, оказывается, расходуется хорошо — 500—600 экземпляров. Последняя книжка называется «Лесника», то есть «Древесина», менее точно — «Доска». В ней есть этот запах природы, но природы «распиленной», приготовленной для стройки. Кунтнер и хочет счастья людям, тепла, «дома» в самом широком смысле, и в то же самое время грустит, что счастье это получаем мы за счет живого... Митя Меяк, хороший критик, говорит, что у Тоне Кунтнера есть боль, страсть, что стало уже признаком «традиционности» у снобов, но что поэзия его никак не старомодна — в ней свободная структура, лаконичная и выразительная по-новому. Еще Меяк указывает на типично словенские принципы поэзии молодого поэта. И между прочим, видит их в особом духе сдержанного выражения, как он говорит — «самодисциплине» формы. Исповедь крестьянской души видит в стихах этих критик. Да, в лирике Кунтнера чувствуешь широкую, народную поэзию. Художник Иве Шубиц усилил эту ноту выразительными рисунками: сепией и черным нарисовал он — как вырубил из дерева — кряжистые основательные фигуры крестьян с тяжелыми руками и остановившимся взглядом, одинокая свеча в тяжелом подсвечнике и в окне распряженная телега, рабочие руки, угрюмые лица тружеников, крестьянский «натюрморт»: половина хлеба, нож, бутылка с вином — все крупно, просто, однозначно. Боль Кунтнера понятна в «Балладе»:

Все из дома.  
Осталась одна.  
Она. Мама.

Осталась одна.  
Бог, который был с нами,  
бог, который был с нами.

Разрушение современной деревни под натиском городской революции — тема не только югославская. Для словенцев, маленькой нации, она не так уж и трагична. Дело не в пресловутой дилемме: город или село. Это у нас, в России, многие десятилетия идет явный или тайный спор за приоритет духовных ценностей. Там — не то. «Древесина» Тоне Кунтнера — иного корня. Она носит общедемократический характер. В ней выражен протест против забвения идеалов, которые вели простого человека в войну против фашистов. Кунтнер хочет от поэта, чтобы его душа была «золотой и чистой», как древесный срез. Он чувствует себя веткой дерева, называемого нацией:

Я твоя кровь  
и твоя слеза,—  
я живая рана  
на твоём теле.

Не откупиться мне  
ценою своей преданности,  
не откупиться.

...Нада говорит: еще успеем в издательство. Там директор — хороший человек. Он все понимает. Иван Потрч. Идем к издателю, который все понимает. Есть ведь и такие.

Это на главной улице. «Младинска книга». Вроде нашей «Молодой гвардии». Потрч встречает нас так, как будто мы с ним знакомы лет сорок. Он бывал в СССР и издает наши книги, я бы сказал, весьма щедро. Вот он выкладывает передо мною — одна лучше другой издана: красиво, культурно, позавидуешь. Ежегодно от 6 до 12 томов русской лирики! Лермонтов, Блок, Пушкин, Тютчев, Ахматова.

Сколько словенцев? — спрашиваю я. Около полутора миллионов, а с жителями Триеста — словенцами и все два. А тиражи — три тысячи. Прекрасно. В 75 тысяч издается «Цицибан» (производное от русского слова «пионер»!), из них 40 тысяч на словенском, остальной тираж на сербскохорватском. Редколлегия совместная. Хороший пример — издание «Младина» (аналог нашей «Юности») тиражом в 20—30 тысяч! Газета «Пионерский лист» — тиражом в 70 тысяч. Это 30 полос на очень хорошей бумаге, с красочными иллюстрациями. Из номера в номер ведется раздел «Ленинские годы» (серия с картинками о жизни Ильича). Во «взрослой» части программы — серия «Кондор». Тут выходили тома Пушкина, Лермонтова, «Слово о полку Игореве», Есенин, Чехов. Есенин составлял и переводил Тоне Павчек, мой друг, поэт, бывший партизан. Лермонтова готовил Миле Клопчич, известный поэт, высококультурный переводчик. Пушкина переводил тот же Клопчич, три стихотворения перевел Отон Жупанчич, крупный словенский поэт, одно — Божо Водушек. Изумительно изданы сказки народов СССР. Два тома украинской, два тома русской, том узбекской сказки. Иван Потрч с гордостью показывает иллюстрации, которые он привез из Средней Азии и Сибири. Ими украшена книга писателя Антона Инголича «Сибирские встречи». А вот «люксовое» издание — басни Крылова с иллюстрациями Мелиты Вовк. Я не называю всех книг. Много, хорошо пропагандирует издательство «Младинска книга» нашу литературу. Огромное ей спасибо!

Иван Потрч похож на Гаргантюа — веселый, лукавый, огромный человек с усами украинца (это его жена с сыном встречали меня на вокзале). Он дарит мне альбом дружеских шаржей, такой же огромный, как все в его кабинете. Обращает внимание остроумное и со вкусом оформление кабинета. Вся стена, в которой потом окажутся потайные шкафы, бары и двери, представляет собою фотопанно — огромное увеличение видов старой Любляны: барокко лепных порталов, вензеля гербов, мостики и переходы, анфилады с порталами дворишков... Плотная фотобумага, никакой обивки, никаких обоев. А на свободной белой стене — дружеский шарж на самого... Тито. Все у этого лукавца шутило. Но попробуйте его перехитрить, всунуть халтуру — не выйдет. Иван Потрч — старый партизан. Здесь это похвала, больше того — лучшая рекомендация. Мы говорим о нашей литературе,

он внимательно слушает, соглашается, что современников знает мало, просит по-мочь.

Начинается спор с Надой. Сначала я не сразу понял, в чем суть. Какая-то женщина из деревни убила своего мужа. Это сенсация не простая. Все газеты писали о процессе. Крестьянка, пока сидела в тюрьме, написала книгу «Да, я его убила». Книга стала бестселлером. Она сидела под следствием полтора года. Как-то случилось, что ее оправдали через полтора года. Женщина стала учиться, размышлять над жизнью.

— Она освободилась! — кричала Нада.

Ее книга наделала шуму: что? почему? каков мир? что есть современная мораль? Тысячу вопросов подняла крестьянка, с беспощадной искренностью и неожиданной логикой раскрывшая преступление века. Читавшие давались диву: откуда эта сила мысли, проникновение в общий смысл жизни? Ей никто не помогал, ее никто не направлял. Книга стала библией — наивной и неотразимой.

Потрч говорил лениво — «фригидность»... Нада кричала — «эмансипация!» Я ничего не понимал и хотел уйти «по-английски», но Нада потребовала, чтобы я «не отмалчивался в таком важном деле, как положение женщины», и я стал что-то тянуть насчет того, что освободиться можно и не таким кровавым путем и что вообще у меня ощущается недостаток полной информации по этому поводу... На мое счастье, пришли какие-то редакторы с предложениями по срочной верстке, и мы откланялись. Потрч извинился перед редакторами и проводил нас до дверей лифта. Хитро улыбаясь, он сказал мне, закрывая дверь, уже через стекло:

— Самое страшное в наше время — фригидная женщина...

Нада задохнулась от возмущения, я поспешил нажать кнопку.

— Он ничего не понял, — сокрушенно сказала Нада, — ведь правда?

На улице светило солнце. Мне было как-то все равно, кто из них прав, тем более что, к стыду моему, я не имел никакого представления о том, что такое фригидность. У меня вертелись строчки из Луговского: «Колпак фригийский утренней зари». Фригийский — было знакомо. Утро светило вовсю. Впрочем, оказалось, что уже полдень, а не утро. И мозги «фри» тоже стали вертеться в моем филологическом сознании. Или рыба «фри», или, на худой конец, фрикадельки, а еще мясо, которое, как я слышал, нужно резать «фрикандо», то есть поперек волокон...

— Фригидность? — презрительно фыркнула Нада, прощаясь со мной у дверей своего офиса. — Сами они фригидны, мир фригиден — вот в чем дело!

— Ну конечно, — подтвердил я.

Пожимая мою руку своей твердой рукой, Нада встряхивала ее, прежде чем протянуть, как будто опасалась, что к ней пристали ненужные сомнения.

До встречи с историком, который должен был прийти к Наде, оставался час, и я решил пройтись по набережной Любляны, вдоль старых особняков, смотревших в спокойную воду реки. На арочном мосту стояла парочка, наклонившись над перилами, и смотрела на лодку, проплывавшую под мостом. На маленькой площади среди воркующих голубей сидели старички и старушки и читали газеты. Мирно, покойно, дремотно. Наскоро перекусив в каком-то кафе, где, кроме меня, никого не было, а итальянские спагетти стоили очень дешево, даже посыпанные красным перцем в количестве, превышающем, очевидно, вес самих макарон, и залив эту адскую смесь пивом, я некоторое время любовался красивым видом из окна кафе. Я видел зеленую рябь реки, длинные ветви ив, полощущиеся в ней, отражение казого-то шпиля, по-видимому ратуши, мшистые берега канала, парапет, на который лениво опирались многочисленные парочки. Где-то били куранты, и звуки плыли тоже сонно и приглушенно. Был тот послеобеденный час, когда жители Любляны отдыхали. Лавочки закрывались часа на два, а то и на все четыре, а на дверях висели круглые аккуратные циферблатики со стрелками, указывающими самые различные комбинации часов работы. Потянулись автомобили за город. В субботу обычно люблянцев тянет на природу. Через двадцать минут по выезде из города попадаешь в зеленый рай из дубов, лип, яворов, орешника.

Площадь у моста пустела. Официант принес мне еще чашечку кофе и подшивку газет на полированной ручке. Я читал объявление о продаже дач на Адриатике с таким вниманием, будто боялся прогадать в цене. Потом проштудировал объявления о вечерних развлечениях, узнав между прочим, что в Сараеве вокальный квартет с понедельника будет выступать с обнаженной певицей. Квартет был налицо. Целомудрие подписчиков щадило лишь качество типографской печати. Читатели выбирали девушку с наиболее очаровательной улыбкой: их двенадцать, а надо было выбрать одну. Я серьезно колебался, какой отдать предпочтение. У одной мне нравились скромность и неувлеченность улыбки, но другая брала наигранной наивностью, третья, кажется из города Нови Сад, хотела оригинальности — ее улыбка была горькой и всезнающей, четвертая просто смеялась вовсю... Рядом на странице мы видели претендентов на приз «Улыбка» живописной стайкой на улицах Белграда. Мини, макси, брючки, волосы каскадом по плечам, головки под мальчика, конские хвосты и т. п. Потом — не без юмора — фотокорреспонденты сняли их мамаш: толстые матроны вытирают пот платками, в глазах испуг, напряжение, азарт соучастниц...

— Да, много, много у нас чепухи в газетах, — сказал по-русски кто-то за моей спиной.

Я оглянулся. Худой, очень худой человек с глубоко запавшими глазами, в мятом плаще саркастически улыбался.

— Дане сказал мне, что вы будете в шесть у Нады. Я вас видел с ним вчера. Сейчас проходил, узнал. Здравствуйте. Я брат Дане. Двоюродный.

Мы пожали друг другу руки. Я позвал официанта и попросил что-нибудь выпить.

— У меня нет желудка. — Человек, имени которого я все еще не знал, повертел рукой в зоне живота и извиняющимся жестом отстранил воображаемый бокал. — Если не возражаете, мы поговорим здесь, а Нада — я позволю ей — проводит вас на вокзал, заедет за вами. Она не обидится, я же что-то плохо себя чувствую... Это к лучшему, что встретил вас здесь, к вечеру я расклеиваюсь. Я был в Дахау. А в Освенциме сидел Лойзе Кракар, знаете? Это очень хороший поэт. Сейчас он преподает во Франкфурте, ну, читает лекции там, а вообще он словенец. Вы понимаете по-словенски?

— Не очень. Лучше говорить по-русски. Тем более вы хорошо им владеете. Но, простите, я запомнил ваше имя?

— Франце. У Лойзе есть строчки:

Здесь смерть устала до смерти,  
Осуществился библейский ад.  
Здесь преступление получило славу ремесла  
И миллионы душ перемололо в пепел.

Скажите, можно такое придумать поэту? Нет, надо быть в Освенциме... Или Дахау. Лойзе Кракар переводит с польского и сейчас. Он подружился с поляками в лагере... Но я хотел рассказать вам о другом. Нада говорила, что вас интересует словенская история, так сказать, истоки нашего Сопротивления... Я не умею рассказывать. Вы меня перебивайте, ладно?

Подошел официант, принес воду, кофе. Франце взял воду, пригубил, задумался.

— Когда мы ушли в подполье, пришел Пирнат — знаете, наверное, наш лучший, может быть, художник, смелый человек... Муж Нады Крайгер. Мы выпускали книги в подполье. В самый разгар сопротивления, понимаете, решили издать «Историю партии» — надо было партизанам, особенно молодым, знать наш путь... Я старый член партии. Многие интеллигенты, кто раньше не разделял наших взглядов, логикой войны, логикой отбора людей (мы все были в партизанах, мы возглавили ОФ) пришли к коммунизму. Они хотели знать то, о чем вчера, может быть, не хотели слышать... И вот Пирнат и еще один художник, Михалич, решили иллюстрировать книгу — они делали ночами линогравюры. Бумагу привозили из Мила-

на в бочках — наклейки были винные... — Франце смеется. — Трудно было доставлять бочки. Один солдат просверлил дырку и припал губами, сосет, сосет — не льется. Он почуял что-то неладное, позвал другого, и вместе стали снимать крышку. Я стоял на страже на углу, у склада, на всякий случай. Увидел, испугался — ведь те, кто возил «вино», на учете, могли найти явку, распутать многое... И вдруг, когда крышку открыли, второй солдат размахнулся и ударил первого чем-то... Тот упал головой в бочку. Смотрю, солдат оглядывается, видит, что никого нет, и оттаскивает оглушенного или убитого в щель за сараями, на свалку, возвращается и закрывает бочку. Я подошел к нему и говорю: «Брат, ты словенец?» Он смотрит подозрительно, но кивает. Я говорю: я все знаю, сейчас я приведу людей, и мы вывезем бочки (обычно мы в темноте их перевозили, а держали в солдатской казарме вместе с настоящим вином)... Побежал что есть сил. Приехали с подвой, стали за углом, подхожу к казарме, а там другой солдат у дверей стоит. Увидел меня и говорит по-итальянски: «Где же телега?» Понял, что и он с нами, быстро нагрузили телегу и вывезли бумагу в другое место. Потом я этих солдат не видел, не знаю, чем кончилось для них все это, кто они: словенцы, итальянцы-коммунисты? Но, значит, они знали, что мы бумагу для типографии у них прячем? А на следующий день по Любляне прошел слух, что итальянца тесаком убили свои же, говорили: ревность...

Нам легко было: Любляна вся с нами. Почти вся. Знаете: сплошная почти грамотность — это важно оказалось. Легко шла агитация словом. Свои люди сидели всюду: в учреждениях, в банке. Помню: мы подделали чек в миллион лир, получили среди бела дня деньги для нужд партизан... Мы печатали облигации народного займа, и люди подписывались, — и все под носом оккупантов. Когда в народе такое единство и когда город свой знаешь, многое можно делать молчаливым сопротивлением. В 1942 году итальянцы пробовали окружить город колючей проволокой, провозились месяцы, а ничего не вышло — ОФ пользовался огромным влиянием, связь с подпольем, с партизанскими группами не прерывалась...

...Мы говорили об интеллигенции, о ее роли в революции, в сопротивлении. Подавляющее большинство югославских поэтов, музыкантов, актеров, художников оказалось в рядах борцов, показало себя с наилучшей стороны. Франце считает, что и тут были свои корни. В 1914—1915 годах социал-демократия заняла антивоенные интернационалистические позиции. Словенцы не знали, по его словам, того типа классического реформизма, который в те годы разедал поры революции в Австрии или Италии. Правда, в 1917—1918 годах началась политика сползания к реформизму и в Словении. Что же касается участия интеллигенции непосредственно в революции, то Франце считает, что тут Словения не знала себе равных в Европе по тому единодушью, общенациональной «собранности» — в частности, художественной интеллигенции, — которая обеспечила стране такую мощную коалицию антигитлеровской оппозиции интеллигенции. Вы не станете отрицать — такова логика Франце, — что в Петрограде после победы революции интеллигенция в массе своей саботировала новую власть, у нас же, говорил он, подавляющее большинство художников сказала то, что сказал Маяковский: «Моя революция...» Тут все объяснимо социально, добавил Франце, боясь, как бы я не обиделся на такое сопоставление. Наша буржуазная интеллигенция революционизировала себя национальным инстинктом. Мы всегда боролись на два фронта: Италия и Австро-Венгрия. Для нас революция социальная более непосредственно совпадала с национальным освобождением...

— Подождите, — сказал я, — минуточку, ради бога...

Я вскочил, опрокинув бокал с водой, бокал разбился, но я услышал звон стекла уже позади себя. Я выбежал на улицу.

Впереди меня, насвистывая, шел человек в твидовом костюме с кожаными заплатами на локтях, с загорелой лысиной. Ветерок шевелил его рыжевато-седые волосы на затылке.

Я догнал его и резко повернул к себе.

**3 октября**

С того дня, когда я так нелепо обозначился (как он был похож на Майера, этот прохожий!), прошло несколько дней. Постараюсь восстановить их в памяти.

...Итак, я вернулся, обескураженный, подавленный нервическим своим поступком, в кафе. Официант сметал осколки стекла коротким веничком в красный пластмассовый совочек. Лицо его было непроницаемо. Франце выжидающе смотрел на меня, барабанил тонкими пальцами по мрамору столика. В углу у самого окна сидели две женщины — они вошли, видимо, в то время, пока я гонялся за тенью Майера. Женщины тоже строго смотрели на меня, или мне так показалось.

— Пойдем, — сказал я Франце, — я все объясню.

Он молча посмотрел на часы, отодвинув манжет синей рубахи. Манжет был скреплен скрепкой вместо запонки.

— Мне пора идти, — болезненно улыбнулся он и вытер испарину на лбу мятым несвежим платком.

Острая жалость проникла в меня, и я не хотел так просто отпускать Франце, не сказав ему каких-то добрых слов, которые могли бы поддержать его. Но вместо них сказал поспешно, видя, что он подымается и запахивает плащ:

— Мне показалось, что это Майер, Петер Майер, коллекционер ваших картин... Понимаете, я случайно познакомился. Он живет в ФРГ. Скупает листы концлагерной темы.

Франце покосился на меня. Мы шли к выходу. Я вспомнил, что не заплатил, и полез в карман, но Франце жестом показал, что уже заплачено. Официант поклонился нам и открыл дверь. В большом зеркале я увидел его непроницаемое лицо еще раз. Там же отразилось лицо одной из дам с открытым ртом и ложечкой с кремом. Она тоже смотрела нам вслед. «Как неприятно, — промелькнуло в мыслях, — что со мною происходит...»

Франце шел ссутулившись, кашлял долго, вытирал слезы. Мы шли вдоль реки. Солнце зашло, стало свежеть. Время от времени мы останавливались, пережидали приступы кашля у Франце. Я рассказал ему о Майере. Он молчал и, казалось, не слушал меня. Но я знал, что это не так, что каждое слово Франце ловит на лету и потому особенно сердится на приступы кашля.

Мы сели на скамейку под деревом и стали смотреть на воду. Она быстро темнела. По нейплыли листья, щепки, проплыла целая ветка — свежий слом был отчетливо виден.

— То, что вы рассказали, необычайно взволновало меня, — наконец заговорил Франце, — дело в том, что я сидел в Дахау. И тот лист, что вы видели у Майера, мне знаком. Его рисовал Зоран Мушич. Коричневым карандашом. Это из цикла «Дахау». Но у Майера копия. Подлинник здесь. Кто-то, очевидно, надул вашего Майера. Дело в том, что мне пришлось каким-то образом принимать участие в подготовке работы о художниках, сидевших в лагерях смерти. Сейчас мы пойдем ко мне. Нет, я уже лучше чувствую себя... Я покажу и расскажу вам кое-что, раз уж мы начали эту тему.

По дороге мы еще не раз останавливались. Франце рассказывал:

— Зорана взяли в Венеции. Я познакомился с ним в Триесте, в тюрьме. Потом нас отправили в Дахау. Какое-то время Зоран писал более свободно. Это было тогда, когда он попал в архитектурное отделение оружейного завода «Фертигунгсверкштетте», — у него были карандаши и какое-то время. Он рисовал то, что видел из окна барака, и по памяти. Перед ним были большие листы бумаги. Потом он их разрезал. Некоторые его работы хранятся сейчас в Базеле в музее, многое, увы, пропало. Серию «Дахау» Зоран сделал в 1945 году, в январе. В марте и позднее добавил к ним другие листы. В то время уже началась паника, дисциплина упала...

Мы подошли к старому дому, вошли в темное парадное и стали подыматься по каменным ступеням лестницы. Франце жил в мансарде. Комната была похожа на своего хозяина, в ней царило печальное запустение. Но здесь было много старинных книг, гравюр, карт, пожелтевших от времени. Я смотрел на барочные

виньетки и тонкие профили пузатых каравелл с туго надутыми парусами. Они все плыли в одну сторону — к офорту Гойи «Ужасы войны». Франце освободил мне кресло от рукописи и достал из шкафчика два стакана, посмотрел их на свет, зажег лампу на столе, покачал головой и пошел со стаканами на кухню. Теперь, при свете настольной лампы, стал виден и дальний угол комнаты: там висело несколько листов. Я подошел поближе. На одном из них был изображен заключенный, тщедушный старичок в полосатом не то пальто, не то халате, в непомерно больших опорках на босу ногу. Руки его были глубоко в карманах. Он стоял на табурете. Под листом стояла надпись карандашом другого цвета: «Kazen». На другом листе — сжавшаяся от холода девочка, сидящая на перевернутом котелке; на третьем — барак, плотно забитый полосатыми спинами: люди ждут раздачи пищи...

Вошел Франце, снова посмотрел на свет стаканы, поставил их на заставленный книгами стол, достал бутылку с вином, заткнутую пробкой в форме головы Наполеона, и налил мне побольше, себе поменьше темно-красной жидкости.

— Себе символически. Это для гостей. Греческий коньяк. Пахнет мечтой. Становлюсь сентиментальным от одного запаха.

Франце улыбнулся. Подошел ко мне, протянул стакан. Чокнулись, не отрывая глаз от листов.

— Йозе Полайнко из Маутхаузена. «Наказание». Везде издевались по-своему. А это — «Замерзшая» Стане Кумара... Дети... — Франце вздохнул. — Надо сказать, что было три ступени унижений. Первая — в итальянских лагерях. Там было полегче. Недаром и рисунков сохранилось оттуда много, около 1700. Кумар вот тоже сидел в Гонарсе. Это самый известный лагерь в Италии. Там были Пирнат, братья Видмары, Мирко Лебез... Лагерный врач, доктор Марио Кордаро, оказался антифашистом. Он приносил краски, бумагу, карандаши. Думаю, что он именно устроил Пирнату в 1942 году этот заказ, — Франце тихо засмеялся, — на бюст гонаресской мадонны... Пирнат был энергичным человеком. Он устроил школу художников, итальянцы разрешили выставку, но несколько человек, словенцев, убежали прямо с «вернисажа», и школу закрыли... В Падуе, например, тоже нашелся один либерал, поручик Тино Роза. Он сам занимался этюдами вместе с заключенными. Хорошие люди всегда находятся... Но это не закон, исключение.

— Вы пессимист по природе или по стечению обстоятельств?

— Что вы, я имею в виду фашистов, оккупантов, насильников — и в их стаде есть белые коровы... А так, в жизни, я скорее оптимист.

Франце закашлялся и долго вытирал слезы.

— Нет, много запаха я уже не переношу. — Улыбнувшись грустно, он посмотрел на свет красную жидкость в своем стакане и с сожалением поставил его на стол. — Человек всегда выходит из кризиса лучшим, чем входит в него. Пусть иные и спорят с этим. Лойзе Кракар — талант злой, жестокий, беспощадный. Он ничего не хочет спускать человеку. Человечеству. Почитаешь его стихи — никакой щелки для самоутешения. Он видит насквозь, он не прощает, он догоняет, вытаскивает на свет, показывает нам мерзость, ложь, лицемерие. И говорит: вы все, все такие, когда сдаетесь насилию... Но он оставляет нам возможность, не правда ли, — мы же можем и не сдаться на милость силы? А?

Франце смеется лукаво и заразительно. Снова берет стакан и машинально втягивает запах коньяка, полузакрыв веки.

— Что здесь главное, в рисунках этих? Во-первых, рисуя, ты уже борешься, протестуешь... В бункере смерти художник Владимир Лакович рисовал так: гвоздями из ботинок растянул и закрепил на полу носовой платок, тайно пронесенной зажигалкой жег пробку, расщеплял ее и рисовал. А фиксировал так: выжимал чеснок, опрыскивал рисунок... А знаете, иногда комендант-чудак разрешал рисовать, но вводил цензуру: отбиралось то, где слишком документально изображалась лагерная жизнь. В искусстве всегда самое опасное — сходство с жизнью.

— А интересно, как вели себя разные художники? — спросил я. — Ведь перед войной у вас было много сторонников левого, авангардного искусства? Выдерживали ли аполитичные, эстеты, скажем?..



— Я сам интересовался, — ответил Франце. — Знаете, тут важно не то, что о себе думал художник, а какое у него нутро — мода не должна сбивать с толку. Мода всегда была и будет. Между двумя войнами у нас было много художников социальной и революционной тематики. Исповедовали ее и реалисты и авангардисты. И надо сказать, и экспрессионисты, и «независимые», и реалисты одинаково хорошо проявили себя в годы войны и плена. Хорватская школа «Земля» (1929—1935) — многие словенцы учились тогда в художественной школе Загреба, — и наш «Словенский образ» (группа 1934 года, братья Видмары, например), и группа «Груда» (1938)... Все художники, которые потом попали в лагеря, вышли, собственно, из этих школ.

— А как дальше сложилась судьба вернувшихся? Вот вы говорили о поэте Кракаре. Живописцы тоже судят человечество?

— По-разному. — Франце пожал плечами. — Зоран Мушич, например, вернулся к любимым мотивам — лирика, пейзаж. Отрисовал акварели «Дахау» Бруно Вавпотич и поставил на этом точку. Оставил тему смерти и Франце Урчич...

— Как вы это объясняете?

— Тоже по-разному, — серьезно сказал Франце, — одни не хотят беречь раны, другие боятся остаться в плену памяти, третьи хотят жить, нагоняют упущенное... По-разному.

Он подошел к полке и достал какую-то книгу, в ней была закладка. Франце прочитал:

— «Знаю, что без стыда буду возвращаться к этой вещи. Еще чувствую в себе потребность выразить свои интимные... переживания в связи с крайне преступным антигуманизмом, веявшим в лагерях смерти. Считаю, что об этом надо непрестанно говорить людям, дабы нечто подобное никогда больше не повторилось!» Это слова Владимира Лаковича. Видите, есть и такая точка зрения. Она верна. Но не надо заставлять художника возвращаться в прошлое. Оно все равно живет в нем. И очень по-разному проявляет себя... Налить еще? Ну, как хотите. Ни в каком деле не нужно принуждения. Это главное. Знаете, почему я не согласен с Дане? Он догматик. Догматик в Югославии — это особенная проблема.

— Дане — догматик. А ты?

— А я рядовой югослав, словенец, интернационалист, который очень устал... Устал, но люблю жизнь. — Он смотрел на меня лукаво. — Слушай, давай закрепим наше ты. Без брудершафтов. Ты ведь совсем не похож на догматика. Зачем мы усложняем жизнь? Нам так много надо сделать вместе. Нас так многое объединяет и так, по сути дела, интересно даже спорить — у вас своих проблем по горло, у нас свои, но мы вышли в мир одной дорогой! Разве не правда?

Он стоял, широко распахнув руки, искренний, открытый, с черными горящими глазами...

#### 4 октября

Вечером я уезжал из Любляны. Я стоял на ступеньке вагона и махал им шапкой.

Медленно удалялись Нада, Дане, Франце, Тоне Павчек, они кричали мне по-словенски и по-русски.

Я тоже кричал им по-словенски и по-русски.

И в горле у меня щипало от дыма, от ветра, мешал горячий комок, застрявший в груди.



---

---

# ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

Н. ЭЙДЕЛЬМАН

★

## О ГИБЕЛИ ПУШКИНА

(По новым материалам)

«Истина сильнее царя».

(Пушкин. Из письма, написанного 26 января 1837 года)

**Д**о 1870—1880-х годов Пушкин мог бы прожить: в ту пору еще здравствовали некоторые его друзья («последний лицеист» канцлер Александр Горчаков скончался в 1883-м, Вера Федоровна Вяземская в 1886-м). Опекушинский памятник в Москве будто отмерил некий предел, за которым вместо горьких слов: «Пушкину могло бы быть сорок... пятьдесят... семьдесят лет» — стали говорить: «Пушкину — сто лет, сто пятьдесят. Скоро сто семьдесят пять».

Пушкинское время все дальше, а Пушкин как будто все ближе. Не от одной же почтительности к первому поэту праправнуки его перечитывают, бесконечно находя своих — Медного всадника, Онегина, Пиковую даму, иногда совсем не похожих на «одноименные сочинения», открывавшиеся их отцам и дедам? Неслабеющий интерес у современного читателя вызывает одно особенное пушкинское произведение, где фрагменты и главы — это лицейские и южные шалости, эпиграммы, записанные в кабинете петербургского губернатора, михайловские рощи и «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!»; ответ на царское: «Что бы ты делал, если бы 14 декабря оказался в Петербурге?»; Болдино, холера, оренбургские тракты, Гончарова...

Пушкинская биография, жизнь, прожитая им самим, где последняя глава — дуэль и смерть.

Лучше бы, конечно, побольше и почаще — к ранним, веселым страницам, но и тут не уйти от пушкинского —

День каждый, каждую минуту  
Привык я думой провождать,  
Грядущей смерти годовщину  
Меж их стараясь угадать...

29 января 1822 года в Кишиневе (согласно дневнику П. И. Долгорукова) Пушкин с Инзовым и чиновниками находится на обеде в митрополии. Во время проповеди о блудном сыне, которую читает по книге «дюжий протопоп с напряжением всех сил и душевных и телесных», Инзов «внимает ей благоговейно», а Пушкин смеется...

Ровно через пятнадцать лет будет 29 января 1837 года... Наш разум и чувства странным образом снова и снова притягиваются к последним дням, как будто бы, еще и еще раз мысленно воспроизводя всю последовательность событий, мы сумеем что-то изменить, исправить. Исправить не сможем, но, может быть, сумеем понять нечто неизвестное и еще непонятное.

«Адские козни опутали Пушкиных и остаются еще под мраком. Время, может быть, раскроет их...» Это слова Вяземского.

Но и в нашем столетии П. Е. Щеголев, первооткрыватель важнейших материалов о последних днях Пушкина, признавался в своих известных трудах, что многие существенные обстоятельства трагедии не видны или видны не ясно.

После Щеголева было еще немало работ о дуэли и смерти, в результате последние месяцы пушкинской жизни расписаны исследователями по дням, иногда и по часам — куда более подробно, чем другие главы его биографии. И все же многого не знаем, не понимаем, спорим.

Бывает, вероятно, два этапа загадочности: от малого знания (первоначальная стадия) и от большого знания, когда возникают задачи и проблемы, на раннем этапе даже невообразимые. В каком-то смысле с историей гибели Пушкина за тридцать пять лет произошел переход от первой загадочности ко второй...

В предлагаемой работе сообщается кое-что прежде неизвестное и делается попытка некоторых новых толкований известного. Разумеется, статья не претендует на завершение каких-либо дискуссий, скорее наоборот...

Материалы и соображения, которые в ней будут представлены, относятся преимущественно к сложным отношениям Пушкина с верховной властью (царь, Бенкендорф) в конце его жизни. Эта тема давно была замечена как одна из наиболее существенных для проникновения в тайны последних дней поэта. Автор благодарен С. В. Житомирской и другим сотрудникам отдела рукописей Библиотеки имени В. И. Ленина, Т. Г. Цявловской и пушкинистам Института русской литературы за помощь, оказанную при подготовке его работы.

## I

Первым документом, открывающим историю последней дуэли Пушкина, был, как известно, анонимный пасквиль — «диплом», разосланный 3 ноября 1836 года. Он давно опубликован, проанализирован — и поэтому может показаться странным вопрос: а откуда, собственно говоря, мы знаем этот текст?

Довольно скоро после смерти Пушкина появился и стал распространяться в списках своеобразный сборник документов, относящихся к гибели Пушкина. Мне удалось в различных архивах ознакомиться почти с 30 такими рукописными сборниками, принадлежавшими различным общественным и литературным деятелям<sup>1</sup>. Все сборники в главных чертах абсолютно совпадают — одни и те же документы, в том же порядке, со сходными особенностями, ошибками и т. п., только в некоторых рукописях 12, а в некоторых — 13 документов. О сборниках этих еще речь впереди, пока же только заметим, что абсолютно все списки открываются следующими словами (по-французски или в русском переводе): «Два анонимных письма к Пушкину, в которых содержание, бумага, чернила и формат совершенно одинаковы. (Второе письмо такое же, на обоих письмах другою рукою написаны адреса: Александру Сергеевичу Пушкину)».

Затем следует точный текст «диплома».

Как видно, некий человек, причастный к составлению сборника дуэльных документов, проделал своего рода «текстологическую работу»: располагая двумя экземплярами пасквиля, он их сравнивал, отметил полное сходство, а также разницу почерков «диплома» и конверта.

Пушкин писал о «семи или восьми» экземплярах пасквиля, распространенных 4 ноября 1836 года в Петербурге. Три экземпляра вскоре оказались в его руках, но он их, очевидно, уничтожил: во всяком случае, среди бумаг, зарегистрированных жандармами в ходе «посмертного обыска» на квартире Пушкина, ни одного экземпляра не значится. Один «диплом» получил (и уничтожил, сняв копию) П. А. Вя-

<sup>1</sup> Неполный перечень их см. в моей книге «Тайные корреспонденты «Полярной звезды». М. 1966, стр. 292, прим. 30.

земский. Судьба остальных экземпляров известна менее отчетливо, однако нелегко представить, кто имел возможность сопоставить два экземпляра пасквиля; между тем именно два подлинных «диплома» сохранились до наших дней. Случайно ли это совпадение? Не располагал ли неизвестный современник Пушкина как раз уцелевшими двумя экземплярами? Для ответа на этот вопрос надо было выяснить, где хранились прежде эти два «диплома». Один был обнаружен А. С. Поляковым в секретном архиве III отделения: «диплом» был отправлен в конверте на имя приятеля Пушкина, известного музыканта графа М. Ю. Виельгорского, и, вероятно, передан властям сразу после получения.

Еще раньше другой образчик «диплома» поступил в Лицейский пушкинский музей. Откуда поступил? В информационном листке Пушкинского лицейского общества от 19 октября 1901 года сообщается, что получено «за истекшие 1900—1901 годы подлинное анонимное письмо, бывшее причиной предсмертной дуэли Пушкина, — из Департамента полиции»<sup>2</sup>.

Департамент полиции, учрежденный в 1880 году, был прямым наследником III отделения. Отсюда следует, во-первых, что ведомство Бенкендорфа располагало двумя экземплярами анонимного пасквиля. Во-вторых, что скорее всего в этом ведомстве находился «таинственный доброжелатель», стремившийся сохранить важный для истории последних дней Пушкина документ<sup>3</sup>.

Оба только что сделанных наблюдения важны для последующего изложения. С пасквиля начинаются и другие сложные загадки. Этим документом были задеты три лица: Пушкин, его жена, а также Николай I (намек на положение Пушкина, аналогичное роли Д. Л. Нарышкина, чья жена была любовницей прежнего царя)<sup>4</sup>. Намек пасквиля «по царственной линии», замеченный пушкинистами лишь сто лет спустя<sup>5</sup>, был, очевидно, хорошо понятен современникам, и прежде всего Пушкину: как известно, через день после прибытия пасквильного «диплома» поэт, отягощенный долгами и безденежьем, написал министру финансов Канкрину о своем желании «сполна и немедленно» выплатить деньги казне (45 тысяч рублей), то есть избавиться от какой бы то ни было двусмысленности в отношениях с властью<sup>6</sup>.

О причинах, вызвавших косвенный выпад «диплома» против царя, существуют разные мнения.

Одно из них состоит в том, что вдохновители пасквиля Геккери и Дантес были обозлены высочайшим приказом Дантесу — жениться на Е. Н. Гончаровой; сторонник этой гипотезы М. И. Яшин ссылается на недавно опубликованные за границей (в русском переводе) мемуары дочери Николая — Ольги, королевы Вюртембергской, где имеются следующие строки: отец «поручил Бенкендорфу разоблачить автора анонимных писем, а Дантесу было приказано жениться на младшей сестре Натали Пушкиной, довольно заурядной особе»<sup>7</sup>.

Я. Л. Левкович, полемизируя с Яшиным, процитировала подлинный французский текст тех же воспоминаний, где говорилось о друзьях поэта, которые

<sup>2</sup> Отдел рукописей Пушкинского Дома (Институт русской литературы АН СССР; в следующих ссылках — ПД), ф. 665 (архив Пушкинского лицейского общества), информ. листок № 22, л. 43.

<sup>3</sup> Напомним, что впервые в России текст анонимного послания был опубликован лишь в 1880 году.

<sup>4</sup> Кажется несостоятельным встречающееся иногда мнение, будто Николая I не могла задеть столь лестная для его мужских достоинств характеристика: царь должен был счесть оскорбительным и недопустимым сам факт вольного рассуждения об его персоне.

<sup>5</sup> В статье В. В. Казанского «Гибель Пушкина» («Звезда», 1928, № 1).

<sup>6</sup> Трудно согласиться с недавним комментарием этого письма, где утверждается, будто Пушкин «явно не желал, чтобы его просьба была доведена до сведения Николая I» (Пушкин. Письма последних лет. Л. 1969, стр. 333). Наоборот, из текста письма хорошо видно, что Пушкин как раз желал, чтобы царь узнал об уплате, и заранее предупредил власть об отказе от царской милости, если Николай I «прикажет простить» долг.

<sup>7</sup> См. «Сон юности. Записки дочери Николая I великой княжны Ольги Николаевны, королевы Вюртембергской». Париж, 1963, стр. 67; М. И. Яшин. История гибели Пушкина. «Нева», 1968, № 2, стр. 187.

«нашли только одно средство, чтобы обезоружить подозрения», — принудить Дантеса жениться<sup>8</sup>.

Однако вопрос остается открытым. Только что приведенный текст еще не уничтожает гипотезы Яшина: действительно, друзья Пушкина, гасившие дуэль в ноябре 1836 года (Жуковский, Загряжская), могли принудить Дантеса жениться, только сообщив ему в той или иной форме высочайшую волю!

Не углубляясь более в этот вопрос, заметим, однако, что «тень царя» присутствует в дуэльной истории с самого начала.

## II

Первая вспышка смертельной вражды между Пушкиным и Геккернами длилась, как известно, две недели (с 4 по 17 ноября) и завершилась внешним примирением: помолвка Дантеса и Екатерины Гончаровой была оглашена, Пушкин взял свой вызов обратно. Однако именно после 17 ноября поэт вынашивает план особого отпущения Геккерну-отцу. 21 ноября 1836 года он говорит В. А. Соллогубу: «С сыном уже покончено... Вы мне теперь старичка подавайте» — и читает письмо голландскому посланнику, первый вариант того смертного вызова, который был отправлен два месяца спустя.

Этим же днем, 21 ноября 1836 года, датируется столь известное, сколь и таинственное письмо Пушкина к Бенкендорфу (а в сущности, к царю через Бенкендорфа).

Напомним его текст в русском переводе:

«Граф!

Считаю себя вправе и даже обязанным сообщить Вашему сиятельству о том, что недавно произошло в моем семействе. Утром 4 ноября я получил три экземпляра анонимного письма, оскорбительного для моей чести и чести моей жены. По виду бумаги, по слогу письма, по тому, как оно было составлено, я с первой же минуты понял, что оно исходит от иностранца, от человека высшего общества, от дипломата. Я занялся розысками. Я узнал, что семь или восемь человек получили в один и тот же день по экземпляру того же письма, запечатанного и адресованного на мое имя под двойным конвертом. Большинство лиц, получивших письма, подозревая гнусность, их ко мне не переслали.

В общем, все были возмущены таким подлым и беспричинным оскорблением; но, твердя, что поведение моей жены было безупречно, говорили, что поводом к этой низости было настойчивое ухаживание за нею г-на Дантеса.

Мне не подобало видеть, чтобы имя моей жены было в данном случае связано с чьим бы то ни было именем. Я поручил сказать это г-ну Дантесу. Барон Геккерн приехал ко мне и принял вызов от имени г-на Дантеса, прося у меня отсрочки на две недели.

Оказывается, что в этот промежуток времени г-н Дантес влюбился в мою свояченицу, мадемуазель Гончарову, и сделал ей предложение. Узнав об этом из толков в обществе, я поручил просить г-на д'Аршиака (секунданта г-на Дантеса), чтобы мой вызов рассматривался как не имевший места. Тем временем я убедился, что анонимное письмо исходило от г-на Геккерна, о чем считаю своим долгом довести до сведения правительства и общества.

Будучи единственным судьей и хранителем моей чести и чести моей жены и не требуя вследствие этого ни правосудия, ни мщения, я не могу и не хочу представлять кому бы то ни было доказательств того, что утверждаю.

Во всяком случае надеюсь, граф, что это письмо служит доказательством уважения и доверия, которые я к вам питаю.

С этими чувствами имею честь быть, граф,  
ваш нижайший и покорнейший слуга А. Пушкин.

21 ноября 1836».

<sup>8</sup> Я. Л. Левкович. Две работы о дуэли Пушкина. «Русская литература», 1970, № 2, стр. 212.

О загадочности этого послания писали не раз.

Первая загадка опять та же, что и загадка пасквиля-«диплома»: откуда мы знаем этот текст? П. Е. Щеголев сообщал, что в «секретном досье III Отделения такого письма к Бенкендорфу не оказалось», в бумагах Пушкина сохранились лишь клочки черновика. Однако во всех рукописных сборниках дуэльных документов текст письма помещается на втором месте (после «диплома»-пасквиля) под заглавием «Письмо Пушкина, адресованное, кажется, графу Бенкендорфу». Нелегко понять происхождение этого «кажется». П. Е. Щеголев одно время считал адресатом письма не Бенкендорфа, а другого графа — К. В. Нессельроде и старался при этом решить вторую загадку этого документа: дошел ли он туда, куда главным образом предназначался, — к царю? Враг поэта Нессельроде, по мнению Щеголева, письмо, возможно, «скрыл в тайнике своего стола и не дал ходу»<sup>9</sup>. Еще раньше П. И. Бартнев утверждал, что Пушкин писал Бенкендорфу, но «послать это письмо он не решился: ему тяжело было призывать власть к разбору его личного дела... Будь оно послано по назначению, жандармское ведомство было бы обязано принять меры к предупреждению рокового поединка»<sup>10</sup>.

Бартнев и Щеголев не случайно допускали, что важное письмо не дошло: действия властей после гибели Пушкина были таковы, будто только в конце января 1837 года они узнали обо всем деле. Только тогда началось расследование о пасквили, роли Геккерн и прочем, словно не было никаких предупреждений и объяснений, сделанных еще в ноябре 1836 года.

Реальная жизненная ситуация оказалась, однако, более неожиданной, чем исследовательские построения, и в том же 1928 году, когда вышло третье издание книги Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина», сам Щеголев обнаружил в камерфурьерском журнале запись, опровергавшую его прежнюю гипотезу. Оказывается, 23 ноября 1836 года состоялось свидание Пушкина с царем в присутствии Бенкендорфа.

После этого никто из исследователей, кажется, уже не сомневается, что письмо от 21 ноября 1836 года было Пушкиным отправлено именно шефу жандармов и следствием этого явилась высочайшая аудиенция от 23 ноября: случайное совпадение этих двух фактов весьма маловероятно, если учесть исключительность таких встреч поэта с царем.

Тут вспомним, кстати, что после смерти Пушкина текст «диплома»-пасквиля скорее всего был добыт доброжелателем поэта из недр III отделения, ведомства Бенкендорфа. Кажется, та же рука скопировала и пустила в обращение второй секретный и важный документ, также находившийся среди бумаг шефа жандармов. Но об этом удивительном обстоятельстве позже... Пока же подчеркнем, что письмо Пушкина достигло цели, — и в связи с этим возникает третья его загадка: причина написания. С одной стороны, Пушкин объявляет себя «вправе и даже обязанным» сообщить власти об анонимном пасквили и последовавших событиях, и в то же время письмо почти враждебно к адресату, содержит смелые до дерзости выпады против царя. Слова «мне не подобало видеть, чтобы имя моей жены было в данном случае связано с чьим бы то ни было именем» явно относятся не только к Дантесу; в том же духе звучат строки — «будучи единственным судьей и хранителем моей чести и чести моей жены и не требуя вследствие этого ни правосудия, ни мщения, я не могу и не хочу представлять кому бы то ни было доказательства того, что утверждаю». (Разрядка моя. — Н. Э.)

Противоречия этого письма, однако, легко объясняются, если предположить, что оно само по себе уже является ответом на какие-то мнения высшей власти, сообщенные Пушкину (передать их мог, например, Жуковский)<sup>11</sup>. Имея два эк-

<sup>9</sup> П. Е. Щеголев. Дуэль и смерть Пушкина. 3-е изд. М.—Л. 1928, стр. 456. (В дальнейшем ссылки на это издание — лишь с указанием автора и страницы.)

<sup>10</sup> «Русский архив», 1902, № 10, стр. 235. Кстати, распространено ошибочное мнение, будто подлинник письма был в руках его первого (в легальной печати) публикатора А. Н. Аммосова. Это недоразумение — Аммосов употреблял слово подлинник, имея в виду подлинный, французский текст в отличие от русского перевода.

<sup>11</sup> См. М. И. Яшин. Хроника преддуэльных дней. «Звезда», 1963, № 9, стр. 167—168.

земляра пасквиля и другую разнообразную информацию, царь и Бенкендорф не только были в курсе главных событий, но и воздействовали на них. Тогда понятен «контратакующий» тон пушкинского письма от 21 ноября.

Восстановив по косвенным данным содержание беседы Пушкина с царем, состоявшейся 23 ноября 1836 года, М. И. Яшин подчеркивал бездействие Николая после этих событий: «В ноябрьские дни Николай знал все: и пасквиль, и подготовку дуэли, но ничего не предпринял... предпочитая ожидать дуэли»<sup>12</sup>.

Такое определение, однако, упрощает, модернизирует проблему: Яшин тут же соглашается, что именно во время этой аудиенции с Пушкина было взято слово не драться, не дав царю «знать наперед» (об этом знал П. И. Бартенев со слов Вяземских). Какие-то предупреждения, вероятно, были посланы и Геккернам, причем последние легче, чем Пушкин, могли заверить царя в своем миролюбии: ведь это позволяло им продолжать козни с меньшей, как им казалось, угрозой расплаты. Николай I действительно мог искренне думать, что сделал многое для предотвращения конфликта...

### III

Прошло два месяца. 27 января 1837 года состоялась дуэль, 29 января Пушкина не стало. Царь, не принявший никаких особых мер против Геккерна в ноябре, после смерти поэта, как известно, повел дело весьма круто: с позором, без прощальной аудиенции из Петербурга был выслан посол «родственной державы» (голландская королева Анна Павловна — родная сестра Николая I). Щеголев и другие исследователи соглашались в том, что эти действия царя — не просто расплата за гибель поэта. Очевидно, Николай был задет лично. Но чем же? Анонимным пасквилом? Однако его текст был известен «наверху» еще в ноябре 1836 года, и тогда никаких мер в отношении Геккерна принято не было. К тому же уверенность Пушкина в авторстве Геккерна совсем не обязательно должна была разделяться Николаем. Даже сейчас, почти полтора века спустя, мы не имеем реальных (возможно, известных Пушкину) доказательств прямой причастности голландского посланника к анонимным письмам.

Загадка требовала дополнительных разысканий, и П. Е. Щеголев справедливо заключил, что «император Николай Павлович был хорошо осведомлен о причинах и обстоятельствах несчастной дуэли. Он имел о деле Пушкина доклады графа Нессельроде, графа Бенкендорфа и В. А. Жуковского. Всего того, что было ведомо Николаю Павловичу, мы, конечно, не знаем, и потому особый интерес приобретают все письменные высказывания Николая по делу Пушкина, какие только могут найтись».

Собирая эти высказывания, Щеголев еще более полувека назад обратил внимание на строки из письма Николая к Анне Павловне от 3 (15) февраля 1837 года:

«Пожалуйста, скажи Вильгельму<sup>13</sup>, что я обнимаю его и на этих днях пишу ему, мне надо много сообщить ему об одном трагическом событии, которое положило конец жизни пресловутого Пушкина<sup>14</sup>, поэта; но это не терпит любопытства почты».

Щеголев думал, что именно в откровенном письме к Вильгельму Оранскому, отправленном со специальным курьером, содержатся важные сведения об истинной причине изгнания Геккерна, и пытался получить сведения в голландских архивах.

«Ввиду особой важности этого письма, — сообщал ученый, — Комиссия по изданию сочинений Пушкина, по моему ходатайству, приложила нарочитые старания

<sup>12</sup> М. И. Яшин. Хроника преддуэльных дней. «Звезда», 1963, № 9, стр. 169.

<sup>13</sup> Вильгельм Оранский, муж Анны Павловны, король Голландии Вильгельм II с 1840 года по 1849 год (до 1840 года принц Оранский был долгое время регентом вместо больного отца, короля Вильгельма I).

<sup>14</sup> Щеголев переводил «весьма известного Пушкина»; перевод уточнен в статье Е. В. Музы и Д. В. Сеземана «Неизвестное письмо Николая I о дуэли и смерти Пушкина». «Временник Пушкинской комиссии. 1982». М.—Л. 1983, стр. 39.

к разысканию как этого письма, так равно и тех писем Николая Павловича к Анне Павловне, в которых могли бы оказаться упоминания об истории Пушкина... С тем большим сожалением приходится констатировать, что поиски этого письма были безрезультатны. По сообщению Голландского Министерства, этого письма не оказалось в архивах Королевского дома и Кабинета Королевы. Не оказалось его и в Веймарских архивах. Сохранилось ли оно? Не уничтожено ли по соображениям щепетильности? Или же, по этим соображениям, не считается ли оно не подлежащим ни оглашению, ни даже ведению? Будем все-таки надеяться, что со временем этот пробел в источниках для биографии Пушкина будет заполнен»<sup>15</sup>.

В 30-х годах голландские исследователи И. Баак и П. Грюйс опубликовали некоторые неизвестные прежде депеши и другие материалы из Государственного архива Голландии, связанные с Геккерном и Дантесом, однако письмо, которое «не терпит любопытства почты», осталось недостижимым<sup>16</sup>.

Автор данной статьи рассудил, что если главное искомое письмо может храниться где-то в западноевропейских архивах, то в наших хранилищах могут найтись интересные от в е т ы западных монархов на письмо Николая I, касающееся гибели Пушкина.

В рукописном собрании библиотеки Зимнего дворца сохранилось очень мало писем Анны Павловны своим петербургским родственникам. О Пушкине или его врагах там ни слова.

Куда более ценными оказались письма принца Вильгельма Оранского Николаю I за 1836 и 1837 годы, и среди них ответ на секретное послание царя, отправленное в феврале 1837 года<sup>17</sup>.

Первое послание Вильгельма, существенное для нашей темы, было, однако, написано еще за месяц до появления пасквилей и начала дуэльной истории — 26 сентября (8 октября) 1836 года. Вот его текст (за вычетом неинтересных для нас сюжетов):

«Я должен сделать тебе, мой друг, один упрек, так как не желаю ничего тать против тебя. Как же это случилось, мой друг, что ты мог говорить о моих домашних делах с Геккерном как с посланником или в любом другом качестве? Он изложил все это в официальной депеше, которую я читал, и мне горько было узнать таким путем, что ты думаешь о моих отношениях с твоей сестрой. Я надеялся до сей поры, что мои домашние дела по крайней мере не осудит никто из близких Анны, которая знает всю истину» (л. 8—8 об.).

10 (22) октября 1836 года Николай отправил в Гаагу с курьером не дошедшее к нам письмо, видимо, успокаивавшее монарха-родственника. 30 октября (11 ноября) Вильгельм Оранский отвечал:

«Я должен тебе признаться, что был потрясен и огорчен содержанием депеши Геккерна, не будучи в состоянии ни объяснить ситуации, ни исправить твою ошибку; но теперь ты совершенно успокоил мою душу, и я тебя благодарю от глубины сердца. Я тебе обещаю то же самое, при сходных обстоятельствах» (л. 11).

Ситуация довольно ясная: русский император забыл, что в Голландии — конституционная монархия и зависимость послов от главы государства иная, нежели в России. Заговорив с Геккерном о каких-то обстоятельствах семейной жизни ко-

<sup>15</sup> Щеголев, 305—306.

<sup>16</sup> U. C. Baak et P. van Panhuys Polman Gruys. Les deux Barons Heeckeren. Revue des études Slaves. 1937, т. 17, №№ 1—2, стр. 18—45 (краткое изложение в статье Г. Моргулиса «Новые документы об убийце Пушкина». Журнал «Литературный современник», 1937, № 2); авторы статьи сообщают, что для них остались недоступными архив Высшего совета знати («Archives du haut Conseil de la Noblesse») и архив фамилии Геккернов, находящийся в провинции Гельдерн.

<sup>17</sup> Центральный государственный архив Октябрьской революции, высших органов государственной власти и органов государственного управления СССР (ЦГАОР), ф. 728 (рукописное собрание библиотеки Зимнего дворца), оп. 1, № 1466, часть VIII. Письма принца Оранского к императору Николаю I. 1813—1839; на французском языке (в дальнейшем ссылки на листы этого дела — прямо в тексте).



ролевой четы, Николай I невольно выдал принца его конституционному кабинету, чем «потряс и огорчил» родственника. Ненависть Николая ко всяким демократическим институтам общеизвестна; добавим, что и Вильгельм Оранский пытался, впрочем без успеха, усилить роль главы государства в Голландии. Очевидно, следствием депеши Геккерна должна была явиться неприязнь к нему обоих монархов, тем более что, по их мнению, посол искажил мысль Николая, и лишь письмо самого императора от 10 (22) октября открыло истину и «успокоило душу» принца. За такую провинность Геккерну не могли, конечно, дать отставку в Голландии, однако эпизод этот, как увидим, не был забыт, и гибель Пушкина явилась тем «сходным обстоятельством», при котором Вильгельм сумел отблагодарить царя.

Как известно, 30 января (11 февраля) 1837 года, на другой день после смерти Пушкина, Геккерн послал своему министру иностранных дел барону Верстолку ван Зеелену первую депешу о происшедшем событии, изображая себя и Дантеса в выгоднейшем свете и не допуская даже мысли об отставке. Однако через два дня, 2 (14) февраля, после отпевания тела Пушкина, Геккерн послал уже куда более растерянную и взволнованную депешу. На этот раз посол писал о возможной своей отставке, но предостерегал министра: «Немедленное отозвание меня было бы громогласным выражением неодобрения моему поведению... Совесть моя говорит, что я не заслуживаю такого приговора, который сразу погубил бы всю мою карьеру». 3 (15) февраля Геккерн апеллировал к Вильгельму Оранскому с просьбой о назначении к другому двору. Очевидно, за два-три дня обстановка в петербургских верхах переменялась. Хотя следствие, которое вел Бенкендорф вокруг гибели Пушкина, не дало видимых результатов, царь принял решение — прогнать Геккерна. Именно 3 февраля 1837 года Николай отправил цитированное выше письмо Анне Павловне, извещая, что будет писать Вильгельму с курьером. Тогда же, 3 февраля, было отправлено и другое, известное, письмо Николая брату Михаилу Павловичу (лечившемуся за границей), где говорилось о «гнусном поведении» Дантеса и Геккерна, причем последний аттестовался «сводником» и «гнусной канальей».

На другой день, 4 февраля, царь описал происшедшие события в письме к своей сестре Марии Павловне, герцогине Саксен-Веймарской, отзываясь о Пушкине с пренебрежением и скорее сочувствуя Дантесу (о Геккерне вообще не говорилось)<sup>18</sup>.

Заметим, что Николай I не хочет распространения известий о Геккерне: сестрам Анне и Марии он не сообщает никаких подробностей на его счет. И только с Михаилом Павловичем, как самым близким, весьма откровенен. Очевидно, царь считал дело Геккерна щекотливым, поэтому не желал лишней огласки, опасаясь оказаться одним из действующих лиц всей истории: к тому же для общественного мнения Николай I находил важным подчеркивать предсмертное обращение поэта к христианству и благодеяния, оказанные его семье. Распространение толков о Геккерне и Дантесе усиливало бы впечатление правоты и мученичества поэта.

В те же дни, когда царь отправил своим августейшим родственникам три известных сообщения о смерти Пушкина, было послано и четвертое сообщение — Вильгельму Оранскому: не то, которое позже пойдет со специальным курьером, а, видимо, краткое, предварительное. Обычное почтовое время от Петербурга до Гааги составляло примерно неделю, и 12 (24) февраля принц Оранский уже отвечал Николаю:

«Дорогой Николай!

Всего два слова, чтобы использовать проезд курьера, тем более что Поццо<sup>19</sup> послал его сюда по моей просьбе, не зная, что я имел бы случай отвечать на твое письмо о деле Геккерна через посредство стремительно возвращающегося Геверса, который вот уже три дня в пути.

<sup>18</sup> «Временник Пушкинской комиссии. 1962», стр. 39.

<sup>19</sup> Граф Поццо-ди-Борго, русский посол в Англии.

Я пишу тебе очень поспешно: сегодня у нас святая пятница и приготовления к причастию.

Геккерн получит полную отставку тем способом, который ты сочтешь за лучший. Тем временем ему дан отпуск, чтобы удалить его из Петербурга.

Все, что ты мне сообщил на его счет, вызывает мое возмущение, но, может быть, это очень хорошо, что его миссия в Петербурге заканчивается, так как он кончил бы тем, что запутал бы наши отношения бог знает с какой целью» (л. 17—18).

Из письма принца видно, что царь уже намекнул в своем послании на необходимость отзыва Геккерна, но не сообщил особых подробностей, и Вильгельм склонен еще соблюсти декорум — дать послу отпуск, чтобы удалить из России. Нетрудно заметить, что принц сразу связал новую ситуацию с прежней, то есть с той обидой, которую прошедшей осенью Геккерн нанес двум монархам, изложив в официальной депеше свою беседу с Николаем I (намек на запутывание отношений «бог знает с какой целью»).

Наконец, 8(20) марта 1837 года Вильгельм Оранский отвечал на доставленное курьером то самое письмо Николая I от 15(27) февраля 1837 года, которое не терпело «любопытства почты»<sup>20</sup>.

Вот текст основной части ответного послания из Гааги:

«Дорогой, милый Ники!

Я благополучно получил твое письмо от 15(27) февраля с курьером, который отправился отсюда в Лондон, и я благодарю тебя от всего сердца. Та тщательность и старание, с которыми ты счел нужным сообщить об этой несчастной истории, касающейся Геккерна, являются для меня новым свидетельством твоей старинной и доброй дружбы.

Я признаюсь тебе, что все это мне кажется по меньшей мере гнусной историей, и Геккерн, конечно, больше не может после этого представлять моего отца перед тобою; у нас тут ему уже дана отставка, и Геверс, с которым отправляется это письмо, вернется в Петербург в качестве секретаря посольства, чтобы кто-либо все же представлял перед тобою Нидерланды и чтобы дать время сделать новый выбор. Мне кажется, что во всех отношениях Геккерн не потеря и что мы, ты и я, долгое время сильно обманывались на его счет. Я в особенности надеюсь, что тот, кто его заменит, будет более правдивым и не станет изобретать сюжеты для заполнения своих депеш, как это делал Геккерн.

Здесь никто не поймет, что должны были значить и какую истинную цель преследовало усыновление Дантеса Геккерном, особенно потому, что Геккерн подтверждает, что они не связаны никакими кровными узами. Геккерн мне написал по случаю этого события. Я посылаю тебе это письмо, которое повторяет его депешу к Верстолку, где он знакомит того со всей этой историей; также пересылаю и копию моего ответа (Геккерну), который Геверс ему доставит; я прошу тебя после прочтения отослать все это ко мне обратно...»

На этом основная для нас часть письма заканчивается. Следующая фраза: «Здесь мы провели зиму по-своему восхитительно» и т. д. (л. 19—20).

Сквозь это послание Вильгельма Оранского, конечно, «просвечивает» исчезнувшее письмо Николая I от 15 (27) февраля. Как и в предыдущем ответе Вильгельма, имя Пушкина не встречается: для принца все это — «история, касающаяся Геккерна». Вероятно, такова же была и тональность письма императора. Для обоих монархов самое существенное во всем эпизоде, конечно, действия голландского посланника, неподобающие его званию.

В каких же действиях обвиняется Геккерн?

Письмо Вильгельма содержит термины и обороты, очевидно, повторяющие или приближающиеся к соответствующим высказываниям Николая. Слова «гнусный», «гнусность поведения», характеристики двойной игры и лживости посла со-

<sup>20</sup> Щеголев считал днем написания сокровенного письма Николая 22 февраля (по открытой им дате отъезда курьера). Однако подробное письмо было написано царем раньше и, видимо, целую неделю дождалось специального курьера!

держались в упомянутом письме Николая к Михаилу Павловичу от 3 (15) февраля и, вероятно, были повторены в письме к принцу Оранскому<sup>21</sup>.

В конце письма Вильгельм, видимо, в соответствии с темами, развитыми Николаем, останавливается на щекотливой проблеме усыновления и истинных отношениях между Дантесом и Геккерном (в словах «здесь никто не поймет истинной цели усыновления» слышится эхо каких-то обвинений, высказанных царем по этому поводу).

Итак, из письма Вильгельма видны, по крайней мере, два пласта, составляющих письмо Николая: во-первых, о гнусности и лживости Геккерна (примерно в том же духе, как это было изложено Михаилу Павловичу), во-вторых, вопрос об усыновлении. Возможно, Николай сообщал Вильгельму и какие-либо неизвестные нам подробности, однако скорее всего письмо царя и по системе доказательств было похоже на послание Михаилу; беспокойство же императора насчет «любопытства почты» является, вероятно, намеком на голландских министров и парламентариев, склонных вмешиваться в личные дела монархов (все та же осенняя депеша Геккерна!). Ведь не русские же почтари дерзнут вскрывать пакеты императора, «любопытство» же голландцев будет преодолено личным курьером — от одного монарха к другому... И снова отметим, что в последнем из цитированных писем Вильгельм опять настойчиво связывает случившееся с прежним поступком Геккерна («изобретение сюжетов», «мы оба сильно обманывались...»).

Не ожидая, таким образом, сенсационных откровений в письме Николая от 15(27) февраля 1837 года, заметим одну важную подробность: в этом послании (насколько можно судить по ответу Вильгельма), как и в письме к Михаилу Павловичу, царь отчасти пользовался аргументацией самого Пушкина. Последнее преддуэльное письмо поэта к Геккерну (от 25 января 1837 года) было, конечно, доставлено царю сразу же после поединка. Николай не имел оснований сомневаться в правдивости Пушкина, доказавшего кровью серьезность своих обвинений. Положив рядом письмо-вызов Пушкина, цитированное послание Николая I Михаилу и обнаруженные письма Вильгельма Оранского к Николаю, можно найти ряд совпадений, по-видимому не случайных. Намек на противоестественные отношения Геккерна и Дантеса содержался в словах Пушкина о «незаконнорожденном или так называемом сыне»; Пушкин писал: «Вы говорили, что он (Дантес) умирает от любви к ней» (Н. Н. Пушкиной); Николай — Михаилу: «Геккерн... сам сводничал Дантесу в отсутствии Пушкина, уговаривая жену его отдаться Дантесу, который будто умирал к ней любовью». Фраза в письме Пушкина: «Вы, представитель коронованной особы, вы отечески сводничали вашему сыну» — была, надо полагать, основной формулой при объяснении Николая с Вильгельмом Оранским.

Тема «анонимных писем», резко выраженная в ноябрьском письме поэта к Геккерну, приглушена в январском, ибо со времени пасквилией прошло почти три месяца. Вероятно, не поднимался этот вопрос и в переписке Николая I с Вильгельмом Оранским, хотя Геккерн, оправдываясь перед Нессельроде, говорил о двух обвинениях в его адрес, которые «могли дойти до сведения государя», — сводничестве и анонимных письмах<sup>22</sup>.

Подведем некоторые итоги.

Царь выдвинул (и Вильгельм Оранский принял) в качестве основного аргумента для отозвания Геккерна нарушение дипломатом нравственности и порядка, вызвавшее запрещенную законом дуэль и гибель одного из ее участников. Одна-

<sup>21</sup> Напомним соответствующие строки из письма Николая к Михаилу Павловичу: «Хотя никто не мог обвинять жену Пушкина, столь же мало оправдывали поведение Дантеса, а в особенности гнусного его отца... Порицание поведения Геккерна справедливо и заслужено; он точно вел себя, как гнусная каналья. Сам сводничал Дантесу в отсутствии Пушкина, уговаривая жену его отдаться Дантесу, который будто умирал к ней любовью... Жена Пушкина открыла мужу всю гнусность поведения обоих» (Щегелев, 67).

<sup>22</sup> Щегелев. 321—323.

ко, кроме этого, царь руководствовался и дополнительными мотивами для изгнания Геккерна, хотя держал их про себя.

Первым таким мотивом была, без сомнения, депеша 1836 года, где посол разгласил то, чего, по понятиям императора, разглашать не следовало. Второй виной голландского посла мог считаться анонимный пасквиль, и прежде всего содержащийся в нем выпад против самого царя. Третьим, и последним, эпизодом была дуэль и гибель Пушкина.

Не следует, конечно, забывать при этом расчете общественное возмущение, закипевшее при известии о гибели поэта, а также стремление царя завоевать популярность как обеспечением семьи Пушкина, так и изгнанием Геккерна. Однако главным для Николая I было не столкновение Пушкин — Геккерн, а конфликт Геккерн — царь, в котором гибель поэта была лишь завершающим эпизодом.

Оценивая все известные нам перипетии отношений верховной власти с поэтом накануне его гибели, необходимо сделать несколько замечаний.

Существует два довольно распространенных, но явно недостаточных, узких подхода к истории последних дней Пушкина. Один, наиболее ранний, все сводит к непосредственным причинам событий. Таковы суждения типа «Пушкин стрелялся из ревности», «Пушкина погубили козни Бенкендорфа» и т. п. Другая концепция более социологична: «Пушкина погубила феодально-крепостническая система» или что-либо в этом роде.

Эти объяснения необходимы, но весьма недостаточны. Часто забывают о том звене, которое находится между общим социально-политическим фоном и самим событием, историческим фактом. Речь идет о мотивах, внутренних побуждениях главных действующих лиц.

Между самодержавно-крепостническим фоном всего происходившего и трагической развязкой — сложное сцепление мыслей, явных и секретных мотивов поведения самого поэта, его врагов, окружающих лиц. Что касается роли царя, то давно ушла в прошлое упрощенная схема событий, когда Николай I рисовался то исключительно благодетелем Пушкиных (вся роль которого в дуэльной истории сводилась к утешению умирающего и материальному обеспечению его семьи), то руководителем заговора, направленного на уничтожение поэта. Между тем проблема, требующая всестороннего разбора, заключается в том, что субъективного намерения губить Пушкина у царя не было; наоборот: он принял кое-какие, с его точки зрения достаточные меры, а после — наказал убийцу поэта. Однако царь не мог не губить Пушкина по своему положению главы существующей системы российского деспотизма. Пушкин действительно задыхался, был подавлен, в конце концов, не мог ужиться с сановным Петербургом, хотя пытался это сделать. Можно сказать в этом смысле, что система Николая душила и убила поэта одним фактом своего существования.

К этому должно сделать лишь одно уточнение. Пределы царских понятий о порядке и законности не были узки, и внутри них Николай I все же мог избрать несколько вариантов поведения в отношении разных людей. При недоверии к Пушкину, нелюбви к нему, о чем сохранилось множество свидетельств, царь не сделал для предотвращения дуэли всего того, что мог бы сделать при сходных обстоятельствах для какого-либо любезного его сердцу царедворца (например, отправить одного из противников в отпуск, в деревню, за границу и т. п.). Николай I с ноября 1836 года по февраль 1837 года действовал, не отступая от своих понятий о порядке и законности, но эти действия были явно недостаточны для предотвращения трагедии. О судьбе лучших людей того времени Герцен писал: «Погибают даже те, которых пощадило правительство».

#### IV

Переписка Николая I с августейшими родственниками утверждала определенную версию насчет дуэли и смерти Пушкина.

Правительство, конечно, находило полезным распространение сведений о

благоденствиях, оказанных семье погибшего, и его христианской кончине<sup>23</sup>. Официальное толкование событий отнюдь не было примитивной ложью. Царь действительно погасил громадные долги Пушкина, поэт действительно принял перед смертью священника. Искажение правды осуществлялось не прямым фальсифицированием разрешенных фактов, но в основном умолчанием о других фактах, неразрешенных.

Важнейшие документы о дуэли и смерти Пушкина (прежде всего «диплом»-пасквиль и письмо Пушкина Бенкендорфу от 21 ноября 1836 года) задевали, компрометировали власть (чего стоит намек анонимного «диплома» на роль самого царя и резкие фразы в письме Пушкина к Бенкендорфу). И тем более интересно, что сразу после кончины поэта, когда еще не завершилась переписка Петербурга и Гааги насчет отставки Геккерна, именно тогда начал формироваться тот самый сборник дуэльных материалов, о котором уже говорилось в начале статьи. Это была первая и на многие годы вперед единственная попытка друзей Пушкина представить главные вехи случившегося. Впервые этот комплекс документов был напечатан четверть века спустя вместе с другими запрещенными и потаенными текстами Пушкина и о Пушкине в бесцензурном журнале Герцена и Огарева «Полярная звезда» (VI книга, вышедшая в начале 1861 года). Те же самые документы в том же порядке (но без анонимного пасквиля, не пропущенного цензурой) появились в 1863 году в России — в составе книги А. Н. Аммосова «Последние дни жизни и кончина Александра Сергеевича Пушкина». Аммосов сообщал, что получил документы от друга и секунданта Пушкина Данзаса, однако Данзас не был в те годы единственным их обладателем: уже говорилось о десятках списков, сохранившихся в архивах различных деятелей 1840—1850-х годов.

Напомним состав дуэльных сборников: в них двенадцать (иногда тринадцать) документов, которые имеют обычно следующие заглавия:

1. Два анонимных письма к Пушкину, которых содержание, бумага, чернила и формат совершенно одинаковы.
2. Письмо Пушкина, адресованное, кажется, на имя графа Бенкендорфа 21 ноября 1836 года.
3. От Пушкина к Геккерну-отцу.
4. Ответ Геккерна.
5. Записка от Аршиака. 26 января 1837 года.
6. „ „ „ 27 января 1837 года, 9 часов утра.
7. „ „ „ 27 января 1837 года.
8. Визитная карточка Аршиака.
9. Письмо Пушкина к Аршиаку. 27 января между 9<sup>1/2</sup> и 10 часами утра.
10. От Аршиака к Вяземскому. 1(13) февраля 1837 года.
11. Князю Вяземскому от Данзаса.
12. От графа Бенкендорфа к графу Строганову.

В ряде списков вслед за этим идет еще тринадцатый документ — письмо Вяземского московскому почт-директору А. Я. Булгакову от 15 февраля 1837 года.

Уже из одного этого перечня видна немалая роль П. А. Вяземского в составлении сборника.

Документ № 10 — послание д'Аршиака Вяземскому — начинается со слов: «Князь. Вы хотели знать подробности грустного происшествия, которого я и г. Данзас были свидетелями. Я их сообщу Вам, и прошу Вас передать это письмо г. Данзасу для его прочтения и удостоверения подписью». Следующий, одиннадцатый

<sup>23</sup> Когда в бумагах умершего Пушкина обнаружилось стихотворение «Молитва» («Отцы пустынники и жены непорочны...»), В. А. Жуковский представил его царю и затем сообщил в редакцию «Современника» (скорее всего В. Ф. Одоевскому): «Государь желает, чтобы эта молитва была там факсимилирована как есть и с рисунком. Это хорошо будет в 1-й книге «Современника», но не потерять этого листка; он должен быть отдан императрице». (Впервые опубликовано в малоизвестных «Трудах Черниговской архивной комиссии», 1899, т. II, автограф — в фондах Черниговского исторического музея, № 349). Приказание Николая I было исполнено и стихотворение Пушкина факсимильно воспроизведено в «Современнике» 1837 года № 1 — первом номере после Пушкина.

цатый документ сборника — письмо Данзаса Вяземскому — является опровержением некоторых утверждений д'Аршиака о ходе дуэли и появляется после того, как Вяземский показывает секунданту Пушкина письмо секунданта Дантеса.

В эти же дни Вяземский взывает к другим осведомленным друзьям погибшего сохранить точные свидетельства о случившемся. Поэта уберечь не удалось, но можно попытаться спасти память о нем от лживых домыслов.

Известное письмо свое А. Я. Булгакову от 5 февраля 1837 года с подробностями насчет последних дней Пушкина Вяземский просит показать И. И. Дмитриеву, М. М. Сонцову, П. В. Нащокину: «Дай им копию с него и вообще показывай письмо всем, кому заблагорассудишь». Мало того — Вяземский сообщает: «Собираем теперь, что каждый из нас видел и слышал, чтобы составить полное описание, засвидетельствованное нами и докторами. Пушкин принадлежит не одним близким и друзьям, но и отечеству, и истории. Надобно, чтобы память о нем сохранилась в чистоте и целости истины». О том, что «собирают» друзья погибшего, видно из одной фразы все того же письма: «После пришло я тебе все письма, относящиеся до этого дела».

Очевидно, подразумевается именно «Дуэльный сборник», о котором мы ведем речь. Через десять дней, 15 февраля 1837 года, Вяземский благодарит Булгакова: «Спасибо за доставленную копию с моего письма, которая пришла вчера очень вовремя и отдана отъезжавшему вчера же генералу Философому для сообщения великому князю». Как видим, полученные свидетельства Вяземский торопится разослать тем лицам, суждения которых много весят в свете. (Денис Давыдов взывал к нему в эти дни: «Скажи мне, как это случилось, дабы я мог опровергнуть многое, разглашаемое здесь бабами обоего пола».) 14 февраля 1837 года датируется самый ранний из всех известных пока сборников дуэльных документов, приложенный к тому самому посланию Вяземского великому князю Михаилу Павловичу, которое отправилось с генералом Философовым.

Брат царя был извещен о гибели Пушкина самим Николаем I (в цитированном письме от 3 февраля 1837 года). Спустя одиннадцать дней Вяземский отправляет Михаилу длинное, дипломатически составленное письмо, описывающее главные обстоятельства последних месяцев пушкинской жизни (опубликовано Щеголевым). К письму были приложены и главные «дуэльные документы», позже оказавшиеся в архиве герцогов Мекленбург-Стрелицких — прямых потомков Михаила Павловича<sup>24</sup>. 14 февраля 1837 года Вяземский отправил 8 документов (из 12, составивших «Дуэльный сборник»): анонимный пасквиль, письма Пушкина Бенкендорфу, Геккерну, ответ Геккерна, переписку Пушкина с д'Аршиаком (кроме того, Вяземский послал Михаилу Павловичу «Условия дуэли», не вошедшие в «Дуэльный сборник»). Нетрудно понять, откуда пришло к Вяземскому большинство документов. Кроме писем, ему адресованных, он сам, а также близкие друзья в первые же дни после 29 января общались с д'Аршиаком. Но особенно важно, что Вяземский через семнадцать дней после гибели Пушкина располагает не только текстом анонимного пасквиля, но также и письмом Пушкина графу Бенкендорфу от 21 ноября 1836 года.

В начале статьи говорилось, что к появлению этих документов в дуэльных сборниках, вероятно, было причастно некое лицо, имевшее доступ к секретным бумагам шефа жандармов и способное, например, сопоставить два экземпляра пасквиля, находившихся в архиве III отделения. Лицо это можно назвать, исходя из следующей заметки П. И. Бартенева, появившейся в «Русском архиве» в 1902 году:

«Когда, по кончине Пушкина, описывали и опечатавали комнату, где он скончался, Миллер взял себе на память из сертука, в котором Пушкин стрелялся, известное письмо его на имя гр. Бенкендорфа. Пушкин написал его, исполняя обещание, данное в ноябре 1836 года государю уведомить его (через гр. Бенкен-

<sup>24</sup> Они хранятся сейчас в ЦГАОР, ф 666 (великого князя Михаила Павловича), оп. 1, № 563; копия письма и приложений к нему, снятая в прошлом веке для Лицейского музея, — в ПД, ф. 244, оп. 18, № 103, л. 60.

дорфа), если ссора с Дантесом возобновится, но послать это письмо он не решился: ему тяжело было призывать власть к разбору его личного дела. Миллер показывал нам это письмо в подлиннике. Будь оно послано по назначению, жандармское ведомство было бы обязано принять меры к предупреждению рокового поединка».

В заметке этой не все ясно: известное письмо Пушкина на имя Бенкендорфа, как мы теперь знаем, было 21 ноября 1836 года отослано по адресу. Автор, разумеется, мог оставить себе копию столь важного послания, но не совсем понятно — зачем держать ее при себе во время дуэли?

Может быть, в «дуэльном сертуке» лежало другое письмо к Бенкендорфу, где Пушкин извинялся в нарушении данного царю слова — не драться без оповещения верховной власти? (Эту возможность допускал М. А. Цявловский.) Однако авторитетный свидетель Бартнев видел письмо «в подлиннике» и свидетельствует, что это именно «известное письмо Пушкина...», то есть написанное 21 ноября 1836 года и вошедшее во все дуэльные сборники. Оставим в стороне противоречия бартневской заметки, может быть, порожденные ошибками памяти и давностью события. Обратимся к человеку, который сохранил письмо Пушкина в подлиннике, — М и л л е р у.

## V

Павел Иванович Миллер (1811—1885) был лицеистом VI курса (выпуск 1832 года). Его мать — сестра начальника московских жандармов генерала А. А. Волкова, одного из приближенных Бенкендорфа. Вероятно, этим объясняется та должность, которую Павел Миллер занял сразу же после окончания лицея. В личном деле Миллера сохранилось следующее отношение А. Х. Бенкендорфа к министру юстиции Д. В. Дашкову от 19 февраля 1833 года:

«На основании высочайше утвержденного... штата корпуса жандармов, я определил выпущенного из Царскосельского лицея с чином 9 класса воспитанника Павла Миллера на имеющуюся при мне вакансию секретаря, о чем и имею честь уведомить Ваше высокопревосходительство для надлежащего сведения Герольдин»<sup>25</sup>.

Личный секретарь второй персоны империи графа Бенкендорфа, разумеется, получал доступ к секретнейшим материалам. Понятно, молодой выпускник лицея обязан был исполнить то, что ему предписывалось главою страшных и всемогущих карательных учреждений николаевской империи (так, среди бумаг семьи Мухановых сохранился вежливый французский ответ, составленный Миллером от имени Бенкендорфа и извещавший о невозможности существенного улучшения в положении ссыльного декабриста Петра Муханова).

Шеф был, по-видимому, доволен своим секретарем, который прослужил у него двенадцать лет. После смерти Бенкендорфа (1844) Павел Миллер числился некоторое время по почтовому ведомству, а затем в чине действительного статского советника вышел в отставку, уехал в Москву и жил там около сорока лет, до самой смерти... Но случилось так, что личный секретарь Бенкендорфа, исправно исполняя свои обязанности, сохранил в своем внутреннем мире потаенную область, в которую не мог заглянуть даже всевидящий шеф. В той области царил Пушкин. Началось с поклонения младших лицеистов своим «пращурам» (именно так тогда выражались). Когда 27 июля 1831 года Пушкин зашел в лицей, он встретился и разговорился с Павлом Миллером, заканчивавшим курс. Пушкин спрашивал «внука по лицу» о старых учителях, новых лицейских журналах и песнях. «Многие расставленные по саду часовые, — вспоминает Миллер, — ему вытягивались... Когда я спросил, отчего они ему вытягиваются, то он отвечал: «Право, не знаю; разве потому, что я с палкой». Миллер взялся доставать для Пушкина книги из лицейской библиотеки, и Пушкин четыре раза писал молодому человеку.

В одном из писем:

<sup>25</sup> ПД, ф. 157 (архив музея Александровского лицея), № 263.

«Сердечно благодарю вас за книги и за любезное письмо ваше. Когда же исполните вы другое свое обещание — побывать у меня? Внук очень тем обяжет ему сердцем преданного деда».

Воспоминания о встречах с Пушкиным вместе с текстом пушкинских писем были опубликованы Бартеневым в «Русском архиве» через семнадцать лет после смерти Миллера<sup>26</sup>.

Служба при Бенкендорфе не может погасить любовь и интерес к Пушкину, но наступит день, когда эти две жизненные сферы столкнутся — и тогда Миллер и выберет сторону Пушкина.

В конце апреля 1834 года московская почта перехватывает опасное письмо Пушкина к жене. Там говорилось между прочим: «К наследнику являться с поздравлениями и приветствиями не намерен; царствие его впереди; и мне, вероятно, его не видать. Видел я трех царей: первый велел снять с меня картуз и пожурил за меня мою няньку; второй меня не жаловал; третий хоть и упек меня в камерпажи под старость лет, но променять его на четвертого не желаю; от добра добра не ищут...»

О том, что произошло дальше, в 1880 году рассказал в печати сын поэта-лицеиста Деларю. После этой публикации сам Миллер поместил в газете «Новое время», а потом в журнале «Русская старина» некоторые уточнения всей истории. Любопытно, что Миллер не боялся возможных последствий своей откровенности и в письме к своему однокурснику знаменитому академику Я. К. Гроту смущался только тем, «не покажется ли это желанием с моей стороны похвастаться сделанной (Пушкину) услугой»<sup>27</sup>.

Услуга заключалась в том, что Миллер (по должности читавший секретные письма, поступавшие к Бенкендорфу) увидел, как шеф положил копию опасного письма Пушкина в отдел бумаг «для доклада Государю». Зная рассеянность Бенкендорфа, Миллер переложил документ в «обыкновенные бумаги», а также (через посредство М. Д. Деларю) предупредил Пушкина об опасности.

Царь все же узнал от Бенкендорфа суть дела, но без впечатляющих «вещественных доказательств».

Как и ожидал секретарь, начальник забыл о потерянной бумаге: «Я через несколько дней вынул ее из ящика вместе с другими залежавшимися бумагами». На самом деле Миллер не просто вынул, но дерзко присвоил себе некоторые документы, относящиеся к Пушкину. Возмущенный вторжением власти в его семейную переписку, Пушкин негодовал, пытался уйти в отставку и покинуть Петербург. Лишь угроза, что ему не позволят работать в архивах, и уговоры друзей заставили Пушкина переменить решение. В те дни он писал жене: «Мысль, что кто-нибудь нас с тобой подслушивает, приводит меня в бешенство à la lettre<sup>28</sup>. Без политической свободы жить очень можно; без семейственной неприкосновенности... невозможно: каторга не в пример лучше. Это писано не для тебя...»

Летом 1834 года Пушкин трижды письменно объяснялся с Бенкендорфом (3, 4 и 6 июля); писал и Жуковскому, а тот представил полученное письмо шефу жандармов как доказательство раскаяния Пушкина... Но двадцать семь лет спустя, в 1861 году, когда журнал «Библиографические записки» (издававшийся в Москве друзьями и тайными корреспондентами Герцена) впервые опубликовал эти пушкинские письма, было отмечено: «Сообщением этих писем в подлинниках мы обязаны П. И. Миллеру». Из симпатии к Пушкину Миллер пытался облегчить его защиту; интересуясь всем, до Пушкина относящимся, уносил из канцелярии Бенкендорфа пушкинские бумаги, и уносил не раз. Знаменитые секретные при-

<sup>26</sup> «Русский архив», 1902, № 10, стр. 232—235. Рукопись воспоминаний Миллера доставил Бартеневу академик Л. Н. Майков, причем в печатный текст почему-то не попало одно примечание Миллера: рассказывая о том, как он брал для Пушкина книги у своих наставников, Миллер называет профессора Оливье (в «Русском архиве» — О.) и поясняет: «У последнего — Фауста Гёте в оригинале. Остальных книг не припомню после стольких лет». ПД, ф. 244, оп. 17, № 130, л. 3.

<sup>27</sup> Центральный государственный архив литературы и искусства (ЦГАЛИ), ф. 123 (Гроты), оп. 1, № 50, л. 26.

<sup>28</sup> Буквально (франц.)



мечания к «Истории пугачевского бунта», предназначенные для царя, были переданы, как полагалось, через Бенкендорфа; но сегодня их текст мы знаем из копии, снятой приятелем Пушкина и знатоком литературы Н. В. Путятой. Путята отметил в своей тетради, что списал примечания «с манускрипта, писанного рукою Пушкина и сообщенного мне г. М., который был секретарем у графа Бенкендорфа».

Понятно, кто подразумевается под М., и ясно, что М. снял копию или даже унес к себе рукопись пушкинских примечаний, видимо, пропутешествовавшую от Бенкендорфа к царю и обратно.

Всю жизнь — на службе и в отставке — Миллер буквально исповедовал культ Пушкина, и две «ипостаси» этого человека, конечно, могли бы явиться темой для романа или психологического исследования. В архиве Я. К. Грота сохранились его любопытные письма к однокурснику за несколько десятилетий<sup>29</sup>, где мы находим между прочим: 6 февраля 1837 года.

«Спешу уведомить тебя, что граф позволил напечатать стихи твои в Северной пчеле — он расспрашивал меня о тебе, и в подкрепление слов барона я со своей стороны также дал самый лестный отзыв о моем старом и добром брате по Лицею. Спасибо тебе за дань Пушкину; она вылилась прямо из души. Вместе с сим я пишу Гречу, чтобы напечатал твои гекзаметры в своей газете, — и ты, вероятно, завтра или послезавтра прочтешь их в том же совершенном виде, в каком они вылились из-под пера».

Однако даже разрешение самого Бенкендорфа, выхлопотанное его секретарем, не смогло помочь делу. Могущественный враг Пушкина министр народного просвещения С. С. Уваров решительно воспрепятствовал публикации стихов в память Пушкина.

Много лет спустя Грот истребовал у лицейского товарища, уже жившего в Москве, рукопись его воспоминаний о Пушкине. Миллер писал 16 декабря 1859 года: «Насколько позволило мне заглавие моей статьи, настолько упомянул я о тогдашнем быте Лицея, но не более. Личность Пушкина так кружна и так интересна, что все, до нее не касающееся, должно показаться или мелковато, или незначительно. Я, по крайней мере, так думал — и оттого ни о чем другом не распространялся».

1 февраля 1860 года в связи с приближающимся полувековым юбилеем лицея Миллер писал Гроту:

«Благодарю тебя за подробности о приготовлениях к юбилею Лицея. Означать этот день ничем лучше, по-моему, нельзя, как открытием подписки на памятник Пушкину. Давно пора об этом подумать, и если до сих пор об этом в России не думали, то, право, не потому ли, что сама судьба хотела предоставить это дело лицеистам и для этого ждала 50-летнего юбилея? Нет сомнения, что на наш призыв откликнутся десятки тысяч людей. Досадно, что памятник не может поспеть ко дню открытия памятника тысячелетия России, а отпраздновать открытие обоех если не в один день, то в один год было бы очень интересно и знаменательно. А сколько мест, где памятник Пушкину был бы кстати! И в нашем отечестве — Царском Селе, в нашей бывшей ограде, даже, пожалуй, с надписью: *genio loci*<sup>30</sup>, и в большом Царскосельском саду, на берегу озера, куда при кликах лебединых стала являться ему муза, и наконец в Летнем саду, и на более видном месте, нежели Крылов...»

Миллер даже упрекал Якова Грота, крупнейшего знатока русской литературы, в некоторой недооценке роли Пушкина за счет менее значительных лицейских знаменитостей. 12 апреля 1862 года он между прочим пишет:

«Не думаю, душа моя, чтоб письма Илличевского, писанные им из Лицея к товарищу по гимназии, были интересны для публики. Илличевский — не такая

<sup>29</sup> Центральный государственный архив литературы и искусства (ЦГАЛИ), ф. 123 (Я. К., К. Я., и Н. Я. Гроты), оп. 1, № 50; кроме того, некоторые письма Миллера к Я. К. Гроту хранятся в отделе рукописей Пушкинского Дома и Архиве Академии наук СССР. Отдельные выдержки из этой переписки публиковались в сочинениях Я. К. и К. Я. Грозов.

<sup>30</sup> *Гению (доброму духу) места (лат.).*

личность. Что он писал позднее, в зрелом возрасте, и то было довольно дюжинно, а что писал мальчиком, то, вероятно, и подавно... Ты, как лицеист, пристрастный ко всем лицейским, увлекся Илличевским... Эту симпатию я вполне понимаю и уважаю, как твой старый товарищ, но от публики ожидать ее нечего, да и требовать нельзя. А вот возьми за что, любезный друг: собери сочинения Вильг. Кюхельбекера и пополни ими пробел, существующий в нашей литературе. Ведь он для всех интересен и по отношениям к Пушкину и по несчастной судьбе своей. Это издание скорее лежит на твоей литературной и лицейской совести. Изданы же отдельно какие-то Кравцовы, Бешенцовы и *tutti quanti* <sup>31</sup>.

Особенно часто писал Миллер к Гроту в 1879—1880 годах. Он представлял в Москве Комиссию Академии наук по сооружению памятника Пушкину, и эти его «отчеты» очень интересны для искусствоведа: в них отражается каждый этап в создании опекушинского памятника, все споры, затруднения, восторги, финансовые расчеты, шутки по этому поводу. В письме от 11 мая 1880 года Миллер между прочим просит Я. К. Грота упомянуть в какой-нибудь речи (в связи с открытием памятника в Москве) о трех эпизодах, «характеризующих честное и смелое прямодушие Пушкина». Речь идет о хорошо известных фактах: ответе Пушкина на вопрос царя, «был ли бы ты 14 декабря на Сенатской площади вместе с бунтовщиками?», и запрещенных стихах, которые поэт сам представил петербургскому губернатору Милорадовичу. Третий эпизод также попал в Пушкиниану, но для нас важно, что известие о нем исходит от секретаря Бенкендорфа, находившегося «близко к событию».

«Когда гр. Бенкендорф,— сообщает Миллер,— послав за Пушкиным, спросил его: на кого он написал оду на выздоровление Лукулла?— он сказал ему: «на вас» <sup>32</sup>. Бенкендорф невольно усмехнулся. «Вот я вас уверяю, что на вас,— продолжал Пушкин,— а вы не верите; отчего же Уваров уверен, что это на него?» Дело так и кончилось смехом» <sup>33</sup>.

Все сказанное о Павле Миллере как будто ясно рисует его взгляд на Пушкина и тот выбор, который он, если надо, делал между любимым поэтом и грозным шефом. Миллеру легче всего было положить рядом два экземпляра пасквиля, поступившие в III отделение, и снять копию, сопроводив ее пояснениями, что почерки «дипломов» одинаковы, но адрес на конверте написан другою рукою. Письмо же Пушкина к Бенкендорфу от 21 ноября 1836 года Миллер, видимо, как это он делал неоднократно, просто вынул из бумаг шефа (или в самом деле взял авторскую копию послания на квартире погибшего Пушкина?). После этого Миллер мог сам или через посредников сообщить важные тексты Вяземскому, который, как говорилось, имел их в составе «Дуэльного сборника» уже в середине февраля 1837 года.

В июльском номере «Русского архива» за 1888 год имеется еще одно (кроме уже цитированного) упоминание об истории письма Пушкина к Бенкендорфу от 21 ноября 1836 года: все тот же рассказ о Миллере, который будто бы нашел письмо в кармане пушкинского дуэльного сюртука. Но для нас важно, что сообщение помещено среди «рассказов князя Петра Андреевича и княгини Веры Федоровны Вяземских», записанных П. И. Бартевым.

Любопытно само соединение имен Миллера и Вяземского.

Чтобы закончить тему о Вяземском, Миллере и сборнике дуэльных материалов, нужно, однако, сообщить еще два наблюдения.

<sup>31</sup> В послании лицейскому приятелю С. С. Лихонину (7 января 1861 года) П. И. Миллер рассуждал о том, что изданием Кюхельбекера лицейские почтили бы память несчастного собрата и была бы достигнута, кроме того, двойная цель: б л а г о т в о р и т е л ь н а я, потому что «дети покойного, живущие теперь у тетки, родной сестры его, находятся в бедности, и л и т е р а т у р н а я, потому что этим пополнился бы пробел в собрании сочинений русских авторов. Сводка рукописных стихов его досталась мне случайно; достоинства в них немного, но они интересны по личности автора».

Может быть, сводка стихов Кюхельбекера также была изъята секретарем Бенкендорфа из секретных архивов своего начальника?

<sup>32</sup> Ода была направлена против министра просвещения С. Уварова.

<sup>33</sup> ПД, 16.056 / сб. 2 . Письма П. И. Миллера к Я. К. Гроту.

Заглавие документа № 2 «Письмо Пушкина, адресованное, кажется, графу Бенкендорфу», может быть объяснено двояко: возможно, Миллер, отыскав в сюртуке умершего Пушкина письмо с обращением «Граф!», в самом деле лишь предположительно считал его адресованным Бенкендорфу; однако, согласно Бартеневу, секретарь шефа жандармов не сомневался, кому предназначалось это послание. Второе объяснение — Миллер маскировал свою роль: слово «кажется» в заглавии указывало на более дальнюю дистанцию между Бенкендорфом и копиистом письма, чем она была на самом деле.

Первая печатная публикация «Дуэльного сборника» в «Полярной звезде» Герцена заканчивалась несколькими строками, явно принадлежавшими составителю. При этом Герцен и Огарев по неизвестным нам причинам выпустили несколько слов в этом отрывке, которые восстанавливаются по двум авторитетным спискам дуэльных материалов (из бумаг А. Н. Афанасьева и В. И. Яковлева)<sup>34</sup>.

Вот эти заключительные строки (ненапечатанное выделено разрядкой).

«Вот и вся переписка. Она будет, может быть, со временем напечатана в одной повести, если только цензура ее пропустит... Об одном просил бы я вас (похристиански), не давать кому-нибудь этих писем, потому что в них цена потеряется при раздроблении, исказят их и будут все толковать их по-своему; к тому же я дал честное слово не распространять их слишком далеко. (Об этой переписке.) Я скажу, что Пушкин напрасно так жертвовал собою, нам он был нужнее чести его жены, ему же честь жены была нужнее нас, быть может» (кажется, из письма Вяземского).

Здесь много таинственного: любопытно пояснение «кажется, из письма Вяземского», похожее на только что упоминавшееся «кажется, на имя графа Бенкендорфа». Такого письма Вяземского мы не знаем, но это еще ни о чем не говорит: ведь именно Вяземский был главным вдохновителем сборника. Любопытна задача, которую ставит перед собою составитель, — дать цельное (теряющееся при раздроблении) документальное освещение событий. Слова «не распространять их (то есть письма) слишком далеко», очевидно, принадлежат тому, кто сумел скопировать эти ценные материалы.

Хотя в «Дуэльном сборнике» отсутствуют многие важные документы, позже опубликованные пушкинистами, здесь все же представлена версия, немало отличающаяся от официальной; в частности, приведен текст пасквиля-«диплома», письма Бенкендорфу, письма-вызова Геккерну, сопоставление которых могло вызвать недоуменные вопросы — например, «почему власть, все знавшая в ноябре 1836 года, допустила дуэль в конце января?».

С другой стороны, в сборнике никак не представлена роль царя — утешителя умирающего и благодетеля его семьи; письмо Николая I умирающему от 28 января 1837 года («Если бог не велит уже нам увидеться на этом свете...»), записанное, например, А. И. Тургеневым и другими близкими Пушкину людьми, ни в одном списке не фигурирует. Тема сборника — максимально верная история дуэли вопреки всем слухам, пересудам и «клеветущей молве».

Это была первая и на много десятилетий единственная работа, освещавшая дуэль и смерть Пушкина. Ее публикация в Вольной печати Герцена спустя двадцать четыре года сама по себе являлась высокой оценкой гражданского подвига составителей — прежде всего П. А. Вяземского, а также К. К. Данзаса и, очевидно, П. И. Миллера.

Так сразу после гибели поэта начался поединок различных версий и оценок случившегося... Николай I, Михаил Павлович, Бенкендорф, Вильгельм Оранский, Анна Павловна, Мария Павловна и другие высочайшие и высокие особы формировали одну версию случившегося; друзья Пушкина, как могли, пытались приблизить толкование к реальным фактам.

В заключение еще одно соображение. Зная причудливую двоякую роль Павла Миллера в борьбе за память Пушкина, было бы важно понять, какие све-

<sup>34</sup> ПД, ф. 244, оп. 18, № 69, л. 15 об. (список Яковлева). ЦГАОР, ф. 279 (Якушкина), оп. 1, № 1066, л. 36 (список Афанасьева).

дения о Пушкине и Бенкендорфе восходят к нему. Как известно, уже в первом печатном (неполном) издании дуэльных материалов в России — книге А. Аммосова «Последние дни жизни и кончина Александра Сергеевича Пушкина. Со слов бывшего его лицейского товарища и секунданта Константина Карловича Данзаса» — сообщался факт, который приобрел позже зловещую популярность:

«На стороне барона Геккерна и Дантеса был между прочими и покойный граф Б, не любивший Пушкина<sup>35</sup>. Одним только этим нерасположением, говорит Данзас, и можно объяснить, что дуэль Пушкина не была остановлена полицией. Жандармы были посланы, как он слышал, в Екатеринбург, будто бы по ошибке, думая, что дуэль должна была происходить там, а она была за Черной речкой...»<sup>36</sup>

Известно, что многие друзья и почитатели Пушкина, порою преувеличивая, идеализируя роль Николая I, как правило, весьма отрицательно относились к Бенкендорфу. Павел Васильевич Анненков, готовивший первое научное издание пушкинской биографии в начале 1850-х годов, переписывался и беседовал о многих интимных и секретных обстоятельствах с друзьями и знакомыми поэта. Он очень много знал и был человеком объективным; взгляды его, особенно к концу жизни, носили либерально-умеренный характер. И тем не менее Анненков считал Бенкендорфа среди убийц Пушкина. Вот отрывок из неопубликованного письма его к другому известному пушкинисту и организатору пушкинской выставки 1880 года, В. П. Гаевскому<sup>37</sup>. «Я где-то читал, — пишет Анненков, — что на одной стене у Вас красуются портреты гр. Бенкендорфа, Дантеса, княгини Белосельской. Если это верно (они, кажется, не упомянуты в каталоге), то это очень счастливая мысль, за которую Вас следует особенно поблагодарить. Жаль, если это не так и если к этой коллекции не присоединен у Вас еще, для большей полноты, портрет Фаддея Венедиктовича. Напишите мне об этом: очень интересно... Что за прелестная мысль была у Вас выставить портреты убийц Пушкина».

Если признать, что важные документы, связанные с III отделением и Бенкендорфом, мог доставить Вяземскому П. И. Миллер, то, надо думать, сведения Анненкова и Аммосова, шедшие от Данзаса, между прочим, имеют источником сообщения Миллера, хорошо знавшего все, что делал граф Бенкендорф, и по должности своей владевшего многими его секретами.

Если сведения о жандармах, посланных в другую сторону, восходят к Миллеру, это уже не простой слух, а серьезный факт.

На этом мы заканчиваем нашу работу. Новые материалы в нидерландском и веймарском архивах могут дополнить эту историю по первой, «царственной» линии. Не исключено также, что в документах Вяземского и других друзей поэта откроются неизвестные еще тайные пружины их «контратаки».

По сообщению К. П. Богаевской, зафиксированному в дневниковой записи Т. Г. Цявловской 25 февраля 1947 года, в Государственный литературный музей «приходила внучка Павла Ивановича Миллера, химик — назвалась, сказала, что у нее письма Пушкина к ее деду — опубликованные, письмо к Бенкендорфу, еще кое-что... живет в районе Кропоткинской улицы».

К сожалению, история эта не имела никакого продолжения.

«Время, может быть, раскроет их», — писал Вяземский об «адских кознях» вокруг Пушкина, который обо всем этом думал и многое угадывал задолго до 1837 года.

Я видел смерть; она в молчаньи села  
У мирного порогу моего...

Разобраться в этих печальных обстоятельствах — тоже приблизиться к Пушкину, больше прочесть в последней главе его биографии...

<sup>35</sup> Разумеется Бенкендорф.

<sup>36</sup> А. Н. Аммосов, назв. соч., стр. 15, 16.

<sup>37</sup> Государственная публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде, отдел рукописей, ф. 171 (В. П. Гаевского), № 10.

Р. S. Статья уже была сдана в редакцию, когда открылись новые материалы. Дело в том, что находка цитированных писем Вильгельма Оранского к Николаю I послужила поводом для обращения в нидерландские архивы насчет имеющих там материалов о дуэли и смерти Пушкина. Руководство Библиотеки имени В. И. Ленина запросило Государственный архив Нидерландов и Архив нидерландского королевского дома, откуда быстро и любезно прислали перечень документов, числящихся под рубрикой «Affaire Poushkin» («Дело Пушкина»), а затем микрофильм семнадцати (а с приложениями — двадцати) документов, составляющих «Переписку голландского посланника в Петербурге барона Геккерна с министром иностранных дел Нидерландов бароном Верстолком ван Зееленом и другие документы, связанные с дуэлью и смертью Пушкина»<sup>38</sup>. 15 писем на французском языке, 5 — на голландском.

Естествен негерпеливый вопрос: что же нового в этих документах?

Их можно, разумеется условно, разделить на несколько групп.

Во-первых, 10 документов, полностью или в основном напечатанных прежде (в книге П. Е. Щеголева и журнале «Revue des études Slaves», 1937).

Во-вторых, 4 неопубликованных письма и донесения, содержание которых, однако, уже излагалось в прежних исследованиях.

В-третьих, 6 материалов полностью или в основном неизвестных<sup>39</sup>.

Полное научное издание всех этих документов подготавливается для «Временника Пушкинской комиссии» АН СССР. Некоторые материалы печатались до сих пор по копиям и только в русском переводе, отчего ускользают кое-какие детали; наоборот, не все тексты, появившиеся в «Revue des études Slaves», переведены на русский; в тех отчетах Геккерна, из которых была опубликована, так сказать, «пушкинская часть», имеются еще и другие, дипломатические сюжеты, интересные для историка внешней политики.

Наконец, даже специалистам нелегко сегодня пользоваться документами, одну часть которых нужно разыскивать в книгах П. Е. Щеголева, а другую — в редкостном французском «Revue». Пока читателям «Нового мира» будет представлено если не все, то, по крайней мере, наиболее интересное из того, что обнаруживается в нидерландских бумагах.

\* \* \*

В то время, когда монархи договаривались насчет отставки Геккерна, последний всячески пытался оправдаться и в феврале—марте 1837 года много писал к своему министру иностранных дел Верстолку и Вильгельму Оранскому. Особенно примечательно для манеры самозащиты посла его письмо от 2(14) февраля 1837 года<sup>40</sup>:

«Долг чести повелевает мне не скрыть от Вас того, что общественное мнение высказалось при кончине г. Пушкина с большей силой, чем мы предполагали. Но необходимо выяснить, что это мнение принадлежит не высшему классу, который понимал, что в таких роковых событиях мой сын по справедливости не заслуживал ни малейшего упрека: его поведение было достойно честного человека...

Чувства, о которых я теперь говорю, принадлежат лицам из третьего сословия, если так можно назвать в России класс, промежуточный между настоящей аристократией и высшими должностными лицами, с одной стороны, и народной массой, совершенно чуждой событию, о котором она и судить не может,— с другой. Сословие это состоит из литераторов, артистов, чиновников низшего разряда, н а ц и о н а л ь н ы х коммерсантов высшего полета и т. д. Смерть г. Пушкина от-

<sup>38</sup> Микрофильм (33 кадра) — в отделе рукописей Библиотеки имени Ленина, ф. 218, № 105—1971. В дальнейшем будут указываться порядковые номера материалов (от 1 до 17). С подлинными документами в Государственном архиве Нидерландов несколько лет назад ознакомился корреспондент ТАСС Ю. Корнилов. См. его статью «О чем рассказала папка «Ван Геккерн — Пушкин» («Советская культура», 4 января 1968 года).

<sup>39</sup> №№ 7, 8, 9 — Геккерн — Верстолку, 27 марта (8 апреля), 28 марта (9 апреля) и 25 мая 1837 года; № 11 — Геве́рс — Верстолку, 2 мая (20 апреля) 1837 года; №№ 12, 13 — Верстолк — Геккерну от 14 и 20 марта 1837 года.

<sup>40</sup> Щеголев. 326—327.

крыла, по крайней мере, власти существование целой партии, главой которой он был, может быть, исключительно благодаря своему таланту, в высшей степени народному. Эту партию можно назвать реформаторской: этим названием пользуются сами ее члены. Если вспомнить, что Пушкин был замешан в событиях, предшествовавших 1825 году, то можно заключить, что такое предположение не лишено оснований».

В этом документе, пусть нарочито преувеличенно, тенденциозно, переданы истинные настроения общества, негодовавшего против убийц Пушкина. Столь эффективная мера, как политическое обвинение противников, однако, на этот раз не сработала: Николай I и Вильгельм Оранский сошлись на том, что Геккерн — «лжец», и 14 марта министр сообщает послу об его отставке<sup>41</sup> (заметим, что это было через несколько дней после того, как пришло «главное» антигеккернское письмо Николая I, отправленное 15(27) февраля):

«Господин барон!

С крайним сожалением мы узнали здесь о несчастном случае, упоминаемом в ваших последних письмах, и я хотел бы убедить вас в моем искреннем участии к тому затруднительному положению, в котором вы находитесь. Поскольку в вашем последнем письме от 25 февраля вы говорите о затруднениях, связанных с приготовлением к отъезду, в необходимости которого вы убеждены, — король поручил мне предупредить вас, что он разрешает вам покинуть Петербург, как только господин Геверс, секретарь посольства, вернется на свой пост. В настоящий момент он находится в Амстердаме, и я пишу ему, предлагая без промедления пуститься в путь для исполнения обязанностей поверенного в делах после вашего отъезда. Примите, господин барон, уверения в моем глубоком почтении».

Подписано: Верстолк.

Еще через несколько дней, 20 марта 1837 года, Верстолк известил Геккерна, что усыновление Дантеса не может быть признано в Голландии как противоречащее некоторым пунктам законодательства страны.

Геккерн, получив это послание, начал готовиться к отъезду, впрочем, не упуская случая снова вступить в разговор со своим начальником о происшедшем. 27 марта (8 апреля) 1837 года он пишет Верстолку<sup>42</sup>:

«Господин барон!

Я имел честь объявить Вашему Превосходительству, что господин Геверс прибыл позавчера в эту столицу и немедленно отправил по назначению письма и пакеты, которые предназначены для Августейшей Императорской фамилии<sup>43</sup>. Я уже обратился к Его Превосходительству господину графу Нессельроде по поводу моей прощальной аудиенции, и как только буду иметь честь проститься с Его Императорским Величеством, тотчас покину Санкт-Петербург, чтобы воспользоваться отпуском, который Его Величество король соблагволил мне предоставить. Перед моим отъездом я сдал дела посольства господину Геверсу, как принято, — согласно описи, а по прибытии в Гаагу я сочту долгом представить дубликат Вашему Превосходительству.

Имею честь быть с глубоким уважением...  
барон Геккерн».

Вскоре Геккерн покинул Россию, не получив прощальной аудиенции, и на время оказался в Голландии без дела. Он, однако, продолжал борьбу за восстановление своих прав на дипломатическую карьеру (и, как известно, через несколько лет снова был призван на посольские должности). При этом оказалось, что барон имеет сочувствующих в российском высшем обществе, которое в это время еще спорило о мере вины Дантеса, но почти единодушно сходилось в отрицании вины его приемного отца (особенно после того, как стало известно отношение к не-

<sup>41</sup> № 12, не опубликовано (французский язык).

<sup>42</sup> № 7, не опубликовано (французский язык).

<sup>43</sup> Напомним, что дело идет, в частности, о большом письме Вильгельма Оранского Николаю I от 8 (20) марта 1837 года, где дается самая нелестная характеристика Геккерну (см. выше).

му царя). Одним из таких добржелателей оказался граф Григорий Строганов, тот самый, с которым Геккерн советовался, получив преддвуельное письмо Пушкина.

Строганов, вероятно, был горд своей независимостью от любого мнения, даже царского, когда писал Геккерну о недавних воспоминаниях и «дружеских симпатиях» в связи с «благородным и лояльным поведением» Дантеса, которым «отмечены последние месяцы его пребывания в России. Если наказанный преступник является примером для толпы, то невинно осужденный, без надежды на восстановление имени, имеет право на сочувствие всех честных людей». «Примите, прошу Вас, — обращался Строганов к бывшему послу, — уверения в моей искренней привязанности и в совершенном моем уважении»<sup>44</sup>.

Теперь мы знаем, как использовал Геккерн послание вельможи. 25 мая 1837 года он пишет, уже из Гааги, Верстолку<sup>45</sup>, который, по-видимому, тоже не принадлежал к врагам отставного дипломата:

«Господин барон!

Я почтительно позволяю себе представить вам прилагаемое письмо графа Строганова, того, который некоторое время провел в Гааге; извольте поступить с ним как вам угодно и разрешите мне надеяться, господин барон, что Ваше Превосходительство соизволит показать его королю. Мнение такого человека, как граф Строганов, не может быть мне безразлично, а мой долг в отношении господина Жоржа де Геккерна обязывает меня оценивать его поведение мнением всех порядочных людей.

Я надеюсь, что господин барон будет столь любезен, что возвратит мне позже это письмо, пока же имею честь...

Геккерн».

Между тем с начала апреля 1837 года и далее в течение более чем тридцати лет обязанности нидерландского посланника в Петербурге исполнял барон Иоганн Геверс. Мы очень мало знаем об этом человеке. В различных нидерландских биографических словарях и справочниках представлены многие члены этой фамилии<sup>46</sup>, однако о преемнике Геккерна сказано очень кратко: «Johan Cornelis, baron Gevers, 1806—1872»<sup>47</sup>.

Очевидно, он пользовался доверием Верстолка и Вильгельма Оранского; напомним, что принц надеялся на его правдивость («Я в особенности надеюсь, что тот, кто его заменит, будет более правдивым и не станет изобретать сюжеты для заполнения своих депеш, как это делал Геккерн»). Новый посланник, разумеется, был осведомлен о главных подробностях событий последних месяцев. Поскольку гибель Пушкина оказалась неожиданно связанной с русско-голландской дипломатией, Геверс, конечно, получил инструкцию разобраться и доложить в Гаагу, что же, собственно, произошло.

О существовании большого доклада Геверса в голландском архиве<sup>48</sup> знал еще П. Е. Щеголев: «Кое-что об архивных бумагах мы знаем частным образом. Так, нам известно, что по делу Геккерн — Пушкин в архиве находятся... донесение уполномоченного в делах барона Геверса (заменившего барона Геккерна) о впечатлении, произведенном смертью Пушкина в С.-Петербурге, и, кроме того, вырезка из «Journal de St.-Pétersbourg» с приговором над Дантесом» (Щеголев, 302).

И. Баак и П. Гройс, авторы публикации 1937 года в «Revue des études Slaves», знали донесение Геверса, но ограничились лишь выдержкой из него, предпослав ей пояснение, что в начале письма приводятся «различные наблюдения о реакции общества на смерть Пушкина, о различных мнениях различных классов русского народа», описывается «симпатия, которую завоевал покойный в либеральных кругах, а также в общих чертах — его жизнь и характер».

Теперь предоставляется возможным опубликовать этот важный документ полностью.

<sup>44</sup> № 9, опубликовано Щеголевым, стр. 347.

<sup>45</sup> Верстолк был, между прочим, послом Нидерландов в Петербурге до Геккерна.

<sup>46</sup> В книге «Nederland's Adesboek» (1967) один краткий перечень лиц этой фамилии занимает 28 страниц.

<sup>47</sup> Там же, стр. 208.

Доклад был завершён 20 апреля (2 мая) 1837 года. В нём 12 страниц и сверх того приложен лист «St.-Petersburgische Zeitung» № 84 от 14(26) апреля 1837 года с текстом приговора военного суда по делу Дантеса.

Доклад написан обстоятельно и содержит сравнительно мало ошибок и неточностей, столь обычных для иностранных отзывов о Пушкине. Понятно, что посланник прямо или косвенно пользовался разными источниками, и некоторые названы в его письме: это прежде всего Жуковский, госпожа Фикельмон, осведомленные придворные, толкующие в столичных салонах.

Мы не знаем истинных отношений Геверса со своим предшественником и высшим начальством. Однако положение его было щекотливым, и в своем докладе он не без успеха обходит разные препятствия. «Честь мундира», а возможно, и личная привязанность не позволяют посланнику отрицать предшественника: Геверс повторяет некоторые мысли Геккерна (например, о третьем сословии), но притом обходит вопрос о степени его вины или участия, да и вообще почти не называет прежнего посла<sup>48</sup>. При этом, возможно, зная мнение своего министра, Геверс делает нажим на те обстоятельства русской жизни, которые привели к гибели поэта (грубо говоря, логика его такова: убийцу надо искать не в голландском посольстве, а в самой России). Эту линию пытался, как мы видели, защищать и Геккерн, но делал это испуганно, примитивно — все валил на самого поэта, указывал на Пушкина (и Жуковского!) как на лидера либеральной партии и т. п. Геверс пишет гораздо тоньше и оттого объективнее: ему выгодно подчеркнуть противоречия Пушкина с властью и аристократией, и он это делает довольно решительно. Заметим, что в докладе нет ни слова о том, что являлось в те месяцы чуть ли не «общим местом» в писаниях о Пушкине, — восхищения милостью государя к умирающему и его семье; зато не раз отмечен тайный надзор, под которым находился поэт (и этим дезавуируется роль и суждения Николая I в пушкинском деле, а кстати, достается и «главным государственным деятелям», то есть Бенкендорфу, Нессельроде...). Горячность и оппозиционность Пушкина, сочувствие к нему молодежи и «третьего сословия» — во всем, что пишет об этом Геверс, много правды. Однако правильный вывод о взрыве национального самолюбия в связи с гибелью поэта отчасти необходим Геверсу для завершения схемы: ищут виновных в голландском посольстве, ибо должен быть виновник, — и это «несчастное обстоятельство для барона Геккерна». Так странно и причудливо здесь смешивались истина с хитростью...

Тем не менее доклад Геверса, составленный в непосредственной близости от печальных событий и вобравший многое, о чем говорили и спорили в марте и апреле 1837 года, имеет несомненную историческую ценность.

Вот его текст, сопровождаемый краткими комментариями некоторых мест<sup>49</sup>.

«Его Превосходительству барону Верстолку ван Зеелену,  
министру иностранных дел

Секретно

Санкт-Петербург, 2 мая (20 апреля) 1837 г.

(Получено в Гааге 16 мая 1837 г.)

Господин барон!

Тягостный труд — говорить об ужасной (fâcheuse) катастрофе, жертвой которой стал господин Пушкин, но мне кажется, что мой долг обязывает не скрывать

<sup>48</sup> Здесь необходимо заметить, что доклад Геверса был, конечно, секретным и для Геккерна, которому через тринадцать дней, 15 (27) мая, Геверс писал: «В свете не подымают больше вопросов о смерти Пушкина. С первого дня моего приезда я избегал и прерывал всякий разговор на эту тему; вражда общества, исчерпав свой яд, наконец стихла. Император принял меня несколько дней тому назад в частной аудиенции; все, что касалось до этого дела, тщательно избегаемо» (Щеголев, 351).

<sup>49</sup> № 11 (французский язык). Разумеется, требуют специальных серьезных разысканий вопросы о точности и источниках сообщаемых в докладе сведений. Одной из загадок документа является также существование анонимной и менее выразительной его редакции (см. Щеголев, 391—395).



от Вашего Превосходительства то, что высказывает общественное мнение относительно гибели этого замечательного человека, литературной славы страны. Достаточно обрисовать характер и личность господина Пушкина, чтобы предоставить Вашему Превосходительству суждение о той степени популярности, которую завоевал поэт. Единственное мое намерение — попытаться изложить здесь беспристрастное резюме различных мнений по этому поводу.

Посещая салоны столицы, я был поражен неосторожностью, с которой говорили о дуэли и об обстоятельствах, ей предшествовавших. Как литератор и поэт, Пушкин пользовался высокой репутацией, которая увеличена еще его трагической смертью; но соотечественники по-разному оценивают его как представителя самых крайних воззрений на учреждения своей страны. Мне кажется, что можно достаточно легко объяснить это различие в отношении к Пушкину: каждому, кто, живя в России, мог изучить различные элементы, из которых состоит общество, а также его обычаи и предрассудки, биография Пушкина и чтение его произведений ясно объяснят, почему их автор мало уважаем партией аристократии, тогда как остальное общество превозносит Пушкина до небес и оплакивает его смерть как непоправимую национальную потерю.

Колкие и остроумные намеки, почти всегда направленные против высоких персон, которые изобличались либо в казнокрадстве, либо в пороках, — все это создало Пушкину многочисленных и могучих врагов. Такова убийственная эпиграмма против Аракчеева насчет девиза, начертанного на гербе этого всеильного министра <sup>50</sup>. Сатира против министра народного просвещения Уварова, сочинение, которое своим заглавием — подражание Катулле — усыпило обычную бдительность цензуры и появилось в Литературном журнале <sup>51</sup>; ответ Булгарину, где, защищаясь от упрека в аристократизме, Пушкин напал на первые дома России <sup>52</sup>, — вот истинные преступления Пушкина, преступления, утяжеленные тем, что противники были сильнее его и богаче, связаны с главнейшими фамилиями и окружены многочисленной клиентурой. Им было нетрудно вызвать неприязнь власти к Пушкину, так как направление его сочинений давало повод к враждебным доносам. Вот, повторяю я, истинные причины антипатии, которую испытывала к Пушкину в течение его жизни партия знати (всегда под покровительством главных государственных деятелей), — антипатии, которую его смерть несколько не рассеяла. Вот что объясняет также, почему Пушкин, казалось, пользующийся милостью суверена, не переставал быть в руках полиции.

Наоборот, молодежь, всегда пылкая, аплодирует либеральным, злым, иногда скандальным творениям этого автора — творениям, правда, неблагоприятным, но смелым и остроумным. Также и чиновники, класс, широко представленный среди людей третьего сословия, — чиновники спешат хлопать в ладоши и славить человека, в чьих сочинениях многие видят верное выражение их собственных чувств; с тех пор Пушкин был для них, может быть без его ведома, примером постоянной оппозиции.

Пушкин родился в Москве в 1799 г. и принадлежал со стороны отца к одной из древнейших фамилий страны. Его дед по матери (сын негра, захваченного или купленного Петром Великим и мальчиком доставленного в Россию) звался Анибал; это он, достигший при Екатерине II адмиральского ранга, овладел Наварином <sup>53</sup>. Его имя и блестящие дела начертаны на колонне-скале, воздвигнутой в Царском Селе. Именно в Царском Селе, в Лицее, воспитывался Пушкин. Его густые и курчавые волосы, смугловатая кожа, нетерпеливый пыл его характера — все обнаруживало в нем присутствие африканской крови, его молодость рано ознаменовалась беспорядочными страстями, которые действовали и на его последу-

<sup>50</sup> Надпись «Преданный без лести». Подразумевается, конечно, пушкинское «Всея России притеснитель...».

<sup>51</sup> «На выздоровление Лукулла».

<sup>52</sup> «Моя родословная».

<sup>53</sup> Адмиралом и покорителем Наварина был брат деда А. С. Пушкина Иван Абрамович Ганнибал.

ющую жизнь. В 14 лет он написал стихотворение «Царское Село»<sup>54</sup>, а также послание Александру I<sup>55</sup> — сочинения, которые были отмечены его профессорами. Исключенный вскоре после того из Лицея за выходки молодости<sup>56</sup>, Пушкин выпустил «Оду свободе»<sup>57</sup> и, последовательно, целую серию других произведений, пропитанных тем же духом. Это привлекает к нему внимание общества, а также несколько позднее — правительства. Ему было предписано покинуть столицу — сначала его местопребыванием была Бессарабия, а затем он в течение пяти лет до самой смерти императора Александра оставался у графа Воронцова в Одессе<sup>58</sup>. По настоятельным просьбам историографа Карамзина, преданного друга Пушкина и настоящего ценителя его таланта, император Николай, взойдя на трон, призвал поэта и, как заметил князь Волконский<sup>59</sup>, принял его более ласково, чем можно было ожидать. «Больше нет прежнего Пушкина,— сказал император,— есть Пушкин искренне раскаявшийся; есть мой Пушкин, и отныне я один буду цензором его сочинений». Тем не менее до самой своей смерти писатель жил под надзором секретной полиции. В 1829 г. Пушкин сопровождает князя Паскевича во время турецкой кампании, а в следующем, холерном, году он женится на замечательной красавице мадемуазель Гончаровой, чей дед, возведенный в дворянство, был прежде купцом. После женитьбы Пушкин вернулся в Санкт-Петербург, его жена блистала при дворе, и некоторое время спустя ему дали чин камер-юнкера. Пушкин был оскорблен, находя этот ранг ниже своего достоинства, его идеи снова вернулись к своему первоначальному направлению, и он опять перешел в оппозицию. Его сочинения в стихах и прозе многочисленны, и среди них особенно примечательны «Цыганы», легкая поэма, пушкинский шедевр, который русские считают верхом совершенства в этом жанре; мелкие стихотворения под заглавием Байрон и Наполеон также завоевали репутацию высокой красоты<sup>60</sup>. Кроме того, он издавал литературный журнал «Современник» и по приказу императора несколько лет работал над историей Петра Великого.

По мнению литераторов, Пушкина отличает стиль одновременно блестящий, ясный, легкий и элегантный. Его рассматривают вне всяких школ, на которые сегодня разделен литературный мир. Как личность гениальная, он умел извлекать красоты из различных жанров. В конце концов для России он лидер школы, где ни один из учеников не достиг до сей поры совершенства учителя.

Его характер был буйным и вспыльчивым; он любил, особенно в молодости, игру и волнения, но позже годы начали умерять страсти. Он был рассеян, его разговор был полон обаяния для его слушателей. Но было нелегко заставить его говорить. Вступив же в беседу, он объяснялся элегантно и вежливо, его ум был язвительным и насмешливым<sup>61</sup>.

Его дуэль с бароном Геккерном (д'Антес) и обстоятельства, которые сопровождали его смерть, очень хорошо известны Вашему Превосходительству, и нет необходимости здесь говорить об этом. В письме, которое Пушкин написал моему шефу<sup>62</sup> и которое явилось причиной дуэли, едва можно узнать писателя чистого и почти всегда приличного, — он пользуется словами малопристойными, которые ему внушил гнев, — до какой же степени Пушкин был уязвлен и насколько был увлечен пылкостью своего характера!

Задолго до гибельной дуэли анонимные письма, написанные по-французски и высмеивающие Пушкина намеками на неверность его жены, были подброшены ко всем знакомым поэта либо через посредство неизвестного слуги, либо по почте.

<sup>54</sup> Имеются в виду «Воспоминания в Царском Селе».

<sup>55</sup> Стихотворение «Александру» («Утихла брань племен...»).

<sup>56</sup> Как известно, Пушкин окончил лицей, но любопытно, что такая молва о нем существовала.

<sup>57</sup> Ода «Вольность».

<sup>58</sup> Геверс, очевидно, не знал о михайловской ссылке Пушкина.

<sup>59</sup> Министр двора князь П. М. Волконский.

<sup>60</sup> Очевидно, «К морю» («Прощай, свободная стихия...»).

<sup>61</sup> Следующий текст опубликован в «Revue des études Slaves». 1937, №№ 1—2, стр. 34—35.

<sup>62</sup> То есть Геккерну.

Многие даже пришли из провинции (таково письмо, посланное к мадам де Фикельмон)<sup>63</sup>, а под адресом почерком явно подделанным на этих письмах содержалась просьба передать их Пушкину. Именно в связи с этими письмами господин Жуковский, приставленный к персоне наследника, упрекал Пушкина, что тот слишком принимает к сердцу эту историю, и добавил, что свет убежден в невинности его жены. «Э! Какое мне дело,— ответил Пушкин,— до мнения мадам графини или мадам княгини, уверенных в невинности или виновности моей жены! Единственное мнение, которому я придаю значение,— это мнение среднего класса, который ныне — единственный действительно русский и который обвиняет жену Пушкина».

Таковы, господин барон, сведения о личности поэта, которые я мог собрать; я надеюсь, что они достаточны для того, чтобы объяснить Вашему Превосходительству, насколько популярность Пушкина и литературные надежды, которые он унес с собою в могилу, повлияли на мнения насчет причин его смерти и насколько это обстоятельство оказалось несчастным по своим последствиям для господина Геккерна. Нечто вроде национального самолюбия вызывает интерес, который не относится ни к поэту, ни к частному человеку; и поклонники и враги писателя — все жалуются, что Пушкин стал жертвой несчастья, вызванного как недоброжелательством, так и самым непостижимым и неблагоприятным легкомыслием.

Точность, с которой я пытался представить эти детали, их подлинность, которую я могу гарантировать, — все это заставляет меня желать, чтобы чтение этого письма представило некоторый интерес и заслужило внимание Вашего Превосходительства.

Имею честь быть... Вашего  
Превосходительства покорный слуга  
Геверс».

Внизу приписка: «Я пользуюсь отъездом английского курьера, чтобы доставить это письмо Вашему Превосходительству».

Новый посол, так же как император Николай, не доверял важные подробности «любопытству почты».

---

<sup>63</sup> Сам факт получения анонимного пасквиля госпожой Фикельмон до публикации этих строк был совершенно неизвестен. Впервые встречается здесь и утверждение о прибытии некоторых писем из провинции: на единственном сохранившемся конверте штамп петербургской почты. Если сообщение Геверса верно, оно дает повод для новых размышлений о пасквиле-«дипломе». Заметим, что, по Геверсу, письмо адресовано г о с п о ж е (а не господину) Фикельмон, что весьма правдоподобно: именно жена австрийского посланника была близка к поэту, а пасквиль рассылался как раз его приятелям.



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Ю. КУЗЬМЕНКО

★

## КУРСОМ СОВРЕМЕННОСТИ

**О**чередной, одиннадцатый сборник «Литература и современность», готовящийся сейчас к печати в издательстве «Художественная литература», отличается от предыдущих своей особенной «насыщенностью» материалами, которые посвящены собственно критике. Это вполне понятно — в самой действительности проблемы этого боевого жанра нашей литературы, «критика критики», в полном смысле слова самокритика, привлекают ныне исключительное внимание литературно-художественной печати, всей общественности. Статьи, анализирующие состояние дел в критике, итоги различных «анкет», материалы зональных и всесоюзных совещаний, не говоря уже о материалах последнего, январского пленума правления Союза писателей СССР, специально посвященного вопросам критики,— всего этого, право же, с избытком хватило бы не на один, а на добрый десяток сборников.

Писать о критике сегодня легко: в печати появилось много статей на эту тему, общественностью широко обсуждены самые различные стороны литературно-критической деятельности,— тут, естественно, рождается желание с чем-то поспорить, что-то развить, что-то поддержать.

Писать о критике сегодня трудно: дельная статья о самой литературе, о живом литературно-творческом процессе оказывается важнее любых рассуждений о том, какими должны быть эти статьи. Во всяком случае, писать о критике сегодня нельзя без учета того нового, что вносит в общественную дискуссию, в нашу творческую жизнь вообще новый партийный документ, дающий оценку положения в критике, открывающий перед ней широкие перспективы.

1

В марте прошлого года с трибуны партийного съезда прозвучали памятные слова, обращенные к критике и критикам. В январе нынешнего года в печати появилось постановление ЦК КПСС «О литературно-художественной критике». Связь между этими двумя событиями не ясна разве что наемным буржуазным писакам, толкующим ныне о «внезапности» нового обращения партии к вопросам художественного творчества.

«Несомненно,— говорил на съезде, выступая с Отчетным докладом ЦК КПСС, товарищ Л. И. Брежнев,— успехи советской литературы и искусства были бы еще значительнее, а недостатки изживались бы быстрее, если бы наша литературно-художественная критика более активно проводила линию партии, выступала с большей принципиальностью, соединяя взыскательность с тактом, с бережным отношением к творцам художественных ценностей». Аналогичные положения выдвинуты в новом идеологическом документе партии. В постановлении ЦК КПСС указывается на необходимость «повышения идейно-теоретического уровня литературно-художественной критики, ее активности и принципиальности в проведении линии партии в области художественного творчества», говорится о том, что критика «должна сочетать точность идейных оценок, глубину социального анализа с эстетической взыскательностью, бережным отношением к талантам, к плодотворным творческим поискам».

Но главное, думается, не в этой текстуальной близости двух документов. Главное в том, что постановление Центрального Комитета полностью отвечает харак-

теру, направленности, духу соответствующего раздела Отчетного доклада ЦК КПСС XXIV съезду партии, конкретизирует и развивает высказанные там положения. Постановление ЦК КПСС чрезвычайно требовательно и вместе с тем доброжелательно; принципиальная оценка недостатков сочетается здесь с признанием бесспорных заслуг нашей критики; взыскательный анализ состояния критики дополняется конструктивной программой повышения ее активности, ее идейно-эстетического уровня; партийный, политический подход к идейному содержанию и общественной значимости критических выступлений неотделим от понимания сложности и специфики литературно-критической деятельности. Глубокое внутреннее единство решений XXIV съезда партии и постановления ЦК КПСС «О литературно-художественной критике» неоспоримо.

Есть, однако, все основания говорить и об органической связи партийных решений, разделенных не месяцами, а десятилетиями. Резолюция ЦК РКП(б) от 18 июня 1925 года «О политике партии в области художественной литературы» констатировала громадный рост культурных запросов и потребностей трудящихся, связанный со вступлением страны «в полосу культурной революции, которая составляет предпосылку дальнейшего движения к коммунистическому обществу». И «частью этого массового культурного роста,— отмечалось в резолюции,— является рост новой литературы». Партия считала, что развивающаяся советская литература должна быть «литературой не цеха, а борющегося великого класса».

Этим определялись и задачи критики, сформулированные в специальном разделе резолюции. Прежде всего мы видим здесь высокую оценку общественной роли литературной критики: она является «одним из главных воспитательных орудий в руках партии», призвана обеспечить наряду с другими мерами верное руководство нашей литературой. Четко ставился в резолюции вопрос о сочетании в критике принципиальности, непримиримости ко всем и всяческим отступлениям от марксизма с гибкостью и тактом: «ни на минуту не сдавая позиций коммунизма, не отступая ни на йоту от пролетарской идеологии», критика должна в то же время «обнаруживать величайший такт, осторожность, терпимость по отношению ко всем тем литературным прослойкам, которые могут пойти с проле-

тариатом и пойдут с ним». Наконец, мудрые, не потерявшие своего значения до сей поры рекомендации критике и критикам: настойчиво учиться, решительно «изгнать из своего обихода тон литературной команды», «давать отпор всякой макулатуре и отсебятине в своей собственной среде». «Только тогда она, эта критика, будет иметь глубокое воспитательное значение,— говорилось в резолюции,— когда она будет опираться на свое и д е й н о е превосходство».

В 1925 году первоочередной задачей было определение принципиальных направлений политики партии в условиях быстрого развертывания культурной революции, борьбы различных идейно-художественных течений, формирования нового, социалистического искусства. В 1932 году на первый план выдвинулась задача преобразования творческих организаций — это было естественное выражение той глубокой идейно-творческой перестройки, которая произошла в содержании, направленности, формах литературы и искусства.

Столь же закономерным является обращение партии к конкретным задачам литературно-художественной критики в наши дни.

Неизмеримо выросли масштабы того литературного дела, о котором писал В. И. Ленин в 1905 году и которое сегодня так же, как и много десятилетий назад, не может быть безразличным для коммунистической партии. Литература, искусство обрели огромные, все возрастающие возможности для формирования духовной, нравственной, эстетической культуры миллионов трудящихся. Условия развития этого социалистического общества внесли немало своеобразного, нового и в содержание художественного процесса, и в формы общественного воздействия на развитие литературы и искусства. Больше чем когда бы то ни было критика ныне является важнейшим звеном в решении многих проблем, от которых зависит состояние художественной культуры.

Критика выступает одновременно самосознанием искусства в его отношении к жизни и самосознанием общества в его отношении к искусству, через нее осуществляется прямая и обратная связь создателей и «потребителей» художественных ценностей. Критика позволяет делать общим достоянием результаты, полученные в ходе художественного познания жизни, тем самым содействуя изменению жизни, и вместе

с тем она является наиболее эффективным, гибким, демократическим средством идейно-эстетической ориентации самого искусства. Критика осознает то, чем искусство является в данный момент, и формирует социальный заказ, стимулирующий его движение вперед, от реального к должному. Критика связывает неразрывными узами теорию и практику художественного творчества — дает материал для теоретических обобщений, вносит свои поправки в сложившиеся представления — и «возвращает» искусству уточненные теоретические концепции, вооружает практику знанием тенденций и законов художественного развития. Критика позволяет аккумулировать, выяснять общественное мнение в отношении тех или иных явлений искусства и, в свою очередь, влиять на это общественное мнение, формировать взыскательные эстетические оценки и вкусы. Во всех этих многочисленных связях критика выступает в качестве активного движущего начала, действующего обогащению, изменению, развитию общества и искусства, художника и его аудитории, эстетической науки и художественной практики.

Всякая ли критика? Нет, конечно. Поэтому, надо полагать, и говорится в партийном документе о преодолении разного рода недугов, мешающих критике использовать все ее потенциальные возможности, потому-то и утверждается здесь партийная, общественная необходимость в критике боевой, принципиальной, идейно и профессионально вооруженной.

Примечательный факт: в последнее время о задачах литературно-художественной критики много пишется в печати братских социалистических стран. В Венгрии стал выходить новый теоретический журнал «Критика», на страницах которого рассматриваются актуальные проблемы художественной культуры. Много важных материалов на эту тему опубликовано в партийном журнале «Таршадальи семле». Сошлюсь, к примеру, на статью видного литературоведа, директора Литературного музея имени Петефи Ласло Иллеша, выступающего против любых тенденций к герметизму, «деидеологизации» критики, за укрепление в ней таких основополагающих понятий, как реализм, социалистический реализм, партийность и народность.

Активизации марксистской литературно-художественной критики уделяется большое внимание в Болгарии, ГДР, Польше.

Мы ясно видим, как повышается роль критики в развитии художественной культуры, в эстетическом воспитании трудящихся, и это в наши дни общая закономерность, связанная с особенностями современного этапа социалистического строительства.

Острая актуальность постановления ЦК КПСС «О литературно-художественной критике» определяется, как сказано, уже самим его предметом, самим выбором из всех звеньев идейно-творческой жизни наиболее важного. Но современна и методология этого документа — как той части, где дается анализ недостатков критики, так и той, где намечаются пути повышения ее идейно-эстетического уровня. Здесь содержатся рекомендации, которые мы, критики, можем учесть в своей работе незамедлительно. И в то же время в постановлении идет речь и о нехватке квалифицированных кадров, о недостаточной научной вооруженности критики, связанной, в частности, с отставанием исследовательской работы, разобщенностью научных учреждений; речь идет о слабой постановке критико-библиографического дела в печати, о недостатках в стимулировании творческого труда критиков — короче говоря, о таких объективных условиях и факторах, которые возникли не сегодня и могут быть изменены лишь в результате целенаправленной работы, длительных усилий.

## 2

Из многих задач, стоящих перед критикой сегодня, со всей очевидностью выделяется наиболее существенная, первоочередная, главная. «Недостаточно глубоко анализируются процессы развития советской литературы и искусства, взаимообогащения и сближения культур социалистических наций», — говорится в постановлении ЦК КПСС. Далее указывается, что первоочередной долг критики — «глубоко анализировать явления, тенденции и закономерности современного художественного процесса». И там, где дело касается задач научных учреждений, мы вновь встречаемся с требованием: «Активизировать усилия ученых в исследовании современного художественного процесса». Современное состояние литературы и искусства, живой творческий процесс взаимообогащения братских культур, сегодняшняя художественная практика со всеми ее достижениями, противоречиями, слабостями — вот что должно быть сейчас в центре внимания эстетиче-

ской теории и критики! И надо сказать, что именно эти вопросы живо и заинтересованно обсуждались на пленуме правления Союза писателей СССР с его актуальной повесткой дня: «Литературно-художественная критика и современность».

Нет, никто из выступавших не подвергал сомнению бесспорные успехи нелегкого и, прямо скажем, не слишком благодарного труда, которым заняты десятки и сотни критиков во всех наших республиках. Назывались удачные работы, приводились в пример имена. И все же буквально во всех выступлениях общее состояние так называемой «текущей критики» оценивалось самым критическим образом.

Отмечалось прежде всего, что критиков-профессионалов, занимающихся современным литературным процессом, просто-напросто мало. Еще меньше среди них людей, владеющих многонациональным литературным материалом, свободных (по выражению В. Коротича) как от столичного, так и от местного провинциализма. «Самотек», порой приносящий в критику одаренных литераторов, никак не мог восполнить те зияющие бреши, которые образовывались в последние годы в результате широкого «оттока» критических сил в науку, в литературу, в другие виды искусства.

«„Где вы, бойкие задиры?“ — напомнил известные слова поэта М. Муллоджанов. — А «бойкие задиры» исследуют формы касыды у третьестепенных поэтов XVII столетия...»<sup>1</sup>

Пусть это будет и не XVII век. Пусть в результате труда литераторов, некогда успешно заявлявших о себе в критике, рождаются солидные диссертации или неплохие сценарии. Факт остается фактом: в силу ряда причин, в том числе и причин весьма прозаического, материального характера, вне «текущей критики» остается значительное число специалистов, и специалистов опытных, знающих, владеющих мастерством идейно-эстетического анализа. А свято место, как водится, пусто не бывает. Страницы литературно-художественных газет и журналов, отведенные под критику, сплошь и рядом заполняются материалами, которые Т. Аскарлов охарактеризовал как проявления дилетантизма или даже графомании в критике — явления не столь явного, как в поэзии, но тем не менее существующего. А

сама критика, по словам того же оратора, начинает делиться на «большую», аналитическую, и «малую», целиком посвящающую себя пересказу и рекламированию очередного творения того или иного писателя.

И в докладе В. Озерова, и в выступлениях участников пленума немало говорилось о фантоме «некритикабельности» иных художников. Больше того, по словам Р. Эсенова, действует неведомо как сложившееся в критике правило «хорошего тона» вообще, когда «хорошее облекается в превосходную степень, средненькое именуется хорошим, а вовсе плохое тактично не замечается, как не принято замечать нечаянно опрокинутую гостем вина».

Эта практика в литературе, отмечали участники пленума, наносит ощутимый ущерб, и в первую очередь тем писателям, которые годами не слышат трезвого взыскательного слова о своем творчестве. Принцип «писатель пописывает — критик похваливает» (удачно сформулированный А. Дымшицем) не может не вести к снижению идейно-эстетических критериев, а в конечном счете к распространению идейного и художественного брака. Захваливающая критика, оценки которой не соответствуют рассматриваемому явлению, говорил Г. Абашидзе, «обязательно порождает бесталанность, халтуру, панибратство, вредное попустительское зло», она — сошлось еще раз на выступление Р. Эсенова — открывает «шлюзы для книг, именующихся литературой только по признаку материала, темы, но отнюдь не мастерства».

«Застенчивая» (по слову Л. Якименко) позиция отдельных авторов и органов печати по отношению к сложным проблемам творческой жизни не отменяет, однако, того факта, что история нашей «текущей критики» последних лет — история острой идейной борьбы. Эта сторона дела получила на писательском пленуме последовательное и четкое освещение.

Как отметил А. Салынский, долгое время кружилась на пестрой карусели взглядов одна из центральных проблем нашего искусства — проблема героя. И случалось, торжествовало мнение, что маленький человек, пребывающий в смятении чувств и мыслей, — это и есть истинный герой литературы и театра. Велась борьба против «невежественного противопоставления общечеловеческого — социально-конкретному, вечного — современному, злободневному» (Ал. Михайлов). Мы помним конкретные споры

<sup>1</sup> Здесь и далее выступления участников пленума цитируются по стенограмме.

о проблемах духовности и бездуховности литературных произведений, помним суровую критику общественности в адрес тех горе-теоретиков, которые хотели бы ревизовать основы марксистской эстетики, размыть принципиальные идейно-творческие границы между реализмом и декадентскими течениями. Вспоминая поучительные уроки этой идейной борьбы, участники пленума говорили о ней, разумеется, не только в прошедшем времени. Спор с неверными, односторонними взглядами на задачи художественного творчества продолжается и сегодня, борьба за утверждение революционных, гуманистических идеалов, за укрепление ленинских принципов партийности и народности социалистического искусства, как о том напомнил в своем постановлении Центральный Комитет КПСС, не только не снимаются с повестки дня, но становятся еще более актуальными.

Сегодня, уже по прошествии некоторого времени, о пленуме, посвященном литературной критике, вспоминаешь как о живом общественном явлении, наиболее концентрированно отразившем общую заботу о высоком идейном и художественном достоинстве советской литературы. Эта забота естественным образом вызывает широкое раздумье о том, какой может и должна стать наша «текущая критика» в ближайшей перспективе, каковы условия ее действительности, плодотворного влияния на творческую практику.

Не просто изолированные (даже верные сами по себе) критические выступления — важна целостная картина литературного движения, запечатленная в критике, умение взглянуть на современное литературное явление с позиций не только нынешнего, но и завтрашнего дня. «Наступило время синтеза, время глубокого концептуального осмысления современного литературного процесса» (С. Машинский).

Не просто рассуждения о том, что в данном произведении хорошо и что плохо, а серьезный, аргументированный разговор о жизненной основе художественных образов. «Глубина социального анализа — вот задача, которая, может быть, впервые выдвигается с такой силой в качестве первостепенного и чрезвычайно емкого требования» (Л. Новиченко).

Не позиция над литературой или при литературе, заставляющая шарахаться от угрюмых проработок к лъстивой комплиментарности, а равноправное творческое

сотрудничество критика и писателя, основанное на единстве целей. «Мой идеал — это не критик-жрец, глаголящий чуть ли не математическими формулами или же эстетически-философскими ребусами, а сподвижник, живущий общими с нами надеждами, тревогами и устремлениями» (М. Слущик).

## 3

Ожидания обязывают: сегодня труднее, чем вчера, написать первую фразу задуманной работы. На столе — стопка чистой бумаги, книги, выписки из прочитанного. Как охватить и осмыслить современный литературный процесс, основные направления художественного развития?

Нельзя писать о сегодняшнем дне, не оглянувшись назад, не припомнив основные события литературной жизни недавних годов. Что отшумело, уходит в прошлое, становится достоянием историков литературы и что дало всходы, определяет очертания творческого процесса ныне? Нельзя писать о литературе, не имея хотя бы самой общей рабочей концепции ее поступательного движения. Какой должна быть эта концепция, способная цементировать гигантское обилие фактического материала?

Стремление к объективности, точности эстетического анализа, совершенствованию методологии критики — знамение времени. Но далеко не все им объясняется, не все и не везде. Оно же, это «стремление к объективности», приводит многих зарубежных критиков к отказу от общих социально-эстетических концепций вообще, к принципиальному сосредоточению на узком операционном поле формального исследования. Велика ли, однако, цена такой «точности»?

В Италии вышла книга М. Корти и Ч. Сегре «Современные методы итальянской критики». Там рассматривается одна за другой критика социологическая, символическая, психоаналитическая, стилистическая, формалистическая, структуралистская, семиотическая. В книге делается вывод, что большинство из этих направлений сводится к анализу текста, структуры, языка отдельно взятого произведения. Существует «школа взгляда», согласно которой писателю отводится роль регистратора воспринимаемой им внешней реальности, составителя грамматических предположений, — потом они могут подвергаться бесконечному ряду толкований. Утвердилась концепция «письма», предстающего перед критикой как некий постоянный поток художественного



языка и подлежащего объективному, не зависящему ни от чего «прочтению». С точки зрения этих сугубо «научных» методов социологическая критика выглядит даже не критикой в строгом смысле слова, а «эссеистикой», пребывающей на зыбкой почве сомнительных исторических аналогий и примитивных сопоставлений искусства с общественной практикой. Авторы книги не разделяют этого крайнего взгляда, однако и им социологическая критика представляется в значительной мере поверхностной импровизацией, поставленной на службу политическим целям и находящей «свое место главным образом в газетах и журналах».

Цикл статей о различных направлениях в критике опубликован в минувшем году в французском двухнедельном журнале «Кэн-зен литтерер». Доминик Фернандес пишет там о настоящем терроризме формального метода, требующего от критики неумолимой строгости математических уравнений, о непомерных претензиях «методологических фанатиков», господствующих ныне в университетских аудиториях. «Горе тому, кто осмелится ныне в своей критической «речи» употребить такие трусливые слова, как «нередко» или «своего рода», — пишет автор статьи. — Относительно любого текста, любого автора должно установить окончательное, научное и неоспоримое суждение, дабы изучаемое произведение выступило во всем аскетическом великолепии обнаженного каркаса».

Внимательно вчитываешься в эти тревожащие строки, вслушиваешься в голоса зарубежной литературной критики: полезно бывает иногда заглянуть в иные пределы — становятся понятнее и наши величайшие преимущества и наши собственные слабости. Мы избавлены от той непомерной растраты критических творческих сил, которая связана с блужданиями по всем тупикам современной формалистической критики. Но это не значит, что отдельные ее элементы не могут пускать свои корни и у нас (речь может идти, к примеру, о том «получем эстетстве или полуэстетстве», что, по словам Л. Новиченко на пленуме, получило распространение в критике поэтических произведений и выражает собой определенный, иногда бессознательный отрыв эстетического анализа от четких идейных оценок и выводов). В этом случае исключения лишь подтверждают правило. Нашу критику можно назвать «социологической» в том смысле, что она исходит из признания неразрывной

связи искусства и жизни, так сказать, изначально настроена на социально-эстетический анализ процессов литературного развития. Но как же еще далеко от этой настроенности до успехов в реальной практике социально-эстетического анализа! Как не просто бывает обратиться к современной советской литературе, к сегодняшнему литературному процессу тот арсенал исследовательских средств, который мы, в общем-то, успешно используем для исследования художественной классики и зарубежной литературы! Речь идет, понятно, не о естественных для каждой отдельной литературно-критической статьи «выходах» к жизни, к процессам и проблемам реальной действительности. Я говорю о подлинной социологической и философской вооруженности нашей критики, о той непревзойденной пока «социологии литературы», урок которой дан в ленинских статьях о Толстом.

Должно быть, есть какие-то причины, мешающие критике на практике претворить осознанные уже задачи социального анализа. Главная из этих причин видится мне в самом объективном состоянии наук, посвятивших себя изучению советского — и особенно современного советского — общества. При всех огромных сдвигах, происшедших в этой области за последние два десятилетия, не покидает ощущение того, что перед нами сплошь и рядом лишь разведка новых направлений, отработка методологии исследования, гипотезы, не подкрепленные фактами, или же обширные накопления фактического материала, не переплавленного в строгие формы научной теории. У нас нет еще надежной теоретической «модели исследования» социальной структуры современного советского общества — модели, которая, в частности, служила бы ориентиром конкретных социальных разработок. Нашими социологами мало изучены и недостаточно осмыслены сложные процессы, идущие внутри рабочего класса и крестьянства. По свидетельствам специалистов, еще не выдвинуто убедительных и общепринятых концепций, объясняющих природу, характер и пути развития в современных условиях противоречий экономического и общественного развития. По существу, только начинается изучение социально-психологических аспектов научно-технической революции. Литературная критика, естественно, не может разобраться во всех этих явлениях и процессах глубже, чем это делают специальные науки, а значит, она опирается

в ряде случаев в осязаемый (и непреодолимый в данный момент) предел, ограничивающий возможности научного истолкования соответствующих художественных явлений.

Справедливость требует сказать, что дело не только в этом. Беда заключается и в чрезвычайно низком уровне компетентности нашей критики в области ближайших общественных наук, в поразительно малом знании того, что этими науками открыто, осмысленно, добыто и что может существенным образом обогатить содержание критического анализа, внести немалые коррективы в некоторые умозрительные представления или затянувшиеся споры. Мало находится писателей, публицистов, критиков, у кого достаёт времени, а главное, желания быть внимательным читателем, скажем, журнала «Вопросы философии», следить за публикациями работ московских, ленинградских, эстонских и иных социологов... Сейчас в соответствии с постановлением ЦК КПСС намечаются пути улучшения подготовки и переподготовки критиков. И думается, что эта учеба в качестве неперменной составной части должна содержать своего рода «социологический ликбез», призванный познакомить слушателей с исследовательским аппаратом современной социологии и ее важнейшими выводами.

Интересу к теоретическим работам и конкретным социальным исследованиям мешает многое: тут и опасения критиков впасть в давние ошибки вульгарно-социологического толка, и просто-напросто незнание, как распорядиться материалами обществоведения в работах о художественном творчестве. Между тем, по справедливому суждению Л. Новиченко, понятие социального анализа применительно к литературе является сейчас неизмеримо более сложным и тонким, чем представлялось оно в 20-е и 30-е годы. Не просто раскрытие социального фона изображаемых художником человеческих коллизий, не только усиление публицистического элемента, органически связанного с содержанием произведения,— главное заключается «в умении критика социально воспитывать читателя всем своим анализом, в его способности силой собственной мысли расширить и обогатить общественный смысл «человеческих» открытий художника, а отсюда — в чуткости критика к социальному динамизму эпохи».

Даже самая локальная критическая статья так или иначе должна передавать ощущение

общей картины литературного развития, частицей которой является анализируемое критиком произведение. Что же касается широкого литературного обзора, о котором мы столь давно мечтаем, то он вообще невозможен без отчетливой (и верной, разумеется) концепции исторического движения советской литературы, взаимосвязи ее прошлого и настоящего. Опора на данные ряда общественных наук оказывается здесь совершенно необходимой.

Прав я или нет, но вот уже несколько лет отстаиваю мысль о наличии двух главных эпох в развитии советской литературы: классической, «горьковской» (названия условны; они, очевидно, нуждаются в уточнении), и современной. При всей органической преемственности основополагающих принципов и традиций, их отличает разная динамика и разная структура литературного процесса, существование наряду с общими и особыми, частных закономерностей, действующих лишь на протяжении данной эпохи. Переход из одного состояния в другое сопровождался в послевоенные, а точнее — в 50-е, годы интенсивными художественными поисками, заметной перестройкой как во всей системе литературных родов и жанров, так и в композиционно-образной ткани отдельно взятого произведения. Отдать себе отчет в принципиальном существе этой перестройки, в движущих силах происшедших процессов — это и значит, на мой взгляд, подойти к ответам на самые существенные и волнующие нас вопросы: каковы главные тенденции развития социалистического реализма, в чем состоит социально-эстетическая природа многообразия современной советской литературы, каковы ее дальнейшие перспективы?

Развитие литературного процесса происходит в соответствии с глубинными внутренними законами, но характер, темпы, направление этих изменений, как известно, определяются внешними социально-историческими факторами. За двумя главными эпохами литературного развития, о которых я здесь говорю, стоят важнейшие эпохи в развитии советского общества. Первая из них — эпоха становления новых общественных отношений, строительства социалистического строя в условиях капиталистического окружения, ожесточенной классово-вой борьбы внутри страны и прямых вооруженных нападений империалистических сил. Вторая — эпоха экономического, социального и духовного прогресса, развития

социалистического общества в условиях сотрудничества братских социалистических стран, острой экономической, политической и идеологической борьбы между социализмом и капитализмом на международной арене.

Сами по себе эти общие формулировки, разумеется, еще мало что объясняют в процессах художественного творчества. Необходимо анализ конкретных общественных факторов, воздействующих на развитие литературы и искусства: это и условия жизнедеятельности человека, это и характер всей питающей искусство культурной, нравственной, идеологической среды. Поистине бесценные данные для создания научной истории советской литературы дает, может дать общественная психология. Ведь так или иначе объективные общественно-исторические условия интегрируются в мироощущении человека, в преобладающих настроениях и эмоциях, а отсюда уже всего один шаг до собственно эстетических категорий, до понимания некоторых загадочных на первый взгляд сдвигов в отношениях «прозаического» стиля и романтики, эпоса и лирики.

Нельзя разобраться в особенностях первой эпохи советской художественной литературы без учета социально-психологической атмосферы, сопутствовавшей борьбе за социализм, за утверждение и защиту его завоеваний. Вспомним хотя бы годы Великой Отечественной войны. Труднейшая историческая задача, доставшаяся на долю советского народа, создала в общественном сознании гигантское «магнитное поле», ориентирующее в одном направлении и любую отдельно взятую часть. Возникла ситуация, когда ответственность за судьбу страны, социалистического строя, мира легла на плечи каждого, требуя конкретного и незамедлительного выбора, решения, дела, когда повседневное, будничное и всеобщее, историческое как бы сомкнулись в сознании и чувстве, минуя всякие промежуточные звенья. Все это нашло глубокое отражение в направленности, содержании, формах, общественной роли литературы и искусства. Стихи, поэмы, рассказы, повести, пьесы, песни, писавшиеся в годы войны самыми разными художниками, несут в себе единый публицистический и патриотический пафос, подчинены одной сверхзадаче: мобилизации воли и духа народа для победы над врагом. Многие из таких произведений получали мгновенную и широчайшую известность, их воспитательное воздействие более чем когда

бы то ни было основывалось на силе примера, на авторитете писательского слова. Сказанное выше, конечно, не ново, и тем не менее мы обязаны дать себе ясный отчет, что в условиях той поры перед художником открывалась удивительная возможность в одном стихотворении исчерпывающим образом выразить общее чувство, в одном литературном герое воплотить народный характер. «Жди меня», «Убей его!» — писал поэт, и это были слова, которые нельзя было поэту не произнести, слова, сказанные от имени всех. «Книга про бойца» также рождалась там, где народное чувство и талант поэта оказались в особом гармоническом единстве.

Утверждая незыблемую преемственность нашего «вчера» и «сегодня», мы не можем не видеть, что время придает литературе иные очертания, ставит перед ней новые, другие задачи. Литература учит нашу социалистическое первородство, продолжать традиции отцов в новых условиях. Она помогает человеку вдумываться в смысл бытия, не поддаваться иным новомодным летучим соблазнам, выступать в жизни не пассивным исполнителем, а творцом, которому до всего есть дело в мире! При этом литература столь же многообразна и сложна, сколь многообразно, сложно, бесконечно далеко от какой-либо унификации наше современное советское общество.

Проблема художественного многообразия — один из твердых орешков, плохо поддающихся пока теоретическим толкованиям. Здесь больше вопросов, чем ответов. Видимо, надо иметь в виду, что многообразие литературы возникает не в одной, а одновременно в нескольких плоскостях, пересечение которых и образует реальную картину литературно-художественной жизни.

Литература наша многообразна уже потому, что она многонациональна, опирается на огромное богатство национальных традиций. Это бесспорно, хотя сразу же за этим положением начинается область и споров и интереснейшего исследования, в чем же именно состоит национальное своеобразие художественного творчества.

Многообразие литературы связано с тем, что творится она художниками разных поколений, разного жизненного опыта, обладающими, если это действительно художники, отчетливо выраженными творческими индивидуальностями. Но отстоят эти индивидуальности друг от друга не на равных рас-

стояниях, сходные писательские почерки выделяются в литературном процессе, образуют различные стилевые течения...

Все здесь логично, все подкрепляется действительными фактами. Но, к сожалению, не все факты ложатся в эту теоретическую модель, основанную на признании лишь национального и стилового многообразия. Остается неудовлетворенность, зовущая к размышлениям, к поискам и других сторон характерной для современной литературы творческой дифференциации.

Советский народ — единая и вместе с тем меняющаяся, сложная общность людей, в которую входят классы и социальные группы, имеющие свои социально-психологические особенности. Есть существенные различия в уровне образования и культуры трудящихся. Никак нельзя признать одинаковым и уровень коммунистической сознательности, идейного кругозора, понимания нашего настоящего и будущего. Не вправе ли мы предположить, что эта сложность общественного организма также каким-то образом «отпечатывается» в многообразии литературы?

Говоря о многообразии литературы, вряд ли стоит сбрасывать со счетов сам объект — отображаемую действительность. «Материал» художественного творчества, становящийся частью души писателя, как известно, совсем не нейтрален: с ним связаны поиски соответствующих приемов изображения, тональность повествования, а подчас обнаруживается его влияние и на угол зрения, позицию автора.

Вопросы, затронутые здесь, волнуют не только критика, пишущего о современном литературном процессе: они существенны и для писателя, практически решающего новые творческие проблемы. Сошлюсь на размышления Миколаса Слуцкиса, которыми

он поделился с участниками писательского пленума: наша эстетическая теория мало помогает литераторам в освоении повседневного, обыденного, не изучила и не суммировала то новое, что внесла в характеристику и сущность героя литература последних лет; между тем «некоторые конфликтные явления действительности уже не дают себя охватить старыми формами», вызывают необходимость в изменении и эпических и лирических способов изображения. Какое-либо одно художественное выражение современности, пусть даже талантливейшего автора, продолжал М. Слуцкис, «вряд ли сможет служить исчерпывающим эталоном, как это бывало в прошлом. Неизмеримо сложнее и личность, и коллектив, и окружающее их общество. Особенно расширился спектр духовных интересов молодого человека. Должно быть, облик человека нашей эпохи будет складываться из множества образов, отражений и черт, из усилий, прилагаемых всей литературой...». Изображение сегодняшней повседневности, говорил оратор, делает особенно трудной задачу художественного обобщения. «Тут возможны и промахи и нарушение пропорций, но ведь риск этот — признаюсь как прозаик — не только сладостен, не только стимул роста, но и необходимость».

...На столе — груда книг, выписки из прочитанного, стопка бумаги. Предмет исследования — современная советская литература, говорящая миру новое слово о поступи социализма, о делах и чувствах современного советского человека. Задача чрезвычайной трудности, никак не гарантирующая от каких-то неудач и ошибок. Но задача эта требует настойчивых коллективных усилий, все более точных и выверенных решений, риск этот — подтверждаю как критик — действительно неизбежен.



---

---

А. БОЧАРОВ

★

## ЗРЕЛОСТЬ НАУКИ, НАДЕЖНОСТЬ МЕТОДОЛОГИИ

(Освещение современных литературных проблем в новом томе  
Краткой литературной энциклопедии)

**И**спокон веков существуют свои требования к энциклопедии, и они, право же, на первый взгляд удивительны: быть самым полным сводом уже известного — и беспрестанно вводить новое; исходить из достигнутого уровня знаний — и уметь предвидеть будущий; сохранять внутреннюю цельность всего многотомного издания — и изменяться от тома к тому под влиянием новой информации и объективного движения общественной мысли...

Все эти требования должны бы, кажется, взрывать изнутри каждую энциклопедию, поскольку ее выпуск тянется годы, а то и десятилетия. И все же энциклопедии завершаются, сохраняют стабильность и — пусть даже та или иная статья устаревает, порой сразу после опубликования, — надежно служат ценным пособием по основным и частным проблемам общих или профессиональных знаний.

Но если трудно выпускать, скажем, медицинскую или строительную энциклопедию, где все-таки выражено реальное знание о реальных фактах и достижениях, то куда труднее создавать энциклопедию литературную — уже в силу того, что живы и работают многие талантливые мастера, преподносящие самые ошеломительные неожиданности авторам статей о них и о процессах, происходящих в современной литературе. Обнажаются догола незаметные литературные связи, оказываются неполными прежние представления, нуждаются в уточнении казавшиеся уже чуть ли не отлитыми в бронзу концепции. А чем интенсивнее общественное движение в период создания энциклопедии,

тем труднее ее издавать. Эту истину подтвердили уроки выпуска предшествующих томов Краткой литературной энциклопедии, представляющей собой видное явление в современном литературоведении, в нашей культурной жизни. Тем труднее... Но зато внутреннее напряжение, интенсивность духовной жизни придают особое значение выходу каждого нового тома КЛЭ. Не становясь, может быть, этапом на пути развития наших знаний о литературе, каждый том — и шестой, недавно появившийся, здесь не исключение — достаточно выразительно обозначает и стабильное, что уже стойко завоевано, и новое, что возникло по сравнению с прошлыми томами в характеристике отдельных явлений и в столкновении сквозных магистральных проблем.

В этом смысле шестому тому особенно повезло. Он включает в себя такие важные статьи, как *Русская литература, Советская литература, Советская печать и литература, Реализм, Романтизм, Психология творчества*. Но так и должно быть: в серьезной работе серьезные проблемы встают — без всякого преувеличения и без всякой игры в слова — буквально на каждой букве алфавита.

Внимательно читая вновь вышедший том, видишь, как КЛЭ приобретает все более четкие ориентиры в соответствии с принципами и традициями марксистско-ленинской науки. Избавляясь от ошибок, справедливо отмеченных в ряде рецензий, КЛЭ стремится сохранить то конструктивное, ценное, что накоплено ею за десять лет, минувших со

времени выхода первого тома. Все увереннее освобождается Энциклопедия и от обтекаемых фраз, благодаря которым порой удается обходить сложные вопросы, подменяя научный анализ повторением расхожих мыслей. Немалую роль в этом играют сложившиеся в последнее время благоприятные возможности для объективного научного анализа с позиций марксистской методологии, без шарханья, суетливости.

Нужно сказать, что Литературная энциклопедия в этом смысле отразила многие довольно реальные процессы развития нашей науки о литературе в целом, нашей действенной, современной критической мысли.

Легко заметить, как реализуется в конкретной практике готовность редколлегии КЛЭ, большого коллектива критиков, литературоведов, сложившегося вокруг этого многолетнего издания, учесть справедливую, хотя порой и довольно резкую критику. Хорошо, что в шестом томе опубликована содержательная статья *Советская печать и литература*, за отсутствие которой ранее упрекали издание. Самостоятельной большой частью статьи *Советская литература* явился раздел о постановлениях ЦК КПСС по вопросам советской литературы. Но отмечая эти конкретные свидетельства того, как коллектив сотрудников и авторов Энциклопедии все серьезнее подходит к осуществлению стоящих перед ним задач, мы и в новом томе не можем не заметить разного рода частных просчетов (например, несоразмерность объема библиографии в отдельных монографических заметках, когда, скажем, М. Слуцкис, один из крупнейших советских прозаиков, чье творчество неизменно находилось в сфере внимания критики, удостоен всего одной газетной рецензии на русском языке). Впрочем, о некоторых конкретных недостатках, как они нам видятся, мы еще скажем дальше по ходу дела.

Пожалуй, две статьи составляют сердцевину шестого тома: *Реализм* (автор Т. Л. Мотылева) и *Советская литература* (автор Ю. И. Суровцев). Они потребовали активного осмысления теоретических основ мирового литературного процесса и обобщения новаторского исторического пути литератур Советского Союза. И обе статьи можно в целом признать удачей: они самостоятельны, глубоки и даже — в пределах энциклопедического стиля — темпераментны. Вполне активно отразили они как силу, так и не пре-

одоленные пока слабости современного советского литературоведения и критики. К очевидным достоинствам этих работ можно отнести в первую очередь стремление авторов к широким обобщениям, умение уловить коренные закономерности благодаря точному использованию марксистско-ленинской методологии, интерес к тесной связи движения общественной жизни и литературного процесса, выявление многообразия форм и средств метода социалистического реализма, вообще реалистического изображения, признающего право художника освещать все стороны жизни без ограничения тем и сюжетов.

Целью своей статьи Ю. И. Суровцев поставил выяснить общие закономерности развития братских литератур народов СССР. И хотя, после того как Институт мировой литературы разработал проспект издания шеститомной истории многонациональной советской литературы, эта задача несколько облегчена — все же перед нами достаточно дерзновенный опыт сведения воедино многосложной картины. Тем более что в статье дается научное освещение не только достижений литературы, но и тех трудностей, которые вставали перед ней на более чем полувековом пути.

Убедительно фиксирует Ю. И. Суровцев три типа национальных культур, вступавших в социалистический период развития: культура наций, эстетически наиболее сформировавшаяся в условиях буржуазного общества; культура многих народов «русского» Востока, Северного Кавказа, Поволжья с их средневековыми формами общности и быта; культура народов, сохранявших патриархально-родовые отношения и фактически не имевших своей письменности.

И уже с первых лет Советской власти разные «стартовые» типы литератур обнаруживали однородные тенденции: и сходность писательского состава, в котором наиболее жизнедеятельным ядром становились молодые писатели, пришедшие с фронтов гражданской войны; и широкое развитие обобщенно-символических и обобщенно-романтических образов, славящих революцию; и постепенное накапливание произведений, опирающихся на реалистическую достоверность. Убедительно констатируются в статье и общие проблемно-тематические узлы первого периода: поиск положительного героя, изображение конфликтов эпохи, историзм художественного анализа, выявление социальной

детерминированности характеров, борьба против антигуманных этических традиций.

Новой для работ такого рода является предпринятая в статье попытка утвердить более крупную периодизацию советской литературы. Традиционная хронология русской литературы, основанная на изучении ряда объективных историко-литературных фактов, выделяет — среди прочих — три самостоятельных периода: 1930—1941, 1941—1945, 1945—1954 годы. Ю. И. Суровцев настаивает, что 1934—1956 годы нужно считать одним периодом (с выделением военных лет в отдельный период).

Наверное, для многонациональной литературы более правильным рубежом и впрямь может служить не 1930 год, как это реально для русской, и не 1932-й, как это утверждается в академической истории многонациональной советской литературы, а 1934-й, когда на I съезде советских писателей было ярко продемонстрировано идейное и эстетическое единство всех литератур. Укрупнение периода дало возможность Ю. И. Суровцеву более широко взглянуть на преемственность литературного процесса предвоенных и послевоенных лет.

В пределах этого периода Ю. И. Суровцев отмечает многие существенные новаторские процессы, особенно связанные с изображением человека в созидательном труде, с формированием новой нравственности, с гуманистическим преображением личности.

И все-таки эта периодизация пока что довольно условна — ее, что называется, еще нужно до к а з а т ь. Да и сам Ю. И. Суровцев при рассмотрении общего процесса практически «членит» его на литературу 30-х годов, военных лет, послевоенного десятилетия (куда крупно вошли, в частности, литературы Советской Прибалтики). К тому же совершенно очевидно, что послевоенная проблематика весьма специфична по отношению к довоенной: тут можно говорить о тенденции к приукрашиванию, о «свете завтрашнего дня», фактах «бесконфликтности» в литературе, но еще больше наше внимание привлекает то обстоятельство, что военное четырехлетие наложило свой резкий, неповторимый свет на все темы, образы, конфликты. Сошли хотя бы на известный всем роман П. Павленко «Счастье».

К тому же сейчас такая периодизация, на мой взгляд, чересчур сглаживает представление о реальном развитии национальных литератур. Одно дело утвердить идейное и эстетическое единство на съезде и другое —

полностью реализовать его в художественной практике. Для второй половины 30-х годов это было еще во многом з а д а ч е й, для середины 50-х — уже ф а к т о м, чему немало содействовало идейно-творческое единство литератур, достигнутое в годы войны. Ю. И. Суровцев же исходит из итога, результата и начиная прямо с середины 30-х годов отказывается от рассмотрения особенностей тех или иных типов и групп литератур (существующих, кстати, и поныне, как это хорошо известно всем, кто соприкасается с братскими литературами), а дает общий перечень фамилий и названий, должных знаменовать «единый общесоюзный литературный процесс».

При всей спорности и пока еще неразработанности, а временами и необидительности этой концепции, она может явиться предметом для дальнейших дискуссий. Правильно ли было представить в Энциклопедии место «неканонической» концепции? Да, ибо она продиктована творческим отношением, а не поспешностью или нигилизмом — и этот творческий поиск оправдывает себя, даже если эта периодизация в дальнейшем будет уточняться.

Выше мы говорили о том, что статья *Советская литература* отразила не только силу, но и реальные слабости в работе наших литературоведов и критиков. Отчетливее всего эти слабости проявились в анализе современного этапа литературы. При всем том, что Ю. И. Суровцев правильно прочерчивает некоторые линии, характеризующие поступательное движение литературы (обогащение художественно-стилевых течений, усиление аналитичности, стремление к полноте исторической правды), здесь все же начинает доминировать скороговорка, как горько шутят в подобных случаях, «принцип телефонной книги». Подтвердим это двумя примерами.

Цитирую:

«Утверждение ответственности человека перед обществом и одновременно утверждение ответственности общества за человека, за развитие его личности, его творческих сил и талантов — этот двуединный пафос, характерный для зрелого социалистического гуманизма, пронизывает многие произведения о современности, например, в русской прозе: Л. Леонов, Д. Гранин, Г. Николаева, Ю. Герман, В. Кожевников, С. Сартаков, Э. Казакевич, В. Кетлинская, Ю. Трифонов, Н. Дубов, П. Нилин, Н. Атаров, В. Тендряков, Б. Полевой, В. Фоменко, Ф. Абрамов,

А. Коптяева, М. Алексеев, Г. Федосеев, В. Лидин, С. Воронин, Э. Шим, В. Липатов, И. Лавров, Е. Пермьяк, А. Рекемчук, С. Никитин, В. Астафьев, Ф. Таурин, В. Конечский, Г. Семенов, Л. Карелин, П. Проскурин, А. Андреев, В. Аксенов, А. Битов, В. Титов, Г. Владимов, Л. Обухова, М. Ганина, В. Максимов, В. Ляленков, К. Ковальджи и др.».

Это и есть «принцип телефонной книги». Устроен пышный хоровод из писательских имен — и тех, кто подчас резко и основательно полемизировал друг с другом, и тех, кто действительно формировал литературный процесс, и тех, чьи книги имели временный, раздутый успех. Иные же фамилии явно попали сюда только потому, что им не нашлось места в других «обоймах», а помянуть их надобно. Впрочем, по логике этого списка, в него может быть занесен с равным правом каждый прозаик. Зато не попали ни драматурги, ни поэты, но не потому, что их произведения не пронизывает «двуединый пафос», — просто они проходят по другой «ведомости».

А вот второй пример. «В 50—60-е гг. с особой интенсивностью продолжает разрабатываться жанр романа-эпопеи, широкой, движущейся панорамы времени: книги Г. Маркова, М. Шагинян, Г. Коновалова, В. Закруткина, М. Шевердина, Э. Грина, Е. Пермитина, Д. И. Зорина, И. Стаднюка, А. Хинта, Э. Крустена, Г. Леберехта, Я. Ниедре, А. Гудайтиса-Гузявичюса, А. Балтрунаса, И. К. Чобану, С. Клдиашвили, А. Белиашвили, Ахавни, И. Шихлы, Г. Мусаева, А. Нурпеисова, Дж. Икрами, Ш. Рашидова, М. Исмаили, Х. Дерьяева, А. Бикчентаева, Х. Давлетшиной, З. Бишевой, А. Тимонена и многих других».

Может быть, и впрямь у нас такой переизбыток романа-эпопеи, этого поистине «вершинного» жанра всей литературы? Ведь, кроме перечисленных, Ю. И. Суровцев угадал еще и «многих других»...

Конечно же, нет. Любопытно, что в разговоре о литературе 40-х годов автор все время брал термин «роман-эпопея» в кавычки, смягчая тем самым возведение иных книг в ранг литературных «вершин» (а ведь там были названы такие произведения, как «Русский лес» Л. Леонова, диалогия К. Федина, «Буря» В. Лациса, «На росстанях» Я. Коласа, «Земля зеленая» А. Упита). Здесь же, в разговоре о наших днях, Ю. И. Суровцев употребляет этот термин уже без всяких кавычек, в полном и высоком его

смысле. Между тем по строгому — «энциклопедическому» — счету ни одно из этих произведений, кроме, может быть, общепризнанной эпопеи А. Хинта «Берег ветров», не поднялось еще до уровня эпопеи, хотя авторы действительно стремятся к панорамному изображению жизни и с большей или меньшей художественной силой реализуют это стремление. Это мое сугубо личное, но весьма прочное мнение.

Если же быть к тому же человеком догошным и просмотреть ранее вышедшие тома Энциклопедии, то можно обнаружить, что о Г. Мусаеве, А. Нурпеисове, М. Исмаили вообще нет отдельных справок, читатель КЛЭ, стало быть, даже названия их книг не узнает, что термин эпопея не применялся в персоналиях о Маркове, Коновалове, Грине, Леберехте, Рашидове, Балтрунасе и — тут как раз уместно употребить этот оборот — многих других. Но может быть, теперь Энциклопедия решит исправить «оплошность» и прямо поименует в следующих томах эпопеями книги И. Стаднюка, М. Шевердина, И. Шихлы? Нет, все-таки то, что можно сказать в рецензии — как теперь принято говорить, комплиментарной, в обиходной литературной речи: «эпопея... «вершина»... — то не подobaет вырубать на граните Энциклопедии!

Так к концу статьи ослабеваает ее проблемный характер, усилия автора направлены уже не на поиск принципиальных узлов, а на суетное отыскание своеобразных вертелов, позволяющих нанизать побольше писательских имен... Я потому так обстоятельно и с сердцем говорю об этом, что вижу здесь нечто симптоматическое для сегодняшней практики: не таковы ли, говоря откровенно, и изредка появляющиеся наши годовые критические обзоры с их неспособностью (пока еще) охватить общесоюзный литературный процесс? А наши отчетные доклады! А наши «проблемные» статьи!

Серьезной тревогой за состояние именно текущего литературоведения продиктованы слова из недавнего постановления ЦК КПСС о критике: «Недостаточно глубоко анализируются процессы развития советской литературы и искусства, взаимообогащения и сближения культур социалистических наций». Там, где наше литературоведение уже накопило весомый опыт сравнительно-типологического исследования многонациональной советской литературы, мы осуществляем анализ основательно и глубоко; там же, где ощущается слабость синтетического освое-



ния литературного процесса — и в первую очередь методологии изучения направлений и течений в нашей сегодняшней литературе, — там мы не в силах превозмочь сопротивление многосложного литературного материала. Думаю, статья Ю. И. Суровцева лишней раз подтвердила эту истину. Недостатки ее — не столько вина, сколько беда автора. В подобном положении оказался ведь и Д. Н. Агарков, автор раздела о советском периоде в статье *Русская литература...*

Существенные закономерности общелитературного порядка демонстрируют и многие удачные биографические и проблемные статьи: *Речь художественная* (автор В. В. Кожин), *Публицистика* (автор И. А. Дедков), *Пушкин* (автор Б. С. Мейлах). Но невелика была бы цена отдельным удачам, не вырастай из них общая концепция тома, основополагающие принципы исследования. Такими основополагающими принципами, отчетливо — хотя и не всегда последовательно — выявляющимися из совокупности лучших материалов тома, являются народность, художественная правда, гуманизм.

Нет сомнения, что эти категории, сложно переплетаясь и активно взаимодействуя, способны служить надежной основой для анализа любых литературных явлений, ибо неразрывно связаны с большевистской партийностью, осознанием объективных закономерностей и диалектических противоречий бытия, марксистским взглядом на взаимосвязи личности и общества.

Именно о них шла речь в недавнем постановлении ЦК КПСС «О литературно-художественной критике», требующем большей активности «в утверждении революционных, гуманистических идеалов искусства социалистического реализма», призывающем «соотносить явления искусства с жизнью» и «всемерно содействовать укреплению ленинских принципов партийности и народности».

Каждый том Энциклопедии движется как бы по вертикали — сравнительно и связано с предыдущими томами, и по горизонтали, освещая самые разнообразные явления с единых методологических позиций. Это движение тем более важно учитывать, что многие книги и явления упоминаются по разным поводам в нескольких местах: о советских романах речь идет в статьях *Советская литература*, *Русская литература*, *Роман*, *Реализм* — и, разумеется, в персоналиях. А, например, «Петербург» А. Белого

(творчество которого, кстати сказать, в последнем томе получило сравнительно с предыдущими томами более «жесткую» и тем не менее более справедливую реалистическую характеристику) упоминается и в справке о писателе, и в проблемной статье *Роман*, и в обзорной — *Русская литература*. Диалектически взаимосвязанные понятия народности, художественной правды, гуманизма создают внутренние «единицы измерения», делают возможной сопоставление разных литератур, художников, методов, стилей, приемов.

Зыбкостью применения этих основополагающих категорий и была в значительной мере вызвана критика предшествующих томов, в особенности статьи *Партийность в литературе* (том 5), где наиболее остро сошлись лучи всех этих категорий. И действительно, от того, насколько точно и полно выявлены они в статьях, зависит единый научный подход к явлениям литературы, принципы анализа содержания и формы, логики исторического движения, а также критерии, позволяющие отличать истинные художественные ценности от шумных новаций и суррогатов.

Принцип народности помогает оценивать глубину отражения облика и мирозерцания народа, воспитательную роль искусства, его эстетическую и социальную доступность массам. В нашей литературе народность неотрывна от коммунистической идейности и потому неотрывна от партийности литературы.

Если народность и партийность определяют суть таланта, то художественная правда составляет его питательную среду, раскрывая способность писателя в разных, в том числе условных, формах выразить жизненную правду, чувства и мысли современников. Чем глубже и полнее выражена реальная правда времени тем или иным художником и чем совершеннее художественная форма выражения, тем значительнее его творчество и для современников и для потомков.

Наконец, гуманизм охватывает жизнь человека и общества; его основополагающие категории способны проверять построения и умозаключения о жизни и смерти, назначении и ответственности человека, смысле истории, сущности человеческой природы и общественной сущности человека. И можно согласиться с принятой в нашем литературоведении точкой зрения: «Гуманистиче-

ское содержание литературы находит свое художественное выражение прежде всего в совокупности принципов художественного изображения человека, взглядов на его настоящее и будущее, на его жизненные цели, место в обществе, отношения с другими людьми. Концепция человека составляет основу, движущее начало искусства, внутреннюю сущность художественного образа»<sup>1</sup>.

Хотя и понятия народности, партийности, художественной правды рассматриваются в нынешней Энциклопедии резко отлично от того, как они рассматривались в прежней, выходящей в начале 30-х годов Литературной энциклопедии, свидетельствуя, сколь далеко ушла вперед наша наука с той поры, все же именно решение проблемы гуманизма — наиболее примечательная особенность этого издания — свидетельствует о надежном преодолении вульгарно-социологических тенденций. «Жизненная правда в произведениях подлинных реалистов согрета любовью к человеку... Человечность писателя — фактор, с трудом поддающийся учету при посредстве привычных литературоведческих категорий, но едва ли не самый необходимый для создания реалистических шедевров», — справедливо пишет Т. Л. Мотылева в статье *Реализм*.

И ведь, кажется, совсем недавно Ю. Бондарев упоенно восклицал: «Возникла иная измерительная категория: человечность». Это органически присущее лучшим книгам советской литературы качество некоторыми литераторами только еще осознавалось. А кое-кому человечность еще и сегодня мнится синонимом абстрактного гуманизма, хотя на самом деле терминологически вовсе не адекватна ему, а по существу направлена против него, если, конечно, определяется марксистским пониманием жизненной правды. И вот, оказывается, эта по-современному осознаваемая критикой и литераторами «измерительная категория» — объективное и коренное свойство подлинного реализма, а не дань скоропреходящим веяниям.

И это далеко не единственный случай, когда многое из того, что служит еще порой предметом критических баталий, уже прочно и спокойно вошло в Энциклопедию, делая ее действительно современным солидным, авторитетным изданием.

Полно и последовательно применены эти принципы в одной из центральных статей тома — *Русская литература*. Хотя отдельные ее разделы написаны разными авторами, статья в целом сохраняет единый угол рассмотрения литературного процесса. Особенно заметно это на материале XIX века (о литературе первой половины века написал В. М. Маркович, второй — А. Б. Муратов). Из элегической поэзии с ее неудовлетворенностью существующим, из гражданской поэзии с ее «декабристской концепцией русского национального характера» и утверждением «личностного начала», из психологической и бытовой конкретности «Горя от ума» вырастает гений Пушкина. В. М. Маркович подчеркивает и специфическое для пушкинского реализма отношение искусства к действительности, и историзм и народность «Бориса Годунова», и поиск «русских» ответов на общечеловеческие вопросы, и пушкинский гуманизм, в котором сталкиваются в неразрешимых конфликтах государство и личность, народная стихия и деспотизм власти — при активно осознаваемом идеале единой, целостной, человеческой и гармонической жизни.

С тех же диалектически взаимосвязанных позиций осмысливается и творчество Гоголя, для которого решающим было изображение конфликта личности и эксплуататорского общества с одновременным обнаружением живой силы высокого и прекрасного в глубинах души искаженного современностью пошлого «существователя». Идеи свободолюбия, гуманизма и познание правды русской жизни определили деятельность Лермонтова, для которого «новая концепция личности порождает новые требования к ней и к миру».

Извечные категории добра и зла в их объективном и субъективном содержании усматриваются у «натуральной школы» с ее антропологизмом и новаторским пониманием тогдашней общественной среды как силы, отчужденной от человека. Легко находит свое место в этой логике историко-литературного процесса и лирика Кольцова с ее поэтизацией народной жизни и народного мировосприятия.

Наиболее очевидно смыкаются такие понятия, как правда жизни, народность характеров и концепция героической личности, в творчестве шестидесятников, движимых стремлением «рассказать трезвую правду о народе» и поставивших вопрос о новом типе героя-деятели, взятого из народной жизни.

<sup>1</sup> «Гуманизм и современная литература». М. Издательство АН СССР. 1963, стр. 18.

Отсюда вполне органичным, «предопределенным» выглядит и переход к «Войне и миру» Л. Толстого с его «дубиной народной войны», идеей приближения личности к народному началу и невиданно широкой картиной воспроизводимого мира. А рядом встает «Анна Каренина» — роман «о вине и ответственности каждого человека за жизнь личную и общую... Одновременно и роман о всей русской жизни с ее вопиющими противоречиями». Еще более остро это противоречие вскрывает идеологический роман Достоевского, проникнутый пафосом гуманизма, необходимости бороться с миропорядком, который основан на человеческих страданиях и разделении общества на униженных и унижающих.

Таким образом, статья о богатейшей русской литературе XIX века предстает перед нами не как простой обзор с перечислением фамилий, произведений, школ и «кружков», а как статья концептуальная, крепко сцементированная тремя коренными принципами, благодаря которым оказалось возможным — что, впрочем, и неудивительно — показать и животворную преемственность в идейно-художественном развитии литературы, и внутренние противоречия художественного процесса, и поступательное его движение, подводящее нас к литературе XX века, реализм которой уже исходил из исторической потребности «более активного, непосредственного вторжения в жизнь».

Можно привести много более частных примеров того, насколько плодотворно для Энциклопедии применение этих принципов, не декларируемое специально, но выявляющее себя как естественная логика научного исследования.

Кажется, что более далеко от народности и «земного» человеческого бытия, чем символ. Но в статье *Символ* С. С. Аверинцев подчеркивает и отстаивает социальные и коммуникативные его функции, его «вопросание» о человеческой сущности, не овеществляемой, но символически существующей в вещном, борется против идеалистических попыток снять проблему аналитической интерпретации символики. Все это и есть не что иное, как забота о гуманистическом, понятном народу, направленном на возможно более полное художественное познание подлинных жизненных глубин искусстве.

Благотворны эти принципы и при анализе творчества отдельных писателей. Заканчивая статью о Сервантесе и как бы подводя итоги характеру исследования его творчест-

ва, Л. Е. Пинский отмечает, что советские литературоведы всегда исходили из органической связи автора «Дон-Кихота» с гуманизмом Возрождения, раскрывали в нем ориентацию на «широкую демократию», осознавали жизненную ситуацию Дон-Кихота в принципе незавершаемой, неисчерпаемой, вечно «открытой». На уверенном применении этих принципов основан объективный научный анализ силы и слабости гуманизма У. Сарояна, а также импрессионистической неполноты художественной правды книг М. Пруста. Там же, где этот широкий взгляд отсутствует (как, скажем, в статье об Э. Синклере), анализ становится скудным, осколочным, неконцептуальным.

Насколько важно использование всех трех принципов — народности, художественной правды, гуманизма — в их единстве, не выделяя изолированно какой-либо один, показывает статья *Роман*, на обретениях и просчетах которой стоит остановиться подробнее.

Яркая, увлекающая своими довольно-таки дерзостными научными построениями статья В. А. Богданова вобрала многие достижения современных исследований романа (о четвертом роде литературы, о том, что роман в принципе не может обладать завершенной жанровой формой, и т. д.) — и в этом лишний раз проявилось то творческое отношение к предмету, которое характерно для многих материалов КЛЭ.

Статья имеет важное значение в полемике как с эрудированными защитниками «нового романа», так и с бесхитростными ниспровергателями самого жанра. Как правило, его «ниспровержение» происходит весьма однотипно: в качестве единственной задачи искусства выдвигается художественное исследование современного «разорванного» сознания и подсознания, ибо окружающий мир хаотичен и непознаваем; поскольку же роман претендует быть целостной картиной мира, то, стало быть, он и не может существовать, раз не существует познаваемый предмет изображения.

В. А. Богданов видит в романе предельно свободное жанровое образование: как безгранична сама жизнь, так безграничны и формы ее отображения в развернутом эпическом повествовании. И — что особенно важно в условиях современных дискуссий о судьбе романа, ибо выбивает почву из-под ног ниспровергателей жанра, — весь практически необозримый материал романистики

рассматривается сквозь призму концепции личности.

Авторская позиция заявлена в первых же фразах: «роман...— эпическое произведение, в котором повествование сосредоточено на судьбе отдельной личности, на процессе становления и развития ее характера и самосознания», «представляет индивидуальную и общественную жизнь как относительно самостоятельно неслиянные, не исчерпывающие и не поглощающие друг друга, хотя и взаимосвязанные стихии, и в этом состоит определяющая особенность его жанрового содержания».

Ставшая доминантой связь между концепцией личности и жанром оказывается в статье В. А. Богданова очень конструктивной для определения жанровых особенностей романа. Это особенно заметно, когда параллельно читаешь статью о романе в прежней Литературной энциклопедии (1935). В той статье, принадлежавшей Г. Поспелову и Г. Лукачу, роман рассматривался как «большая эпическая форма, самый типичный жанр буржуазного общества», принципы же нового, «социалистического романа» виделись еще весьма смутно.

Заметим тут же, что определения других эпических жанров, данные в КЛЭ, отнюдь не проистекают из подобной концепции личности (а точнее говоря, ни из чего не проистекают). Рассказ — всего-навсего «малый прозаический... жанр, соотносимый с повестью, как более развернутой формой эпического повествования». Не будем говорить, что во многих литературах нет в обиходе понятия повесть, а есть лишь два жанра: роман и рассказ. В прежней Литературной энциклопедии так и говорилось: «Термин «повесть» в его определенной противопоставленности терминам «рассказ» и «роман» — специфически русский термин». Нет отсылки к жанру повести и в статье *Реализм* (в шестом томе КЛЭ), обобщающей опыт мировой литературы. Так что осознать рассказ как жанр, «соотносимый с повестью», весьма трудно. Но все-таки обратимся к определению повести: «Эпический прозаический жанр. В отличие от романа с его стремлением к драматичности и замкнутости действия, сюжета повесть тяготеет более к эпичности, к хроникальному сюжету и композиции». Как видим, только определение жанра романа — кстати, исторически сформировавшегося после рассказа и повести — исходит из цельной концепции, а другие жанры какой-либо концепции не содержат; про-

сто повесть отличается от романа, а рассказ от повести.

Но оставим в стороне отсутствие общих гносеологических критериев в определении трех ведущих жанров. Вернемся к статье о романе.

Логику исторического движения романа В. А. Богданов определяет нарастающим развитием личностного начала, процессом обособления личности от целого. Ни характер изображения народа (одно из важных качеств народности), ни проблема художественного воспроизведения жизненной правды при этом не учитываются в качестве факторов этого движения.

Структура романа делится для исследователя на «экстенсивную» и «интенсивную»: в романе первого рода, по его мнению, эволюция личности определяется внешними, объективными, прежде всего социальными обстоятельствами; романы же второго типа предельно сосредоточены на жизни одного человека, становясь сугубо «психологическими». Но разве психологический роман отключен от объективных социальных обстоятельств? Просто они выражены в нем не столь открыто, на их распознавание надо нацеливать исследователей. Однако В. А. Богданов считает, как видим, возможным существование романного героя, сосредоточенного в самом себе. Не оттого ли для него и «антироман» возник только как «реакция на экзистенциальный роман», а не как попытка низвергнуть реалистический роман, хотя все сторонники «антиромана» разделяют «мысль о принципиальной исчерпанности традиционного романтического повествования» (см. статью *Новый роман*, помещенную в пятом томе КЛЭ).

Больше того, одним из серьезных недостатков советского романа на определенном этапе он числит то, что «историзм событий вытеснял историзм характеров, игнорируя тем самым художественную специфику романа, в который история должна входить через историю личности». Безоговорочное неприятие историзма событий логически вытекает из личностной концепции романа, но в том-то и дело, что и с т о р и з м событий — реалистическое воспроизведение философски осмысленных коллизий эпохи — не адекватен беллетризованному описанию событий. Да, информация о социальных, бытовых, исторических условиях человеческого существования не исчерпывает содержания литературы; главное достояние искусства — раскрытие характеров. Но ведь губительно вся-

кое описательство, в том числе и самодовлеющее, имманентное описание характеров в ущерб познанию историзма событий, в которых действуют герои произведения.

Не удивительно, что В. А. Богданов не разворачивает жанровые особенности романа-эпопеи (для этого нужно найти более тонкое и многослойное взаимодействие концепции личности с народностью и художественной правдой истории), а, наоборот, относит «Жизнь Клима Самгина» «ближе к монументальной повести»: ведь там «движущаяся «грозда истории» — полновластный персонаж, организующий сюжет и подчиняющий себе образы героев, историю характеров»!

Таким образом, проливая свет на многие коренные разновидности романного жанра, концепция В. А. Богданова не может все-таки достаточно полно объять всю их совокупность.

Те же противоречия сказываются и на его изложении исторического развития романа. Узкая и острая, как нож, концепция позволяет находить лаконичные, хотя и несколько «выпрямленные» формулы для целых эпох. В период Возрождения «всесторонняя защита личности и ее свободного развития, вера в человека, объявленного «мерой» всех вещей и отношений, крайне обостряют и активизируют романтический подход к личности»; в эпоху классицизма роман чахнет, ибо «авторитарное мышление разрешало противоречие между личным чувством и общественным долгом в пользу долга, лежащего вне интересов отдельной личности»; широкое развитие жанра возникает «на новой волне гуманистических идей — в эпоху Просвещения»; только реалистический роман XIX века устремился «как к внутренней бесконечности индивидуальной личности», так и к художественному анализу современного общества. Столь же жестко объясняется и разделение натурализма и модернизма: одни умалили свободно-личностное начало в человеке, другие погружались в изолированный от социального бытия «поток сознания» (в этом смысле от статьи *Роман* выгодно отличается статья *Реализм*, где при разговоре о модернизме речь идет не только о дегуманизации, но и о дереализации, где верно указывается на возрастание роли трудового народа в судьбах реалистического эпоса).

Узость предложенной концепции становится особенно заметной, когда автор доходит до развитой романистики XX века, отчет-

ливо и упорно сопротивляющейся тем жестким дефинициям, в которых пропало объективное познание мира и остался только конфликт личности и мира. Так прямо и говорит В. А. Богданов: «Кардинальная проблема 20 века — противостояние личности и всего мира» и, соответственно, «одна из кардинальных негативных (? — А. Б.) проблем 20 века — отчуждение и самоотчуждение человека в западном индустриальном мире».

Но почему, собственно, единственной кардинальной проблемой XX века является та, что названа В. А. Богдановым (применительно к его концепции), а не историческое противоборство двух социальных сил, противоборство, обусловившее, кстати, сюжетное строение наиболее значительных романов нашего века?

Наверное, так бывает всегда: чувствуя узость формулы, автор пробует расширить ее до глобальных масштабов в надежде, что словесная глобальность будет компенсировать отсутствие реальной широты. Во всяком случае, так получается у В. А. Богданова. Советский роман, уверяет он, рожден «в эпоху напряженно-действенного противостояния человека и истории». Все здесь загадка: где границы этой эпохи, что значит действительное противостояние и почему нет речи о познании объективных законов истории и использовании их для гармонического слияния интересов личности и истории? А из этого общего тезиса следуют ведь и частные выводы: «Эпическую трагедию встречи человека с историей символически выразил образ Григория Мелехова». Но трагический исход судьбы Григория нельзя признать за единственный, фатальный исход встречи каждой личности с историей «вообще»; речь в романе Шолохова идет не о символической судьбе, а о реальном поведении, сложно детерминированном социальными, историческими, психологическими, бытовыми факторами. Плохо, когда судьбу Григория Мелехова трактуют вульгарно-социологически, но не много пользы и от столь глобального «захода».

Впрочем, я, вероятно, несколько увлекся полемикой с В. А. Богдановым. Вызвано это тем, что его оригинальная, угловатая концепция, правильная в своей основе, ибо, конечно же, именно характер гуманизма писателя влияет в конечном счете на характер художественного воссоздания им жизни, еще не до конца отточена и развита применительно к романским формам XX века. Но

ее достоинство в том, что она носит творческий, конструктивный характер и предстает в Энциклопедии как определенная веха на пути нашего общего познания закономерностей литературы.

Одна из труднейших задач КЛЭ — выработать целостное научное представление о современном мировом художественном процессе, отбирая все лучшее, исторически ценное и избегая при этом идейной «безбрежности» и объективизма. Писателей, как и философов, конечно же, нужно прежде всего оценивать не по тому, что они не сумели сделать, а по тому, чем они, пусть в самой малой степени, обогатили человечество. Этим, если говорить обобщенно, и отличается «стратегическая», рассчитанная на десятилетия статья в Энциклопедии от «тактической» критической статьи в газете или журнале, продиктованной необходимыми сегодняшними интересами. Мировая практика нередко поставляет примеры резкой переоценки художественного наследия того или иного современного мастера. Таков уж нынешний век с его неизмеримо возросшей идейной определенностью в анализе каждого явления, связанной с усилением открытой борьбы двух идеологий.

Тем важнее и ответственнее роль КЛЭ в объективной научной оценке сложных литературных явлений с партийных позиций.

Ведя борьбу и против размывания мировоззренческих основ искусства, и против утилитарно-вульгаризаторского отношения к эстетическим ценностям, следует вдумчиво и аргументированно разбираться, что ценно, что преходяще, а что попросту вредно в том или ином литературном направлении, творчестве отдельного художника, в конкретном произведении, не амнистируя ошибочное, но и не торопясь объявить его беспросветно порочным, отсеивая плевелы, но сохраняя зерна. Сильная идеология не боится встречи с противоречивыми явлениями, старается разъяснить, а не обойти их, наступать на идейного противника, а не укрываться от него в доте.

Я бы даже сказал, что не столько на добросовестном изложении общеизвестного и канонического, сколько на умении анализировать сложное проверяется прежде всего мастерство автора, пишущего для Энциклопедии, его методологическая вооруженность, действительный историзм и художественный вкус.

На шестой том, как и на предыдущие, выпало много спорных и сложных явлений и в зарубежной литературе (*Пруст, Саган, Селин, Рильке*), и в русской (*Ремизов, Розанов, Символизм, Славянофильство*), и в советской (*П. Романов, РАПП*, роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита»).

Нельзя не заметить, что кое-где авторы укрываются за деликатными оговорками, рассчитанными на поднаторевшего читателя. Когда, скажем, написано, что «некоторые пьесы Розова вызвали полемику в печати», то это означает, что пьесы подвергались критике, и этот факт негоже скрывать. Когда, скажем, констатируется, что к недостаткам прозы П. Романова «относятся не всегда четкая авторская позиция по отношению к изображаемому, некоторая поверхностность наблюдений и выводов», то должно разуметь: ошибочная авторская позиция, несостоятельные выводы. Вероятно, вместо этих деликатностей лучше было бы называть вещи своими именами, как это сделано с повестью В. Семина «Семеро в одном доме»: «Повесть вызвала дискуссию и критику за «односторонность и узость изображения» жизни» — и далее приводится соответствующая ссылка на статью в «Правде».

Но в конечном счете не подобные редкие огрехи — хотя это все-таки огрехи — определяют характер анализа.

Сквозь весь том последовательно, осознанно, многообразно проходит столь существенная для судеб нынешней — и завтрашней — мировой литературы борьба реализма против модернизма, разоблачение пагубности модернистских тенденций для художника и общества.

Задача эта трудная, тут одними заклинаниями или умолчаниями не отделаешься. С пониманием этого писал А. Овчаренко в недавно вышедшей книге «М. Горький и литературные искания XX столетия»: «В эпохальном споре между реализмом и модернизмом Горький и собственным творчеством и отношением к собратьям по перу отдал предпочтение реализму. Отдал с полным знанием действительных достижений и реальных возможностей того и другого». Реальные возможности модернизма — явления пестрого, противоречивого, многоликого — приходится доказательно, трезво, непримиримо анализировать с позиций более сильной, подлинно новаторской методологии, идеологии, эстетики.

Мы помним, что основная и, добавим, основательная критика четвертого и пятого томов КЛЭ велась прежде всего за «объективизм, примиренчество, а нередко и прямую апологетику», проявившиеся в некоторых статьях и заметках о модернистах («Коммунист», 1969, № 14).

Ведя речь о творчестве ряда современных зарубежных писателей, авторы монографических статей и справок в шестом томе на практике подтверждают сформулированный Т. Л. Мотылевой в статье *Реализм* тезис: «Противоположность реализма и модернизма в условиях сегодняшнего Запада никак не означает взаимной изоляции; тенденции реалистические и модернистские иной раз очень неожиданно взаимодействуют в творчестве одних и тех же писателей, но не уживаются мирно, а сталкиваются, борются». В этом лаконичном завершении формулы — не уживаются мирно, а борются — содержится то, необходимое и принципиальное уточнение, которого не было в статье *Модернизм* в четвертом томе: там констатировалось лишь, что черты реализма и модернизма в творчестве ряда больших писателей «нередко совмещены и переплетены». Объективно оценивая конкретное, подчас внутренне противоречивое творчество модернистских писателей, авторы статей КЛЭ непримиримо разоблачают сам модернизм как систему философских и эстетических воззрений, показывают его губительность для искусства, активно выявляют реальные преимущества и достижения реализма. И в этом отношении вновь вышедший том отразил тот наступательный дух, ту непримиримость к идеологическим противникам, которая является отличительной особенностью советского литературоведения и критики последних лет.

Насколько же эффективно удалось в нынешнем томе не только дать необходимую информацию о творческом пути отдельных противоречивых, а иногда враждебных нашей идеологии писателей, но и объективно оценить их значение, правильно охарактеризовать сложные явления отечественной и зарубежной литературы?

Одной из своеобразных фигур на рубеже века был, без сомнения, Р. М. Рильке с его трагически безысходной тоской по гуманистической целостности, якобы утраченной человеком XX века. В статье Т. И. Сильман позитивное значение и трагические противоречия поэзии Рильке предстали достаточно наглядно. Читая статью, понимаешь, почему

И. Бехер смог назвать Р. М. Рильке посланцем лучшей части своего народа, хотя его поэзии и были присущи чувство страха и тревоги, пессимистическое ощущение того, что вещи и люди, города и планеты оторваны друг от друга. И здесь КЛЭ закрепила, утвердила наше отношение к Рильке, только недавно после большого перерыва и в малом объеме изданному в Советском Союзе и «освоенному» нашим литературоведением пока меньше, чем Кафка, его современник и во многом собрат по художественному познанию мира.

По-разному — и это вполне закономерно — выглядят оценки творчества двух предшественников «нового романа». Деятельность Роб-Грийе характеризуется резко и бескомпромиссно как «литературный ответ на потребность интеллигентного мешанства середины XX века отгородиться от трагических потрясений эпохи с помощью лжеоптимистически-позитивистской духовной изоляции». И хотя широкому читателю не очень понятно, что такое позитивистская изоляция, общая оценка принципиальна и объективна. По-иному трактуются книги Натали Саррот, представляющей собой «психологическую» ветвь «нового романа»: не приемля общие философские и эстетические посылки Н. Саррот, автор статьи Л. А. Зонина все же признает, что ее произведения «временами сатирически воспроизводят мистифицированное сознание мешанской интеллигенции». (В скобках заметим: хотя нет принципиальной разницы между интеллигентским мешанством и мешанской интеллигенцией, единообразие формулировок в пределах одного тома не помешало бы.)

Объективна статья С. И. Великовского о Сартре, она точно раскрывает, как гуманизм французского философа и писателя постоянно подтачивается изнутри ощущением разрыва между безнадежно затерянной личностью и хаотически-аморфным, бесструктурным обществом.

Хорошо написана Н. П. Розиним статья о В. В. Розанове. Это именно статья, а не энциклопедическая справка, — в ней есть то, что можно назвать свободным дыханием, когда противоречия недюжинного, но далекого и чуждого народу мыслителя предстают в их сложном сплетении, а не просто регистрируются, перечисляются. Благодаря такому дыханию впечатляюще раскрывается сущность «человека с «двоящимися мыслями», без волевого (нравственного или идейного) выбора», обнажается общий реакцион-

ный смысл его воззрений на русскую литературу, развенчивается его мнимогражданский призыв: «Служи»; лишенный социальных и политических ориентиров, этот призыв на деле оправдывал социально-политический конформизм. Закономерно завершается статья ленинской оценкой Розанова как писателя, известного своей реакционностью.

Значительно сложнее обстоит дело с характеристикой русского символизма.

Энциклопедия, как и учебник, обладает правом, не давая подробной аргументации или развитой системы доказательств, сразу предлагать выводы. Но уж эти выводы должны быть основательны, строго увязаны друг с другом. Такой системы выводов все-таки не хватает всей совокупности материалов, связанных с символизмом и рассеянных по разным статьям.

В статье *Русская литература* в разделе о символистах, написанном О. Н. Михайловым, о них не сказано фактически ни одного доброго слова: Брюсов подменял «этические начала самодовлеющей эстетики», а Блок просто «перерос рамки символизма». В статье же *Символизм* (раздел о русском символизме принадлежит Л. К. Долгополову) говорится, что перед нами многогранное явление, что «закономерности исторической и природной жизни воспринимаются поэтами символизма исключительно сквозь призму воздействия их на психический склад и внутренний мир личности, которая становится показателем общего состояния жизни». Как видим, речь идет не о каких-нибудь явлениях или отдельных фактах, а ни больше ни меньше как о закономерностях, а лирический герой символистов становится показателем общего состояния жизни. Стоит ли символизму желать большего, особенно если учесть, что В. А. Богданов уверял, что даже в роман история должна входить через историю личности, без всякого «историзма событий»?!

И это не единственное противоречие между двумя статьями одного тома. В статье *Символизм* утверждается: «К 1910-м годам символизм в России становится одним из наиболее значительных факторов духовно-культурной жизни... Двойственность и колебание, трагический разлад с самим собой, сомнение в способности целого века преодолеть зло жизни и вместе с тем бескомпромиссное и последовательное отрицание капиталистической действительности, мещанских, буржуазных форм быта —

характерные черты героя русского символизма». Смотрите, как снова все возвышенно: и единый герой всего символизма, и бескомпромиссное отрицание капитализма, и значительный фактор духовной жизни России. Именно так: не факт, а фактор, то есть, по семантике слова, одна из движущих сил процесса, определяющая его характер. Разумеется, в статье *Русская литература* ничего похожего нет, лишь мельком брошено — «обмелевший к тому времени символизм», как, кстати, нет ничего похожего в предыдущих томах в статьях о Вяч. Иванове и З. Гиппиус, о которой и вообще-то сказано, что она вместе с Мережковским «явилась представителем декадентства в русской литературе, получившего особое распространение в годы реакции после поражения революции 1905—1907 гг.».

Я ни в коей мере не собираюсь умалять достижения русского символизма — одной из ярких страниц русской поэзии. Согласен я в принципе и с тем, что «с течением времени и сами символисты отмежевывались от декаданса, в чем сказались гуманистическая традиция русского искусства, ориентированного на идеал духовной цельности и общественной значимости».

Но ведь не все отмежевывались, да и «течение времени» некоторым понадобилось ох какое продолжительное! А главное, как-то странно в одном томе читать: то символисты «не отвергали ни повседневности, ни реальной истории», то символизм «пренебрегал реальностью как чем-то ничтожным и недостойным внимания поэта».

Вывод здесь, пожалуй, должен быть таков: несмотря на очевидные принципиальные и значительные успехи в оценке сложных явлений литературной жизни, редакционный коллектив еще не до конца справился с теми «зигзагами», за которые его упрекали в предшествующие годы, слишком полагается, очевидно, на собственную авторскую концепцию. О. Н. Михайлову с его известной по другим статьям склонностью к поэтизации русского национального характера и народного быта символизм более чужд, чем Л. К. Долгополову, и, осмелимся сказать, более, чем вообще следовало бы; оттого автор статьи *Русская литература* не видит в символистах никакой внутренней ценности, а Л. К. Долгополов увлечен ими и оттого недостаточно критично оценивает символизм как явление.

Подобное авторское «своеволие» сказыв-



вается и в статье *Славянофильство* (автор Б. Ф. Егоров). В силу ряда общеизвестных причин славянофильство привлекло в последнее время внимание современной литературной критики, стало объектом пристального изучения и полемики. Наверное, поэтому мы прилагаем к этой статье повышенные требования: слишком накалено здесь перекрестие объективного исторического знания и сегодняшних пристрастий, аллюзий, доводов. В заключение своей большой, основательной по приводимым фактам статьи Б. Ф. Егоров констатирует: «Существенным откликом на интерес к славянофильству явилась дискуссия в журнале «Вопросы литературы» (1969, №№ 5, 7, 10, 12), где одни авторы подчеркивали консервативность или «реакционную утопичность» славянофильства, другие полемически выделяли его позитивные и прогрессивные черты, третьи стремились показать сложную противоречивость явления и призывали к расширению исследований о славянофильстве».

Итак, автор выстроил треугольник, в котором все стороны равны. Что ж, в геометрии такой существует. Но в дискуссиях, увы, нет. Да и в процитированной фразе мы можем уловить деликатное отношение автора, выраженное в слове «полемически», то есть как бы в ответ на иную крайность, как своего рода защитный рефлекс. А ведь сообщение о дискуссии могло бы звучать и таким манером: существенным откликом на попытки утвердить прогрессивность славянофильства явилась дискуссия в «Вопросах литературы»; признав противоречивость этого сложного явления и необходимость изучать его более основательно, дискуссия показала несостоятельность попыток выявить исторически позитивную и тем паче прогрессивную функцию славянофильства. Пожалуй, это было бы точнее и по отношению к ходу дискуссии, и по отношению к славянофильству...

В статье С. Машинского, заключавшего тогда дискуссию в «Вопросах литературы», говорилось: «Сопоставляя славянофилов, например, и революционных демократов, мы отдаем себе отчет в том, что имеем дело не с равноценными величинами». Этого в статье Б. Ф. Егорова не ощущается. То и дело мы встречаем: «писатели круга Белинского», Герцен «всегда помнил об отличии своего круга от славянофильского». Гуманные «круги», уместные в письмах того времени, но странные сегодня, не очень-то проясняют дело, равно как и формула: «Важная

заслуга славянофильства в культуре и искусстве — постановка вопроса о национально-исторических истоках современной русской культуры, стремление изучить эти истоки». Здесь опять-таки нет оценки, насколько правильной была их постановка вопроса, и не совсем аккуратно употреблено понятие «современная русская культура», допускающее весьма расширительное толкование во времени. То, что может быть правильным для второй половины XIX века, требует существенного уточнения в условиях второй половины XX века, когда русская культура вошла в систему сложных взаимодействий и взаимовлияний с культурами других социалистических наций, а это ставит проблему соотношения национального и интернационального уже по-новому, в их неразрывном единстве.

А сколь проникновенно пишет Б. Ф. Егоров о том, как, несмотря на гонения, которым подвергали славянофилов и Николай I и церковная цензура, «славянофилы с фанатичной убежденностью и трагическим смирением продолжали доказывать, что Россия — единственная страна, которую ждет великое будущее, что православная церковь — выше и чище католической! Впору зарыдать над трагической участью подвижников...

В статье поминается, что славянофилы требовали отмены крепостного права, желали освобождения человека и искусства от пут бюрократической государственной власти (то есть фактически ничем не отличались от «круга Герцена»), но нигде четко не формулируется, что, при всем интересе к народной жизни и утверждении «общинных» корней личности, их идеология носила дворянский, помещичий характер. Вместо этого они именуются — без реального социального наполнения — всего лишь «консервативными мыслителями».

Под каждой, даже самой маленькой, статьёй или справкой КЛЭ указаны фамилии их авторов, и это очень правильно: в науке о литературе, как и в самой литературе, необычайно важна роль автора, роль творческой индивидуальности. Только самостоятельность таланта — в том числе и литературоведческого таланта — обеспечивает высокое качество материала. И задача редколлегии КЛЭ — найти авторитетных, заслуживающих доверия авторов, а не навязывать им непреклонную волю редакторов и консультантов. К чести редколлегии нуж-

но признать, что такой авторский коллектив ей удалось собрать, объединить, направить на реализацию общих целей. И все же в оценке сложных явлений литературного процесса коллективная мудрость, коллективный опыт должны, вероятно, сказываться в большей мере, чем сейчас. Это значительно повысило бы ту внутреннюю цельность и определенность, которые являются непременным условием успеха всего издания и которые в решающих звеньях уже достигнуты.

Признаюсь, когда я прежде читал рецензии на КЛЭ, то всегда несколько настороженно относился к ним: столько уважаемых авторов, компетентная редколлегия, внутреннее рецензирование всех основных статей — и против всего этого один критик, безапелляционно «наводящий порядок» в бескрайнем океане эпох, стран, имен и произведений. Но вот волею судьбы и я оказался в роли такого быстроходного катера, скользящего по всем 55 печатным листам максимально спрессованного текста. Не самоуверенно ли это?

Пожалуй, единственное, что может оправдать такую решительность, это внутренняя тематическая и проблемная цельность, присутствующая КЛЭ и позволяющая вести разговор по нескольким магистральным направлениям. Не пытаюсь поучать или навязывать свои воззрения, я старался понять, какие же принципиальные успехи и повторяющиеся неудачи содержатся в сложном деле создания энциклопедического тома. Сложном, неблагодарном — и благодарном. Неблагодарном потому, что требует непропорционально «выходу» огромных усилий большого коллектива. А благодарном потому, что успех такого труда — долговременный, прочный, эффективный.

И думается, есть основания подытожить: при всех просчетах, сбоях, неточностях, успех налицо. Вышедший том свидетельствует о зрелости советской литературоведческой науки в целом, о надежности марксистско-ленинской методологии в анализе любых литературных явлений, о неуклонном поступательном движении советской общественной мысли.



# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ

★

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**Александр Борцаговский.** Путь художника.— **Александр Дымшиц.** Человечек — людям.— **Р. Гальцева, И. Роднянская.** О личности Достоевского.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**А. Оноронов.** Оружием полемического слова.— **Феликс Лев.** Интересная книга про «скучную» науку.— **О. Орестов.** Энциклопедия английского образа жизни.

## Литература и искусство

### ПУТЬ ХУДОЖНИКА

**Л. Первомайский.** Произведения в семи томах. Киев. «Дніпро». 1968—1970.

«Виростання душі має певні прикмети...»

*Леонід Первомайський.*

Случается, художника осуждают за то, что достойно похвалы — за цельность; за то, в сущности, что истинный художник «не меняется»... Об актере — даже если это Качалов или Габен! — в таких случаях говорят с оттенком великодушного сожаления: «Конечно, он превосходен, но будем откровенны: этот актер всегда остается самим собой, нет в нем секрета лицедейства»... Столь же немилосерден бывает и суд над прозаиком или поэтом. «Талантлив? Быть может... Но ведь он всю жизнь пишет одну книгу!» И бывает так, что молодой писатель в страхе бежит от призрака «однообразия», убегает от самого себя, от той единственной возможности, которая изначально заложена в нем. Он стремится к кажущемуся разнообразию, к иллюзорному богатству, но всю жизнь слышит только сухой шорох опавшей, мертвой листвы. Палую листву можно сгрести в кучу, перемешав ольху и березу, дуб и осину, а живое дерево родит живой лист, и только человек без воображения не видит, сколь безгранично разнообразие живого, «однообразного» дуба.

Жизнь дерева за десятилетия, а то и века исследуют по срезу ствола, по годичным кольцам, в которых скрыта информация о засухах и лютых морозах. Дерево должно умереть, чтобы раскрыть многие тайны своего прошлого. А поэт «умирает» в каждом лирическом цикле, в каждой новой книге, ибо они — те же годичные кольца, такое же органическое единственное выражение личности.

Это тем более важно и свято, что жизнь поэта отнюдь не растительная, не пассивная, а общественная и энергичная, что временные «кольца» его творчества не откладываются бесшумно и неприметно для глаза, а формируются в поиске и борении. И то, что он остается самим собой, не прячется за толстую кору равнодушия или избраннычества, что он открыт, раним, испытывает натиск жизни и в натиске сам, все это не размывает «колец», а, напротив, подчеркивает их резче.

Прошлое — превосходная книга, в которой яснее видится связь личности и истории, отчетливо проступают краски и разграничительные линии. Длительное развитие талан-

та и личности позволяет почти без риска грубой ошибки говорить о самом направлении этого развития. И особый интерес представляет возможность обозреть все творчество серьезного художника, проследить развитие его мысли и его таланта на протяжении долгих десятилетий. Все это тем важнее, тем поучительнее, что художник жив и крепок духом и все еще идет вверх по крутой и трудной тропе творчества.

Передо мной семь томов произведений Леонида Первомайского, выпущенных киевским издательством «Дніпро». Издание и внешне лишено намека на академичность: матерчатый светло-оранжевый переплет, теплый и на глаз и на ощупь, гравюры (талантливых украинских художников А. Рыбачук и В. Мельниченко), тиснением вынесенные на переплет. Они не иллюстрация к очередному тому, а графическая его «душа», символ, второе воплощение. Собрание сочинений Первомайского далеко не полно, оно включает только избранное и потому названо произведениями в семи томах. Как же распорядился семью томами писатель?

Это вопрос не праздный и не второстепенный. Ведь суд вершил не случай и не чужая воля: сам Первомайский учинил суд минувшим десятилетием собственного творчества. Кто мог предположить, что в собрании не окажется «Неизвестных солдат» — стихотворной драмы, сыгранной на крупнейших сценах страны, вызвавшей множество статей и рецензий?! Что не будет там и такой самобытной пьесы, как «Местечко Ладеню», весьма репертуарной в свое время? Что иные годы поэтической жизни Первомайского будут просто пропущены, а иные представлены одним, самое большое — двумя стихотворениями. Но, может быть, все дело в недостатке площади, — окажись оранжевых томиков больше, автор с легкой душой заполнил бы их вещами, оставшимися ныне за бортом?

Нетрудно доказать несостоятельность такого предположения. Ведь из семи томов два, и притом объемистых, по 500—600 страниц каждый, поэт отдал стихотворным переводам поэтов мира, лишив себя многих возможностей. Заключительный, седьмой, том занят статьями, воспоминаниями и мыслями о литературе. Эти мысли («Из разрозненных записей») глубоки и весомы, их без колебаний можно поставить в один ряд с лучшими страницами книги Юрия Олеши «Ни дня без строчки». К то-

му же именно они — верный ключ к разгадке тайны столь сурового отбора произведений для семитомника. Автор словно говорит нам: вот некоторые истины, до которых я дошел долгим и сложным путем, они прежде всего действительно для меня и пусть дело мое не расходится со словом!

Итак, два тома переводов, том воспоминаний и размышлений, — чем же заняты четыре других тома? Самый объемистый — широко известным романом «Дикий мед» (4-й том), третий том — малой прозой, рассказами разных лет и пьесой «Начало жизни», второй — стихотворным романом «Молодость брата», поэмами и двумя стихотворными пьесами: трагедией «Вагрова ночь» и народной исторической драмой «Олекса Довбуш». Первый том, с него-то мы и начали разговор, составили стихи, взятые из многих поэтических сборников, выходявших за сорок с лишним лет. Здесь собрано все лучшее из лирики Первомайского, не считая того — весьма весомого! — что появилось в последнее время, уже после выхода первого тома.

О семи томах трудно сказать коротко. Невозможно в рамках одной статьи говорить подробно и о прозе и о драматургии Первомайского. В семи томах целая жизнь, требующая пристального внимания, тем более что творческая жизнь не просто продолжается, а заявляет о себе все более сильно. Поэтому я ограничу свою задачу и буду говорить здесь главным образом о стихах Первомайского. «Кто знает стихи поэта, — замечает Первомайский в «Разрозненных записях», — тот знает и самого поэта».

Поэзия Первомайского в движении, — и сегодня это движение увереннее, чем когда-либо прежде. Она фиксирует все главные этапы развития. Перечитывая роман или рассказы Первомайского, без особого труда находишь те разделы его лирической поэзии, те поэтические пласты, которые по атмосфере, по особому состоянию духа наиболее близки этим крупным разножанровым произведениям.

В сборнике «Поздний запев» (1958) Первомайский писал о том, что нет нужды будить юность по той простой причине, что она не спит, бодрствует, живет в нестареющей душе поэта. И хотя он сам с высоты прожитого называет первые свои стихи нескладными, неловкими, что ли, словно снисходя к их несовершенству, мы с интересом читаем те образцы ранних стихов Первомайского, которые вошли в собрание. Они

не так уж нескладны, а порой и просто хороши. Молодой, ломкий еще голос поэта звучит искренне, хотя, случается, излишне пылко и приподнято. Поэт не чужд риторике, и сторонних влияний, и некоторого налета громогласной, романтической расщучности.

В ранних стихах еще нет того полного слияния поэта и материала действительности, когда между ними не остается и самого малого зазора, когда объективная действительность, войдя в душу, в естество поэта, возвращается нам заново рожденной, сгустком его чувства и мысли, его крови и боли. В ранних стихах мир описан точно, воспроизведен талантливо, но мир этот — рядом, он еще не растворился до конца в строфе. Поэт скачет на разгоряченном коне романтики по горным тропам Памира, в ображении своем он то и дело в жарких схватках гражданской войны, чаще всего посреди тревожного, полного опасностей ночного мира. «Декорации» реальны, похожи, но словно подсвечены театральными софитами: громы, шквальные ветры, тропы над пропастями, огневые вспышки выстрелов, молчаливое мужество часовых и разведчиков и многое, многое другое — это ведь не выдумка поэтов, а тоже реальность. Пройдут годы, и поэт, участник Великой Отечественной войны, напишет о боях и мужестве, о гибели и подвигах по-другому, с поэтической достоверностью, которая выше простой житейской достоверности, ибо верно понятая реальность удесятерена в ней личностью художника, поэтическим преобразованием. Тогда ему не понадобятся декорации — каждая строка, вроде бы описательная, пейзажная, будет нести иную, далеко не «обстановочную» нагрузку.

Спустя четверть века после первых поэтических опытов Первомайский с полным правом скажет о себе: «Я знаю владу простих слів...». Он и в первые годы творчества догадывается о силе и всевласти простого слова. Однако полного доверия простым словам еще нет, еще кажется, что их недостатком на настоящую поэзию, что слова непременно требуют форсирования и необычной компоновки.

Проходит целое десятилетие (1924—1934), а воображение поэта все еще в плену событий и образов гражданской войны. Она прошла рядом, точнее, прошла и по его жизни, но возраст не позволил ему стать солдатом той войны. Тем святее и романтичнее для

него само слово бой — едва ли не самое важное слово молодой поэзии Первомайского. Оно — как пароль, как клятва верности. Оно всегда имеет один смысл — революционной, народной войны. От молодых комсомольцев, ставших героями поэмы Первомайского «Трипольская трагедия» (1929), пролягут прямые пути к комсомольцам более поздних 20-х годов, к революционным будням — и высшим судом, мерилom и средоточием всех нравственных начал останется все тот же бой, близкая еще гражданская война. Это захватит всю натуру писателя, выразится и в поэзии, и в первых рассказах, и в драматургии, в пьесе «Начало жизни» («Коммольці»), и во множестве не вошедших в семитомник произведений.

Грех называть это увлечением, еще больший грех видеть в этой привязанности писателя некую рассудочную позицию. Это — важная часть жизни художника и счастливая пора, о которой, надо полагать, он никогда впоследствии не жалел. Нахлынувшим на него темам и образам он отдался со всем эмоциональным неистовством молодости. И если мы сегодня, перечитывая эти стихи, не находим в себе столько же пылкости и волнения, то виною тому и время и отчасти характер письма, поэтическое громогласие, которое, как известно, устаревает прежде всего другого.

Я пишу об этом вовсе не для запоздалых упреков. Ранние стихи Первомайского, тем более лучшие из них, упреков не заслуживают: нельзя попрекать юность отсутствием зрелого, мудрого опыта. Речь идет о развитии таланта, о том, что сам Первомайский назвал «вырастанием души», о движении к поэтическим вершинам, и невозможно проследить это движение без сравнительного анализа. «Для развития, — справедливо замечает Первомайский в «Разрозненных записях», — нужна способность к развитию». Счастливая способность к развитию, принадлежащая таланту так же, как, скажем, продуктивность, вовсе не обязательно прилагается природой ко всякому таланту и всякой личности. Как много остановившихся и загубленных талантов обязаны этим именно отсутствию «способности к развитию»!

В книге «Пролог к горе», объединившей стихи о Памире 1932—1933 годов, строки лежат перед нами открытые, обозримые, не хранящие особых тайн.

Памир поразил поэта, настроил его на величественный лад. Исполнинская гора встала

на его пути. Гора поднималась круто, она останавливала его, а за горой — солнце, которое, по утверждению поэта, было ему по вкусу. Солнце — награда, цель, достигнутый рубеж, и бесстрашный поэт будет есть солнце «без хлеба, бо воно мені до смаку!». Таков смысл двух рефренных строк из вступления к книге. Поэт захвачен новыми словами, названиями, их неожиданной музыкой: слово *овринг* — узкая тропа, идущая по карнизу над пропастью, — семь раз повторяется только в одном стихотворении «Реквием моему коню». Дарваз, Хингоу, Ванчу, Чиль-Дари, Қала-и-Хумб — названия селений, перевалов, богом проклятых горных троп то и дело вчekanиваются в строки. В читательском воображении встает картина величественная, с оттенком экзотики, картина новая, хотя, скажем, фельдгегерь Глушенко из одноименного стихотворения памирского цикла — это все тот же романтический герой гражданской войны, заброшенный в горы Памира. В этих стихах и добро, и огонь молодого сердца, и достойная работа воображения, однако прочитывается в них только то, что видится глазу и слышится уху. Им еще не хватает протяженности чувства, глубины настроения, создаваемого, казалось бы, одним только расположением самых простых слов, не хватает полноты атмосферы. А полнота и единство атмосферы составляют одно из важнейших условий существования истинной поэзии.

Спустя много лет Первомайский скажет:

Душа поезії — не рима,  
Не брязкальце для диваків.  
Ї субстанція незрима  
Палахкотить поміж рядків.

Эта выстрадавшая всей жизнью поэта истина еще не вполне приложима к большинству стихотворений цикла «Пролог к горе». И все же в стихах первого десятилетия — по строке, по отдельным штрихам, по слову и еще по чему-то, что не поддается расшифровке, мы угадываем будущего большого художника.

Мы угадываем его — с его поэтическим словарем, с его ритмами и пристрастиями, с его излюбленными красками и преданнейшей учебкой у народной песни — в пейзажных зарисовках, в строфах таких стихотворений, как «Весна», «Горобій», «Ти пройшла, як музична хвиля», и прежде всего в небольшой поэме «Несподівана мати»

1922 год, умирает от чохотки раненный в гражданскую войну Михайло Чикаленко

Он со всем своим прошлым — ранами, борьбой, болезнью и наконец смертью — принадлежит революции, комсомольскому комитету, который и решает вопрос о ритуале похорон. Но приходит нежданная мать, мать Чикаленко, о которой забыли. «Ми ж не знали, не знали, не знали», — словно заговаривает проснувшуюся боль поэт. На заседании комитета в «...присутствии беспартийных — смерти и матери» принимается компромиссное решение:

...Щоб назавтра гриміли  
останні салюти  
потрійно,  
а потому —  
ти материн.

И опуская в могилу Чикаленко без креста, пробив тройным залпом «прямоугольник небес, набрякший дождем», они с удовлетворением думают о том, что не сгубили своего сердца и не свернули с путей революции.

Образ матери не развернут, ее горю еще не дано по-настоящему вторгнуться в мир молодых, потрясти их сердца, навести на простую мысль о неизмеримости ее страдания. Хватит и простого прозрения, что у каждого из них есть мать, «і в кожного з нас — одна!». Три реальности: реальность жизни и сложившегося быта общезжития «коммольців», все еще ощущающих себя военным отрядом на марше, реальность матери и бесконечная протяженность, изначальная сила ее скорби и, наконец, реальность образного мира поэта, его размышлений, — эти три реальности еще не до конца слились, чтобы сотворить поэтическое чудо. Это еще предстоит сделать зрелому поэту, и не только поэту, но и драматургу, и еще в большей степени Первомайскому прозаику, автору романа «Дикий мед», автору «Черного брода», повести простой и таинственной, заставляющей вспомнить лермонтовскую «Тамань» скрытой своей тревогой и чувственным напряжением.

С самого начала своего пути Первомайский живет с ощущением, а затем и с глубоким, я бы сказал, научно осознанным убеждением, что нельзя ни на день прекращать учиться у народного слова. И творчество его — поэзия и проза — являет собой редко наблюдаемый пример, когда художник с годами все щедрей обнажает сокровенные свои связи с творчеством народа, когда и словарь поэта становится все богаче и органичнее для него, когда его стихи, становясь и мудрее и строже, молодеют, обре-

тают небывалую прежде сочность. Столь же знаменательно и движение словаря прозы Первомайского, то, как с течением времени он воспитал и развил в себе повествовательный талант, умение писать прозу простую, «предметную», но не бытовую, а пронизанную поэтическим чувством, как утренний лес светом.

Работая в разных жанрах, Первомайский не допустил простого «соседства» стихов и драмы, рассказа и романа. Школа поэзии воспитала его прозаическую строку, дала ей глубоко запрятанный, необнаружимый на глаз ритм, интонацию, дала прозрачность, негромоздкость и особую точность эпитета; баллада отточила диалог; драма научила сюжетности, но не мелочной, не фабульным изощренным ходам, не лукавству интриги, а силе и существенности столкновений и значительности конфликта. Было бы наивно и несостоятельно устанавливать некое «старшинство» поэзии, прозы или драматургии в творчестве Первомайского, а тем более предсказывать их будущее. И все же трудно, перечитав семитомник, не высказать хотя бы самого общего ощущения, что почвой, на которой вырос и развивался Первомайский, была прежде всего поэзия. Тут опробовалось оружие, которое потом с успехом действовало и на других фронтах. Тут шла разведка и постигались истины, которые затем проверялись прозой. Здесь вспыхивали страсти, пламя которых перекидывалось и на повествовательные страницы. Это справедливо хотя бы потому, что и в прозе Первомайский остается поэтом. Самый подход его к человеку — настойчивый, неустанный поиск добра в нем — неотделим от поэтического мироощущения.

Можно указать еще на некоторые характерные для Первомайского черты и особенности, отчетливо заметные читателю семитомника, поскольку почти полувекковой труд сжат здесь до пределов двух-трех тысяч оригинальных страниц.

Это — почти полная свобода поэта, гордского по всем представлениям человека, от специфических городских тем, от урбанистического пейзажа. В рассказах Первомайского города больше — есть он и в «Диком меде», есть, но он несоразмерим по масштабам с его же лесеми и долами, тихими украинскими реками, с шорохами и запахами земли, с растущим колосом, с пре-красной, естественной землей.

Комсомольцы 1922 года, стоя над прахом Чикаленко. решают похоронить товарища

в братской могиле «с латышами и мадярами рядом». В творчестве Первомайского с самых первых шагов революция возникает как воплощение интернациональной мечты, как великое творение человеческого братства. Казалось бы, это отличительный признак всей нашей поэзии, а не особенность, не индивидуальная черта кого-либо из поэтов. Но в русской поэзии последних десятилетий есть Николай Тихонов, в творчестве которого и тема и идея интернационального братства стали главным нервом, определили краски его поэзии, ее мужественную интонацию, отчасти и «е словарь. Можно, нисколько не преувеличивая, сказать, что поэт был рожден, был призван в этот мир для таких именно песен. Таков и Первомайский, хотя он и резко отличный от Тихонова поэт.

Глубочайшее убеждение в могуществе и истинности интернационального братства, в его нравственной необходимости для человечества пронизывает многие стихи поэта, составляет их сущность; это же убеждение определило его интерес к реалистической, революционной поэзии мира и толкает его к неутомимой переводческой работе. А переводы, в свою очередь, углубляют его познание жизни, обогащают средства поэтической выразительности. Процесс этот не следует понимать упрощенно, с точки зрения ремесла: поэт на долгие месяцы погружается в чужие строфы, в чужую жизнь, в неумирающие страсти. Это подобно потрясению и нелегкому, драматическому обновлению жизни. Из этой, условно говоря, «чужой» жизни он выходит не с удачными, зажатými под мышкой строками, не с чужими рифмами в кармане — он выходит в чем-то изменившимся, собранным, исстрадавшимся, пережившим чужие беды. Не случайно для Первомайского перевод — это и исследование собственно истории, и изучение всей жизни переводимого поэта, и создание научных, биографических эссе о нем. Так родились работы Первомайского о Петефи, Лонгфелло, Франсуа Вийоне, его глубокие наблюдения над творчеством Гейне, многие и многие статьи, составившие заключительный том. В этом томе следует также выделить по глубине и оригинальности мысли уже упомянутые мною «разрозненные записи» и темпераментную, умную статью «В защиту поэзии».

Нужно ли говорить о том, что интернационализм, пронизывающий все творчество

Первомайского, тем действительно, чем прочнее и увереннее стоит поэт на родной земле, чем глубже и многообразнее его внутренние, сокровенные связи с народом и его творчеством. Я бы погрешил против истины, назвав эти семь томов энциклопедией народной жизни за полвека: такое, вероятно, под силу всей литературе в целом, а не одному поэту, как бы талантлив он ни был. А Первомайский по преимуществу поэт драматической темы, драматических судеб и биографий. Отсюда его интерес к Гейне, Вийону, к Петефи и к историческим судьбам Венгрии, отсюда же и мощь его военной музыки, загадочная для поэта, чей миролюбивый характер не подлежит сомнению.

Может быть, ответ надо искать в столь полюбившихся Первомайскому строках венгерского поэта Миклоша Радноти: «И буду я убит за то, что не жесток, и потому, что сам я не убийца». Первомайский пишет, что если бы Радноти написал только «эти строки, их достало бы на то, чтобы стать в один ряд с чистейшими сердцами человечества, которые предпочли погибнуть, но не склониться перед ложью и насилием».

Тут мы приближаемся к обозначению еще одной, важнейшей черты творчества Первомайского, тоже, казалось бы, общей для всей совестливой, гражданственной литературы и все же глубоко индивидуальной. Это — неустанное, непререкаемое ощущение и осознание своей теснейшей сопричастности трагедиям века, своей личной ответственности перед кровью и памятью павших, ощущение неразделимости исторических судеб живых и павших и прежде всего судьбы поэта с его особой ответственностью и долгом. Можно было думать, что эти мотивы, исторгнутые из самого сердца поэта трагедиями войны, холодящим кровью зрелищем освенцимов и майданеков, затем, после войны, станут звучать все более глухо, размыто, ибо живая жизнь берет свое. Она и берет свое, живая жизнь послевоенных десятилетий, но и тот возникший в годы войны мотив сопричастности трагедии, мотив ответственности, драматической памяти, с годами звучит все сильнее и неукротимее. Только внешне поэзия делается спокойнее, философичнее, кажется, что утихает крик боли, но сама боль не утихает. Она рождает прекрасные стихи; много лет спустя после войны поэт напишет:

Я з вами був. Розпалось серце з туги.  
Коли ж хитнулась вдруге кров моя  
І до живих людей озвалась вдруге —  
Заговорив ваш попіл, а не я.

Избранные сочинения Первомайского позволяют ясно увидеть, как со второй половины 30-х годов идет стремительный процесс становления художника. Он мастерски овладевает балладной формой, ритмикой и строфикой народной песни, не натягивает до предела «удила», не стесняет нарочито умыслом своего стиха, дает свободно проявиться живущему в нем лирическому поэту. Именно тогда, в канун войны, рождаются такие значительные вещи, как «Два письма», «Партизанская баллада», «Старинная казацкая песня» (вариация на мотивы русской песни), весь цикл «Стихи без названия» с такими совершенными стихами, как «Блакитна Рось», «Русокоса, тонкого стану», «Сном мені сниться», «Весна. Гримить у ринвах крига».

«А хмари мусять землю напувати, зволожувати ниву для сівби», — скажет в эту пору поэт, как будто изменяя самому себе, своему недавнему обыкновению пользоваться облака и тучи совсем для других целей — для вселенских громов. Это не было ни прозаизмом, ни уступкой прозе жизни. Поэт познавал «власть простых слов». Потом будут написаны другие стихи, и мы убедимся, читая их, как, в сущности, сложно понятие — простое слово, поймем вместе с поэтом, что «в словах есть кровь. Они живут, слова»; поймем и смысл его вешего предостережения:

Стережіться, поети, глибинного слова,  
Для якого не треба блискучих прикрас.  
Гіркота його вічна і ніжність раптова  
Мають силу цілющу і спляють нас.

Это из поздних стихов, это — прозрения будущего, более значительное, отлившееся в поэтическом слове пониманием самой поэзии. Через всю жизнь поэта проходит неспрвадное, исповедальное, глубоко гражданственное размышление о поэзии, и в пору высокого мастерства и зрелости оно завершится книгой «Уроки поэзии», книгой, которая, я думаю, получила бы широкий резонанс, найди она внимательного и равного по силе переводчика. Но и поэзия Первомайского последних предвоенных лет уже обрела полнозвучность, поэт постиг простую, но так трудно дающуюся истину, что художнику превыше всего — быть, а не казаться, постиг ее не только



разумом, что несложно, но и всеми своими чувствами, дыханием, стремительной строкой.

Когда началась война, фронтовому поэту приходилось работать в срок, споро, ничего не откладывая, ничем важным не пренебрегая, но едва материал новой, грозной действительности входил в стих, он подчинялся воле и таланту поэта. Материал большой взрывной силы, всеобщий по своей природе, подчинялся, беспокойно наполняя, казалось бы, чуждые ему формы — формы лирической поэзии. Прочтите цикл «Земля» из книги «Солдатские песни» — стихи военной поры, отобранные для семитомника, — каким сосредоточенным становится взгляд поэта, как дорожит он, расставаясь с родной Украиной, подробностями, которых прежде, кажется, и не замечал из-за их вездесущности и нерушимой их принадлежности ему, его обыкновенной жизни. Этот обострившийся к детали, к подробностям взгляд в то же время схватывает более широко и общую картину, родную землю в ее целостности, в ее реалистическом, а вместе с тем и символическом значении. Солдаты этого времени видятся поэту уже не в ореоле романтики, не мчащиеся на конях сквозь ночные дымы и громы: они так же тверды и беззаветны, как и те, бывлые, воспетые музой поэта, но они — другие, они не вымечтаны, а многократно увидены поэтом-фронтовиком, их подвиг понят как труд войны, по характеру своего героизма они сродни толстовскому капитану Тушину. Именно так читается одно из лучших стихотворений цикла — «Гармаші».

В «Земле» необычно удлиняется строка, будто и протяженность ее диктует тяжелое раздумье, горечь утрат, нескончаемый солдатский марш. Это, конечно же, не умышленный шаг; изменилось дыхание, самый материал жизни, пульс поэта — и непогрешимое чувство соразмерности, внутренней гармонии продиктовало иные ритмы, иную протяженность строки. Так на пересечении новых тем, нового бивачного существования поэта и его развивающейся личности возникают и поэтические новшества и находки, которые навсегда закрепятся в творчестве Первомайского.

Сегодня можно только удивляться многозвучности и «органичности» его музыки, всему тому, что позволило ему и в грозные дни войны написать десятки лирических и так называемых пейзажных стихотворе-

ний, крайне необходимых в ту пору, на донышке, на самой глубине которых живет война. Среди этих стихов особое место занимает небольшой цикл «Зеленый дом» или стихотворение «Жизнь» — в них выражено более весомое постижение философского смысла жизни, дарованное поэту испытаниями войны, тяжестью потерь и величием надежд.

Одна из «загадок» творчества Первомайского военных лет — все более очевидное утверждение лирической поэзии, все более частое и уверенное обращение к мотивам, которые принято считать глубоко личными, к той глубинной, эмоциональной сфере, которая неотделима от ищущей мысли. Но, может быть, это и не загадка; возможно, здесь нет и зримого противоречия. Народное бедствие, потрясения войны, огромность борьбы, которую ведут миллионы, сам масштаб событий могли деспотически подчинить себе того, чей внутренний голос, внутренний отклик на беду недостаточно могуч и творчески действителен, — тогда интерес пишущего невольно сосредоточивался на внешности событий, а события тех дней так обжигали, что порой и простая их передача вызывала интерес читателя. Но если внутренние силы поэта велики, а способность соперничества огромна, если он способен пропустить войну через сердце и оно не разорвалось, тогда все величие борьбы, и горе, и мужество, и терпеливый ратный дух могут перелиться не только в бравурную музыку.

Поэт научился быть и оставаться самим собой в самой гуще потрясающих исторических событий, понял, что в этой верности себе и своему дару состоит и его гражданский долг и самая возможность — как поэту честно послужить общенародному делу. Трудно, невозможно оценить то, как, какими путями и в какой мере творчество того или иного поэта, не говоря уж об отдельном стихотворении, воздействовало на читателя, на солдата в окопе, на рабочего человека в тылу. Но то, что было в ней истинным тогда, живет и сейчас. Перечитывая сегодня, спустя много лет, избранную военную поэзию Первомайского, ясно ощущаешь, что она жива, что и в самых личных стихах он выразил чувства народные: неизмеримую любовь к родной земле, скорбь, предчувствие возмездия, ощущение своей исторической правоты, такую доброту и такую любовь, которые сами по себе символизируют победу жизни над смертью.

Спустя годы Первомайский опубликует роман «Дикий мед», в котором именно эти качества выразятся с большой силой и индивидуальностью. Роман примечателен в нашей прозе уже хотя бы тем, что и в эпическом произведении художник властно подчинил сложнейший материал своему поэтическому дыханию, своим неизменным страстям — доверию к человеку, доброте, вере в целостность любви.

Каким вышел из войны сам Первомайский, таким вышла и его поэзия. Они живут в мучительном согласии, потому что для поэта не может быть согласия мирного и безмятежного. Они вышли из войны усталые, умудренные и пораженительно жизнелюбивые. Вышли с неутраченной болью, ее невозможно изжить в одну жизнь, если ты действительно поэт.

Есть у Первомайского поэма середины 50-х годов, которая называется «Казка» («Сказка»). Поэма-исповедь, история поиска всей жизни. Не хронология, не цепь внешних событий, а то, что может быть названо внутренней биографией, духовной биографией художника. В двенадцатистрочных строфах заключена вся жизнь поэта, все пережитое — родная Полтавщина и сожженные волжские кручи, юность поэта и годы зрелости. — вся жизнь, но выраженная не педантично, а крылато и дразняще. Сказка, в поисках которой неутомимо вышагивает поэт, и длится вечно, и прячется от него годы и годы, всю его жизнь. Она олицетворяет в поэме душу поэзии, незримую ее субстанцию, обитающую недалеко «від щастя, дуже близько від лиха».

Сказка Первомайского — вполне земная цель, поиск ее, как и поиск истины, не только труден, но и вечен. Идя через все испытания жизни, через неверие праздных и недобрых, поэт знает, что ускользающая сказка всегда рядом, что она была с ним, что она растворена во всем, что его окружает, что она и милостива и сурова с ним. Полная горечи целой жизни, поэма эта в сокровенной своей глубине оптимистична. Она утверждает поиск и жажду как вечный закон жизни, как ее прекрасную и суровую потребность. Только в последний миг жизни, которая и поэту отмерена земными сроками, только прощальному его взгляду сказка представится ласково и милостиво склонившейся над ним. А пока он жив, он ищет, сам складывает сказки, сам плачет над ними, и только

одна, главная сказка неизменно ускользает от него: «І лише однієї не знайду, не згадаю»...

Простой стих «Сказки», близкий к строю народной поэзии, ритмически, изнутри передает энергию постоянного движения и напряженного ожидания — в прерывистости речи, в коротких сполохах диалога, в действенной, «глагольной» насыщенности. Если стихотворение «Слово» (по времени оно близко «Сказке») — это виртуозно оркестрованный гимн слову, родившемуся в глубинах народной жизни и ставшем оружием поэта, то «Сказка» — неоспоримое доказательство того, как совершенно владеет этим оружием поэт, как послушно открываются ему тайны языка. «Не знаю большей радости, — пишет Первомайский в «Разрозненных записях», — чем свободное владение словом — тем сокровищем человечества, которому равен разве что огонь Прометея».

Научившись у народной поэзии и народного языка высокой простоте, Первомайский с годами становился поэтом все более сложным и содержательным. Сравнение его стихов о Пушкине или Бетховене середины 30-х годов с такими стихотворениями, как «Сервантес в Алжире», «Спиноза» или «Скальд» (из книги «Уроки поэзии»), дает представление о поистине огромном пути художника, не изменившего самому себе. Старым стихам словно не хватало третьего измерения; прошлое существовало в рамках привычных, почти хрестоматийных. Не возникало взрыва. Поэт не вторгался как равный — пусть на эти только мгновения! — в былую жизнь великих. Минувшее воспроизводилось с талантом и тщанием, но именно воспроизводилось, оно оставалось впечатляющей картиной, а не катилось рядом с тобой грозное и грубое, страстное и сильное, в криках, в стенаниях, в ярости и гневе. Я назвал только три стихотворения из «Уроков поэзии», а ведь вровень с ними, а то и выше стоят и «Гулливер», и «Идолопоклонники», и «Гамлет», и «Притча про правду», и «Ракеев в отставке», и многие стихи о поэзии вплоть до заключительного, давшего имя всему сборнику, — «Уроки поэзии».

«Лирический поэт, — утверждает Первомайский, — всю жизнь пишет одну книгу». И хотя его собственное творчество не укладывается целиком в рамки лирической поэзии и поэзии вообще, это определение вполне приложимо и к нему. С го-

дами поэзия становится для него высшей потребностью; поэзия, равно как и проза послевоенной поры, существует для него только в этом качестве. Все прочее, все, что по случайности или по недоразумению стучится в дверь, выдает себя за существенное, отвергается резко и безжалостно. На жизнь право обретают только те строки, которые рвутся из глубины существа, которые и для самого поэта жизненно важны.

Это то же качество, которое так влечет меня к поэзии Кайсына Кулиева, не позволяющего себе ни праздного, ни случайного стиха.

С годами все сильнее обнаруживается в стихах Первомайского еще одно качество, которое так отличает настоящую поэзию от самой блистательной версификации. Это — неповторимость. Под этим я понимаю не то, что никто другой не смог бы написать таких или похожих стихов. Они неповторимы и для самого поэта, они так органичны и столь единственны для времени, когда были написаны (хотя и не ограничены им), что повторить их значило бы повторить и прошлое и самого — тогдашнего! — поэта, а это, к счастью, невозможно.

Полным, абсолютным стало слияние мысли и чувства поэта с болью и борьбой человечества, его сопричастность жизни в самых ее трудных, мучительных узлах, его вера в обновление жизни, в бессмертие труда и творчества.

Собі поети право залишають,  
Всі інші відкидаючи права:  
Належати до тих, кого вбивають,  
А не до тих, хто холодно вбиває.—

утверждает поэт, и мы, его читатели, знаем, что это не просто слова. Они вполне выражают его гражданское чувство ответственности за судьбы мира, братское сочувствие к жертвам насилия до полного слияния с их судьбой, до совмещения их личности и личности поэта.

В «Уроках поэзии» — и мудрость прощания, и почти завещательная чеканная строгость, но вместе с тем и неослабевающее напряжение чувств, и радость поэтических прозрений, и щедрое обещание новых плодов...

В этой статье я о многом не успел сказать, о многом не сумел: поэзия, как и музыка, трудно дается логическому анализу. Жизнь поэта с середины 30-х годов шла на моих глазах, его книги прочитывались по мере их появления, они были частицей нашего духовного мира, но теперь, перечитав все, что так придирчиво отобрал для нас Первомайский, я стою перед его избранным взволнованным и гордый столь талантливым и весомым трудом художника.

Мне кажется, что теперь я лучше, чем когда либо прежде, понимаю смысл его определения оптимизма: «Быть оптимистом — не значит думать, что мир людской — это божий рай. Быть оптимистом — это значит знать все недостатки человеческого существования и верить, что жизнь можно и нужно совершенствовать и менять к лучшему вопреки тем, кто думает, что хорошо и так, как оно есть на земле».

Александр БОРЩАГОВСКИЙ.

★

## ЧЕЛОВЕК — ЛЮДЯМ

А. Манаров. Человеку о человеке. Избранные статьи. Составитель Н. Ф. Манарова. М. «Художественная литература». 1971. 511 стр.

В статье А. Макарова о поэзии Андрея Лупана нашел я такие слова: «...есть воспоминания, способные даже в минуту грусти вернуть в душу радость и солнце...»

Именно это чувство испытываю я, когда думаю об Александре Николаевиче Макарове. Память о Макарове неизбежно связана с грустью, с болью: нельзя примириться с этой тяжелой утратой, понесенной нами в 1967 году. Но вот в памяти возникает живой образ, видишь его веселые

глаза и веселую его улыбку — и в душу возвращаются радость и солнце.

О, какой же это был талантливый человек! И как радостно было общение с ним. И как трудно привыкнуть к тому, что нет его...

Александра Макарова нет. Но и после смерти выходят в свет его книги — большие, толстые тома: сборники «Поколения и судьбы», «Идущим вослед», «Человеку о человеке». Будут и еще книги — его жена

и друг Наталья Макарова находит все новые и новые рукописные работы в архиве Александра Николаевича.

В моем сознании «посмертная жизнь» Александра Макарова объяснима прежде всего тем, что был он для нашей жизни, для ее важной части — литературы, необходимым человеком. Все, что он писал, он делал по глубокому убеждению, по сердечному влечению, с уверенностью в том, что это нужно, обязательно, необходимо. Не было у него случайных работ, каждая работа была жизненным делом, общественным поступком, актом участия, действием ради воздействия. Была она для него возможностью сказать слово, связующее его с людьми, влияющее на общественную мысль. Он знал, что критик — профессия коммунистическая в самом глубоком — духовном смысле. Профессия, для которой нужна партийность позиции. Он всегда старался партийно смотреть на жизнь и на искусство.

Как, в сущности, недолго жил он в литературе. И как много успел. До Великой Отечественной войны он еще не был известен как литератор, шел своим долитературным путем. Крестьянский паренек из-под Калязина, 1912 года рождения, он в середине 30-х годов учился в Москве в Литературном институте. Потом была военная служба, война. Потом, после войны, началась систематическая литературная работа, редакторство в различных изданиях и — критическое творчество, которому он в последние годы жизни отдался безраздельно и упоенно. И все больше и больше успехов в этом любимом деле, и высокий подъем энергии, и — внезапно — тяжелая, непобедимая болезнь. И работа до последнего вздоха.

Вот лежит передо мной книга Александра Макарова, вышедшая в 1971 году. Читайте. Что-то было уже читано ранее, но и сегодня звучит свежо и сильно. Что-то читаю впервые, да раньше оно и не было в печати, — и та же в нем свежесть и сила. Сила ума, свежесть таланта. Читайте. И думаю об уроках Александра Макарова.

В книге «Человек о человеке» поражает широта интересов критика, его отзывчивость к явлениям современной литературы. О ком только из мастеров нашей литературы не писал Макаров: он писал о Шолохове, Демьяне Бедном, Вере Инбер, Светлове, Исаковском, Твардовском, Вишневском, Симонове, Смелякове, Алигер,

Сергее Васильеве, Галине Николаевой... О тогда еще молодых Астафьеве, Евтушенко, Аксенове... О писателях братских советских народов — Упите, Межелайтите, Лупане, Турсун-заде, Ухсае, Марцинкявичусе... О Бабеле, Павле Васильеве, Артеме Веселом и об интерпретаторах их творчества... Писал он всегда широко, обстоятельно, на глубоко дыхании; утверждал, спорил, убеждал.

Александр Николаевич был, что называется, человеком жизненным. Он пришел к критической работе, накопив немалый опыт жизни. Он умел в нем разбираться. Знал народ — солдата, колхозника, рабочего, — пытался следить за процессом духовного роста новой, народной интеллигенции. Он мог и умел поверять литературу жизнью. То была традиция добролюбовская, а Добролюбова он любил всем сердцем, — знаю это, об этом у нас был с ним разговор.

Был Александр Николаевич серьезно подготовленным и постоянно творчески развивавшимся марксистом. А потому и основательным, эрудированным историком, в частности историком советской литературы. За каждым его отзывом о том или ином писателе, произведении, литературном явлении нельзя не ощутить солидных историко-литературных познаний. Все новое ставилось им в связи с прошлым — так выяснялись и принадлежность к тем или иным традициям, и характер новаторства, открытия, завоевания нового в искусстве.

Знание жизни и постижение законов ее развития помогали Макарову в подходе к литературе и к ее закономерностям. Он умел радостно удивляться талантам, уважать художников. И он умел быть требовательным к мастерам, но требовательным не догматично, а с глубоким пониманием личности писателя, его своеобразия, особенностей его художественной природы, а посему и возможностей развития таланта. Именно поэтому он мог направлять по верным путям те молодые, еще неустоявшиеся таланты, о здоровом развитии которых он так заботился. Помню, как он рассмеялся, когда в разговоре с ним я сказал: «Александр Николаевич, вы-то знаете, что нельзя доить соловья и заставлять козу петь».

Его серьезное знание жизни (одна из лучших его книг ведь так и названа — «Серьезная жизнь») давало ему чувство перспективы. Он умел учить молодых (а

порою немолодых) писателей смотреть на жизнь глазами времени, партийно предвосхищать будущее. Он сам был всегда в контакте со временем — с историей, с современностью, с грядущим. И эта обращенность к будущему с позиций серьезной жизни — не она ли сегодня дает его работам такое современное звучание?!

Макаров жил и работал, дружа со многими литераторами. И сегодня можно услышать, что товарищи любили его за мягкость нрава, за доброту, за внимательность. Все так, он был мягким в обращении, действительно добрым и поэтому действительно внимательным. Но он был и твердым, решительным, непреклонно убежденным, всегда принципиальным и последовательным. Он не терпел эстетов, критиканов, догматиков, групповщиков. Он не любил в литературе людей, которые во имя групповых пристрастий отрицают реальные художественные ценности, созданные на путях, далеких от их собственных тропок. Он не любил тех жалких «метафизиков», для которых любовь к одному поэту исключает чувство к другому, на первого не похожему.

Александр Николаевич написал хорошую книжку о Демьяне Бедном. Да и как бы он, крестьянский сын, воспитанник революции, мог не чувствовать, не любить все лучшее у Демьяна? Но разве это исключало для него понимание и приятие поэтов другого типа, другой поэтической культуры? Ни в коей мере. И вот в его книге «Человеку о человеке» я читаю проникновенные строки о Борисе Пастернаке. Он пишет: «А знать о Пастернаке нужно, и, может быть, раскрыв его, новые читатели увидят не только поэта, постигшего «смещение дней, смещение веток, сращение запахов, теней с мученьем века», а и автора удивительной по образной мощи и емкости революционной поэмы «Девятьсот пятый год» и таких поэм, как «Лейтенант Шмидт», «Спекторский», «Высокая болезнь». Этот критик чувствовал себя ответственным за духовное развитие современных людей, он хотел видеть их эстетически богатыми.

Помню, как однажды в беседе мы обнаружили полное эстетическое единодушие в отрицании обедняющих искусство метафизических противопоставлений, в отрицании этих следов убогой, сектантской рапповщины. Мы приводили друг другу примеры того, как вредна эта групповая

метафизика. Почему, в самом деле, Вишневский или Афиногенов? Почему не «Оптимистическая трагедия» и «Далекое», — разве они исключают друг друга? Ведь лишаясь одной из этих пьес, театр становится беднее. Почему Маяковский или Есенин? Почему Блок или Хлебников?.. И так далее и так далее. Конечно, Макаров не был «всеядным», он хорошо знал, чего мы не можем принять вообще, знал и в пределах принимаемого что у кого предпочтеть. Он отлично владел «шкалой значений». Но он был убежден, что нельзя обеднять искусство, что надо быть «хозяйственным» в обращении с духовными ценностями и что надо решительно противиться всяческой эстетической односторонности и кособокости.

Этот наш разговор запомнился Александру Николаевичу, и однажды он вернулся к нему. 6 августа 1962 года он написал мне свою книгу «Серьезная жизнь»: «Дорогой Александр Львович! С глубокой признательностью и уважением». Меня удивило слово «признательность». И я сказал об этом Макарову. Он объяснил мне: признателен даже не за то, что я порою хвалил его работы, а за то, что есть у нас взаимопонимание, а значит, взаимообогащение. «Я,— добавил Александр Николаевич,— читаю вас, не всегда во всем с вами соглашаюсь. Но я понимаю ваши резоны, с ними считаюсь. И я заметил, что в основном мы с вами солидарны». Мне крепко запомнился этот разговор, я почувствовал в нем одну из граней характера Макарова, один из его творческих уроков.

В предисловии к книге «Человеку о человеке» говорится о чуткости Макарова к талантам. Это безусловно так. И наверное, потому, что сам Александр Николаевич был бесконечно талантлив. Был он в критике Поэтом (именно с большой буквы!). Раскрываю первую статью в его книге — статью «Мир Шолохова» — и читаю в ней: «А зельноватые, просвечивающие голубизной, неумолчно журчащие воды Дона, повитая солнечной дымкой степь, вспыхивающая в лучах заката резная дубовая листва, слитный гул смуглых диких пчел, цветное разнотравье Обдонья, раздирающий душу вой волчихи по убитым волчатам во вьюжной ночи и квохтанье самки стрепета, защищающей под лохматым покровом староки-польни глянцево оперенным крылом будущую жизнь,— весь этот невыразимо прекрасный в его сокровен-

ном звучании, в ликованиях и боли, в звоне и шорохах мир природы — это ведь тоже мир Шолохова...» И как же проникновенно писал с Шолохова Александр Макаров, как органично почувствовал он в авторе «Тихого Дона» великого поэта в прозе, как тонко ощутил он в шолоховском романе прекрасную, вечно волнующую, раздольную народную песню: «Самоузорной стежкой протянется через роман народная песня, бесшабашная и раздумчивая, грустная, да и охальная, — то уводя в глубь казачьей вольницы, то окуная в быт, соприкасаемая нас со стихией народного характера. Да и самый роман отлагается в душе настроением, подобным песне, такая в нем глубокая страсть, и молодость, и вера, такая правдивая, горячая душа излилась в нем». Как же это радостно читать критика с такой глубиной, таким размахом, такой красотой чувств!

Листаю книгу «Человеку о человеке». Читайте. И думаю — каким многопроблемным и каким разножанровым критиком был Александр Николаевич. Как естественно умел он соединять аналитичность с публицистичностью, страсть поэтическую со страстью полемической. Был он мастером литературного портрета, и в этом его сборнике есть отличные портреты — Веры Инбер, Галины Николаевой, Андрея Лупана. В них запечатлены различные писательские характеры, прослежены пути этих художников; для портрета Галины Николаевой пришлось искать рукописные материалы, заглянуть в Центральный архив литературы и искусства. Есть здесь и статьи, в которых внимание отдано определенным аспектам творчества писателя-современника, в которых писатель изучен на определенном отрезке его пути. Таковы, например, статьи о К. Симонове как военном романисте, о военно-патриотическом творчестве Исаковского, о пути Твардовского к «Книге про бойца», о Светлове и Смелякове на новом этапе их развития — в середине 50-х годов.

Заглавие книги Макарова взято из заголовка одной из его статей, вошедших в этот сборник, — статьи о поэме Э. Межелайтиса «Человек». Эта статья — очень хорошая работа, в которой доказано, что поэт и философски и стилистически шел от анализа к синтезу, создавая новую поэму. В статье определена и известная близость поэмы Межелайтиса к философской поэме в прозе Максима Горького «Чело-

век». Но проблема, которая сформулирована критиком в названии статьи о Межелайтисе, и в самом деле характерна для проблематики всей книги Александра Николаевича. Его книга — о том, как живут в литературе советский человек, советские люди, советское общество. И советский художник интересуется критика как создатель нового общества. Критик хочет видеть художника-соотечественника сильным духовно, богатым творчески, открывателем и защитником правды, ищущим, беспокойным мастером. Это ведь так характерно для Макарова, что, отрицая некоторые полемические заблуждения и «перехлесты» у Всеволода Вишневского, он высоко ценил в нем неукротимого искателя «остро ощущавшего активность формы» а искусстве.

Нередко Макаров писал про художников, о которых уже существовала целая критическая литература (про Демьяна Бедного, Исаковского, Твардовского и других), и умел при этом сказать свое слово, новое и оригинальное. Он умел и неотразимо точно сказать первым о новых произведениях литературы: В статье о повести Сергея Залыгина «На Иртыше» он доказал, что герой ее «не Чаузов вовсе, а крестьянский «мир» в его совokuпности». Он первым обстоятельнейше проанализировал «Братскую ГЭС» Евгения Евтушенко и раннюю прозу Виктора Астафьева.

Есть у Александра Николаевича такие суждения о Евтушенко и Астафьеве, которые думается, сохраняют и поныне свое значение. К примеру: «Для Евг. Евтушенко как художника, — замечал Макаров, — весьма характерны высокая поэтическая мобилизованность рядом с небрежностью, пленительная сила образности рядом с риторическим празднословием». Конечно, в этом суждении критик не намеревался дать некую полную характеристику поэта, но он подметил такие противоречия в манере, которые и сегодня сказываются в иных произведениях Евтушенко.

Другой пример. «Конечно, — писал Макаров, завершая большую статью о Викторе Астафьеве, — неисповедимы пути художника. Только дан Виктору Астафьеву высший дар какой дается вне зависимости от мощи таланта только истинному художнику, — дар любить жизнь в ее движении, в бесчисленных никогда не истощимых ее проявлениях и извлекать из своего знания жизни и людей то хорошее и доб-

рое, что открылось ему как следствие нашей советской действительности в его соотечественниках». Читаю я эти слова, и кажется мне, будто Александр Николаевич написал это «вперед» — и о нынешнем В. Астафьеве.

В книге «Человеку о человеке» имеется приложение: высказывания о Макарове очень и очень разных писателей. Все эти высказывания проникнуты чувствами уважения, любви, благодарности ему — «то-

варищу, другу, брату» (Эд. Межелайтис). Пишут писатели разных поколений, работающие в разных жанрах, люди различных вкусов. Тут и К. Федин, и Н. Тихонов, и С. Кирсанов, и М. Турсун-заде, и Б. Сучков, и С. Баруздин, и многие другие.

Александра Макарова любили и любят. Помнят его и ценят как друга читатели. Он и после смерти живет в книгах. Да, человек он был. И знал, что сказать людям.

Александр ДЫМШИЦ



## О ЛИЧНОСТИ ДОСТОЕВСКОГО

Б. Бурсов. Личность Достоевского. Роман-исследование.  
«Звезда», 1969, № 12; 1970, № 12.

Книга Б. Бурсова о Достоевском — одна из тех редких неожиданностей, одно из тех возмущений литературной тиши и глади, которым хотелось бы радоваться. Занявшись исследованием творчества Достоевского, Б. Бурсов, один из ведущих наших литературоведов, решительно отбросил условное и, пожалуй, лицемерное разделение Достоевского на гениального мыслителя-художника и неприглядное (будто бы) частное лицо, опутанное вдобавок сетями ложной идеологии. Дав своей книге наименование «Личность Достоевского» и определив ее жанр как «роман-исследование», автор тем самым априори выдвинул тезис о сложно-едином духовном образе Достоевского.

Труд Б. Бурсова еще не завершен, но его тематический диапазон и угол зрения на личность Достоевского уже вполне ясны. Задача исследователя — не воссоздать образ Достоевского через последовательное жизнеописание, а, переосмысливая источники и свидетельства разных уровней и эпох, и прежде всего собственные «показания» писателя, дать топографию его внутренней жизни. Сам Б. Бурсов о композиции своей книги пишет следующее: «Здесь так необходимы произвольность и незаданность. Мне хочется показать многосторонность личности Достоевского в ее единстве, не сводимой к каким-либо логическим формулам». Хотя исследование разбито автором на две большие части под названиями «Двойничество» и «Деньги и вдохновение», его кардинальные темы как

бы распределены по всей площади книги. Пестрый материал, сочлененный лишь подспудным движением авторской мысли, призван выявить узловые проблемы духовного бытия Достоевского.

Б. Бурсов более всего увлечен вопросом о человеческой цельности и раздвоенности Достоевского, о неизменности и движении его личности, что связано с другой, не менее острой темой — писатель и его персонаж (в частности, речь идет об «отношениях» Достоевского с преступными, демоническими героями его романов). Вторым мотивирующим ядром книги становится круг размышлений о связи творческого процесса с бытовыми обстоятельствами, жизненными и психологическими реалиями — такими, как «неуживчивость» Достоевского в современной ему литературной среде или как зависимость его конвульсивной творческой работы от вечного безденежья.

Использованный в книге документальный материал не содержит новых открытий. Подлинная новация и особая заслуга Б. Бурсова заключается, на наш взгляд, в том, что он, окунувшись в «частный» мир Достоевского, увидел за бытовыми обстоятельствами и деловыми материями приключения души, изгибы духа. Б. Бурсов сумел совершенно по-особому оценить письма Достоевского — как «самый верный путь к познанию его личности».

Письма Достоевского давно уже стали источником фактов для биографов, и тем не менее очень немногие (издатель этих писем

А. Долинин, отчасти Л. Гроссман) приблизились к взгляду на них как на драгоценнейший и неподдельнейший роман жизни. Даже поклонники гения Достоевского, в особенности западные читатели, нередко были прямо-таки шокированы этим потоком мелких денежных расчетов, жалоб, претензий, обид, признаний, поручений, выходов, экивоков — всей этой эмпирической кухней личного существования, открывающейся в эпистолярном наследии Достоевского. Сам же Достоевский, надо сказать, мало смутился бы тем, что его частная переписка стала достоянием любопытствующих потомков. В Достоевском не было ни капли ложного благочиния, он с готовностью «смешивал» верхний и нижний этажи собственной жизни и личности, их парадный и черные входы. Посреди чувства виновности и недовольства собой в нем жила трогательная ребяческая уверенность: всякий, кто узнает его подноготную, подыщет для него слова оправдания и утешения.

Итак, замысел «романа-исследования» заманив своими богатыми возможностями. Тем разительнее неуспех его осуществления, связанный с противоречивым и безотчетно запутанным отношением автора к своему «загадочному» герою.

Еще до уяснения основных тезисов книги читатель невольно поражается психологической тональности романа-исследования. Б. Бурсов воздвиг перед собой свою тему как обнесенную стенами и рвами крепость, которую надо взять приступом. И все изложение напоминает атаку за атакой, перемежающиеся обходными маневрами, заходами с флангов и с тыла, внезапными перегруппировками соображений и аргументов, военными хитростями. В этой атакующей манере сказались не только зараженность страстным, наступающе-теснящим и вместе с тем «оговорчивым» жизненно-литературным стилем самого Достоевского; здесь очевидно и то, что у Б. Бурсова не нашлось ключа к крепостным воротам. Обращаясь к человеческим связям и отношениям своего героя, Б. Бурсов как бы сталкивает всех людей, которых он упоминает, сам искусно избегая столкновения с ними, организует перекличку чужих мнений, не высказывая собственного даже там, где это нравственно неизбежно. Создается некая система намеков, бросающая тень на главное лицо «романа». Эта мерцающая манера постоянно сопутствует собственно

биографической теме книги во всех ее перипетиях — от незначительных до решающих.

Например, приведя суждение Н. Страхова (из его скандально-знаменитого письма к Л. Толстому от 28 ноября 1883 года) о том, что «проповедник гуманности» был зол, завистлив и развратен, Б. Бурсов не соглашается с ним и не опровергает его, а цитирует сходное мнение некоего Родевича, нравственную репутацию которого тут же ставит под сомнение. В результате на Страхова брошена тень общности с непривлекательным Родевичем, но и Достоевский взят на подозрение: согласие двух разных лиц относительно его пороков наводит на мысль о том, что «нет дыма без огня».

Отсутствие прямоты суждений или предположений характеризует авторскую позицию и при изложении пресловутой истории с «каймай», которой Достоевский якобы просил обвести свой роман «Бедные люди», печатавшийся у Некрасова в «Петербургском сборнике». И тут Б. Бурсов ничего не утверждает, но и ничего не отрицает. Может быть, кайма была, а может быть, и нет. Может, заводил о ней разговор Достоевский, а может случиться, что все это наговоры «злых языков». Все участвующие лица скомпрометированы и здесь; и Достоевский «с его чрезмерными претензиями», и его противники-литераторы с их «злыми языками». И как всегда, в заключение триумф молвы: «многие верили в эту историю», — а следовательно, «это» в духе Федора Михайловича, «с ним могло это случиться» (четкое объяснение сплетни о кайме см. в примечаниях А. Долинина к четвертому тому писем Достоевского. М. 1959, стр. 413—415).

Б. Бурсов рассказывает и черную легенду — о преступлении над малолетней, — ничуть не уступая прежнему двусмысленному тону. Среди «свидетельств», приводимых без опровержения, и случайно попавшегося опровержения, которое мимоходом отклонено автором, его собственного, прямо выраженного мнения отыскать невозможно. Но зато опять тот же рефрен — «многие поверили», предполагающий анонимный, но мощный и слаженный хор, готовый засвидетельствовать истину. Причем к этому хору Б. Бурсов подключает явно посторонние голоса, например «поверившего» Мережковского. То, что в трактовке у Мережковского отнесено к опыту самонаблю-



дения, то есть к сфере субъективно-фантастического, Б. Бурсов своеобразно относит к внешнеэмпирической области, к объективно-фактическому. Тут вспоминаются слова Л. Гроссмана о том, что обвинения Страхова, выдвинутые против Достоевского в упомянутом письме к Толстому, тем и безнравственны, что их невозможно ни доказать, ни опровергнуть.

В начале книги Б. Бурсов заявляет ко многому обязывающий тезис: «Истинный лик Достоевского предстает нам через его собственные самооценки». Бурсов действительно проявляет интерес к самооценкам Достоевского, но они чужды ему по существу, он их скорее перетолковывает, чем истолковывает. Говоря о Достоевском, он то и дело апеллирует к Толстому как некоторой кардинальной точке отсчета. Приводя отзыв Толстого о Достоевском как о дорогом орловском рысаке «с заминкой», который способен сбросить седока в канаву (и которому поэтому «цена — грош»), Б. Бурсов пишет: «Толстой был вправе думать так. Более того, он вообще прав, так думая»<sup>1</sup>. И это сближает его со Страховым, который как бы отдавал Достоевского на суд Толстому, мысленно даже инсценировал и предвкушал этот суд, подражая позднетолстовскому слогу: «Я не могу считать Достоевского ни хорошим, ни счастливым человеком (что, в сущности, совпадает)». Кстати, анализ отношений Страхова к Достоевскому очень существен для понимания всей книги<sup>2</sup>. По Бурсову, Страхова Достоевский за гипнотизировал своим гением, заразил своим «двойничеством», заставил искать в Толстом спасения «от наваждения достоевщины». Вероятно, и впрямь Страхов попал в орбиту мощного влияния личности Достоевского, чуждого его ограниченному и «отвлеченному» душевному складу. Однако у Б. Бурсова, и в этом неожиданный поворот его размышлений. Страхов определенно играет

роль жертвы, оказавшейся в силках Мефистофеля—Достоевского, носителя разрушительной силы. Вся беда Страхова была, оказывается, в том, что он общался с Достоевским. Если Страхов и виноват, то лишь в том, что он «не обладал ни твердым характером, ни прочными самостоятельными убеждениями», то есть не обладал иммунитетом против ядов, источаемых Достоевским.

В этой истории со Страховым в самом начале книги уже обозначена общая и главенствующая концепция Б. Бурсова: Достоевский — «опасный гений». Таково личное отношение исследователя к Достоевскому, и в этом разгадка странного — маневрирующего и петляющего — тона книги. Причем речь идет не об опасности или ложности тех или иных философских и идеологических построений, которые Бурсову, естественно, чужды; не об умозрении, а об опасности нутряной, слепой и стихийной, о «пугающей ненадежности»: «Никто не может на него окончательно положиться».

Говоря о Достоевском как о нарушении всяких норм, мер, границ, внутренних запретов, Б. Бурсов настаивает на душевном сходстве Достоевского с его «неприятными» героями: «Из его героев особенно близки ему, скажем, Парадоксалист из «Записок из подполья», Свидригайлов из «Преступления и наказания», Ставрогин из «Бесов» (ср. с тождественной характеристикой Достоевского из пресловутого обвинительного письма Страхова: «Лица наиболее на него похожие, — это герой «Записок из подполья», Свидригайлов в «Преступлении и наказании» и Ставрогин в «Бесах». Совпадение дословное!).

Герои Достоевского действительно не являются созданиями «незаинтересованного» художественного созерцания, и Бурсов это тонко почувствовал. Но автобиографизм в качестве альтернативы подходит вряд ли здесь.

Достоевский мыслью и воображением испытывал и до конца проходил все пути, открывшиеся перед человеком, в том числе и самые ужасные. Это не было «чистым» художественным экспериментом, безразличным к его жизненному существованию. Но это не было и личным житейским опытом, переживанием, которое служило потом материалом для искусства. От обычной работы художественной фантазии этот процесс отличался слишком большой степенью

<sup>1</sup> Однако в юбилейной статье «Над бесмертными страницами» («Вопросы литературы», 1971, № 11) Б. Бурсов, всячески сглаживая острые углы своей книги, в числе прочего пишет, что и Толстой не бесспорен и «Достоевский в свою очередь имел бы право предъявить Толстому свои претензии...».

<sup>2</sup> На историю отношений Достоевского и Страхова проливает новый свет статья Л. М. Розенблюм «Творческие дневники Достоевского» в 83 томе «Литературного наследия» — «Неизданный Достоевский». М. 1971, стр. 16—23; см. об этом также в статье Г. М. Фридлендера «Наука о Достоевском сегодня». «Русская литература», 1971, № 3.

соучастия (именно в этом смысле Достоевский «брат» своих героев «из сердца»); от биографического события (пускай внутреннего) и переживания — слишком большой степенью добровольности. Достоевский подвергал себя добровольному мучению, удовлетворяя и свою исследовательскую страсть, и свое нравственное чувство причастности к любой человеческой судьбе. Да, не только мучение, но и наслаждение было велико! Но это наслаждение, думается, не было связано с преступлением запретов и норм (хотя бы и мысленным), а с трепетным приближением к загадке, имя которой, как всю жизнь повторял сам Достоевский, — «человек». Многоликость, необычайная вместибельность и «опасная» (по распространенному мнению) широта внутреннего опыта Достоевского связана с тем, что художник в нем неотделим от человека. Свой художественный труд он ощущал как свою человеческую миссию, а свою человеческую миссию — как произнесение «нового слова» о человеке. Как бы выполняя долг человеческого бесстрашия, он обязывался «побывать» и Раскольниковым, и Свидригайловым, и даже Смердяковым. Но в биографическом смысле он не был ни тем, ни другим, ни третьим, то есть был ими не в большей степени, чем все прочие «нормальные» люди. В душе Достоевского всегда оставалась «непоколебимая точка», позволявшая ему наблюдать за своими персонажами с некой моральной возвышенности, при самом тесном участии в их муках и крушениях. Более того, художественно-нравственный опыт, мучительно нажитый им, был созидательным в отношении его собственной личности. Приводя своих героев к краху, Достоевский сам избегал его — не в смысле «терапевтического» воздействия художественной работы («убить Вертера», чтобы не покончить самоубийством самому), а в том смысле, что на каком-то критическом перекрестке он расходился с их путем и избирал себе другую судьбу. Не только мастер «полифонических диалогов», неразрешимых «прений», но и мастер провиденциального сюжета, создатель, устроитель и сокрушитель воображаемых судеб, он всегда вовремя различал, что ожидает его героев, и вовремя предостерегал самого себя. Согласно откровенной и жестокой самооценке, его «страстная и подлая» натура не знала меры; но не менее справедливо будет сказать, что его дух вовремя и издалека распознавал

общечеловеческую моральную меру и преклонялся перед ней. Достоевский, при всей его неужеримости, как мало кто другой, воздерживался от нравственного саморазрушения, и надо думать, что на каждую долю его великолепной бессознательной жизнеспособности приходятся две доли духовного усилия. Если читатели с этим согласятся, пусть они судят, прав ли Б. Бурсов, называя Достоевского духовно больным гением. Достоевский был физически больным человеком, и болезнь накладывала печать на его психику. В его жизни, особенно в молодости, были периоды, когда ему угрожало душевное заболевание. Но его здоровый гений вышел победителем из борьбы с болезнью тела и души. Здоровье его гения было единственным здоровьем, отпущенным ему.

Чтобы не вести бесконечного спора с автором романа-исследования, имеет смысл выделить некоторые решающие пункты. При этом поневоле приходится упрощать размышления Б. Бурсова, отличающиеся неуловимой текучестью и изменчивостью, чтобы не запутаться безнадежно в сетях уклончивых оговорок.

Первая мысль: в отличие от Толстого, который проделал путь жизненного совершенствования, Достоевский как личность «не столько двигался по восходящей, сколько вращался по кругу», по раз навсегда очерченной орбите одних и тех же проблем и переживаний. Второй тезис: «Достоевский был наделен, можно сказать, тоталитарной (sic!) двойственностью»; раздвоенность и двойничество определяли его личный и художественный склад; вечная самопротиворечивость ставит его особняком среди других великих художников — он всех тревожит и никому ни на что не дает ответа. Третий тезис: Достоевский — жертва окружавших его социальных обстоятельств; его гений не чуждался «порочных идей и страстей своего века» — века власти денег над вдохновением художника: «деньги — великая движущая сила в жизни и в творчестве Достоевского». Последний из этих тезисов вряд ли нуждается в подробном опровержении. Все, что создано Достоевским (в том числе и неудачные его вещи), не несет следов «финансового» давления извне. Его драматические денежные затруднения, при всем их значении лично-психологического источника важных тем и мотивов, не стали его творческой трагедией. Что касается «жажды к обогащению у

Достоевского», то Б. Бурсов готов ее увидеть даже в планах покупки земельного участка для детей. Это намерение Достоевского, по мысли Бурсова, невыгодно контрастирует с «теоретическими» убеждениями писателя (который, кстати, на самом деле считал, что всякий ребенок должен вырастать «на земле») и тем более с нестяжательством яснополянского мудреца, покинувшего свое имение. Как-то неловко спорить с Б. Бурсовым по этому поводу. Лучше остановимся на первых двух положениях.

Мысль о «неизменности» Достоевского Бурсов не столько доказывает, сколько пользует ее как аксиомой. Размышляя о зрелом облике Достоевского, он то и дело обращается к его юношеским письмам, юношеским честолюбивым планам, взрывам неудовольственного тщеславия и приступам отчаяния. Если Достоевский всегда оставался одним и тем же, почему бы не тасовать годы и страсти в каком угодно порядке? Между тем именно письма Достоевского могли бы подсказать Бурсову, что существовало, по крайней мере, «три Достоевских». Во-первых, Достоевский 40-х годов, еще не нашедший себя, одержимый своим Голядкиным и не осиливший, как он сам впоследствии признавал, великую и бесценную для него идею «двойника» именно потому, что он еще не мог над ней подняться; Достоевский, готовый послужить тому, во что он прочно не верил (по замечанию Толстого, переданному Горьким), и заранее этим озлобленный. Затем Достоевский — недавний каторжник, полуавантюристический петербургский журналист и скиталец по заграницам, так похожий уже не на Голядкина, а на Дмитрия Карамазова, беспорядочный, повисающий на грани позора и вместе с тем поразительно далекий от мучительной ипохондрии своих молодых лет, с восторгом говорящий о своей «будущности» в самые неподходящие для этого минуты, — словно обладатель какого-то счастливого залога, словно человек, раз и навсегда излечившийся от смертельной болезни или получивший вечное прощение, для которого все беды — не крушение, а лишь отсрочка будущего торжества. И наконец, Достоевский последнего десятилетия, Достоевский Старой Руссы и Эмса укрепленный поддержкой жены, выведенный из общественной изоляции успехами «Дневника писателя», уверившийся в своей учительской миссии, не достигший, конеч-

но, внутренней гармонии до самого смертного часа, но в те годы впервые понатаеявшийся, что она достижима не только за несколько секунд перед припадком падуцей. Разумеется, «три Достоевских» — только метафора; существовал один Достоевский. Но он был живой и, следовательно, развивающейся личностью. Инерция, косность, застой — то, что превращает личность в пандемониум призрачных двойников, а лицо в маску, — были ему ненавистны. Он изобразил этот процесс остолабления и загнивания личности и — как всегда, — изобразив, избежал его. Он был одним из тех людей, которые не способны жить, погружаясь в прошлое или останавливая текущее мгновение, — все это умирает, если отнять у них будущее (поэтому среди других излюбленных слов, может быть, чаще всего встречается слово «будущность»: моя будущность, будущность семьи и детей, будущность литературы, будущность России, будущее Вселенной). То, что Б. Бурсов называет «неспособностью Достоевского к раскаянию», было связано с его постоянной надеждой на будущее. Раскаиваясь самым искренним образом в своем прошлом, он, однако, не мог заключить себя в нем, и здесь одна из загадок его «кошачьей живучести».

В определенном смысле можно утверждать, что Достоевский на протяжении жизни изменялся больше, чем Толстой. Это видно по его героям. И князь Мышкин и Иван Карамазов отстоят от Голядкина дальше, чем Нехлюдов от Иртеньева. Противопоставление Достоевского как человека, движущегося по замкнутой кривой, Толстому как человеку, уходящему вдаль по бесконечной дороге, не имеет ни фактов, ни психологических оснований. Скорее всего оно понадобилось Б. Бурсову лишь затем, чтобы подготовить почву для другого противопоставления: цельность Толстого и раздвоенность Достоевского.

Двойничество — великая и страшная тема Достоевского. После Достоевского и благодаря ему о двойничестве написаны тома литературы — из фантастической темы романтиков, интересовавшей преимущественно историков литературы, двойничество превратилось в «экзистенциальную» и психопатологическую проблему. Б. Бурсов дает превосходное определение «двойника», «черта». Это гемная, неуправляемая часть собственной души. Но когда Б. Бурсов утверждает: «Раздвоение сознания для До-

стоевского мучительно и сладостно», — остается неясным, что же именно «сладостно»: встреча с двойником, с этим «черным человеком», подталкивающим в пропасть, или ощущение в себе другой части души, не «темной», способной двойнику противостоять. Между тем в письме к Е. Ф. Юнге от 11 апреля 1880 года, на которое ссылается Бурсов, Достоевский соотносит раздвоение сознания со способностью к нравственному, духовному росту. Он имеет в виду свободную совесть человека, возвышающуюся над стихией темных страстей, и говорит о нравственных мучениях, которые тем и «сладостны», что сигнализируют человеку о том, что он не погрузился в душевную спячку. «Это, — пишет Достоевский в письме, — сильное сознание, потребность самоотчета и присутствия в природе Вашей потребности нравственного долга к самому себе и к человечеству. Вот что значит эта «двойственность» (Письма. М. 1959, т. IV, стр. 137). Человек, который судит самого себя, — раздвоенный человек. Достоевский не считал такое состояние человеческой души идеальным и (в отличие от Канта) окончательным. Подчас суд над собой не спасает человека от гибели и не оставляет у него надежды на внутреннюю перемену: Ставрогин приговорил себя к самоубийству. Но раздвоение на человека-совесть и человека — орудие собственных темных сил — все-таки благо по сравнению с безмятежной и бессознательной самоуспокоенностью. Это — любимая мысль Достоевского, начиная с «Записок из подполья» и кончая «Братьями Карамазовыми». Однако амбивалентные перемены противоположных внутренних состояний Достоевский никогда не эстетизировал, хотя и изображал их, если воспользоваться его любимым словом, «проникновенно». Такую противоречивую двойственность он признавал разрушительной и «инфернальной». И тут надо не согласиться с Бурсовым, утверждающим, что «идея Достоевского во всех случаях двойственна, а потому выбор поступка у него никогда не окончателен». Выбор одного из двух альтернативных путей есть то, без чего в представлении (и чувстве) Достоевского не существует человеческой личности, без чего не существовал бы он сам. «Весь с головой, все разом на карту, что будет, — то будет» (Письма. М. — Л. 1930, т. 2, стр. 47). При всей субъективной раздвоенности и созерцании двух бездн, для героя Достоевского невозможно примирение с жизненной двойст-

венностью. течение по двум руслам. И первое так же отличается от второго, как трагизм от цинизма

Герои Достоевского существуют как бы на том же уровне самосознания, что и их создатель, говорят на общем с ним языке (и в этом смысле правомерно обобщенное представление о «герое Достоевского»). Не в чем их общность между собой и отличие от человеческих типов, созданных иным творческим сознанием? Во-первых, в том, что человек здесь «идееносен», а во-вторых, в том, что его идея, его мышление жизненны (экзистенциальны). Иначе говоря, идея выражает здесь насущную проблему личного существования, решение вопроса о личном жизненном пути — «как жить дальше», и только в этом смысле «идеологична» жизнь человека в мире Достоевского, а теоретизирование имеет жизненное оправдание. Человек здесь «мыслит, чтобы жить, а не живет, чтобы мыслить».

В мире Достоевского человек всегда знает, «что есть что», какова этическая ценность и реальная весомость его действия, и не отказывается от вины и ответственности. В самоубийстве Ставрогина, самоказни Раскольникова и Мити Карамазова, надрывах Настасьи Филипповны и самоистязающих истериках «пьяньего» Мармеладова светит все тот же ясный свет мирового порядка. Есть, пожалуй, у Достоевского персонажи, принадлежащие к иному духовно-психологическому явлению. В лице Алеши Валковского из романа «Униженные и оскорбленные» Достоевский рассчитывался с наивным гуманизмом и розовым мечтательством своей молодости, с умонастроением, названным им самим шиллеровщиной (и хотя связь между этим «клеймом» и именем немецкого поэта отчасти условна, нельзя не согласиться с Бурсовым, что и в самом Шиллере для Достоевского оказалось все «не совсем так, как он себе представлял» в годы своей юности). Как бы «надмирная» настроенность пасторального мальчика Алеши приводит его к чудовищному жизненному раздвоению и влечет за собой трагические события для окружающих. Герой же остается при полной, так сказать, невинности. Двойственность такого рода интересовала Достоевского как особый статус шиллеровской природы на путях вырождения «надзвездного» романтизма в безответственный цинизм. Свою идею Достоевский впоследствии развивал и в «Записках из подполья» и в «Бесах» (где генеалогиче-

ская связь между идеализмом 40-х годов — Степана Трофимовича — и нигилизмом — его сына Петруши — дана прямо и непосредственно). Мир, отчужденный от мыслимого идеала, превращается под взглядом разочарованного романтика в недостойное внимания и душевного участия скопище отбросов. И существование бывшего шиллеровца грозит распастись на высокий образ мышления и «кой-какую» жизнь. Ответ на загадку «Идиота», то есть объяснение катастрофических последствий от встречи идеального человека с миром, также можно искать в прекраснотушном, идиллически-шиллеровском «остатке» князя. Он не теряет своего обаяния «положительно прекрасного человека», ибо выполняет до конца свое призвание — быть «кротким как голубь»; но он изменяет другому своему призванию — быть «мудрым как змий». Мышкин стремится жертвовать собой там, где надо защитить истину другим способом, то есть нечем «взять на себя», и в своем эгоизме совести как бы не желает осознавать реальных последствий своего неопределенного, двойственного поведения. Соблазнившись мечтой о личном счастье и поселив новое чувство в своем сердце, он продолжает тем не менее обращаться с ним как с орудием «преизбыточной жалости». Этим князь Мышкин вносит извращение в мир человеческих отношений и хаос в смысловой порядок бытия, гибнет сам и влечет к гибели тех, кого хотел спасти. Но, во-первых, эта двойственность иного рода, чем та, которую имеет в виду Б. Бурсов. А во-вторых, нельзя забывать, что как раз Достоевский был одним из первых диагностов и врачей романтического дуализма...

Подобно символу «двойственности», едва ли не каждая мысль или побуждение писателя переводятся Б. Бурсовым на чужеродный Достоевскому язык. Там, где Достоевский имеет в виду сверхличную волю и провидение, Бурсов пишет об объективной необходимости, где Достоевский выражает уверенность в своей художнической миссии, там Бурсову видятся «гордыня», «удивительное самомнение» (и, значит, самозванство?). Язык Достоевского, подобно всякому индивидуальному языку со своей символикой, со своими смысловыми акцентами, живет лишь в атмосфере внимательного к нему прислушивания. И хотя Достоевский не строил системы философских категорий, исходя из его миропонимания и из контекста словопотребления, можно

представить себе его понятийный аппарат — что-то вроде совокупности «экзистенциалов» (у него есть любимые слова: «проникновение», «будущность», «судьба», «надрыв», «поэт», «идея», «шиллеровщина», «новое слово», «эффект», «выгода» и др.). Понятие у него нарочито смешается — оно должно нести новый смысл, к тому же эпатировать и «жалить». Но Бурсов невнимателен к своеобразным «голосам» отдельных слов. И это невнимание есть часть некоторой общей глухоты к духовно-душевному миру и складу Достоевского. Поэтому так часто фразы Б. Бурсова требуют буквально-го распуывания мысли, например: «На всякую невыгоду он смотрит с точки зрения, какую выгоду можно извлечь из нее». «Выгода! что такое выгода? — риторически вопрошал подпольный человек, и, оказывается, выгодой он называл как раз то, что с обычной точки зрения вовсе невыгодно. Достоевский протестовал против принципа голый выгоды не только в жизни индивидуального лица, но и в жизни государства и нации. И как жизненный принцип самого Достоевского далек от утилитаризма! Герои Достоевского находятся на линии «добро — зло», но не между пользой и вредом или выгодой и невыгодой. Даже развратники и убийцы вроде Федора Павловича Карамзова или Федьки каторжного ограждены от утилитариста Ракитина стеной, отделяющей у Достоевского человеческое сообщество от недочеловеков. Та фраза Достоевского о «невыгоде» и «выгоде», к которой и относится заключение Бурсова, содержит обычное для писателя смещение смысла: «невыгода» обозначает здесь жизненные срывы и провалы, «выгода» символизирует залог лучшего будущего.

Так же произвольно Б. Бурсов толкует другую важную «категорию» духовного мира Достоевского — «судьбу». В его трактовке Достоевский понемногу превращается в нечто среднее между правоверным гегельянцем, «осознающим» необходимость «внешних толчков» и отождествляющим личные веления с велениями необходимости-судьбы; язычником, «заискивающим» перед судьбой, и античным стойком, смиряющим себя перед космическим роком (именно так изображает Бурсов картину «тихой» и «спокойной» смерти Достоевского). Между тем Достоевский, всегда чаявший будущего, «будущности» (во всей широте этого слова), непрерывно ведет яростный, восторженный, недоумевающий диа-

лог с господином этого будущего, даже свое везенье-невезенье игрока (казалось бы, область, традиционно закрепленная за слепой фортуной) истолковывая как вразумительные знаки свыше. И книга Иова, влияние которой на Достоевского признает и Бурсов, дает больше для понимания структуры его сознания, нежели концепция рока, коренящаяся совсем в иной духовной почве.

Однако пора подвести итог, вернувшись к основной мысли «романа-исследования», к заklюченному в ней парадоксу: «гений» — и тем не менее «опасный».

«Опасным» Достоевского считали многие, в этом неожиданно сходились люди противоположных убеждений: Страхов и Горький, Д. Лоренс и Томас Манн. И вот когда Бурсов выдвинул свою лаконичную формулу, он разом затянул узел сомнений и проблем, мучивших многих и многих: может ли быть гений опасным, другими словами, может ли быть гениальность разрушительной и разъединяющей силой?

Все дело в том, что понимать под «гением»: природную силу с ее обильными дарами или тот целостный синтез духа, который достигается даже гениальными натурами лишь в процессе их творческой жизни. В глазах самого Достоевского гениями были люди, лишь вполне овладевшие своими творческими и нравственными силами, взшедшие на вершины, с которых можно обозреть человеческие пути и судьбы и сказать людям «новое слово». Для Достоевского гениями были Данте, Шекспир, Гёте, Пушкин. Противоположная точка зрения, которая разумеет под гениальностью слепую, неуправляемую мощь, истребляющую самое себя в вихре безысходных противоречий, характерна для декаданта. Декаданс эстетизирует такую гениальность, упивается ее трагизмом, отсутствием катарсиса. И с этим взглядом на сущность и назначение гения Достоевский вряд ли согласился бы. В известном смысле любой гений опасен — всегда нов, всегда идет тягчайшим путем восхождения и силою присущего ему обаяния увлекает на этот путь других, в том числе и тех, кто не выдерживает духовного беспокойства и напряжения. Тот же Страхов, самоуспокоенный человек, стремящийся аккуратно выполнять всякий свой долг в поставленных им самим рамках, мог ли он не видеть в Достоевском разрушителя, гибельную для его колеи стихию? Но есть абсолютное различие между вос-

хождением и блужданием по кругу, между стремлением преодолеть трагедию и бесильным упоением ее неразрешимостью. И то и другое «опасно», но по-разному.

Достоевский оставался цельным человеком, иначе он не был бы гением. В письме к жене он замечает, что простодушие — его определяющая черта. Он часто говорит о своей наивности — это не поза и не ошибка. Достоевский простодушен в своих упреках, жалобах, обидах, восторгах, надеждах; он ужасно боится быть смешным и вместе с тем не замечает, когда и где смешон; он, что называется, «не помнит себя». Конечно, он был великим артистом и, хотя жаловался на отсутствие «жеста», умел воспользоваться своим простодушием и, так сказать, придать своей самозабвенности форму. И от этого, однако же, не переставал быть простодушным. Пушкинский Моцарт, соединяющий в себе простодушие с мудрой глубиной, навсегда стал в русской культуре прообразом гения как такового, гениальности, взятой в ее сути. И даже такой негармонический и, по-видимости, «изнервленный» творец, как Достоевский, подходит под это архетипическое для нас художественное определение гения. Он проницателен, но не хитер, он знаком с подноготной человеческой души, но его нетрудно обвести вокруг пальца. Он как будто знает себе цену и вместе с тем не знает. (Здесь уместно вспомнить мысли Достоевского о Дон-Кихоте: красота, не знающая себе цены, — в этом глубокий юмор творения Сервантеса.)

Мысль «гений и злодейство две вещи несовместные» подразумевает, что в ряду гениев остается лишь тот, кто не способен на злодейство саморастления. Гений — это цельность первозданная или прошедшая через расколотость. Достоевский остался господином собственной раздвоенности, и поэтому он осуществился как гений. Но можно ли назвать человека, изображенного Бурсовым, гениальным? Хотя сам Бурсов то и дело закликает нас эпитетами «великий» и «гениальный», перед нами талантливый и несчастный литератор, так и не сумевший за всю жизнь стать достойным вместилищем отпущенных ему сил и дарований. В книге Б. Бурсова личность Достоевского остается «не разгаданной» ни в ее душевных истоках и побуждениях, ни в ее духовно-творческой завершенности.

Р. ГАЛЬЦЕВА, И. РОДНЯНСКАЯ.

Политика и наука**ОРУЖИЕМ ПОЛЕМИЧЕСКОГО СЛОВА**

**В. И. Кузнецов. О полемическом искусстве В. И. Ленина. М. «Мысль». 1971. 192 стр.**

В. И. Ленин оставил богатейшее идейное наследие. Печать, публицистика — одна из тех областей идеологии, где это наследие особенно богато и разносторонне. Советская теоретическая журналистика многое сделала, чтобы это наследие исследовать, осмыслить и глубже понять взгляды великого вождя на публицистику, на ее роль и значение в революционном преобразовании общества, в строительстве социализма и коммунизма. Но то, что сделано до сих пор в изучении ленинского журналистского творчества, лишь первые шаги, первый приступ к этой большой и необычайно сложной проблеме. Особенно слабо исследуются собственно публицистическое творчество Владимира Ильича, его полемическое мастерство: особенности языка, стиля, литературная манера.

Вышедшая недавно монография В. И. Кузнецова является как нельзя более своевременной и нужной.

В споре рождается истина. Эту французскую поговорку любил повторять Ленин. Ему, как, может быть, никому другому, было ясно, что вся история политической, общественной мысли — это история борьбы идей, никогда не прекращающийся поиск истины. Идеиная борьба, борьба передовой мысли с отсталой, творческой с догматической, революционной с оппортунистической и реформистской, постоянно сопровождала и сопровождает развитие человеческого общества. Но, пожалуй, никогда прежде мир не был столь насыщен идейным противоборством, столь «полющен», как в наши дни.

Марксизм-ленинизм постоянно утверждал и утверждает себя в бескомпромиссных идейных схватках с враждебной буржуазной идеологией — эта мысль является лейтмотивом многих суждений автора книги о сущности полемических выступлений Ленина.

Первая глава книги так и названа «Не бойтесь полемики». Здесь предстают перед читателем картины жарких идейных боев Ленина с народниками, «легальными» марксистами, «экономистами», ликвидаторами и отзовистами, меньшевиками и другими идейными противниками марксизма.

Автор показывает, что разящие полемические удары Ленин направлял также против всего косного, отсталого, что тормозило революционное обновление жизни. В книге приводится на этот счет много убедительных примеров. И что особенно важно — полемическое творчество Ленина рассматривается в тесной связи с конкретно-исторической обстановкой, с определенными периодами деятельности партии. Это выгодно отличает монографию Кузнецова от иных исследований, в которых часто только декларируются известные ленинские положения о значении полемики, а не опосредствуются с живой действительностью.

В. Кузнецов убедительно раскрывает главное в ленинской полемике как инструменте классовой борьбы в области идеологии. Это и открытое выражение, и одна из форм проявления партийности печати, и оружие идеологической борьбы рабочего класса и его партии, средство революционной критики и самокритики, идейно-политического воспитания трудящихся масс. Важными представляются выводы автора о двух видах полемики — о той, которую вел Ленин с идейными врагами, и о его спорах с заблуждающимися товарищами; о полемике по кардинальным, программным вопросам и полемике по частным разногласиям, частным вопросам.

Особое внимание автора привлекают идейные истоки полемической направленности публицистики Ленина. Она, как справедливо подчеркивается в монографии, с неизбежностью была вызвана объективными закономерностями развития революционного движения в России и за ее пределами — ростом организации, политической сознательности и боеспособности рабочего класса, с одной стороны, и активизацией реакции — с другой.

Несомненный интерес представляют страницы, посвященные живым и непосредственным связям журналистского, публицистического творчества Ленина с публицистикой русских революционных демократов — Белинского, Герцена, Добролюбова, Чернышевского, Писарева, Щедрина.

В книге сосредоточивается внимание на таких сторонах ленинской публицистики и

его полемического искусства, как воинствующая партийность, принципиальность, высокие литературно-художественные достоинства. Это как раз те качества, овладение которыми еще больше повысит силу и действенность партийной публицистики в современной идеологической борьбе, в решении внутренних экономических задач.

Действенность, или «убойную силу», ленинской полемики автор справедливо связывает с искусством, высоким умением и прежде всего с выдающимися литературными достоинствами ленинского полемического творчества. Монография Кузнецова — это в значительной степени книга о мастерстве Ленина — публициста и полемиста.

Владимир Ильич сознавал исключительную важность в публицистике литературного мастерства, ярких образных средств. Раскрывая теоретические взгляды, анализируя полемическую практику, автор наглядно показывает, что силу печатного слова, степень его политического влияния на жизнь Ленин прямо и непосредственно связывал с языком, стилем, манерой письма. Само собою разумеется, что яркие краски, хорошая литературная одежда помогают глубже раскрыть идейное содержание выступления в печати. В этом смысле форма очень существенна для публицистики, она не менее важна, чем в литературном произведении.

Главы книги «Смешное убивает» и «Слово — оружие», в сущности, и содержат анализ в широком смысле слова формы полемических работ Владимира Ильича. Своеобразие публицистической формы в книге определяется как «особый, присущий только ей как специфическому виду литературного творчества сплав понятия и образа, именно нерасторжимый, единый диалектический сплав, где «сущность формирована», а «форма существенна», как указывал В. И. Ленин». Это итог, вывод, основанный на тонких и метких наблюдениях автора над ленинской публицистической практикой.

В. Кузнецов справедливо подчеркивает характерную особенность публицистической речи Ленина — ее рельефность.

На конкретных ленинских публицистических выступлениях автор показывает, что значит писать рельефно. Это передавать в словесном образе все оттенки человеческих мыслей и чувств; рельефность в слове то же самое, что пластика, чистота очертаний,

выразительность линий в скульптуре или точность рисунка в живописи. Этим качеством своей публицистической речи Владимир Ильич достигает также умелым использованием пословиц, поговорок, образных «окрылившись» литературных изречений. В книге дается много примеров этому.

Сильной стороной книги является ее связь с современными проблемами печати. Ленинские взгляды на полемику, искусство Ленина-полемиста анализируются автором в тесной, органической связи с задачами, какие решает коммунистическая журналистика в наши дни.

Автор верно подчеркивает, что опыт последних лет показывает, что успешное решение проблем, поставленных самим ходом развития нашего общества, было подготовлено творческой дискуссией на страницах печати и с широким участием ученых и специалистов. XXIV съезд КПСС выдвинул перед нашей страной столь фундаментальные задачи во многих областях экономической и общественной деятельности, что их невозможно решить без глубокого коллективного проникновения в суть дела, продуктивного обсуждения различных вариантов в поисках оптимального решения, без преодоления отживших представлений и отсталых взглядов. Сопоставление точек зрения по сложным вопросам, коллективное их обсуждение — дело общественно нужное.

Всем ходом анализа ленинской публицистики, суждениями о сущности его полемического искусства В. Кузнецов показывает, что полемика, как ее понимают коммунисты, — противница интеллектуального застоя, догматизма, штампа и упрощенчества. Она спутница живого и деятельного мышления, смелого творческого поиска. Она хорошее противоядие от волюнтаристской непогрешимости мнений, навязывания взглядов, нетерпимости к инакомыслящим. Poleмика, если она ведется с позиций творческого марксизма, принципиально и по принципиальным вопросам, развивает и углубляет революционную теорию. Тем самым она двигает вперед социалистическое мировоззрение, обогащает духовную жизнь общества, повышает его идейную зоркость и зрелость.

О некоторых недочетах книги. Хотелось бы видеть более подробное изложение идейных истоков, которые питали публицистику Ленина, придавали ей силу и действенность. Правомерным была бы в этой связи более глубокая характеристика (вер-



нее, критика) воззрений на полемику в буржуазной публицистике, уместными были бы странички с анализом несостоятельности взглядов на сущность полемики современных теоретиков буржуазной печати.

Искусство полемики — подлинно высокое искусство, вершина публицистики, поднять-

ся на которую нелегко. Этим искусством в совершенстве владел Ленин. У него мы учимся глубокому пониманию классовых основы непримиримой идейной борьбы между социалистической и буржуазной идеологиями.

**А. ОКОРОКОВ.**

★

## ИНТЕРЕСНАЯ КНИГА ПРО «СКУЧНУЮ» НАУКУ

**Дж. Гордон. Почему мы не проваливаемся сквозь пол. Перевод с английского. М. «Мир». 1971. 272 стр.**

Название этой книги следует понимать буквально. Сам же вопрос «почему мы не проваливаемся сквозь пол?», очевидно, не представляет особой остроты для читателя, вышедшего из детского возраста: с годами обычно мы переходим к другим, с нашей точки зрения — более важным проблемам бытия. Тем не менее, как сообщает автор книги профессор университета в Рединге (Великобритания), существенный вклад в решение этой проблемы, правда поставленной в более общем виде, внесли отнюдь не праздные умы: Галилей (1564—1642), Гук (1635—1702), Ньютон (1642—1727). Причем даты, заключенные в круглые скобки и приводимые самим автором, свидетельствуют, что тема эта совсем не нова. Можно было бы вспомнить и другие, гораздо более древние даты, относящиеся к ней же, но, пожалуй, существеннее другое «Лишь последние 40 лет ученые... стали серьезно изучать строение материалов, убедившись, что их свойства зависят от совершенства в расположении атомов».

Итак, книга посвящена материаловедению, учению о прочности.

Есть науки, которым, кажется, чуть ли не со дня их зарождения сопутствует громкая слава: кибернетика, генетика, химия полимеров... Материаловедению в этом отношении явно не повезло. И не случайно в предисловии к книге академик Ю. Н. Работнов говорит: «Написать популярную книгу о прочности материалов и конструкций очень трудно, эта область науки малоэффективна, в ней нет таких захватывающих идей и впечатляющих открытий, которые поражают воображение каждого». В этом признании слышится некое самооправдание или даже зависть к более «прославленным» областям знания.

Тем не менее рядом с «громкими» науками, пожалуй, не менее успешно развивает-

ся материаловедение, что и позволило написать популярную и, заранее скажем, весьма интересную книгу о «большой и разветвленной науке».

Быстрые темпы развития этой чисто прикладной дисциплины, возникшей, как теперь принято говорить, «на стыке наук», вызваны острой потребностью современной практики. В самом деле, долговечность и устойчивость египетских пирамид не внушали опасений заказчикам, так как были гарантированы тысячекратным (если не большим!) запасом прочности. Не чересчур сложные инженерные сооружения и механизмы прошлых веков, создаваемые с использованием традиционных материалов — камня, металла, дерева, — также еще не требовали специальной науки: как правило, вполне достаточно было ремесленных навыков и интуиции их создателей. А если до нас и доходят сведения о катастрофе, постигшей в библейские времена строителей Вавилонской башни, или об обрушившихся на головы прихожан готических средневековых соборах (такое, оказывается, случилось), то, надо полагать, на том уровне знаний провести необходимые расчеты было просто невозможно. Иное дело век нынешний с его бурным научно-техническим прогрессом, с невиданными доселе «тиражами» машин, небоскребов, мостов... Все же и в новые времена, чтобы привлечь серьезное внимание взрослых людей к проблеме «почему мы не проваливаемся сквозь пол», понадобилось еще немало трагических напоминаний и предостережений (Дж. Гордон приводит довольно длинный перечень, в котором фигурируют обрушившиеся вместе с поездами железнодорожные мосты, корабли, переламывающиеся пополам словно спичка, сминаемые «в блинчик» подводные лодки и т. д.).

Авиация и космические исследования

предъявили к новой науке свои высочайшие и весьма специфические требования. Развитие материаловедения во всем мире связано также с потребностями военной техники.

Дж. Гордон рассказывает об этом обстоятельно и подробно. Но книга его, безусловно, гораздо шире, объемнее лишь узкоспециальной темы — в этом, быть может, один из секретов ее привлекательности. Но она и на тему — в этом основное ее достоинство.

Можно ли дать этой книге подзаголовок «Занимательное материаловедение»? Пожалуй, нет. Точнее будет — занимательно о материаловедении. Ведь мы привыкли находить в «занимательных науках» хотя и полезный и весьма даже сложный материал, но изложенный отнюдь не систематично: головоломки, загадки, задачки обычно перемежаются в таких книжках с описаниями курьезов и нравоучительных историй, существенные разделы науки могут вообще опускаться. И — минимум «скучной теории», которую читателям предоставляется самостоятельно извлекать из учебников. Дж. Гордон тоже не претендует на исчерпывающую полноту изложения, более того — он приводит французское изречение, согласно которому искусство наводить скуку состоит в стремлении рассказать обо всем». Но при этом перед нами именно последовательный связный рассказ о науке — свидетельство тому даже сами названия глав и частей: «Упругость и теория прочности», «Неметаллы», «Металлы» и т. д. А можно ли, излагая основы учения о напряжениях и деформациях, о таких свойствах металлов, как пластичность, вязкость, хрупкость, обойтись без закона Гука («Каково удлинение, такова и сила»), ничего не сказать о константе упругости — модуле Юнга? Вероятно, кого-то из «чистых» гуманитариев отпугнут математические выражения и формулы, все же иногда встречающиеся в книге, но кто из неспециалистов хоть раз в силу необходимости или просто из любопытства пытался постичь страницы ученых трудов по материаловедению, тот будет приятно поражен: оказывается, этот запутаннейший математизированный лабиринт можно также вполне удовлетворительно преодолеть и без «страшного интеграла», с помощью самой элементарной алгебры. При этом суть явлений, идеи не искажаются, но лишь очищаются от второстепенного, не главного, приобретая очевидную нагляд-

ность, — не упрощенчество, а упрощение, без которого вообще не обойтись в такого рода литературе.

Книга Дж. Гордона заставляет задуматься о характере, который приобретает в наши дни научная популяризация. Все меньше книг этого жанра относится к разряду «легкого чтения», завлекающего невежду «в науку», словно в ярмарочный балаган. Читать подобную литературу все чаще приходится с карандашом и бумагой, а то и с логарифмической линейкой в руках. Не страдает ли от этого массовость, общедоступность изданий? Думается, мы имеем право ответить на этот вопрос отрицательно. «Право на сложность» популярного издания дает возросший культурный уровень общества. В пользу этого взгляда хочется привести один пример — книги дешевой и массовой серии «В мире науки и техники», выпускаемые издательством «Мир», как правило, не залеживаются на прилавках, а рассчитаны же они на довольно подготовленного читателя.

Мы присутствуем при рождении жанра особого рода — популярных книг, которые рассчитаны на специалистов, работающих в других областях науки и техники. Сколько сетований приходится слышать на все большую расчлененность и специализацию знаний по отраслям. Это, наверное, неотвратимо, потому что наука идет вглубь, а способность человека к переработке информации не беспредельна. В результате узкий специалист не в состоянии следить за соседними, а тем более не соседними областями науки — он даже не знает их языка. Он не может обмениваться идеями, дублирует уже выполненные другими работы, задыхается в своем глубоко специализированном колоде. Рыть такой колодец становится все труднее. Материаловедение само появилось из объединенных усилий физиков, химиков и механиков. И думается, книги, подобные той, о которой мы ведем речь, могут способствовать плодотворному обмену идей между специалистами разных областей знания.

Работа Дж. Гордона привлекает и тем, что написана она не просто ученым, но интересным, разносторонним человеком. В круг его увлечений, пристрастий входит управление яхтой, фотография, лыжи и греческий язык. Об этом сообщается в предисловии, об этом мы также судим по темпераментному, в хорошем смысле субъективному отношению к предмету, за которым ви-

ден не безликий «научный популяризатор», но вот именно э т о т автор: «...Я склонен думать, что определенную роль в выборе «своего» материала играют характеры людей: металлисты представляются мне людьми практичными, земными, они не выносят того, что им кажется бессмысленным, а неметаллисты, вероятно, более лиричны, богаче наделены воображением». Говорить на серьезные темы так раскованно, полушутливо — привилегия интересного, мыслящего собеседника.

Касаясь тенденций развития материаловедения, Дж. Гордон пишет: «Хотя новые технологические процессы во многом будут довольно сложными, мы, быть может, вернемся к терпеливой скромности корпеющего над своим материалом ремесленника, которая ныне на наших предприятиях вовсе забыта. Это привело бы к большей занятости и, возможно, как-то компенсировало бы разного рода индустриальные уродства.

Если так случится, то человечество окажется только в выигрыше». Сколь ни приятны ушам подобные предположения о возможностях «легким путем» с помощью тех или иных технических открытий обеспечить «большую занятость», компенсировать «разного рода уродства» и вообще излечить современное капиталистическое общество от разъедающих язв, разумеется, наш читатель этому не поверит. В книге есть и другие идеи, характеризующие ее автора как человека весьма доброго, увлекающегося, но порой чересчур наивного в социологии и политике, от проблем которых он весьма далек. Однако книга совсем на иную тему. Автор не стремится предстать перед нами неким пророком, доказать, что без материаловедения не было бы жизни на земле. Но он убедительно показывает значение материаловедения для жизни.

Феликс ЛЕВ.

★

## ЭНЦИКЛОПЕДИЯ АНГЛИЙСКОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Anthony Sampson. *The New Anatomy of Britain*. London. 1971. 673 pp.

Название этой книги может ввести в заблуждение читателя. Почему, мол, «Новая анатомия Британии»? Дело в том, что автор книги английский журналист и публицист Антони Сэмсон издал в 1962 году книгу «Анатомия Британии», которая имела большой успех как в Англии, так и за ее пределами. После поражения консерваторов и прихода к власти лейбористов Сэмсон переделал книгу, и она вышла в 1965 году под названием «Анатомия сегодняшней Британии». В 1970 году власть снова захватили консерваторы, да и в жизни самой страны произошли серьезные сдвиги и изменения. Сэмсон снова коренным образом переделал свой труд и в конце 1971 года издал книгу «Новая анатомия Британии», в которой, как он указывает в предисловии, сохранилась лишь одна шестая материала первого издания. Да и сам автор, по его словам, теперь подходил к действительности «не как романтик, а скорее как скептик».

Очень трудно сказать в двух словах, что представляет собой большой труд Антони Сэмсона — в нем 673 страницы. Мало ли книг — больших и малых — написано и напечатано об Англии? Но книга Сэмсона занимает среди них особое место. Она напи-

сана талантливым журналистом, внимательным наблюдателем, эрудированным исследователем, составившим, по сути дела, своеобразную энциклопедию английского образа жизни и государственного устройства своей страны. Это не сухой, схематический справочник, а живой, зачастую весьма остроумный рассказ о всех сферах жизни английского общества, о его заботах и тревогах, о ее задулисных проблемах, о бесконечных «коридорах власти». Сам автор пишет, что он пытался найти ответ на основной вопрос: «Кто же правит Англией?» — и пока он искал ответ, родилась эта книга.

Сэмсон — буржуазный журналист либерального толка, настроенный критически или, точнее, аналитически. В политическом плане Сэмсон старается быть объективным, его трудно заподозрить в симпатии к консерваторам или лейбористам. Считая себя беспристрастным исследователем, он скрывает свои политические убеждения. Однако Сэмсон не беспристрастен в своих суждениях — он пристрастен к английскому образу жизни, он ищет оправдания многих аспектов буржуазной демократии. Так, например, в его рассуждениях проглядывает тенденция к «европеизму», что в английских условиях

означает приверженность идее вступления Англии в «Общий рынок».

Сэмсон работал добросовестно. Он заглянул в такие уголки, куда нелегко пробраться стороннему наблюдателю. Чтобы, например, понять лучше жизнь и работу английского чиновничества, он подросил разрешения «послужить» некоторое время в одном из правительственных департаментов. В результате даже в тех случаях, когда автор склонен обелять капиталистический строй, факты вынуждают его показывать изнанку этого строя, чаще всего неприглядную, и говорить правду. Не случайно сразу же после выхода книги в свет некоторые буржуазные газеты Лондона посвятили ей передовые статьи, обвиняя Сэмсона в «излишне критическом» отношении к современной Англии.

Вполне логично, что поиск истоков власти автор начинает с Вестминстера — «матери парламентов». Он рассказывает об обстановке в обеих палатах, об архаичных ритуалах и традициях, рисует картину заседания палаты общин, когда выступает депутат, что-то горячо доказывает, кого-то обвиняет, а спикер разговаривает с проходящим мимо депутатом, другие ведут беседы с соседями, отвернувшись от оратора. Сэмсон приходит к выводу, что так оно и должно быть: «Тем, кто утверждает, что парламент — это просто говорильня, можно ответить, что для этого и существует парламент». В книге приводятся слова нынешнего председателя лейбористской партии Веджвуда Бенна: «Мы говорили и говорили, но тем самым укрощали королей, сдерживали тиранов, предотвращали революцию...»

Эти поистине мистические представления о парламенте опровергаются всем повествованием Сэмсона. Он рассказывает о незавидной участи рядового депутата, мечтающего о «служении народу». Попав в великолепно налаженную парламентскую машину, которая для того и существует, чтобы препятствовать «служению», такой депутат вскоре начинает осознавать свою полную беспомощность. «Кого же представляет депутат парламента? — пишет автор. — Его послали избиратели округа, как «своего депутата», но в парламенте он должен сохранять верность и избирателям, и своей партии, и, зачастую, определенным заинтересованным кругам. Некоторые депутаты обязаны избранием в парламент профсоюзам. Другие соглашаются на роль платных представителей тех или иных групп, как, напри-

мер, Джеймс Каллагэн, который одно время получал плату за то, что защищал в парламенте интересы Федерации полицейских». 218 депутатов, по словам Сэмсона, открыто представляют интересы большого бизнеса, а иные, как, например, сэр Джон Фостэр, являются директорами в двадцати фирмах или банках.

Однако даже это «лобби» начинает терять свое значение. «Чаще всего большой бизнес, — пишет Сэмсон, — теперь не тратит силы на парламент, и лишь немногие крупные корпорации содержат своих депутатов в палате общин. Они поняли, где сосредоточена основная власть, и теперь имеют дело непосредственно с членами кабинета министров или государственными чиновниками... Самое важное «лобби», касающееся налоговых льгот, дислокации промышленности, торговых соглашений и субсидий, проходит в кулуарах Уайтхолла задолго до того, как соответствующий законопроект дойдет до парламента». И сколько ни ораторствовали бы депутаты, их речи — это глас вопиющего в пустыне, ибо вопрос уже давно решен правительством и заинтересованными кругами. Сэмсон подчеркивает, что успешно осуществлять влияние на решения правительства могут только те круги, у которых есть большие деньги, а «заинтересованные стороны, не имеющие денег, не могут конкурировать с ними».

Но, согласно Сэмсону, кабинет министров тоже еще не «вершина» пирамиды власти. Было бы неверно думать, что все дела государства решаются совместно членами кабинета. Все более важную роль в английской структуре начинает играть премьер-министр. «Лицемерный и обманчивый характер коллективной ответственности — это один из неприятных аспектов английской системы правления, в результате чего политические деятели представляются общественности и парламенту как не очень честные люди...» Подробно рассказывая о том, как расширяются прерогативы и функции премьер-министра, Сэмсон пишет: «Все эти факторы еще больше отделяют премьер-министра от его коллег и фокусируют все надежды и опасения его партии и государства на Даунинг-стрит, 10. ...Пусть это будет свехупрощением, но представление об эре Макмиллана или эпохе Вильсона так же приемлемо, как и об эпохе королевы Анны или Чарльза II».

Это скорее преувеличение, а не упрощение, так как премьер-министр Англии, хотя

он зачастую и заслоняет собой парламент и своих коллег по правительству, тем не менее вынужден считаться со многими разнообразными силами и элементами, течениями и тенденциями в стране. Автор дает интересные характеристики наиболее видных деятелей лейбористской и консервативной партий, красочно описывает конференции этих партий, постоянно подчеркивая, что и партийные резолюции, если даже за них голосует подавляющее большинство, необязательны для правительства и премьер-министра. Такое положение в политической жизни Англии, где «демократия» все более становится чем-то призрачным и неуловимым для простого англичанина, а иногда и открытым обманом, сохраняется в итоге многолетнего развития государственных и общественных институтов, которым и посвящена почти вся книга Сэмсона. Большинство этих институтов, формирующих государственную систему Англии,— это орудие правящего класса. Несмотря на все попытки Сэмсона затушевать этот неоспоримый факт, он в конечном итоге вопреки своей воле вынужден прийти к тому же заключению.

Он подробно говорит об английской системе просвещения, уделяя особое внимание так называемым «публичным школам», одному из крепчайших оплотов буржуазного образа жизни Англии. Сэмсон подробно рассказывает о положительных изменениях в составе учащихся школ и университетов, о либерализации системы образования, но все же отмечает, что такие «публичные школы», как Итон, Харроу, Винчестер, Чартерхауз и другие, остаются школами правящего класса. Сын рабочего не попадет в них да и не сможет платить за обучение. По словам Сэмсона, до сих пор 38 процентов студентов Оксфорда и Кембриджа — это выпускники «публичных школ». По данным 1967 года, пишет он, «публичные школы окончили 70 процентов директоров крупных фирм, 80 процентов судей и королевских адвокатов, 75 процентов всех директоров Банка Англии. Каково бы ни было будущее этих школ, сейчас их влияние весьма велико... Две трети учеников Итона — это сыновья бывших выпускников Итона, и это превращает школу в своего рода наследственный клуб для богатых и влиятельных людей».

Несмотря на все реформы, чисто классовое разделение школ Англии существует и ныне. Чтобы дети рабочих не попали туда, где готовят «лидеров» буржуазного общест-

ва, правящие круги на их пути ставят сальные различные барьеры.

Другой институт, формирующий человека,— это церковь. Как указывает Сэмсон, «хотя церковь и потеряла свою власть над жизнью и моралью народа, она все еще привязана силой закона к государству». Церковь, помимо всего прочего, еще и капиталист. По словам Сэмсона, «церковь является одним из крупнейших земельных собственников, и ее доходы в 1969—1970 гг. достигли 24,5 миллиона фунтов: она владеет 200 тысячами акров земли... и сумела увеличить свои доходы путем хитроумных капиталовложений, в частности объединив свои силы с крупными миллионерами, чтобы строить дома на церковных землях в Лондоне».

Автор признает тот факт, что «все меньше людей ходит теперь в церкви», и хотя «больше половины населения Британии причисляет себя к англиканской церкви, только два миллиона человек выполняют минимум ритуалов, обязательных для верующего». В другой главе Сэмсон рассказывает о той роли, которую все еще играет аристократия в английском обществе. Хотя «аристократы стараются сейчас создать впечатление, будто они нечто вроде гонимого меньшинства,— пишет автор,— однако, что касается богатства, старая аристократия держится крепко: большинство графов — это миллионеры, и многие старинные семейства вроде Вестминстеров, Дерби и Девонширов принадлежат к богатейшим людям страны... Многие из них значительно увеличили, без особого труда, свое богатство, просто сидя на том, что у них имелось...».

Естественно, аристократов кое-где поджигают «нувориши», современные капиталисты, банкиры, торговцы, их многомиллионные состояния намного выше капиталов, которыми располагают представители древних родов. Правительства — консервативные и лейбористские в равной степени — щедро раздают новоявленным миллионерам дворянские титулы. Но потомственная аристократия держится особняком, «по-прежнему создает впечатление, что она и есть единственная аристократия, стоящая выше городских богачей и богатых торговцев. Мир журнала «Таглер», охотничьи балы, танцы дебютанток, скачки и свадьбы гвардейских офицеров продолжают так, как будто ничего иного и не происходит в мире».

Это свой обособленный мирок, куда попадают через Итон и церковь, через наследст-

венные поместья, мирок, который все еще способен выбросить на политическую сцену людей, подобных Черчиллю, Макмиллану, Дуглас-Хьюму. И к сожалению, подражание аристократии, культивируемое всей системой образования и учебниками истории, живо в английском обществе Англичанам, восхищающимся повадками миллионера-лорда или баронета, следовало бы задуматься над цифрами, которые приводит Сэмсон: один процент всего населения Британии владеет 43 процентами всего капитала страны; полмиллиона людей владеют 60 процентами всех доходов от капиталовложений. Это убедительные данные о классовом характере общества.

Казалось бы, что главой всей этой сложной государственной и общественной системы является английский монарх—страна остается монархией. Но несмотря на воспитание англичанина в духе уважения к «королю», никто не принимает всерьез роль монарха в жизни государства. Сэмсон с иронией пишет о «великом обмане», говоря, что королева читает в парламенте тронную речь, которую ей написал премьер-министр, и произносит слова «мое правительство» так, будто в этой речи есть хоть какая-либо ее собственная мысль. Теоретически королева может распустить парламент и выбрать премьер-министра. За последние сто лет монархи не пользовались правом роспуска парламента, и право подбирать премьера, по словам Сэмсона, тоже превратилось в фикцию. За последние двадцать пять лет вопрос о назначении премьер-министра трижды вызывал споры и раздоры, но хотя монарх высказывал свое предпочтение определенному лицу, правящая партия вынуждала его (или ее) признать своего кандидата.

Каждый вторник вечером премьер-министр обязан посещать королеву «для беседы». Когда-то он стоял навытяжку, теперь его приглашают садиться и даже позволяют курить. Сэмсон подчеркивает, что королева — самое осведомленное лицо в Англии: ей дают на прочтение все протоколы заседаний кабинета министров, все секретные документы, касающиеся технических и военных проблем, переписку с президентами и правительствами других стран. Но это лишь традиция, и когда правительство протаскивает через парламент нужный ему законопроект, «королеве остается только подписать его».

Монархия дорого обходится государству. Недавно супруг королевы герцог Эдинбург-

ский пожаловался на «тяжелое финансовое положение» королевской семьи. Это вызвало бурю возмущения в передовых слоях английского народа. Сэмсон, подсчитывая стоимость содержания двора, упоминает, что только «жалованье» королевы, выплачиваемое правительством, составляет 475 тысяч фунтов в год. Кроме того, правительство оплачивает содержание ее дворцов и замков. А между тем во владениях королевы свыше 260 тысяч акров различных земельных угодий, ей же принадлежат и земли в центральных районах Лондона. Общий доход от этих наделов составляет 3,5 миллиона фунтов. Кроме того, королева владеет огромным личным капиталом, унаследованным от отца (сумма его никому не известна), богатейшей коллекцией картин, драгоценностями, скаковыми лошадьми, и все это не облагается налогом.

Таким образом, если монарх и поныне остается только «символом», то весьма дорогостоящим. По представлению премьер-министра два раза в год королева дарует дворянские титулы, ордена и медали. Например, за шесть лет правления лейбористов по рекомендации Гарольда Вильсона 140 человек получили пожизненный титул пэра. Сэмсон приводит и случаи отказа от королевских наград: от них отказались в свое время Бернард Шоу, Редьярд Киплинг, Герберт Уэллс, Дж. Пристли, профсоюзный лидер Фрэнк Казинс. Однако, по утверждению автора книги, средний англичанин, приближаясь к пенсионному возрасту, горячо надеется, что и ему, в конце концов, будет даровано дворянство и он сможет поставить после фамилии заглавные буквы нового титула и именоваться «сэр Вильям...» или «сэр Джон...». Так глубоко въелись в сознание английского буржуа стародавние традиции.

Продолжая поиски «истоков власти» в Англии, Сэмсон посвящает большой раздел книги детальному рассказу о деятельности английского государственного аппарата, дипломатии, армии, полиции, юридической системы, чиновничества. Чрезвычайно интересны его небольшие очерки об отдельных видных деятелях английской государственной машины, о нравах офицерства, о так называемой технократии.

Но, пожалуй, еще больший интерес представляют два последних раздела книги: «Финансы» и «Экономика». Хотел этого Сэмсон или нет, но именно здесь, в лондонском Сити, он и обнаружил подлинных хо-

заяв и властителей капиталистической Англии. С изумительным знанием всех закоулков «квадратной мили», которую занимает Сити и которую можно пересечь за двадцать минут, автор распуtywает для читателя сложнейшую головоломку финансовых и коммерческих операций этого мирового денежного центра. Он пишет, что «никто в Сити не делает ничего, кроме денег», и приводит в качестве эпиграфа строки английского поэта Хамберта Вулфа:

В Сити  
Они покупают и продают,  
И никто никогда  
Не спрашивает их: почему?  
Но если им нравится  
Покупать и продавать,  
То, прости их бог,  
Пусть покупают, пусть продают...

Читая повествование Сэмсона о бирже, банках, страховых обществах, земельных спекулянтах, системе ревизоров и, наконец, о Банке Англии, начинаешь понимать, что и королева, и премьер-министр, и парламент беспомощны перед этим гигантским механизмом английского капитализма. Не случайно «Сити остается непоколебимым приверженцем консерваторов, это инстинкт, это унаследованный образ жизни, это часть традиции «квадратной мили» Сити», — пишет автор. Это вполне понятно, ибо только тори и являются истинными представителями и политическим рупором Сити.

Здесь хозяйничают деньги и банки. «Банкиры владеют деньгами и властью. Они сливают компании, они организуют или предотвращают поглощение одной фирмы другой, они заседают в советах директоров фирм, газет, телевизионных компаний, они реорганизуют и рационализируют промышленность, с ними советуется кабинет министров и «теневой» кабинет... Они выступают пророками не только новой Британии, но и новой Европы — Европы, объединенной не общим идеализмом, а общим интересом к деньгам».

Рядом с виднейшими банками шагают коммерческие банки. «Их контролирует горсточка богатейших людей, и они ведут дела других богатых людей, не интересуясь мелкими вкладчиками». Среди владельцев коммерческих банков — семья Ротшильдов, финансировавшая целые армии, или семья Бэрингов, финансировавшая развитие Латинской Америки.

Для человека с улицы страховая компания — это учреждение, страхующее его

жизнь, дом или автомобиль от несчастных случаев. В машине Сити страховые компании — это финансовые гиганты, которые держат в руках самый крупный пакет акций всех промышленных монополий. Капитал страхового общества «Прюденшл» превышает два миллиарда фунтов, и общество является самым крупным в Англии вкладчиком капиталов в индустрию, государственные бумаги и земельную собственность. От таких финансовых великанов, а не от решения лейбористской или консервативной партийной конференции и зависят пути развития экономики страны.

Тысячи людей в лондонском Сити день за днем калькулируют, подсчитывают, спекулируют, играют на бирже, следят за колебаниями акций, и все с одной целью — увеличить накопленные миллионы и миллиарды. Сэмсон не пожалел целой главы, чтобы рассказать историю одного молодого финансиста, некоего Джима Слейтера, который за семь лет стал притчей во языцех в Сити как умелый делец, начавший с двух тысяч фунтов и ставший миллионером. У Слейтера был нюх ищейки, он чувствовал, где пахнет деньгами, скупал акции, помогал слиянию корпораций, продавал и покупал — всегда с выгодой для себя. Он в глаза не видел ни одного предприятия или машины, но с невероятной ловкостью оперировал цифрами доходов и прибылей промышленных компаний, делая деньги, деньги и деньги...

Приведенный Сэмсоном пример карьеры финансиста Слейтера — ярчайшая иллюстрация тех страшных джунглей, которые представляют собой Сити с его лабиринтом мрачных улочек, на каждом углу которых делаются или теряются многочисленные состояния, где определяется, по сути дела, политика английского государства.

Над финансовыми джунглями возвышается здание Банка Англии, ласково именуемого «Старая леди с Трэднидл-стрит». Это государственное учреждение, которое возглавляет Губернатор, именуемый за глаза Бабушкой или просто Властью, ибо он следит за соблюдением неписаных законов Сити и служит связующим звеном между правительством и финансовым миром. «Больше всего влияние Губернатора зависит от его членства в самом могучем международном клубе — Базельском клубе — группе центральных банкиров, заседающих ежемесячно в Швейцарии, — пишет Сэмсон. — Эти банкиры гораздо легче договариваются между собой, чем со своими правительствами».

Именно членство в этом клубе и помогало Губернатору спасти английский фунт в дни финансовых лихорадок.

И поэтому когда английская общественность требовала, чтобы Банк Англии публично отчитывался в своей деятельности и операциях, она наталкивалась на глухую стену секретности. Ни одно буржуазное правительство не заинтересовано выносить на свет божий тайны «Старой леди».

«Вопрос о том, кто же несет ответственность за финансовую политику Англии,— замечает Сэмсон,— это ключ к пониманию всей структуры власти в Британии. Но в этом вопросе простой англичанин, если даже он поймет все технические детали, попадает в таинственный лабиринт, путь из которого ведет куда-то между министерством финансов и Банком Англии».

Мы коснулись, и очень бегло, только нескольких аспектов жизни Англии, затронутых Антони Сэмсоном. Не менее богаты сведения, содержащиеся в главах об английских фермерах, о мультинациональных промышленных монополиях, о системе менеджеров и директоров компаний и о многом другом. «Новая анатомия Британии» — капитальный и солидный труд, богатейший кладезь информации о современной Англии. Но черпать из этого кладезья следует с большой осторожностью. Работа Сэмсона остается исследованием чисто буржуазного

характера, и с большинством выводов и заключений автора из богатого собрания фактов никак нельзя согласиться.

В этом отношении примером может служить глава книги «Рабочие», в которой автор наиболее ярко проявил свою буржуазную сущность. Он начинает с довольно верного утверждения: «Пропась, разделяющая правителей и тех, кем они правят, ощущается все более мучительно по мере того, как каждое правительство обещает новую эру, а за этим следует все большее число забастовок, требований увеличения зарплаты и не заметно никакого роста производства». Однако умышленно игнорируя упомянутую им же классовую пропасть между капиталом и рабочим классом, Сэмсон сводит всю проблему к «участию» рабочих в управлении капиталистическим предприятием, к «атмосфере взаимного доверия» между предпринимателями и рабочими, к «большему общению» между правящим классом и классом эксплуатируемых.

Несмотря на такие грубые социологические нелепости, непростительные даже для буржуазного журналиста, особенно столь наблюдательного, как Сэмсон, появление его книги — большое событие. Для каждого, кто интересуется проблемами Англии или изучает их, «Новая анатомия Британии» может стать ценным пособием.

**О. ОРЕСТОВ.**





---

## КОРОТКО О КНИГАХ



**МИХ. ЖЕСТЕВ.** Однажды поздней осенью. Л. «Советский писатель». 1971. 199 стр.

Знатоки говорят, что в нынешние времена границы жанров смыты, что в романтическую ткань все чаще вплетаются эссеистские куски, а то и просто подлинный документ, и часто бывает трудно определить, где повесть, а где очерк. Спорить не будем. Вероятно, оно так и есть — особенно если вспомнить такие произведения, как «Ледовая книга» Ю. Смуула, которая представляет собой сплав философских раздумий писателя, традиционного психологизма и откровенного репортажа. Но известно и иное. Скажем, из зарубежной литературы: «Вещи» Перека — едва беллетризованное социологическое исследование, жанр которого, однако, определен автором как повесть (такая тенденция — как бы повышать свои сочинения «в чине», именую романом или повестью «просто очерки», — не поддается сколько-нибудь разумному объяснению: ведь давно и, главное, повсеместно замечен повышенный интерес широких читательских масс к документальной литературе).

Писатель Мих. Жестев известен своими глубокими проблемными очерками о современной деревне, которые почему-то каждый раз камуфлируются автором (или редактором?) под самые разнообразные жанры, начиная от публицистического романа «Золотое кольцо» и кончая, как в рецензируемой книге, двумя повестями. А между тем это — очерки. Очерки с острыми конфликтными коллизиями. С характерами. Причем необычными, «незатасканными» характерами. И абсолютно ясным, недвусмысленно выраженным отношением автора к поднятым им проблемам...

В первой повести (а по-нашему — в первом очерке) «Однажды поздней осенью» Мих. Жестев рассказывает о жизни маленькой северной деревушки Тугая Мошна, которую председатель колхоза Легов хочет перевезти со всеми уже немногочисленными оставшимися там жителями поближе к «культуре», из глухого, отрезанного от мира заречья в центральную усадьбу. Намерение это продиктовано заботой о людях, подкреплено ссылками на экономическую выгоду для всего хозяйства и государственную целесообразность. Но, оказывается, все не так просто, как выглядит с первого взгляда. В Тугой Мошне живет некий моло-

дой энтузиаст, тракторист Всеволод Букасов, «изумленный человек», досконально изучивший плодородные земли родной деревни, который не только сам не желает переезжать из любезного его сердцу заречья, но и убеждает вокруг себя всех, что этого делать не следует. Ему удается доказать, что даже экономически Тугая Мошна с ее богатейшими пойменными лугами себя оправдает, если организовать там звено, придать деревне узкую «кормовую» специализацию и снабдить техникой.

В пересказе весь этот конфликт кажется плоским, но когда автор точно и нелестно раскрывает нам разнообразнейшие характеры, столкнувшиеся в этой борьбе, и не уходит при этом от противоречий и сложнейшей диалектики жизни, перед нами встает картина действительности со всеми ее не только конкретными и четко привязанными к месту, но и самыми общими социальными проблемами.

В «Запутанном деле» автор также ратует за звеньевую систему организации труда и опять-таки делает это не голословно, а вдумчиво разбирает вопрос с самых различных точек зрения, предоставляя возможность высказаться как сторонникам, так и противникам звеньев. И снова перед нами острый сюжет, в котором действуют органичные, живые и яркие характеры, не притянутые «за уши» для доказательства заранее придуманной концепции, а наблюдаемые в жизни. Драматическая коллизия, сложившаяся в семье Ладожцевых, спокойно и непредвзято анализируется на глазах заинтересованного читателя. Вообще — публицистичность произведений Мих. Жестева бесспорна, но она мягка и ненавязчива, и автор подводит читателя к вытекающим из всего сказанного выводам исподволь и незаметно. Мы словно бы тоже участвуем в анализе сложной психологической ситуации, распутываем узлы, докапываемся до сути дела и лишь под конец, основывая свое суждение на ясном понимании обстоятельств, выносим строгий нравственный приговор, — в данном случае зарвавшемуся «потомственному передовику» Федору Ладожцеву, который благодаря своему воинствующему невежеству, стяжательским и тщеславным устремлениям становится тормозом на пути развития родного колхоза.

**И. Варламова.**

**АЛЛА ДРАБКИНА.** Далеко до апреля. Повести и рассказы. Л. «Советский писатель». 1971. 270 стр.

Свой первый рассказ Алла Драбкина прислала из Ленинграда в журнал «Юность», когда училась в школе. Тогда уже было видно, что девочка талантлива. А теперь А. Драбкиной двадцать пять лет и вышла ее первая книга «Далеко до апреля». Драбкина пишет скупой и лиричный (почти всегда от первого лица), она наблюдательна, умеет схватывать выразительные детали: Наталья Ивановна дарит гостившей у нее деревенской родственнице свои старые платья, но выпарывает из них молнии — могут пригодиться! («Фроська приехала...»)

Едва ли не труднее всего писать о любви. Алла Драбкина умеет делать это. «Ему мало того, что он меня бросил. Нужно еще показать, что это не стоило ему никакого труда», — с горечью думает героиня «Охтинского моста». Она совсем еще молоденькая, Марина, но она уже это понимает. Понимает и то, что в любви случается все так, как предчувствуешь, и что когда любишь, то только он один на всем свете нужен и это почему-то больно. Вместе с тем в ней немало еще детского, она наивно думает, что любят за что-то.

Сочетание детскости с глубиной, веселого, остроумного с драматизмом характерно для писательницы. Прелестна шестилетняя певичка и плясунья, которую вся деревня зовет Семеновной (в одноименном рассказе). Забавны ее степенные речи: «Бог в помощь», «Благодарствую от чистого сердца», «Скотину любить надо», перемежающиеся с выражениями «картошное пузо» или «Люблю тебя, петратворенья». Вместе с тем по-своему драматична фигурка маленькой Семеновны, «безотцовщины»: покидая деревню, она сквозь слезы поет любимую, непонятную песню — «Трансваль, Трансваль, страна моя, ты все горишь в огне...»

Лирическая героиня Аллы Драбкиной — по-мальчишески угловатая, долговязая, застенчивая, некрасивая девушка, но глубокий, чистый, умный и, главное, талантливый человек. Именно эта талантливость — внутренняя тема всей книги. Определить эту тему проще всего словами одного из героев «Охтинского моста»: «...мне хотелось бы не делать ничего назло или из страха... Мне хочется, чтобы в жизни были только законы любви, дружбы, законы разума».

Настораживает лишь одно — героиня почти всех произведений Аллы Драбкиной по своей сущности один и тот же человек. Словно мы смотрим различные картины, но на всех написано то же самое лицо — скажем, автопортрет художника. Окунуться бы ей так же глубоко в мир и других людей — вот что хочется сказать в напутствие молодой, самобытной писательнице.

**О. Грудцова.**

**В. РОСЛЯКОВ.** Как там Сашка? Рассказы. М. «Советская Россия». 1971. 96 стр.

Читатель, знакомый с повестью «Один из нас», романом «От весны до весны», сборником рассказов «Красные березы» и другими произведениями Василия Рослякова, несомненно заинтересуется этой книжкой.

Заметим, что по содержанию своему главный рассказ не самое значительное произведение сборника. Но он определяет позицию писателя, его отношение к человеку, к долгу, к «взаимосоприкасаемости» людей вообще.

Сложная и запутанная штука жизнь, с задумчивой улыбкой говорит автор без каких-либо претензий на первооткрытие. Кроме света, в ней, в этой жизни, оказывается, есть и свои тени, причем в том месте, где, казалось бы, должен быть свет, там «находишь неожиданную для себя тень и, наоборот, там, где должна быть тень, неожиданно для себя находишь свет». Именно это происходило в судьбе довольно преуспевающего столычного «интеллектуала» Антона Павловича Богомаза. Свет и тени разместились в ней как бы не по правилам и в нарушение здравого смысла. Его личный друг стал неожиданно яростным врагом. А причиной всему Сашка, общий их друг, которого Богомаз предал забвению.

И незаметно мы вторгаемся в «душевную лабораторию» Богомаза, где только одному господу ведомо, как и когда произошло удивительное и столь досадное превращение личного друга в личного врага...

Интерес к тайнам этой «лаборатории» усиливается, может быть, потому, что у каждого из нас есть свой Сашка, человек, с которым при первом знакомстве было уже не скучно. затем — друг, которому, не зная почему, ни с того ни с сего поведешься обо всем затаившемся у тебя на душе. Он, такой Сашка, порою ближе родного брата. Возможно, мир так устроен, что близкими, даже очень близкими люди становятся не по кровному родству, а по душевному расположению, укрепляющемуся с годами, сплавляющемуся, как металл с металлом, в единое, нерасторжимое навсегда. Не простишь ты никому, когда такого Сашку предадут забвению, не замечают, отвыкают от самой памяти о нем. Потому что Сашка, не росляковский, а вообще друг Сашка, или Вера, или Миша, или каким бы он именем ни звался, необходимое каждому из нас существо. И почему-то к такому другу обращаешься не когда радостно и празднично, а когда трудно, к нему же обратятся твои близкие, когда тебя не станет, и он, этот Сашка, или Вера, или Миша, обязательно поспешит на последнее с тобой свидание.

И вот такого Сашку предал мнящий себя интеллигентом Богомаз. Против него направляет силу своего таланта Росляков, свое презрение и ненависть. Рассказ «Как там Сашка?» вызывает у читателя отвраще-

ние к тем, кто считает, что за их «интеллигентность» им полагаются «большие льготы как от государства, так и от каждого его члена», будит негодование к барству, высокомерию, духовному ожирению, к богомазовщине.

Еще одна особенность помещенных в сборнике произведений. Они, каждое в отдельности, по-настоящему современны, их персонажи — наши знакомые со своими заботами и радостями. Тонкость наблюдений, зримость деталей создают для читателя своеобразный «эффект присутствия».

Невидимые простым глазом нити, связывающие людей, идут от страницы к странице. Вот «Мой друг Валентин». Душа пятнадцатилетнего подростка, наблюдавшего почти скотоподобную жизнь своих родителей, вдруг посветлела от мгновенного соприкосновения с добрым, отзывчивым человеком. И Росляков заставляет нас поверить тому, что произошло чудо, Валентин не повторит путь своих родителей, он будет другим.

Проходит время. Оно беспощадно изменяет наш внешний облик, но не угасают наши добрые светлые чувства, они живы, пока жив человек. Мысль эта прочитывается и в других рассказах сборника «Как там Сашка?».

Хотелось бы сделать одно замечание, к внутреннему содержанию сборника Рослякова отношения не имеющее. Речь идет о том, в каком внешнем виде предстала эта книга перед читателями. По-моему, художественное оформление сборника далеко от его истинного содержания. Впечатление такое, что художник Л. П. Лазовская книги и не читала. Иначе откуда бы появился на первой странице обложки рисунок из серии «Пусть всегда будет солнце», а на последней замок времен графа Монте-Кристо? Просматривая рисунки Л. П. Лазовской, припоминаю, что видел не так давно что-то подобное. Беру книгу С. Наровчатова «Необычное литературоведение». На обложке та же девица с протянутыми к небу руками, только здесь рисунок не так резко проявлен, он плывет в мыльной пене, а солнце только угадывается там, за этой пеной. Художник Н. Гришин. Год издания книги 1970, издательство «Молодая гвардия». Л. П. Лазовская годом позже как бы «проявила» рисунок Н. Гришина.

Оформление книги — дело важное, ответственное. Отсюда и большое наше уважение к действительным мастерам, способствующим своим талантом более глубокому проникновению в художественную ткань произведения. Об этом уважении красноречиво говорит присуждение в 1971 году Государственной премии за художественное оформление двух детских книжек. Но отсюда и необходимость борьбы с серостью, с ремесленничеством, со всем тем, что не помогает, а наносит ущерб книге.

**Феодосий Видрашку.**

**К. А. КУПРИНА.** Куприн — мой отец. М. «Советская Россия». 1971. 256 стр.

Книга Ксении Александровны Куприной рассказывает в основном об эмигрантском периоде жизни писателя, то есть о периоде самом неизученном и в биографическом и в творческом плане. Лейтмотив книги, ее горькая и правдивая суть заключается в истории постепенного угасания таланта, лишённого родной питательной почвы, в истории медленного, но неотвратимого угасания яркой и сильной личности.

Нет нужды пересказывать содержание книги. Скажу только, что эти воспоминания, написанные просто и живо, принадлежат к самому ценному, на мой взгляд, типу мемуаров — к документированным мемуарам. Автор, вполне полагаясь на свою память, применительно к годам своей сознательной жизни, проведенной рядом с отцом, тем не менее считает своим долгом подкреплять документами (письма Куприна и к Куприну, отрывки из воспоминаний современников, высказывания прессы и т. п.) каждую строчку своих воспоминаний. И в этом, полагаю, их особая ценность. К. Куприна привезла с собой из Франции много рукописных материалов (далеко не все они, как мне известно, вошли в данную книгу, и есть надежда, что будущее ее издание сможет быть существенно обогащено и пополнено), немало интересного «раскопала» она и в различных советских архивах. Правда, и в письме и даже в дневниковой записи можно подчас «покривить душой» — подпасть под власть определенного настроения. Однако и в этом — подлинность сиюминутного переживания, те драгоценные зерна неоспоримой исторической правды, которые нам дороже всего во всяких воспоминаниях. Особенно — для Куприна, писателя очень автобиографического, то есть такого, у которого каждый почти факт его личной жизни преобразался и отражался в творческой биографии. Сферы творчества, впрочем, Ксения Александровна касается в своей книге мало. Здесь перед нами Куприн в его «частной», семейной жизни, в его отношениях с многочисленными людьми, в его непосредственных реакциях на те или иные явления общественной жизни. Но все это (именно потому, что он — писатель очень «автобиографический») важно нам для лучшего понимания и истолкования его творчества.

Наиболее удалась в книге, на мой взгляд, «портретные» главы: «Мария Морицовна», «Щербов», «Бальмонт», «Саша Черный», глава «Репин — Куприн», почти целиком состоящая из переписки двух замечательных художников. (Кстати, явно не удалась в книге такая важная для нее глава, как «Бунин», — и именно потому, что она почти лишена документальных подтверждений и базируется лишь на мимолетных личных и сугубо бытовых впечатлениях мемуаристки).

Особенно хочется выделить в книге один из самых дорогих образов — образ матери мемуаристки Е. М. Куприной, маленькой,

деятельной и самоотверженной женщины, роль которой в жизни писателя была огромной. Мне довелось перед самой войной несколько раз встречаться в Ленинграде с Елизаветой Морицовой, и я могу засвидетельствовать, что эта тихая, скромная маленькая женщина производила на всех впечатление удивительной душевной чистоты, подлинной, неброской внутренней интеллигентности. Страницы, посвященные ей в книге, очень точно и верно передают это светлое впечатление.

Не обошлось в книге «Куприн — мой отец» и без различных мелких промахов — опечаток, небрежного цитирования, отдельных вызывающих возражения положений. Так, например, мне трудно согласиться с утверждением мемуаристки о том, что лишь после революции «Куприн начинает защищать интеллигенцию, которую он всегда осмеивал». Это довольно распространенное мнение, но тем не менее оно неверно по существу своему. Достаточно вспомнить главных, «коренных» героев всех его крупных произведений и большинства новелл (инженер, врач, лесничий и т. д.), чтобы убедиться в необоснованности этого заблуждения. Куприн всегда был беспощаден к мешанству, рядящемуся в «интеллигентное» платье, к «интеллигентничавшему» барину и краснобаю, но только не к демократической интеллигенции, к которой принадлежал он сам и страданиям которой горячо сочувствовал. В отличие от многих книг о Куприне, адресованных прежде всего специалистам-литературоведам, эта книга обращена к самой широкой аудитории читателей Куприна.

Ирина Питляр.

★

**ГЕННАДИЙ ФЕДОРОВ.** Когда наступает рассвет. Роман. Перевод с языка коми. М. «Современник». 1971. 391 стр.

Живописны берега северных рек — Печоры, Вычегды, Ижмы, Сысолы... Бескрайние густые леса — парма, зеленые луга с гроздьями брусники на мшистых буграх, редкие деревни с рублеными избами. Это край народности коми. Сказочно красивый край, богатый пушниной, рыбой, лесами, ископаемыми.

Все, что имеет сейчас Автономная Республика Коми — развитую промышленность, зажиточную жизнь, свою культуру, — принес Великий Октябрь. И понятно, почему один из зачинателей молодой литературы коми Геннадий Федоров обращается в своем романе «Когда наступает рассвет» к событиям тех лет.

Империалистическая война, Великая Октябрьская социалистическая революция, гражданская война, борьба против интервентов — на этом фоне разворачивается повествование в романе. Большое количество различных документов, вкрапленных в произведение, хотя и утяжеляет его, но и способствует большей достоверности. В кни-

ге приводятся малоизвестные факты, связанные с некоторыми перипетиями гражданской войны на Севере, с идеей создания автономного северного государства Биармии, которую вынашивала буржуазия коми. Националистической идеализации истории края автор противопоставляет четкую классовую позицию. Отчетливо выраженное классовое самосознание характерно для главного действующего лица произведения — зырянской девушки Домны Каликовой, героини гражданской войны, о которой народ коми сложил легенды и песни. Собственно, ей, ее судьбе, тесно связанной с революцией, и посвящен роман.

Домне присущ какой-то особый талант непосредственности в общении с людьми. Живая, задорная, бойкая, она и в кругу подружек-сверстниц, и среди питерских рабочих, и на своей родине — в отряде, среди бойцов — всегда оказывалась в центре внимания. Это цельная натура, отдавшая всю себя делу революции. Чиста ее первая любовь к Прозе Юркину, деревенскому батраку, а затем балтийскому матросу и красному партизану.

Трагическая судьба отважной комсомолки Домны Каликовой, этой Зои Космодемьянской времен гражданской войны, захватывает читателя. Белогвардейцы, взявшие разведчицу в плен, жестоко пытали ее. Истерзанная, но непокоренная идет она на казнь. «А за рекой, над продрогшей пармой, уже собиралось взойти солнце. Там все ярче разгоралась заря. И Домне, спускавшейся под гору, к реке, казалось: шагает она туда, навстречу пылающей заре, которая уже охватила полнеба».

К. Бродер.

★

**М. ТУРОВСКАЯ.** Герои «безгеройного времени». М. «Искусство». 1971. 238 стр.

Некоторые из глав этой книги — всего их шесть — уже известны читателю: они были в свое время напечатаны в журнале «Новый мир». Сейчас стало ясно: то были не просто статьи, а части книги, над которой М. Туровская настойчиво работала на протяжении десяти лет. И вот эта книга перед нами.

Принято говорить, что мы живем в пору, когда «точками роста» познания, точками, где возникают новые и ценные завоевания мысли, стали стыки раздельно существующих научных дисциплин — скажем, физики и биологии, математики и лингвистики. М. Туровская тоже работает на стыке — социолог неотделим в ее книге от киноведа, равно как историк-публицист от психолога. Притом М. Туровская присуще единство метода — здесь все начинается с факта, с документа, с реального свидетельства, чтобы затем из всего этого был последовательно извлечен многосоставный, сложный, подчас увлекательный своей доказательной неожиданностью смысл.

М. Туровскую занимает то, что она удачно назвала «неканоническими жанрами» —

существующие ныне в буржуазном мире, чрезвычайно развитые там (параллельно традиционной литературе) новые способы освещения действительности, предложенные «массовой культурой», тиражируемые и доставляемые потребителю при помощи средств массовой информации, и прежде всего ежедневной печатью и телевидением. Туровская, по существу, впервые у нас анализирует структуру этих «неканонических жанров» — типы их героев, законы сюжетосложения, способы воздействия на сознание публики, «обратную связь» с этой публикой.

Материал книги сам по себе сенсационен: это беспримерные путешествия и громкие уголовные дела, это темные шабаши новоявленных култов и поистине эпидемическая слава киногероев или кинозвезд, это «рок» семьи Кеннеди и «рок» зверски убитой актрисы Шарон Тейт, это фантастические отчеты Адамского о его визитах на Венеру и роман «частной жизни» и смерти Мерилин Монро, это «снежный человек», «летающие тарелки», говорящие дельфины...

М. Туровская рассматривает закономерности появления сенсаций — больше того: она рассматривает самую структуру сенсации, которую по-новому и глубоко определяет как «способ заставить жизнь врасплох, увидеть ее на изломе, в критические моменты, когда сама действительность, не дожидаясь вмешательства искусства, заостряет свои тенденции до символа». Автор книги открывает непреложность возникновения самых, казалось бы, невероятных, логически необъяснимых явлений, которые оказываются закономерными в пору небывалого по своей силе и глубине духовного кризиса, поразившего буржуазное общество «эпохи потребления». Кризиса, о котором самые красноречивые свидетельства, как подтверждает анализ Туровской, дают именно те самые «неканонические жанры», — вообще-то низкие по своей природе, — оказываются тут не только самыми динамичными, но и самыми сродственнымными кризисной, большой действительности. Здесь личность тем или иным, зачастую самым парадоксальным или разрушительным, образом пытается спастись от всецелого подчинения обществу.

М. Туровская пишет о том, как в свете разнообразных катаклизмов — моральных, научных, политических — растворенные в повседневной реальности закономерности бытия кристаллизуются вдруг в каких-то лицах и судьбах «до твердости и внутренней собранности молекул алмаза». Вот тут они, эти лица и судьбы, становятся героями тех самых «неканонических жанров», и прежде всего их «короля» — иллюстрированно еженедельника. Героями и одновременно жертвами, потому что вступает в ход закон публичности, делающий человека и его жизнь беспомощно нагими перед «вселенской замочной скважиной». Автор рассказывает, как люди, поднятые сенсацией «из небытия своей частной жизни, под ослепляющими вспышками блицев» оказываются на подмостках публичности, которые становятся для них не только пьедесталом, но и эшафотом.

И вот о чем стоит сказать особо: книга М. Туровской, столь богатая взятым из действительности животрепещущим, сенсационным по своей природе, порой откровенно кровавым, вызывающим ужас и отвращение материалом, написана строго — со спокойствием логического анализа, строгим, «неукрашенным» языком. М. Туровская никогда не пугает и не зпатирует читателя: она приглашает его к своему «испытательному стенду», чтобы вместе с ним наблюдать, размышлять, понимать.

**В. Шитова.**



**КАМЕН КАЛЧЕВ. Софийские рассказы. Перевод с болгарского Т. Рузской. М. «Художественная литература». 1971. 150 стр.**

Наш читатель впервые познакомился с Каменом Калчевым лет пятнадцать назад — тогда вышел в русском переводе один из его ранних романов, «Семья ткачей». Потом у нас публиковались переводы нескольких его более поздних произведений — повести «Влюбленные птицы», романа «Двое в новом городе» и другие. Писатель работал много, упорно искал свою тему, свою манеру, и я, его первый русский переводчик, с радостью следила за его поисками и находками. Каждая из его новых книг была ступенькой вверх. От книги к книге совершенствовался Калчев мастерство, освобождал от былой скованности свой талант, раскрывал свою писательскую индивидуальность. И вот перед нами одна из его последних работ — «Софийские рассказы».

Это добрая, умная и веселая книга о простых и сердечных людях, которых захлестнули, закружили бурные события середины нашего века. Еще совсем недавно их считали «маленькими людьми», не способными ни на что большее, чем выполняемые ими скромные обязанности почтальона, официанта, возчика, счетовода и т. д. Но вот после 9 сентября 1944 года, когда в Болгарии творились великие и героические дела, эти люди стали участниками революционных преобразований в жизни своей страны. Отживающее старое не сразу сдавалось и исчезало. Возникали и трагические и комические ситуации, почти анекдотические конфликты — часто из-за не в меру ретивых поборников революционности везде и во всем. И люди, вокруг которых творилось и великое и это смешное, воспринимали все как должное. Камен Калчев — один из активнейших участников исторических событий в жизни своего народа, своей страны. В новой книге он показывает, как сложен процесс приобщения людей к революции, как с великим соседствует низкое, как патетика революции то и дело сталкивается с бытом вовлеченных в исторический процесс людей.

Характерная черта его рассказов — мягкий, ненавязчивый юмор. Главный герой, от имени которого и ведутся рассказы, почтальон Драган Мицков — скромный, даже робкий человек, — вдруг получает от местной власти оружие и задание охранять за-

воевания революции. Официанту Зафирову поручают национализировать фабрику резиновых изделий и тут же назначают ее директором, а он, не справившись с этим назначением ввиду «теоретической неподготовленности», запутывается окончательно. Требование строгого соблюдения революционной морали приводит к курьезной истории учительницу Игнатиеву и учителя Каишева. Передавая атмосферу тех лет, К. Калчев находит верную, непринужденную тональность, рассказывает о героях с доброй улыбкой, вызывает к ним симпатию у читателя.

В Болгарии «Софийские рассказы» принесли их автору большой успех, сделали его одним из любимейших писателей. Надо думать, что и наш читатель, познакомившись с рассказами в хорошем переводе Т. Рузской, по достоинству оценит их.

Л. Баша.



**Б. Е. СЕРМАН. Человек остается... Симферополь. «Таврия». 1971. 133 стр.**

В годы нашей журналистской юности мы твердо усвоили понятие «статья-поступок». Это статья, которую просто так, сидя за письменным столом, не напишешь. Такой статье непременно должны предшествовать действия, активные и часто непростые, — нужно вмешаться в чью-то судьбу, ввязаться в какой-то запутанный конфликт, потратить много душевных сил и времени, прежде чем на бумаге появится первая строчка. Таким материалам среди газетчиков, знающих, как они даются, цена особая. Но и читатель отзывается на них горячо.

Все это мне припомнилось, когда я прочитал книгу крымского поэта и журналиста Бориса Сермана «Человек остается...». Вся она — книга-поступок. За каждой ее страницей дни, месяцы, а иногда и годы неустанных и благородных усилий, поисков, работы. У книги есть большая и благородная внутренняя тема — память о настоящих людях, долг живущих перед памятью ушедших, святая обязанность до конца узнать и без остатка донести до потомков всю правду о многих безвестных героях.

В одной из глав книги Б. Серман рассказывает о том, как на очередном «четверге» в скромной комнате клуба Крымского отделения Союза писателей керченский партизан с болью и обидой спросил литераторов, почему до сих пор нет памятника бесстрашному гарнизону Аджимушкая, несломленному гарнизону Керченских каменоломен. Было это несколько лет назад. Симферопольские писатели решили сделать все, чтобы увековечить память аджимушкайцев: писали письма с запросами и напоминаниями в разные организации. ездил в Керчь и долгие часы ходили по подземным отсекам и штольням каменоломен, разыскивали оставшихся в живых героев, изучали тогда еще далеко не написанную историю героической обороны Аджимушкая. Наконец, решили собрать в Крыму аджимушкайцев, по-

знакомиться с ними, договориться о плане будущей книги, посвященной подземному гарнизону.

Организовать такую встречу было очень не просто. «По всему Союзу разбросаны аджимушкайцы. Ни по каким сметам, ни по каким статьям нет у нас в клубе средств на приглашение героев. Но средства эти нашлись...» — пишет Б. Серман. Он не рассказывает о том, о чем знали все, кто принимал участие в этой пронзительно-волнующей встрече (я приехал на нее корреспондентом одной из московских газет), сколько энергии и упорства проявил он сам, один из главных инициаторов и организаторов этой встречи, чтобы сделать ее возможной.

В один из дней пребывания в Керчи все, кто собирался на эту встречу, спустились в каменоломню. «...Те, кто перенес здесь все тяготы осадной жизни, кто выходил из этих лазов на разведку, бился здесь с врагами, показывали чам расположение штаба, батальонов, госпиталя. Шли мы за аджимушкайцами и слушали их воспоминания, подсказанные этими стенами, почти истлевшими остатками солдатского инвентаря, балками, торчащими посреди штолен, плитами подземных могил.

Мы пробирались по каменоломням; а подступы к ним, холмы и скалы заполняли жители поселка, горожане. Строем, под горн и барабаны шли пионеры».

Бесконечный этот, на всю жизнь запомнившийся мне день мы закончили в колхозе на берегу Азовского моря. Рыбаки принимали участников встречи. Помянули тех, кто не дожид до этого дня. Потом Б. Серман читал свои стихи, посвященные Аджимушкаю.

Но неутомимый организатор встречи на этом не успокоился. Благородный порыв иногда бывает подобен яркой, но короткой вспышке, загоревшийся человек остывает... Но Б. Сермана хватило надолго. За высоким подъемом встречи наступили месяцы кропотливой черновой работы, которая потребовалась для того, чтобы собрать, отредактировать и опубликовать книгу, посвященную Аджимушкаю.

«Выпущенный недавно издательством «Крым» сборник «В катакомбах Аджимушкая» принадлежит к категории книг, которые после выхода в свет становятся долгожителями», — писала «Правда» в рецензии на первое издание этого сборника, вышедшее в 1966 году (второе, дополненное и переработанное издание вышло в 1970 году). Мимо этих книг не пройдет теперь никто, кого интересует героическая военная летопись Крыма.

Всю историю розысков аджимушкайцев, их волнующего свидания, создания посвященной им книги и памятника, поиска героев, который продолжается, Б. Серман рассказал в своей книге, рассказал как человек, принимавший в этом самое горячее и непосредственное участие, но с предельной скромностью, все время выдвигая на первый план других людей, принявших участие в этом многолетнем возрождении памяти героев.

Не менее примечателен другой его очерк, вошедший в книгу. Николай Константинович Спаи — герой-партизан, казненный гитлеровцами, был не просто забыт. Долгое время зловещая тень клеветы лежала не только на его памяти, но и на жизни его близких — вдовы и дочери. Не буду пересказывать всего хода упорного журналистского расследования, который провел Б. Серман, чтобы восстановить правду, чтобы обелить память Н. К. Спаи.

Вот как кончается этот волнующий очерк:

«У анонимщика — ни имени, ни прозвища. К нему не обратишься. И все-таки я хочу ответить на злой вопрос анонимщика. «Кем вы доводите Спаи? — спрашивает он. — Родственником, приятелем?!» Я не скрываю своего родства с Николаем Константиновичем Спаи. У нас одна Родина, мы члены одной Коммунистической партии, у нас одни идеалы.

...Враги казнили коммуниста. Но они не могут казнить добро... И нельзя расстрелять или повесить подвиг во имя людей.

Человек умирает. Погибает в бою, падает, сломленный годами или недугом. Он оставляет нас, но оставляет нам свое сердце, свои мысли, свои надежды.

Человек остается. Если он Человек».

Все очерки этой книги, все подчинено благородному желанию: воссоздать, сохранить и увековечить память настоящих людей, сделать ее нашим сегодняшним живым достоянием и богатством.

Сергей Львов.

★

**А. Г. ФЕДОРОВ.** *Авиация в битве под Москвой.* М. «Наука». 1971. 299 стр.

Битва под Москвой. Не ослабевает с годами интерес к тому героическому времени,

суровые события которого тридцать лет назад завершились величайшей победой Советской Армии над гитлеровским вермахтом.

Каждая книга о бессмертном подвиге нашего народа под Москвой, естественно, встречается с живейшим интересом. Автор рецензируемой книги — А. Г. Федоров, бывший командир бомбардировочного авиаполка, участник битвы под Москвой, ныне кандидат исторических наук. Именно эти обстоятельства — личный опыт и опыт ученого-историка — позволили автору правдиво и ярко воссоздать памятные дни, что во многом и определило успех книги.

Автор охватывает большой круг событий, не замыкаясь в рамках одного направления, фронта или своего авиаполка. Его исследование охватывает действия ВВС Западного, Резервного, Калининского, Брянского и частично Юго-Западного фронтов, а также Военно-Воздушных Сил Московского военного округа и Московской зоны противовоздушной обороны и т. д.

Многогранно и обстоятельно освещена организаторская и руководящая роль Коммунистической партии и ее Центрального Комитета в укреплении могущества Советских Военно-Воздушных Сил.

Показывая реальные судьбы, боевые биографии и факты повседневного ратного бытия советских авиаторов, автор раскрывает истоки их мужества.

Используя последние достижения исторической науки, документы и материалы архивов, автор не только достоверно осветил действия советской авиации в битве под Москвой, но и сделал, что очень важно, интересные выводы, имеющие серьезное значение.

**М. Малахов,**  
*полковник,*  
*кандидат исторических наук.*



# КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

## ПОЛИТИЗДАТ

**В борьбе за интересы трудящихся Франции.** 50 лет Французской коммунистической партии. Сборник. 152 стр. Цена 55 к.  
**Вопросы экономической политики КПСС на современном этапе.** Для системы партийной учебы. 336 стр. Цена 57 к.

**А. Н. Косыгин.** О Государственном пятилетнем плане развития народного хозяйства СССР на 1971—1975 годы и о Государственном плане развития народного хозяйства СССР на 1972 год. Доклад и заключительное слово на третьей сессии Верховного Совета СССР восьмого созыва.— Закон Союза Советских Социалистических Республик о Государственном пятилетнем плане развития народного хозяйства СССР на 1971—1975 годы.— Закон Союза Советских Социалистических Республик о Государственном плане развития народного хозяйства СССР на 1972 год. 64 стр. Цена 7 к.

## «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**Л. Гинзбург.** О психологической прозе. 463 стр. Цена 1 р. 18 к.

**К. Каладзе.** На холмах Грузии. Стихи и поэмы. Перевод с грузинского. 128 стр. Цена 50 к.

**А. Кузнецова.** Ночевала тучка золотая... Повесть 158 стр. Цена 33 к.

**Молодой Ленинград. 1971.** Литературно-художественный альманах молодых писателей 303 стр. Цена 65 к.

**Л. Уварова.** Мытная улица. Повести и рассказы. 415 стр. Цена 78 к.

**В. Фоменко.** Память земли. Роман. Кн. 2. 288 стр. Цена 53 к.

**И. Шамякин.** Сердце на ладони.— Снежные зимы. Романы. Перевод с белорусского. 672 стр. Цена 1 р. 38 к.

## «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**Э. Грин.** Другой путь. Роман в 2-х частях. Ч. 1, 470 стр. Цена 1 р. Ч. 2, 655 стр. Цена 1 р. 30 к.

**М. Йонаш.** Черные алмазы. Роман. Перевод с венгерского. 510 стр. Цена 1 р. 7 к.

**Ш. Петефи.** Стихотворения.— Поэмы. Перевод с венгерского. Составитель А. Кун. Вступительная статья П. Панди. 622 стр. Цена 1 р. 68 к.

**И. Стоун.** Муки и радости. Роман о Микеланджело. Перевод с английского и предисловие Н. Бенникова. 795 стр. Цена 3 р. 13 к.

**Су Мань-шу.** Одинокий лебедь. Повесть.— Новеллы. Перевод с китайского и предисловие В. Семанова. 127 стр. Цена 34 к.

**М. Турсун-заде.** Избранные произведения. В 2-х томах. Перевод с таджикского. Вступительная статья В. Огнева. Т. 1. Стихотворения. 264 стр. Цена 95 к. Т. 2. Поэмы. 216 стр. Цена 99 к.

**Чувашские сказки.** Составление и перевод С. Григорьева. Предисловие В. Микушевича 222 стр. Цена 33 к.

## «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**И. Бобровский.** Избранное. Перевод с немецкого. Предисловие Ю. Архипова. 447 стр. Цена 1 р. 76 к.

**Д. Голубнов.** Когда вернусь. Рассказы и повесть. 367 стр. Цена 45 к.

**Е. Городецкий.** Лето и часть сентября. Повесть. Предисловие В. Соколова. 207 стр. Цена 29 к.

**Л. Жаринов.** Червонные сабли. Повесть. 303 стр. Цена 67 к.

**А. Марнуша.** Нет. Роман. Предисловие В. Ильющина 302 стр. Цена 56 к.

**Г. Б. Райт.** Свидетель колдовства. Записки путешественника. Сокращенный перевод с английского. Предисловие В. Леви. 208 стр. Цена 47 к.

**М. Спарк.** На публику. Повести и рассказы. Перевод с английского. Составление и предисловие В. Скороденко. 319 стр. Цена 1 р. 11 к.

**Фантастика-71.** Сборник повестей, рассказов и статей. 384 стр. Цена 85 к.

**Г. Федосеев.** Последний костер. Повесть. Послесловие Г. Колесниковой. 288 стр. Цена 73 к.

## «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**А. Аренштейн.** ...Пишите Марице! Повесть. 190 стр. Цена 43 к.

**П. Васильев.** Парень в кепке. Повести и рассказы. 112 стр. Цена 32 к.

**Е. Воробьев.** Гром и молния. Фронтальные рассказы. Рисунки О. Вереяского. 222 стр. Цена 65 к.

**Л. Воронкова.** Сын Зевса. Роман. 240 стр. Цена 58 к.

**И. Золотусский.** Пока мы вместе. Повесть. 144 стр. Цена 36 к.

**Ю. Раццу.** Класс, в котором ничего не бывает. Повесть. Перевод с румынского. 206 стр. Цена 42 к.

**Н. Реут и М. Снябин.** Я не мог иначе. Повесть 383 стр. Цена 73 к.

**Э. Станев.** Чернушка. Повести. Перевод с болгарского. 159 стр. Цена 45 к.

**Татарские пословицы.** Стихотворное переложение Р. Морана. 63 стр. Цена 8 к.

**Я. Хелемский.** На темной ели звонкая свирель. Хроника, состоящая из трех частей. 287 стр. Цена 99 к.

## «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

**А. Барышникова (Куприяниха).** Сказки. Литературная обработка М. Сергеевко. 80 стр. Цена 87 к.

**А. Блон.** О назначении поэта. Статьи (Писатели о творчестве). 155 стр. Цена 19 к.

**С. Воронин.** Две жизни. Роман.— Роман без любви. Рассказы. Желтый закат. Пьеса. 480 стр. Цена 1 р. 3 к.

**М. Гали.** Сердце весны. Стихи и поэмы. Перевод с башкирского. 110 стр. Цена 34 к.

**В. Журавлев-Печорский.** Ивняковая сторона. Стихи 77 стр. Цена 21 к.

**Земля Улыпа.** Сборник рассказов. Перевод с чувашского. 208 стр. Цена 52 к.

**К. Меджидов.** Сердце, оставленное в горах. Роман. Перевод с лезгинского. 237 стр. Цена 61 к.

**В. Рождественский.** Аленушка. Стихи. 126 стр. Цена 34 к.

**С. Смоляницкий.** Торопись с ответом. Повести и рассказы 112 стр. Цена 22 к.

## «ИСКУССТВО»

**Мариус Петипа.** Материалы, воспоминания, статьи. 446 стр. Цена 2 р. 60 к.



**Русское искусство XVIII — первой половины XIX века.** 359 стр. Цена 3 р. 40 к.  
**И. Шувалов.** Мясоедов. Очерк жизни и творчества. 143 стр. Цена 1 р. 68 к.

**«ПРОГРЕСС»**

**Э. Хаан.** Исторический материализм и марксистская социология. Перевод с немецкого. 243 стр. Цена 1 р. 7 к.

**«МЫСЛЬ»**

**Буржуазные экономические теории и экономическая политика империалистических стран.** 327 стр. Цена 1 р. 57 к.

**Д. Даниленко.** Развитие В. И. Лениным диалектики в послеоктябрьский период. 286 стр. Цена 1 р. 3 к.

**А. Корягин.** Научно-техническая революция и пропорции социалистического производства. 302 стр. Цена 1 р. 51 к.

**Б. Парыгин.** Основы социально-психологической теории. 348 стр. Цена 1 р. 29 к.

**С. Попов.** Социал-реформизм: теория и политика. 271 стр. Цена 90 к.

**«ЭКОНОМИКА»**

**Г. Азгальдов.** Потребительная стоимость и ее измерение. 168 стр. Цена 89 к.

**В. Лисичкин.** Отраслевое научно-техническое прогнозирование. Вопросы теории и практики. 231 стр. Цена 86 к.

**Методы управления социалистическим производством.** Коллективная монография. 173 стр. Цена 54 к.

**В. Цакунов.** Общественная собственность — экономическая основа коммунизма. 86 стр. Цена 13 к.

**«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»**

**В. Листов.** Ветер перемен. Перу выбирает путь. 255 стр. Цена 45 к.

**Ю. Налин и А. Николаев.** Советский Союз и европейская безопасность. 104 стр. Цена 36 к.

**В. Трухановский.** Ленинским внешнеполитическим курсом. 159 стр. Цена 55 к.

**«НАУКА»**

**Индустриализация СССР. 1933—1937 гг.** Документы и материалы. 656 стр. Цена 2 р. 69 к.

**Проблемы художественной формы социалистического реализма.** В 2-х томах. Т. 1. 423 стр. Цена 1 р. 85 к. Т. 2. 351 стр. Цена 1 р. 57 к.

**Сказки Центральной Индии.** Перевод с английского и сантальского. Составление и предисловие Г. Зографа. 376 стр. Цена 1 р. 27 к.

**В. Щербина.** Проблемы литературоведения в свете наследия В. И. Ленина. 343 стр. Цена 1 р. 63 к.



Главный редактор **В. А. Косолапов**

Редакционная коллегия:

**Ч. Айтматов, Д. Г. Большой** (первый зам. главного редактора),  
**Ф. К. Видрашку** (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, А. И. Овчаренко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, О. П. Смирнов** (зам. главного редактора), **Ф. Н. Таурин, К. А. Федин**

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77.  
 Почтовый адрес: Москва, К-6, пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 27/II 1971 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 10/III 1972 г.  
 Формат бумаги 70×108<sup>1/4</sup>. 28,7 уч.-изд. л. 9 бум. л. (25,2 усл.-печ. л.)  
 А 06737 Тираж 156.700 экз. Зак. 4414

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.

70636